

ISSN 0130-7673

ЖО В Ы И
М И Р

7

ЖО В Ы И
М И Р

7

1984

1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1984 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФАЗУ АЛИЕВА — Чистый ключ, стихи. Перевел с аварского Сергей Серверев.	3
АНАТОЛИЙ ЖУКОВ — Повод, повесть	5
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Десять стихотворений	79
Л. ЛИХОДЕЕВ — Сентиментальная история, роман	83
ДЕНИ ДИДРО — Стихи. Вступление и перевод М. Кудина	117
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ — Алиция Патей-Грабовская, Зыгмунт Вуйчик, Ежи Харасимович, Тадеуш Сливяк, Юзеф Бран, Тадеуш Моцарский, Чеслав Курята. Перевел А. Яворский.	120
ГЮНТЕР ГРАСС — Местная анестезия, роман. Продолжение. Перевела с немецкого Л. Черная	127
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ФЕДОР АБРАМОВ — Наедине с природой. Публикация Л. В. Крутиковой-Абрамовой	150
ПУБЛИЦИСТИКА	
АЛЕКСАНДР НИКИТИН — Третий сектор	161
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
АНДРЕЙ НИКИТИН — Испытание «Словом...». Окончание	176
НИКОЛАЙ ПАКЛИН — Внучка Толстого вспоминает	209

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА		Стр.
<i>Союзу писателей — 50</i>		
В. КАВЕРИН — Заметки о Первом съезде писателей		215
И. ЭВЕНТОВ — В те дни		219
ВЛАДИМИР ОГНЕВ — Ровесник Первого съезда		221
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ — Учителя и товарищи		223
<hr/>		
Ю. СУРОВЦЕВ — Люди и время		230
ИГОРЬ ДЕДКОВ — Продленный свет		243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ		
<i>Литература и искусство</i>		
Евгений Осетров. Живут на свете Трудолюбивы.		255
Татьяна Иванова. Разрази меня децибел!		
<i>Политика и наука</i>		261
В. Казаков. Осознание подвига.		
Ю. Азаров. Этнография детства.		
КОРОТКО О КНИГАХ:		
М. Искольдская.— Тэт Каллас. Коррида, роман. Тоска по фиордам. Избранные новеллы.		
Андрей Арьев.— М. Гордин, Я. Гордин. Театр Ивана Крылова.		
Ю. Мельвиль.— Н. Е. Покровский. Генри Торо.		
Г. Белая.— Очарованные книгой. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. Вечные спутники. Советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве		
		268
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ		272

ФАЗУ АЛИЕВА

★

ЧИСТЫЙ КЛЮЧ

С аварского

Средь наших гор, снегов, ущелий темных
Есть две скалы — два близнеца огромных:
Бугристы, величавы, тяжелы,
На львов похожи эти две скалы.
Еще похожи глыбы их крутые
На мощные ворота крепостные —
Не знаю, кто, взойдя на перевал,
Их Львиными воротами назвал.
А возле их торжественных подножий,
На нить витого серебра похожий,
Бьет чистый ключ — он невелик на вид,
Но сколько тайн струя его хранит!
Еще в далеком детстве не однажды
Зимой и летом, чтоб спастись от жажды,
Я прибегала к этому ключу —
Одну из тайн его открыть хочу.
Родник тот непростой и в самом деле,
Давно заметить люди здесь успели:
Чем горячее тяжкий летний зной,
Тем холоднее ключ тот ледяной.
Но вот что удивительно: в морозы,
Когда на стеклах белые стрекозы,
Когда в пургу к селенью не пройти —
В снег упадешь, замерзнешь по пути,—
Тогда, как в сказке, родничок теплеет,
Как чай, дымится, станешь пить — согреет,
И говорят, не раз тот ключ спасал
Тех, кто в метель всходил на перевал,
Как будто древнего родного края
В нем воплотилась доброта святая:
Зимой — горячий, летом — ледяной
Тот мудрый ключ, дитя груди земной.

Труда и мира прочная защита —
Страна моя! Мощь твоего гранита
Не поколеблют бури наших дней —
От бурь ты лишь становишься прочней!
А я... Хочу, чтоб я была похожа
На чистый ключ у твоего подножья:
Он неприметен, невелик на вид,
Но много сил струя его таит.
И если в жаркий день страды рабочей

Ты хоть недолго отдохнуть захочешь,
 Пусть станет ручеек стихов моих
 Прохладным, словно тень чинар густых.
 А если в стужу непогоды вьюжной
 Тебе тепла побольше будет нужно,
 Пусть станет песня моего ключа,
 Как в битве сердце горца, горяча!..
 Не я одна, мы все — ключи живые,
 Что бьют из сердца матери России,
 И к ручейку стремится ручеек,
 Сливаясь в мощный радостный поток.

Дай руку мне

Наш край как будто бросил навсегда ты —
 И в этом шумный город виноват..
 Как зори над зубцами гор крылаты,
 Как над аулом сказочны закаты,
 Не видел ты уж много лет подряд.

Но настезь сердце пред тобой открою,
 Как на заре — слепящее окно:
 Увидишь вновь за снежною грядюю
 Аул, обвитый тучею седою,
 Увидишь въявь, а не в цветном кино.

Довольно!.. Весь в делах, как в тяжких латах,
 Ты жил, мой рыцарь, много лет подряд..
 О сколько ты волшебных и крылатых
 Проспал рассветов, прозевал закатов —
 И в этом тоже сам ты виноват.

Дай руку мне. Пойдем тропинкой горной
 Вверх по уступам глыбистых громад..
 Как мальчик, стань — восторженный, покорный,
 И покажу тебе весь мир просторный —
 Как он неопишимо богат.

Перевел СЕРГЕЙ СЕВЕРЦЕВ.



АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

★

ПОВОД

Повесть

I

На площади, у районного Дома культуры директор совхоза Мытарин на своем «Иже» чуть не задавил механика Сеню Хромкина. Сеня шел серединой улицы, в галошах на босу ногу, в тренировочных синих шароварах и в ковбойке, вытирал потное от жары лицо и рассуждал об усложнившихся отношениях человека и окружающего мира. Треск мотоцикла раздался для него неожиданно, когда он уже вышел на площадь. Сеня метнулся в сторону, но потеряв галошу, кинулся за ней назад, прямо на путь мотоцикла. Спасла мгновенная реакция водителя. Мытарин зажал оба тормоза намертво и косым юзом, подняв тучу пыли, все-таки толкнул Сеню, опрокинул на землю. Сеня тут же вскочил, торопливо отряхнул шаровары и поздоровался.

— Привет, — насмешливо сказал Мытарин, опустив ноги на землю и удерживая ими заглохший мотоцикл. — В рай собрался?

— Нет, в нарсуд, — сказал Сеня.

Испугаться он не успел.

— В нарсуд? Тебя надо в милицию сперва, а потом уж в суд. Прешься прямо под колеса.

— Я говорил тут, Степан Яковлевич, забылся и вот...

Громадный, как стог, Мытарин слез с сиденья, чтобы запустить двигатель, и устрашающе навис над Сеней:

— С кем говорил?

— Между собой. В суд наладился, жалобу на кота Титкова несу. — Сеня вынул из-за пазухи сложенный вчетверо листок, показал и опять спрятал под рубаху.

— В чем же он провинился, ваш кот?

— Не мой — Титков. А в чем, я не знаю. Бабы устно говорят, что малых цыплят таскает, утят и еще что-то блудит в бесстыдном беспорядке. Такой здоровенный котище, по окрасу тигрополосатый, голова с арбуз, глазичи окружностью будто пятаки. Говорят, количественное множество подушил цыплят-то, а за утятами будто специально на нашу ферму бегает, на совхозную. Я, правда, личным наблюдением ни разу не видел, может, и врут. Кот ведь в рассуждениях безгласный, на него, как на мертвого человека или животного организма, все можно свалить...

Мытарин ударил ногой по кикстартеру, мотоцикл рассыпал звонкую пулеметную дробь, окутался дымом — богатая рабочая смесь или масла в бензине много, — отметил Сеня, хорошо бы посмотреть.

— Садись, подвезу. — Мытарин перекинул ногу через сиденье, Сеня взобрался за широкую спину Мытарина, вцепился ему в бока и тут же почувствовал, что летит. Мытарин любил быструю езду.

Дома и зеленые палисадники перед домами слились в сплошную цветистую стену, мотоцикл в минуту выскочил на другой конец райцентра, к берегу волжского залива, и Сеня зажмурился от сладкого ужаса, когда Мытарин, разворачиваясь у здания народного суда, не погасил скорость и почти положил на бок летящий мотоцикл.

— Ух, здорово! — прошептал Сеня, когда мотоцикл встал у казенного крыльца.

— Еще прокатить? — спросил Мытарин.

— Можно. — Сеня блаженно улыбался. — Только сперва надо жалобу судье отдать. Может, вы отдадите, Степан Яковлевич? Я это самое... боюсь их.

— Я тоже, — сказал Мытарин и засмеялся: судьей работала его жена Екатерина Алексеевна. — Пойдем вместе, вдвоем не сробеем.

Сеня слез с мотоцикла и мигом достал из-за пазухи бумагу.

Он был рад, что Мытарин пойдет с ним: и жалобу, глядишь, отдаст сам и с судьей потолкует по-свойски.

Они вошли в длинное помещение суда, пересекли зал заседаний с пустыми стульями и остановились у кабинета с табличкой: «Народный судья Е. А. Мытарина».

— Я лучше здесь постою в ожидании, — сказал Сеня. — Вот, возьмите.

— Что ж, рискну один. — Мытарин взял бумагу, отворил без стука дверь и тут же захлопнул: — Занята. Старушка у нее какая-то, подождем немного.

Они сели рядом на стулья в зале заседаний, и Мытарин развернул Сенину грамоту.

— Здоровенная петиция. Сам писал?

— Не-е, бабы диктовали: Анька Ветрова, Клавка Маёшкина и моя Феня маленько.

— Понятно. — Мытарин с улыбкой стал читать.

— Кота жалко, — сказал Сеня. — Красивый кот, Адамом зовут, молодой еще, сильный. А Титков — пенсионер, грамотный человек, а в поведении разговора отсталый, с бабами поругался. Те кричат: «Выдай нам Адама, паразит!» А он — ни в какую. Пошли, говорит, вы знаете куда, гражданки... Это Титков им. Ну, они еще психичнее взъярились. А сердитые бабы, даже если они ученые женщины, пощады ведь не знают, особенно Анька Ветрова. Он, кричит, у меня шестнадцать килограммов краковской колбасы сожрал, Адам-то твой распрекрасный, меня, кричит, за недостачу судить могут. Да и Маёшкина Клавдия психически осердилась: я, говорит, за флягу сливок платить не буду, в ней, говорит, тридцать два килограмма чистого весу нетто. И еще кое-что кричала без всякой цензурности. А Титков хоть и отсталый пенсионер, а своего кота в обиду не дал. Поймайте, говорит. А разве его поймашь? Резвый кот, здоровый, устойчивой разумности. Перед пасхой наша кошка четверых принесла, Феня моя поглядела и только руками развела: все в него, в зверюгу. Рассердилась и троих сразу утопила в заливе без соображения санитарности.

— А одного все же оставила?

— Одного оставила. На племя, чтобы производить их дальнейшее потомство. Бабы, они цену котам знают.

— Вот вырастет, начнет блудить, на вас же с Феней станут жаловаться.

— Такой не вырастет — воспитаем в правильности поведения жизни. Отца-то не воспитывали, когда котенком был, вот он и озорует без понятия порядочности. А еще Адам, имя первого антиисторического человека носит! В хозяина пошел, видно. Титков-то агентом был по натуральным налогам с граждан, а отменили налоги — куда его? Баней потом заведовал, дровяным складом райтопа. И там он тоже царил без

всякого контроля, Титков-то. Сколько уж годов на пенсии, а по привычке ни с кем не считается. Две козы держит, сам их доит и молоко на базаре продает, опять же Адама распустил до невозможности поведения. Вчера моя Феня пошла к колонке за водой, увидала его — несет цыпленка детского возраста, тот крылышками хлопает, кричит, как новорожденный человеческий ребенок...

— М-да, сложное дело.— Мытарин прочитал, свернул бумагу вчетверо.— Тут надо серьезно разобраться.

— Вот и я так полагаю. Бабы говорят по легкомысленности: убей. А как убьешь безо всякого права, без народного суда по закону. Это ведь не человек, разумного понимания у него нет. Вот бабы меня и командировали в такой намеренности. Раз, говорят, ты жалостливый и кота убить не решаешься, судись с ним, как положено. А причем тут жалость или безжалостность, не в этом же вопрос рассмотрения причинности.

Сеня глядел на Мытарина голубенькими глазами, не мигая, с бесконечной доверчивостью. Белые волосики, обрамлявшие полукругом его большую плешивую голову, были младенчески тонкими, легкими, похожими на вытертый мех, голая грудь шелушилась, как от загара, от болезни кожи.

— Значит, без суда не обойтись? — спросил Мытарин.

— Не знаю.— Сеня загрустил.— Ведь дело законной судебности против кота не начнут? Не начнут. А поймать его Титков разрешил. Значит, отвечать некому. А как же цыплята, утята? А бабам что сказать?.. Любые события и действия связаны с другими событиями и действиями, они имеют причины и следствия всемирной связи событий. Так ведь?

— Ты ему хвост отруби,— посоветовал Мытарин.

— Жалко. Красивый уж больно, зверюга, смелый в поступках совершения действий. Лучше убить, чем портить такую красоту. Но убить рука не подымается, лучше протест заявляет, вот и буксую на одном месте бездействия. Выручайте, Степан Яковлевич.

— Попытаюсь. Но на фермах чтобы порядок был идеальный, чтобы механизмы работали лучше тебя самого. Не подведешь, механик?

— Не подведу, Степан Яковлевич, ей-богу, не подведу!

Когда из кабинета судьи вышла улыбающаяся старушонка,— должно быть, радовалась благополучному исходу своего дела,— Мытарин оставил у двери Сеню и передал жалобу судье.

Екатерина Алексеевна внимательно прочитала, поправила пальцем очки и озадаченно посмотрела на своего чудокваса: такой солидный человек, руководитель большого хозяйства, а никак не отвыкнет от курьезов, розыгрышей. Вот опять нашел забаву — судить кота!

— Сеня — жалобщик-то,— объяснил Мытарин.— Ты же знаешь его. Женщины, вероятно, хотели пошутить, а он всерьез принял. Но, возможно, разбой кота надоел им, да и на Титкова они давно сердиты.

— Не пойму, при чем тут ты? Пусть зайдет сам жалобщик.

— Он тебя боится.

— А ты не боишься и поэтому решил ввязаться в эту историю?

— Боюсь, Катя, тоже боюсь, но, понимаешь, интересно узнать, что можно сделать по такой жалобе.

— Ох, Степан, Степан...— Екатерина Алексеевна достала из нижнего ящика стола свои студенческие тетради с лекциями и разными записями, нашла нужную, подала: — Здесь ты немного утолишь свою страсть к курьезам и убедишься, что истец твой опоздал родиться лет на триста — четыреста. Что касается жалобы, то,— Екатерина Алексеевна усмехнулась,— можно направить ее на рассмотрение товарищеского суда по месту жительства истцов и ответчика. Сейчас я напишу... Ох Степан, Степан, недалеко ты ушел от своего Сени. А ведь депутат районного Совета, директор совхоза, член бюро райкома...

Мытарин с нетерпением листал тетрадку, улыбался:

— Что же ты раньше не показала ее?

— Ты не спрашивал.

— Ладно, пойду обрадую Сеню. Значит, в товарищеский?

— Да, в товарищеский.— Она подала ему жалобу со своей резолюцией.— Ты сегодня, кажется, собирался в поле?

— Собирался, да вот нечаянное кошачье дело. Интересно же!

— Послушай, Степа, тебя считают дельным руководителем...

— «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Классик. Гений.

— А почему опять на мотоцикле? У тебя же машина есть, хватит фасонить, тебе ведь не двадцать лет, кажется.

— Виноват, Катя, но в такую жару париться в брезентовом «козле»... Спасибо за консультацию.— И вышел к Сене, который ждал его, не скрывая волнения.

— Приняла?

— Почти. Будут судить твоего Адама по закону.

— А есть такой закон?

— Есть, вот он.— Мытарин хлопнул тетрадкой по своей широченной ладони.— Вечером прочитаю, изучу и выступлю на вашем суде адвокатом или еще кем-нибудь. Примете?

— На каком суде? Когда?

— На товарищеском. А когда, это уж вы сами там решайте. Народный суд такие дела не рассматривает. Зайди к председателю уличного комитета, предупреди. Кто у вас председателем?

— Башмаков. Начальником пожарной охраны был до пенсии.

— А председатель товарищеского суда?

— Этого не знаю. Я ведь никогда не судился, не жаловался и вот попал по нечаянной случайности.

— Тогда узнай, завтра мне скажешь. Держи свое заявление и пошли, подброшу до дому.— Он отдал ему бумагу, сунул общую тетрадку в широченный карман куртки и в сопровождении Сени направился к выходу.— Только не тяните с началом суда, а то через месяц жатва начнется, людей не соберете.

— Организуем в современности проведения.

И они опять полетели с мотоциклетным треском по зеленой улице районной Хмелевки.

II

Пенсионер Титков и его непутевый кот Адам сидели на крыльце своего дома, грелись на солнышке и не знали, что над их непокорными головами собираются тучи и скоро прогремит гром. Грянет на всю Хмелевку, для процветания которой Титков трудился вплоть до пенсионного возраста. Правда, трудился сперва не здесь, а в родной волостной Андреевке, где он, бывший батрак, возглавлял комбед, потом был заместителем председателя волисполкома, затем председателем сельсовета и все время боролся против засилия частного хозяйства в образе кулаков, середняков и их подпевал. Во время коллективизации он окончательно сокрушил это охвостье мирового капитала, хотя за перегибы заплатил партбилетом и должностью и уехал со своей веселой Агашей в Хмелевку. Здесь тогдашний предрика Щербинин, зная, что у него незаконченное начальное образование, хотел послать его учиться, но Титков не согласился: он и без учения знал, что опасность для нового мира таится в частной собственности, и стал сначала рядовым, а потом старшим налоговым инспектором. Крестьяне, правда, сделали к тому времени колхозниками, но все равно держались за частное хозяйство, как черт за грешную душу, не понимая, что это главный пережиток капитализма.

И Титков не только ревностно учитывал для налогообложения каждую курицу, каждую сотку огорода за двором, но и строго разъяснял несознательным пагубу собственности, ее мировую вредность, чем заслужил злобное прозвище Шкуродер. А какой Шкуродер, если чист перед своей совестью и перед государственной, копейки чужой ни разу не присвоил! Шкуродерами были те кулаки-мироеды, у которых батрачил Титков, они сделали его таким непримиримым к собственности, таким принципиальным. Веселая Агаша, по своей беспартийной доброте, не одобряла такое рвение мужа, но все равно гордилась, что он опять при власти и его боятся. Будто все дело в боязни. Не в этом дело, а в том, что и налоги не отвращали людей от своих огородов, от коров, овец, гусей, кур и уток, тут надо что-то предпринимать резкое...

В то время они жили в приземистой избенке на улице Красной, а нынешний пятистенник из двух больших комнат, с бревенчатыми сенями, кладовкой, с примыкающими к ним дровяным сараем, крытым погребом и просторным хлевом, Титков возвел по настоянию Агаши только в 1955 году, когда большая часть Хмелевки переселилась на бугор¹, чтобы не оказаться затопленной Волжским морем.

Новый дом, очень похожий на дом кулака Вершкова, вместе с надворными постройками образовывал букву «П», с большим, открытым в середине двором, и когда Титков (опять по настоянию жены) закрыл его тесовыми двустворчатými воротами и нарядной голубой калиткой, это уж был в точности кулацкий двор Вершкова, у которого батрачил Титков в юности и которого самолично раскулачил. Выдающийся ровесник Башмаков, начальник пожарной охраны и главный соперник среди районных активистов, тогда же заметил позорное это сходство и попрекнул смущенного Титкова, чем еще больше усугубил давнюю взаимную неприязнь. Но это случилось, как уже сказано, в 1955 году, когда налоги отменили, в газетах стали писать о материальной заинтересованности, и Титков почувствовал замешательство. Но все же он не сдался, своим убеждениям не изменил, и если построил дом как у кулака Вершкова, то лишь потому, что лес был даровой, из зоны затопления, да еще потому, что пожалел Агафью. Она давно мечтала о таком доме, но когда построили, стала ворчать, что теперь эти хоромы ни к чему, раньше надо было глядеть косыми-то глазами. Всю жизнь активничал, даже детей не завел.

Это было второе после частной собственности болезненное место Титкова. Он всегда мечтал о сыновьях, которые продолжили бы его дело борьбы с мировой вредностью, но веселая и бойкая Агаша ни разу его не порадовала.

Во время войны, на которой Титков не был по причине плоскостопия и косоглазия, и первые годы после войны у него в каждой деревне были любовницы вдовы, и вот они-то, знающие его любовную мугульность, все же подтвердили правоту Агаши. Правда, к тому времени она стала уже Агафьей, тощей, сварливой, плоскогрудой бабой, но все равно кляла его за погубленную жизнь и мечтала о детях. А его ответственную должность и власть теперь почему-то не ценила вовсе.

В то время его перевели в райтоп заведовать дровяным складом. Конечно, сосновыми и березовыми дровами он Агафью обеспечивал, но разве в дровах счастье. И не в электрическом самоваре, который ему подарили от организации, когда провожали на пенсию. Тем более что Агафья, оказавшись с ним ежедневно вместе, через год умерла от скучной жизни, корову и овец, которых он купил для ее утешения, пришлось продать, кур он порезал, потому что они его раздражали своим бабьим кудахтаньем, оставил только на мясо гусей и вместо коровы купил двух коз. Но жирное козье молоко скоро приелось, и он стал его

¹ Эту нагорную часть Хмелевки в обиходе называют Новой Стройкой.

продавать, но не по соседям, а на базаре: там как-то чувствуешь себя при деле, опять же прогулка хорошая, новости узнаешь вовремя, а не через неделю.

И вот сейчас он сидел на крыльце рядом с Адамом, грел на июньском солнышке старые кости и ждал, кто к нему придет. Он знал, что придет мужик, а не баба: во время обеда со стола упал ножик — значит, жди в гости мужика.

Ожидание Титкова скоро сбылось, но не обрадовало: резко распахнув калитку ворот, по двору протопал в сапогах его недруг Башмаков, с портфелем и в шляпе, теперь тоже пенсионер и бывший активист. Правда, он и сейчас активничал, занимал общественный пост, а Титков был в опале у общества и своим бездействием как бы показывал, что соперничать с Башмаковым не может.

Впрочем, тут требуется разъяснение. Башмаков долгое время служил директором пищекомбината, а потом начальником пожарной службы, в конфликты с гражданами вступал реже, чем сборщик налогов, к женскому полу, как многолетний человек, пристрастия не имел. Когда выбирался уличный комитет, в председатели выдвигали и Титкова, но на собрании большинство граждан, в основном женщины, проголосовали за Башмакова, хотя тут же говорили, что не велика находка. Ну не дуры? Башмаков, правда, плохой, хуже некуда, а все равно выбрали — только бы самим не заниматься общественным делом. А мужиков, тех силком не затащишь в контору, лучше рыбу станут удить, чем общественную службу справлять.

— Пришел к вам по делу, понимаешь, — сообщил Башмаков, остановившись у крыльца. — Иду в товарищеский суд и зашел предупредить по закону.

— Иди, я тебя не держу. — Титков даже не поднялся. — Хоть в пельменную топай, хоть в «Голубой Дунай», не мешаю.

— Напрасно, понимаешь, злишься. По пивным никогда не ходил, тебе известно, всегда живу общим делом.

— О-общим! Ты же исполнитель, шестерка, как ты можешь общим делом жить, когда у тебя своей мысли нет?!

— Извини-подвинься, понимаешь. Это у тебя никакой мысли никогда не было, а я, если хочешь знать, жалобу несу в товарищеский суд на твоего кота. Будем судить по закону.

— Кого судить, кота? — Титков встал и спустился на нижнюю ступеньку. — Ты хоть думай, что говоришь, деятель. Ты в уме или как?

— Я, понимаешь, в уме, а вот ты — извини-подвинься. И не думай, что я оставлю бумагу без ответа. Это жалоба трудящихся, массы волнуются, и мы должны это самое... реагировать.

— Постой, постой. Ты серьезно? Какая жалоба? Где?

— Такая. Сказано уж. Вот здесь. — Башмаков показал запыленный ученический портфель и хлопнул по нему рукой, оставив на искусственной коже следы широких коротких пальцев. — В подробностях узнаешь, когда придешь в суд. Понял? Там несколько подписей, коллективка, понимаешь, а не шутка, резолюция народного судьи есть. Он и цыплет и утят таскает, это разбой. А также колбасу и сливки — это кража.

— И, значит, Адама судить? Вы ошалели? Нет такого права. — И Титков хотел уйти, потому что был в полосатой пижаме и стоптанных тапках, из которых выглядывали босые белые ноги с желтыми пятнами.

Но товарищ Башмаков был одет по всей форме, то есть в темный костюм, белую рубашку с галстуком на резинке, седую, стриженную ежиком голову покрыл черной фетровой шляпой, на ногах имел, как уже сказано, сапоги (яловые, гармошкой), стесняться ему было нечего и потому он удержал хозяина дома за рукав.

— Извини-подвинься, понимаешь, гражданин Титков. Жалоба поступила на твоего кота, и ты как его хозяин обязан отвечать, а я как председатель уличного комитета обязан дать жалобе ход.

Титков взгляделся в каменное с трещинами морщин лицо Башмакова, встретил его прицельный немигающий взгляд и понял, что лучше говорить мирно.

— Когда приходит?

— Завтра, к шести вечера. Товарищеские суды, понимаешь, заседают в нерабочее время. Нынче я передам жалобу Дмитрию Семенычу, а завтра соберемся.

— Кто это — Дмитрий Семеныч?

— Взаимнообоюднов. Стыдно, понимаешь, не знать такого товарища.

— А-а, Митя-Соловей... Так бы и говорил.

— Извини-подвинься, он председатель товарищеского суда, понимаешь, а не какой-то Митя.— Тут Башмаков заметил на крыльце крупного серого кота с темными тигровыми полосами, который, загребая лапой за ухом, умывался, и спросил: — Этот?

Титков оглянулся на любимца, подтвердил:

— Он. Недавно пообедал. Чистоплотный кот, умница. А лапой загребает — к гостям. Хватит, Адам, вот он, наш гость-то, явился уже.

Башмаков не принял насмешки.

— И его захватишь. Как ответчика.

— Че-ево?

— Как ответчика, говорю.

— А я тогда зачем?

— А ты — как хозяин ответчика.

— Ты это брось, я законы знаю. Если отвечает хозяин, то кот не ответчик, а если не ответчик, зачем его брать?

— Там разберемся. До свидания.

Башмаков дотронулся короткопалой рукой до шляпы и вышел через голубую калитку на улицу. Титков проводил взглядом его плотную прямую спину, — не сутулится, гад, крепкий! — вздохнул и сел на крыльцо рядом с котом.

Адам теперь лежал, вытянувшись на верхней ступеньке, жмурился на солнце, зевал. Днем он, как всякий серьезный хищник, любил поспать, особенно после обеда. Титков погладил его по голове, услышал благодушное мурлыканье и с большой печалью сообщил:

— Судить тебя хотят, Адамка. Судить по всей строгости за воровство и разбой. Этот Башмаков шуток не знает и никому не спустит, а жаловались на тебя бабы, я знаю. И говорливый Митя-Соловей будет с ними заодно. Ему не до тебя, ему лишь бы речи говорить, заседать. А? Мурлыкаешь? Что вот теперь делать? И ведь говорил тебе: сиди дома, чего тебя носит по всей Хмелевке! Зимой на свадьбы свои бегаешь, с кошками и собаками дерешься, орешь благим матом, лето настает — блудись. А? И ведь стегал тебя ремнем, за уши трепал — не слушаешься. Ты не слушаешься, а я отвечаю...

Адам разинул иглозубую пасть, зевнул и отвернулся: слишком много слов, лучше поспать.

III

В Хмелевке было несколько товарищеских судов: в совхозе, в райпотребсоюзе, в промкомбинате, в райпищекомбинате, в мастерских Сельхозтехники и еще в некоторых районных учреждениях. Кроме этих ведомственных судов, действовал еще территориальный товарищеский суд, созданный с согласия поселкового Совета для неорганизованного

населения, объединенного уличным комитетом. Этот суд состоял из пяти человек под председательством Дмитрия Семеновича Взаимнообюдно по прозвищу Митя-Соловей.

Хмелевцы как жители старого, трехсотлетнего села по обычаю пользовались прозвищами, хотя Хмелевка почти полвека уже была районным центром и недавно превратилась в поселок городского типа. Это новое название ей было дано навывост: городское благоустройство здесь еще не завершили. Улицы были немощеные, тротуары деревянные, вода подавалась не в дома, а в водоразборные колонки, газом обеспечивали привозным, в сменных баллонах. Но уже в будущей пятилетке поселок обещали подключить к ветке газопровода, запланировали построить две котельные и провести в дома горячую и холодную воду, поставить унитазы и сливные бачки для индивидуальных туалетов. О радио, электричестве, телевидении можно не говорить, это есть теперь и в малых деревнях.

Но старые обычаи, даже с отрицательным знаком, невероятно живучи. И вот грамотные жители современного поселка почти городского типа звали председателя товарищеского суда, уважаемого человека по кличке.

Сейчас не важна история возникновения клички, важно, что она прижилась, и дело тут, я думаю, не только в обычае. Взаимнообюдно — фамилия хоть и редкая, но не очень удобная в произношении, мудреная, длинная, поэтому для бытового обихода ее заменили кличкой Соловей с прибавлением имени. Не зная Взаимнообюдно, не скажешь, что это удачно, потому что кличка никак не соответствует его фамилии. Но зная его, как и любого с кличкой хмелевца, поймешь, что кличка перекликается с главной отличительной особенностью хозяина, намекает на его характерную черту, выявляет его внутреннюю сущность. Причем с иронической окраской.

Дмитрий Семенович Взаимнообюдно, пенсионер молодой, недавний, полностью оправдывал свою кличку. Он был самым средненьким, се-реньким, невидным, обладал чистым звонким тенором, но не пел, а любил вести собрания и говорить речи. Говорил он так вдохновенно, так правильно и безобидно, что им была довольна любая аудитория. Он не раз выступал даже на общерайонных, а не только на учрежденческих совещаниях и семинарах, и всегда его слушали с удовольствием, проводжали с трибуны с сожалением и благодарили искренними, дружными аплодисментами. Будь Дмитрий Семенович большим начальником, аплодисменты за те же речи были бы бурными, долго не смолкающими, но, к сожалению, до больших чинов он не дослужился. На пенсию Дмитрий Семенович вышел с должности рядового инструктора райисполкома, где проработал ровно столько, сколько жил в Хмелевке, — пятнадцать лет.

В средневолжские края Дмитрий Семенович приехал после увольнения из армии — здесь была родина его жены. В армии он дорос лишь до капитана, хотя служил с 24 июня 1941 года. Призванный на третий день войны, он служил писарем ПФС и за четыре года прошел путь от солдата до гвардии сержанта. В бою был только раз, сильно напугался, когда немцы прорвались к штабу полка, но не побежал, пригвожденный к месту взглядом начальника штаба, а залег в воронку рядом с ним и ездовым, быстро пришел в себя и стрелял, как учили в первый месяц войны, короткими очередями, прицельно и удачно. Когда расстрелял оба диска, взял автомат ездового, который был убит, и опять стрелял — начальник штаба свидетель — хорошо. За этот бой его наградили медалью «За отвагу».

После войны Дмитрий Семенович остался на сверхсрочную, окончил военные курсы и долгое время был начфином полка — уже в офицерском звании. Потом его, начитанного, любознательного, не расстающе-

гося с книгами, взяли инструктором в политотдел дивизии, но скоро началось сокращение штатов армии, и его уволили в запас.

Хмелевский военком майор Примак встретил капитана Взаимноободно приветливо, пожалел, что он невидной комплекции, наметанным взглядом оценил наградные колодки на кителе. Кроме медали «За отвагу», он увидел планки медалей «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и три юбилейные медали: «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «25 лет победы в Великой Отечественной войне» и «40 лет Советской Армии». Негусто, однако штабной опытный офицер, трудоустроить легко. И созвонился с председателем райисполкома.

В прошлом году, уходя на пенсию, Дмитрий Семенович получил почетные грамоты райисполкома и облисполкома и затосковал без дела, но уже осенью был избран на общественную должность председателя товарищеского суда. Старательный работник у нас и на пенсии не застывает.

К этим сведениям можно прибавить, что Дмитрий Семенович не пил, не курил, был скромен в быту и морально устойчив.

Заместитель председателя и один член товарищеского суда сейчас находятся в отъезде, и о них можно не говорить. Следующим членом суда был Иван Кириллович Чернов, тоже пенсионер, потомственный житель Хмелевки, из которой он отлучался всего дважды, но зато на долгое время: в 1918—1920 годах на гражданскую войну, в 1941—1945—на Великую Отечественную. Кроме этих семи лет, вся жизнь Чернова была отдана самому нужному для людей крестьянскому делу, сперва в единоличном хозяйстве, потом в колхозе и совхозе.

Вот и весь его жизненный путь.

Недавно у них с Марфой была золотая свадьба, на которую съехались из разных концов страны шестеро сыновей и дочерей — все как один в отца: плотные, будто литые, коротконогие, добрые нравом, надежные работники.

Секретарем товарищеского суда была Клавдия Юрьевна Ручьева, по характеру и жизненному постоянству близкий вариант Чернова, с тем, однако, отличием, что крестьянствовала только в молодости, а около сорока лет служила бессменно секретарем райисполкома, не воевала, золотой свадьбы не справляла, потому что муж умер еще в начале тридцатых годов, была не плотной и коротконогой, а высокой и худой, курила. Хмелевцы ее, как и Чернова, любили и звали Юрьевой, а Чернова — Кирилычем. Такое домашнее величание заменяло им клички.

Вот вам предварительный ответ на возможный вопрос: «А судьи кто?» Судьи, как видите, достойные, положительные люди. Они уже собрались в небольшой комнате уличного комитета, на первом этаже восьмиквартирного двухэтажного дома и приступили к обсуждению необычной жалобы.

За председательским столом сидел миниатюрный, но ладной комплекции Митя-Соловей, в светлом костюме, с наградными планками на пиджаке, а хозяин стола товарищ Башмаков, в полувоенной форме начальника пожарной службы, которую он донашивал, пристроился сбоку. Кирилыч с Юрьевой расположились рядышком на скамейке у окна.

— Я понимаю ваше недоумение, — говорил Митя-Соловей. — Я тоже, откровенно говоря, смущен, хотя за шестьдесят лет жизни в нашем беспокойном веке привык не удивляться любым неожиданностям, в том числе и курьезным. Тем не менее жалоба поступила к нам, и иной альтернативы, как принять ее к рассмотрению, у нас нет. Прошу высказываться.

Начал Башмаков:

— Чего толковать, понимаешь, когда резолюция судьи. В Совет я звонил, разбирайтесь, говорят, сами, для того выбраны.

— Мало ли что они скажут,— возразила Юрьевна.— Мы тоже должны думать, а не только указания выполнять. Тут не нужно торопиться.

Чернов ее поддержал:

— Да, надо хорошенько подумать. Дело такое, без этого нельзя.

— Без чего нельзя? — осердился Башмаков.

— А без того, чтобы не думавши,— не дрогнул основательный Чернов.— Резолюция, положим, есть, Совет правильно предупредили, но опять же и у нас есть устав², и в него надо заглядывать. Это одно. Второе: жалоба на кота, у кота, положим, есть хозяин Титков. Но Титков сам ничего не нарушал, стало быть, судить надо одного кота. А где видно, чтобы котов судили? Тогда и собак потащат к ответу и другую любую скотину.

— Нас обсмеют на всю Хмелевку,— сказала Юрьевна и достала из кармана кофты папирсы «Беломор».

— Могут,— согласился Чернов.— Обсмеять все можно, тут другое. Тут разобратся надо. И разобратся хорошенько, по правде, на то мы и суд. Тебе, товарищ Башмаков, жалобу кто дал, судья?

— Извини-подвинься, понимаешь, Хромкин Сеня принес. А к судье, понимаешь, ходил сам директор совхоза товарищ Мытарин.

Чернов почесал в затылке:

— Да-а, директор у нас знающий, зря дело затевать не станет, но опять же и насмешник, палец в рот не клади, откусит.

— В районную газету позвонит,— добавила Юрьевна, пыхнув в потолок дымом.

— Может. И тогда прибегут Мухин с Комаровским и живо состроят свой клеветон.— Чернов щелкнул пальцами.— На всю округу сразу ославят.

— Что же предлагаете? — спросил Митя-Соловей.

— Я думаю, надо поставить Мытарина впристяжку к нам, пускай тогда попробует посмеяться. Опять же супруга у него — судья, советовать с ней станет, подсказывать нам.

— А что, вполне мудрое предложение.— Митя-Соловей облегченно улыбнулся: — Как вы считаете, товарищ Башмаков?

— Пускай, понимаешь, будет...

— ...своеобразным юридическим консультантом,— добавил Митя-Соловей и просил от собственной находки: — А консультантом по воровству, извините, кота позовем егеря... Как его?

— Монах,— сказал Башмаков.— И еще как-то зовут.

— Робинзоном,— подсказал Чернов.

— Это кличка, а фамилия как, фамилия?

— Кто его знает, Монах и Монах. Сколько уж годов один живет, на постной пище, без бабы, на острове...

— Хорошо.— Митя-Соловей поднялся за столом, почти не прибавившись в росте, и заключил: — Сегодня же я встречу с товарищем Мытаринным и егерем, изложу им суть дела...

— Пуговкина тоже надо позвать,— предложила Юрьевна.

— Кто это?

— Да Федя-Вася, участковым был до пенсии, старшина милицкий. Всех в Хмелевке знает, добросовестный, а мы, я чувствую, без дознавателя не обойдемся.

— Вы абсолютно правы, Клавдия Юрьевна, благодарю вас. Итак, приглашаем товарищей Мытарина, Пуговкина и егеря Монаха — фамилию я установлю — и через два дня собираемся здесь на первое официальное заседание.

— И Титкова,— напомнил Чернов.— Он же вроде ответчика.

— Да, да, спасибо за напоминание. Пригласим так же истцов и от-

² Положение о товарищеских судах.

ветчика. Но объявлять публично о заседании пока не будем, проведем, так сказать, закрытое рассмотрение жалобы. Впрочем, вряд ли дойдет до рассмотрения. Надо предварительно решить, можем ли мы вообще принять это дело. Ведь как бы ни были справедливы претензии истцов, удовлетворить их мы сможем лишь за счет ответчика, а мы еще не установили, кто ответчик и правоспособен ли он. Не так ли?

— Ты грамотный, понимаешь, тебе и карты в руки. Моя бы воля, так хоть сейчас того Титкова на боковую скамейку.

— Это если твоя,— сказал Чернов.— А мы разберемся. Пошли, Юрьевна. До свидания, Дмитрий Семенович.

IV

Как и договорились, первое заседание состоялось через два дня в том же составе с участием приглашенных: внушительного Мытарина, угрюмого, заросшего до глаз седым волосом егеря Шишова, щуплого, но полного скрытой энергии Пуговкина, ответчиков Титкова и его кота Адама, который сидел на коленях своего хозяина. Истцов представлял пока один Сеня Хромкин.

Председатель и члены суда разместились за столом, прочие — на скамейке перед столом. Открыл заседание, конечно, Митя-Соловей.

— Товарищи! — поднявшись, сказал он торжественно.— На этом заседании мы должны решить несколько необычный вопрос: принять ли к производству дело...— Он взял папку, куда уже переместилась жалоба Сени Хромкина, породившая это дело, и прочитал: — «...по обвинению кота по кличке Адам, возраст точно не установлен, масти тигровой, принадлежащего пенсионеру гражданину Титкову Андрону Мартемьяновичу, рождения 1902 года, члену профсоюза, под судом и следствием не состоявшему, в том, что он, вышеупомянутый кот Адам...» — простите, тут не очень грамотно, я потом отредактирую — «...душит цыплят, принадлежащих индивидуальным хозяевам, а также утят, как частных, так и совхозных». В деле имеется коллективное заявление граждан Ветровой, Маёшкиной, Буреломовой, Буреломова... Последних двух, извините, не знаю. Кто это, Буреломовы?

— Мы с Феней,— сказал Сеня смущенно.— Хромкины.

— Понял, благодарю вас. Извините, не знал, что Хромкин — ваша кличка, а не фамилия. Еще раз извините. Всего в заявлении тринадцать подписей, есть резолюция народного судьи Екатерины Алексеевны Мытаринной: «В товарищеский суд по месту жительства ответчика». Вот так.— Он положил перед собой папку и, как бы извиняясь, развел руками: — Как видите, нам предлагают разобрать это заявление, хотя ничего подобного мы до сих пор не рассматривали. Трудность, сами понимаете, заключается в том, что прямой ответчик — животное, не владеющее речью, его нельзя приравнять к гомо сапиенс, и поэтому трудно судить по человеческим законам.

— А по каким судить, по звериным?

— Не надо меня перебивать, гражданин Титков. Я ничего не утверждаю, я только публично советуюсь с членами товарищеского суда, ищу выход из необычной ситуации, и у меня есть некоторые предложения. В возникшей обстановке мне видятся два вопроса, составляющие основу данной проблемы, и если мы решим эти вопросы, то в конечном итоге решим и саму проблему.

Итак, вопрос первый: имелись ли подобные прецеденты в судебной практике человечества вообще и нашей социалистической в частности? Об этом нас проинформирует товарищ Мытарин Степан Яковлевич. Он, кстати, вполне сойдет у нас за юридического консультанта.

— Ну зачем так,— пробасил Мытарин.— Я просто из любительского интереса...

— Не скромничайте, не скромничайте, здесь все знают вашу любознательность, склонность собирать всякие редкие факты, эрудированность. Но пойдем дальше — вопрос второй: обладает ли ответчик кот Адам теми качествами, которые приближают его сколько-нибудь к человеку и позволяют считать хотя бы ограниченно правоспособным? Этот вопрос нам осветит егерь охотничьего хозяйства товарищ Шишов.

Бородатый Монах при упоминании своей фамилии пошевелил косматыми бровями, а присутствующие поглядели на него с удивлением: надо же, оказывается, и у этого отшельника есть фамилия!

— Итак, слово предоставляется товарищу Мытарину. А вас, Клавдия Юрьевна, прошу вести протокол.

— Уже веду. Какое заседание без протокола!

— Очень хорошо. Прошу внимания. Начинайте, пожалуйста.

Мытарин поднялся, развернул тетрадку и размеренно, громко стал читать. Видно было, что само чтение и сообщение этих сведений доставляет ему наслаждение.

— «В судебной практике суд над животными совершался во всех или почти во всех странах. Суд над животными был во Франции, в Италии, в Англии, в России, в Нидерландах, в Швеции и так далее. Животные при этом рассматривались как разумные существа и потому обязанные отвечать за свои проступки по общим законам».

— Ну насчет разумности, это зря, тут и доказывать нечего, — сказал Титков.

— Прошу не перебивать. — Митя-Соловей постучал карандашом по пустому графику. — Доказывать надо все, на то мы и суд. Продолжайте, пожалуйста.

— «В одна тысяча двести шестьдесят восьмом году в Париже, — продолжал Мытарин, — была приговорена к сожжению свинья за то, что съела ребенка. В тысяча четыреста девяносто девятом году в том же аббатстве было возбуждено аналогичное уголовное преследование против поросенка». Вот текст приговора: «Имея в виду, что по обстоятельствам дела, вытекающим из процесса, возбужденного прокурором аббатом монастыря, трехмесячный поросенок причинил смерть ребенку по имени Гилон, имевшему от роду полтора года, принимая во внимание данные следствия, проведенного прокурором, усмотрев и выслушав все, что касается указанного поросенка и обстоятельств дела, мы присудили его к казни через повешение. Изложенное дело с приложением малой печати уголовных дел девятнадцатого апреля тысяча четыреста девяносто девятого года...» В деле же имеется протокол объявления приговора поросенку перед исполнением казни...

Тут поднялась энергичная рука Феде-Васи и, когда председатель согласен кивнул, вскочил он сам:

— А правильный приговор? Неправильный, граждане. Поросенку сколько лет? Три месяца. Значит, что? А то: несовершеннолетний. Стало быть, его надо судить по какой статье? По другой! А они сразу высую меру закатили. Так нельзя. — И, огорченный, сел.

Мытарин пожал плечами:

— Теперь бесполезно об этом говорить, не поправишь, давность большая. Слушайте дальше: «Казнили по суду быков, собак и козлов. В семнадцатом веке судья одного австрийского города приговорил собаку к одиночному заключению. В России во второй половине семнадцатого века к ссылке в Сибирь был приговорен козел...»

— Охо-хо-хо-хо! — вздохнул Титков, глядя мурлыкающего у него на коленях Адама. — Вот сошлют в холодные страны, помурлыкаешь тогда!

— Не вышучивайте дела, гражданин Титков, это вас тоже касается.

— Почему меня? Я не кот.

— Не кот, но хозяин кота. Продолжайте, товарищ Мытарин.

— «Кроме уголовных процессов, существовали еще гражданские иски против мышей, крыс, кротов, гусениц и разных насекомых. В одном городе появилось множество червей, которые стали опустошать местность. Жители подали жалобу в суд. Суд дал ей ход и назначил ответчиком адвоката. По рассмотрении обстоятельств дела суд, признав, что указанные черви — создания бога, что они имеют право жить и было бы несправедливо лишать их возможности существования, постановил: назначить им местом жительства лесную, дикую местность, чтобы они могли отныне жить, не причиняя вреда обрабатываемым полям.

В тысяча четыреста семьдесят третьем году разбиралось дело о майских жуках перед духовным судом Лозанны. Один из священников прочитал жукам увещание: «Глупыя, неразумныя твари! Личинок майских жуков не было в Ноевом ковчеге. Во имя моего милосердного господина, епископа Лозаннского, повелеваю вам всем удалиться в продолжении шести дней со всех тех мест, где растет пища для людей и скота. Если же вы желаете обжаловать это решение, то я приглашаю вас на суд в шестой день в первый час пополудни, к моему милостивому господину епископу Лозаннскому в Вабельсбург». Майские жуки не явились на суд епископа. Тогда суд вынес приговор: «Мы, Бенедикт Монсеродский, епископ Лозаннский, выслушали жалобу против личинок майского жука, и так как вы не явились на суд, то мы изгоняем вас, отвратительные черви, и проклинаем».

Животных арестовывали, сажали в тюрьму и судили по всем правилам тогдашнего судопроизводства, причем им назначали адвоката. Знаменитый средневековый юрист Шасене, президент Прованского парламента, приобрел славу своей защитой крыс, которых призвал к ответу Отенский епископ. Шасене в защитительной речи начал с того, что не все крысы получили повестки в суд по причине разбросанности их жительства; во-вторых, заявил он, крысы не могли сами явиться из боязни кошек, сновавших по всем дорогам, и, наконец, потребовал, чтобы их судили не огулом, а каждую крысу в отдельности, персонально.

Бену Старший за время с тысяча сто двадцатого года до тысяча шестьсот сорок первого года насчитывает до семидесяти смертных приговоров различным животным — от осла до саранчи. В тысяча восемьсот девятнадцатом году в Бразилии судили муравейник, и как только он был отлучен от церкви, муравьев удалили из муравейника.

Во всех этих процессах заметны следы хотя и суеверного и детского, но возвышенного идеала равного для всех правосудия. Кроме того, в основе всех судебных обычаев того времени лежал и Моисеев закон о святости человеческой жизни. Существовало также убеждение, что животные, совершившие преступления, были одержимы бесами».

Мытарин закрыл тетрадь, с серьезной победоносностью оглядел слушателей и сел.

Первым в озадаченной тишине откликнулся Титков:

— Ну деятели: козла сослать в Сибирь — надо же!

— Несправедливо, — сказал Сеня Хромкин, вставая. — Животные, они живут не по нашим законам, а по природным, их нельзя с человеком сравнивать. А эти примеры, которые привел Степан Яковлевич, были в продолжительной давности веков, их тоже нельзя применять к нынешним животным, нашим современникам, поскольку эволюция развития.

— Можно или нельзя, на этот вопрос нам ответит егерь товарищ Шишов, — сказал Митя-Соловей. — Вы готовы, Шишов?

— А чего не готов, за два дня предупреждали, — мрачно сказал Моных, вставая со скамейки. — Я и книги про них читал и так по себе знаю, что они не дурее нас.

— Ну это, положим, ты зря, — обиделся Чернов.

— Почему? Здоровая самокритика,— усмехнулась Юрьевна, строя протокол.

— Не перебивайте, товарищи, так мы никогда не кончим. Прошу внимания. Пожалуйста, товарищ Шишов, продолжайте.

— А чего «пожалуйста», когда вызвали. Для того и пришел, чтобы говорить правду. Я про эти суды и законы не больно знаю, а про зверей-животных, про тварь всякую скажу прямо: умнее они нас, умнее всех людей, если хорошенько разобраться. У меня вот собака Дамка поранила разок лапу, я перевязал ее тряпкой, лечил, ухаживал за ней как за больной, и уж она привыкла так жить, а когда выздоровела и я крикну на нее, она опять начинает прихрамывать, больную из себя изображает... Хитрющая! А когда они с Мальвой две были, так ревность показывали. К примеру, поглажу я Мальву, а Дамка подходит, отталкивает ее и под мою руку лезет, чтобы я ее гладил, а не Мальву. Во-от! И в одной старой книжке я такие и другие разные случаи читал. Значит, не одни мои собаки такие умные. И память у них хорошая, приметливая. Куда бы ни зашли, где бы ни ходили, дорогу домой всегда найдут.

— У них на это нюх есть,— сказал Чернов.

— Нюх-то есть, да обратно мы идем другой дорогой, как же она нюхает! Или вот завяжи собаке глаза, увези хоть в Суходол, хоть в самый областной город — придет одна, найдет дорогу сама, спрашивать ни у кого не будет. Как? А так: у ней есть что-то такое, чего нету у Титкова, к примеру.

— Ну вот, с собакой уж меня равняют!

— Я не равняю, до собак нам далеко, чего равнять. Или вот лошади. Тоже помнят хоть дорогу, хоть свою конюшню, хозяина там или его бабу с детьми — всех знают, на добро добром отвечают. А попадись злой человек и начни он обижать лошадь, не забудет она обиды, уку-сить может, лягнуть, сбросить с себя. А память у них страшная. Я в одной книжке прочитал, автора Павлова Андрея Евгеньевича, как украинский мужик всю войну был ездовым на фронте. Мобилизовали его в первые дни войны какой-то архив везти на паре лошадей, а тут отступление, попал он в военную часть, так и остался. В каких только переплетах не побывал мужик со своими лошадьми, чего только им не приходилось возить, все вытерпели, все вынесли. И ранеными тоже были, контужеными. Но все же дотопали до конца войны и демобилизовались вместе с хозяином. И все четыре года помнили свое село, свою конюшню. Когда они возвратились в свой район, обе лошади забеспокоились, стали часто ржать, прибавили ходу. А когда до села осталось верст шесть, они вскачь понеслись, хозяин удержать не мог, и прямо в свою конюшню-развалюху! Во-от! И слова они понимают наши, отличают ругань от ласки или спокойствия, чувят, какой я нынче — сердитый или хороший. И собаки, и лошади, и коты с кошками. У меня вот Тарас есть, кот, в точности похожий на этого Адама...

— Может, сын,— предположил Мытарин, слушавший Монаха с большим интересом.

— Не знаю, сын или брат, а похожий. У-умный, сказать нельзя! У меня ноги болят, ступни и пальцы, я разок лег и положил его на ступни, чтоб грел. Он прыгнул — лежать неловко. Я опять его положил и говорю ему, уговариваю: «Полежи, Тарас, погрей малость, болят они у меня, мочи нету». Да так-то сделал раз, другой да третий — понял ведь, все понял мой Тарас и стал меня лечить своим теплом. Зимой приду, назябнусь и только лягу — он тут: вспрыгивает на койку, ложится на мои голые ноги, греет и мурлычет: отдыхай, мол, хозяин, лечи свои лапы всласть. Н-да. А сами они лечатся безо всяких врачей. У Дамки разок заболели глаза, так она весь остров мой оббегала, траву какую-то искала — не нашла, подбежала ко мне, скулит, к лодке ве-

дет. Ну, взял я лодку, повез ее в село, а она все равно скулит, к лесу морду воротит, лает в ту сторону. Ну, повернул к лесу, привез. Она сразу на берег, морду в траву — нюхает, ищет. С полчасика ходила, пока не нашла какую-то траву и стала ее есть. Поела и опять в лодку. Раз шесть мы ездили, и она ела ту траву и все эти дни пряталась от света на погребнице. Вылечилась ведь, ей-богу, вылечилась! А Тарас мой, когда запоносил, кору на дубе глодал. Сильно у него тогда брюхо болело, плакал даже...

— Ну, это уж вы слишком,— не сдержался сам председатель.— По-вашему, они и смеяться умеют?

— Умеют,— сказал непривычно воодушевленный Монах.— И смеяться и плакать они умеют не хуже нашего, только попусту, зря не скалятся и носом не хлюпают. Я разок видел, как лошадь плакала от бессилия. До колхозов еще, в единоличности. Нагрузил я воз дров, а дорога зимняя мягкая была, тяжелая, а тут на пригорышек надо въезжать. Она и пристала. Я молодой дурак был, сразу за кнут, ору на нее, хлещу, а она, милушка, и так, и эдак, и рывком, а сил не хватает. Я устал от ругани и хлестания, подошел спереди под уздцы взять, а она стоит, бедная, и слезы у ней по морде длинненькие, в два ручья, а в глазах обида, боль.— Монах вздохнул, помолчал, жалея о давнем своем проступке.— И насчет смеху не совру. Вот у Дамки щенята были. Пока слепые, они спокойные, насосутся и дрыхнут, а как прозрели да бегать начали — потешные, сказать нельзя! И вот Дамка лежит, глядит на них, как они друг с дружкой возятся, кувыркаются, хвостиками вертят, да засмеется. Ей-богу, правда! И глаза у ней в радости, и рот приоткрывается, и губы дрожат от смеха — потешные они ведь, щенята. Я и сам смеюсь на них гляючи. И Тарас умеет смеяться, сам видел.

— Адам тоже умеет,— ревниво сказал Титков.— Только не ржет, как дурак какой-нибудь, а улыбаются.

— А я об чем? И я об том же. И бобры вот еще. Вы видали, как они подтачивают осину? А я видал: каждый раз так, чтобы им ловчее потом на чурки ее распиливать, чтобы она упала удобно. А то хлопнется на другое дерево, зависнет, с земли не достанешь. Вот они и подгрызают дерево с одной стороны выше, с другой — ниже, да так, чтобы сразу все легко на землю поближе к берегу.

Или все роды. Всякий в крестьянстве видел, как телится корова, жеребится лошадь, щенится собака или котится кошка. Ведь лучше любой повитухи управляют, чище, ловчее! И воспитывает, кошка, к примеру, или собака своих детей с первого дня, с самого начала к порядку приучает. Кормит в одно и то же время, и не всегда так, не постоянно, а по возрасту. Пока слепые — один промежуток, побольше подрастут — другой, а взрослее станут — еще реже и тогда уж своей пищей с ними делится, а от титьки отучать начинает. У-умницы! А первые-то дни кошка ли, собака ли и детские болезни все учитывает, животы своим детям языком это... не просто лижут, а как бы не соврать, вот слово забыл...

— Массируют,— подсказал Мытарин.

— Во-во, массируют, разглаживают, если у кого он твердый.— Монах замолчал, чтобы передохнуть, вытер рукавом вспотевший лоб. Первый раз в жизни держал он такую большую речь публично.

— А ты молодец,— не удержалась сухая Юрьевна.— Говорили, молчун, нелюдим, а гляди-ка, взлетел куда — жаворонок!

— Да, да, спасибо, очень подробная информация,— сказал и Митя Соловей, ревниво воспринимавший такие похвалы.— У вас все?

— Как же все, когда про птиц ни словечка не говорил. Птицы тоже умные, не хуже других. Я в одной старой книжке читал про грачей, когда они гнезда строили. Одна молодая пара заленилась прутья на гнезда собирать и стала таскать из других гнезд, воровать. Сосед-

ние грачи увидели, бросили свои дела, собрались всей стаей, покричали, как у нас на собраниях, и потом заклевали тех грачей до смерти... Или вот вороны зайца ловили. Собрались стаей и гнали его до тех пор, пока он не устал и не лег, а потом заклевали и поделали. Во-от. А про перелетных птиц вы и сами знаете: собираются всем колхозом грачи, скворцы, утки, журавли, гуси, выбирают вожakov, как мы председателей, и летят, а вожак на это время полный хозяин. Его слушаются почище председателя. Или вот такой случай был. Лошадь ест из торбы овес, и, когда головой мотнет, овес просыпается на землю. Увидала такое дело ворона, подобрала овес — не наелась. Взлетела и на голову лошади села. Та замотала головой, овес просыпался, ворона подобрала его и опять на голову. Как же без разума догадаться!

Монах вытер потное лицо рукавом, помолчал.

— Ну что ж, пожалуй, достаточно, — сказал председатель. — Давайте подведем предварительные итоги. Или, может, есть у кого-то вопросы?

Руку поднял Сеня Хромкин:

— Я про петуха хотел сказать. Я раз заступился за соседского петуха, которого забивал другой, и вот он запомнил, соседский-то, каждый раз встречал меня в полугодовой продолжительности периода и всегда приветственно кукарекал.

— Это не вопрос, а дополнение, — сказал Митя-Соловей, — но все равно спасибо. Итак, к чему же мы пришли? Пока говорил товарищ Шишов, я тут резюмировал приводимые факты и получилось вот что. Звери, животные и птицы обладают памятью, привязанностью к человеку, благодарностью за добро, мстят за зло, они догадливы и рассудительны, понимают отдельные слова человеческой речи и даже тон, каким сказаны эти слова, они плачут, смеются, ревнут, порой коллективно охотятся, собираются в стаи при перелетах, то есть обладают чувством коллективизма и солидарности. Как говорил Дарвин, ничто человеческое не чуждо животному. Да вы садитесь, товарищ Шишов, садитесь. — Дождался, пока Монах сел на скамейку, и закончил: — Таким образом, в их действиях усматриваются зачатки разума, хотя по науке они таковым не обладают. Так, товарищ Шишов?

— Ага, — сказал Монах, опять поднимаясь. — Умные они, умнее людей. И честнее. Верные тоже. Я на свою Дамку смело дом оставляю — убей ее, чужого не пустит. И кошка свой дом не бросит.

— Значит, вы считаете, что их можно судить по нашим, человеческим законам?

— Считаю. По человеческим можно, по нечеловеческим, по неправде нельзя. Опять же и хозяин не должен стоять в стороне. Он, Адам-то, вон хвостом поматывает, вроде соглашается, а говорить не умеет, на него что хошь наклепать можно.

— Хорошо, садитесь. Кто еще хочет высказаться? У кого есть предложения?

Чернов озадаченно покачал седой головой: шутейное, на первый взгляд, дело оборачивалось серьезной натугой.

— Хватит, надо решать, — сказал Мытарин.

— У меня вопрос, — вскочил Сеня Хромкин. — Как мы признаем кота, домашним или хищным животным?

— Вопрос непростой. — Митя-Соловей раздумчиво пожевал губами. — Но в то же время и не очень сложный. Кошки, поскольку они не травоядные животные, относятся к отряду хищников, но в связи с тем, что они одомашнены человеком с древнейших времен, их следует считать домашними животными.

— Хищными домашними животными, — уточнил Мытарин. — Что касается их разумности, то известный ученый Гексли говорил — Мытарин раскрыл тетрадь с закладкой — так: «Неоспоримо, что низшие по-

звоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания считать органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы».

— Следовательно,— подытожил председатель,— дело к производству надо принять. Поскольку у человека есть разум, законы его разумны.

— Ра-азум! — усмехнулся Монах. — Какой разум, когда я с ружьем и собаками не могу лес сохранить. А он ведь всем нужен, не одному мне. И река тоже. И земля. Ра-азум...

— Товарищи, так мы никогда не кончим. Давайте закругляться. Вы что-то хотите сказать, гражданин Титков? Что вы все время молчите?

— Вы меня не спрашивали.— Титков даже не поднялся.— И гражданином вот называете — как подсудимого. Я не согласен.

— С чем вы не согласны?

— Чтобы Адама судить. Смех один, а не суд.

— А цыплята?! — крикнул Сеня обеспокоенно.— И утят он, говорят, душит. Значит, пускай и дальше разбойничает в безнаказанной свободе? Ты хозяин и должен отвечать по строгости.

— Это еще неизвестно про утят, я сам не видал. Опять же и запреты его держать нет закона. Или есть такой закон?

— Нет,— сказал Мытарин.— Держать запреты — значит, лишить его свободы без суда и следствия. На такую меру пресечения товарищеский суд не имеет права. Но ответственность с хозяина за жизнь отечка не снимается.

— Это что же, вы станете судить за одни и те же преступления и меня и kota? Не жирно будет?

Начался долгий спор о том, кого же все-таки судить — Адама или Титкова. Если Адама признать правоспособным, то Титкова судить нельзя, если же судить Титкова, то выходит, что Адам не правоспособный. После долгих дебатов решили признать Адама ограниченно правоспособным, а его хозяина — ответственным за действия своего kota в качестве хозяина или опекуна.

Существенное дополнение внес Федя-Вася. В деле по обвинению kota Адама и его хозяина, гражданина пенсионного возраста Титкова, есть что? Одна жалоба. Справедлива она? Неизвестно. Значит, надо что? Подтверждение фактов. Как это сделать? Материалами дознания или предварительного следствия.

— Я говорила, потребуется дознание.

— Но это, вероятно, усложнит дело?

— Усложнит или нет, иначе нельзя.

— Хорошо, принимаем и это. Благодарю вас. Теперь давайте подведем итоги нашего бурного заседания.

Официальное решение, закрепленное на бумаге, в окончательной редакции получило такую форму:

1. Признать kota по кличке Адам, серой масти, с тигровыми темными полосами, возрастом пяти лет, принадлежащего гражданину Титкову Андрону Мартемьяновичу, ограниченно правоспособным.

2. Принять к рассмотрению товарищеским судом при уличном комитете Новой Стройки рабочего поселка Хмелевка дело по обвинению вышеупомянутого kota в удушении цыплят из личных хозяйств граждан Хмелевки и утят с утководческой фермы совхоза «Волга», а также в хищении колбасы из продовольственного магазина райпотребсоюза и сливок из того же совхоза «Волга».

3. Поскольку вышеозначенный кот Адам как домашнее животное принадлежит пенсионеру гражданину Титкову А. М. и, принимая во

внимание, что подсудимый — хищное животное, не умеющее говорить на русском языке, привлечь гражданина Титкова Андрона Мартемьяновича, рождения 1902 года, члена профсоюза, под судом и следствием ранее не состоявшего, к суду по данному делу в качестве соответчика, не совершавшего преступлений вместе с котом Адамом, но не принявшего всех необходимых мер к предупреждению преступлений и к тому же несущего ответственность как хозяин ограниченно правоспособного ответчика.

4. В связи с недостаточностью улик, предъявленных товарищескому суду и полностью доказывающих вину обвиняемых, назначить дознание, которое поручить бывшему участковому инспектору отделения милиции, ныне пенсионеру гражданину Пуговкину Федору Васильевичу.

5. Обязать вышеупомянутого гражданина Пуговкина Ф. В. закончить дознание в срок до пяти дней. Для успешного проведения дознания рекомендовать ему широко оповестить население путем вывешивания объявлений в людных местах.

6. После завершения дознания, но не позднее десяти дней со дня поступления жалобы истцов, начать открытое рассмотрение дела с привлечением сторон, а также свидетелей.

Председатель товарищеского суда М. С. Взаимнообюднов.

Секретарь суда К. Ю. Ручьева.

Член суда И. К. Чернов.

v

Как говорил начальник хмелевской милиции подполковник Сухостроев, все трудящиеся, не исключая милиционеров, должны отбывать свои сроки жизни на земле примерно и с такой же добросовестностью, с какой отбывает старшина Пуговкин Федор Васильевич, в обиходе Федя-Вася. Он и на пенсии остался добросовестным энергичным человеком.

В тот же день, вернувшись с заседания, он поручил своей дочери Светке написать шесть объявлений, а вечером собственноручно расклеил их. Два у продуктовых магазинов и по одному у сельмага, автобусной остановки, на пристани, у Дома культуры. Все людные места были таким образом оповещены. Утром следующего дня Федя-Вася сколотил фанерный ящик и прибил его рядом с витриной районной сатиры «Не проходите мимо!». На ящик не забыл наклеить бумажку, извещавшую, что ящик предназначен для жалоб на кота Адама Титкова. На этом первая часть задания была выполнена и выполнена скоро, хорошо.

Ведь главное в любом деле что? Своевременность и добросовестность исполнения. А также качество работы. Почему? А потому, граждане, что одной добросовестности и быстроты мало, умение требуется. На какой вопрос отвечает умение? На вопрос «как»? Заметьте, не «что?», а «как?». Например, ты сбил — что? — ящик. А сбил ты его — как? — вкривь и вкось. Хорошо это? Плохо. И так в любом деле, а в таком деле, как следствие или дознание, еще хуже. Почему? А потому: если дознание провести плохо, то истинный виновник уйдет от наказания или будет наказан несправедливо. А что это значит? А это значит, граждане, что нашей жизни будет нанесен урон. Какой? Всякий: материальный — раз, моральный — два, политический — три. Потому что честные советские люди будут видеть, как распоясавшийся преступник продолжает похищать государственную собственность и безнаказанно позорить Советскую власть.

В Хмелевке все знали, что Федя-Вася — самый отчетливый человек, с ним пустые тары-бары не разведешь. И тем не менее обращались с ним по-свойски, звали Федей-Васей в глаза, убежденные в его незлобности. Федя-Вася родился и вырос здесь, его отец тоже был

смирным человеком, а по отцу судили и о сыне, хотя сын всю жизнь ходил в форме и широким милицейским ремнем навечно был пристегнут к великоватой для него кожаной кобуре. Сбоку у него до колен болталась командирская планшетка. Сейчас Федя-Вася ходил без погон и кобуры, но в той же форме, в сапогах, с планшеткой, и отношение к нему не изменилось.

Когда он, выполняя вторую часть задания, пришел в продмаг к толстухе Аньке Ветровой, та хоть и насторожилась, но, едва он открыл рот для объяснения, сказала, чтобы становился в очередь и соблюдал порядок, если сам был блюстителем. Был!

— Я по делу, гражданка Ветрова.

— И по делу — в очередь. Пока не отпущу покупателей, говорить не буду. Какое у тебя дело, если пенсионер!

Федя-Вася коварно улыбнулся и встал позади двух женщин, представляя, как уже через несколько минут семипудовая Анька выстелется лисой, завертит хвостом и станет величать его Федором Васильевичем или товарищем Пуговкиным.

И не ошибся. Когда покупательницы, отмахиваясь от мух, вышли, и Федя-Вася сообщил о цели своего посещения, Анька пушинкой перелетела к двери, мигом накинула крючок и провела гостя на другую половину магазина, на складскую.

— Да что же вы прямо-то не сказали, товарищ Пуговкин, зачем же в очереди-то стоять! Всех не переждешь, они идут и идут до самого закрытия, а мужики, те и после закрытия стучатся. Вот тут садитесь, вот здесь, у стола, а я с того конца примошусь, с краешку. И как же быстро с жалобой-то, мы в понедельник только написали, Феня еще смеялась, что ката, мол, арестуют, а чего смеяться, когда у меня шестнадцать килограммов краковской колбасы не хватает, а у Клавки Маёшкиной — целой фляги сливок. В ней, во фляге-то, тридцать с лишним литров...

Федя-Вася сел за стол, не торопясь раскрыл планшетку, достал оттуда двухзарядную ручку и школьную тетрадку, а из кармана очки, вооружился и нацелился на румяную Аньку. Она сразу замолчала, будто ее выключили.

— Скажите, гражданка Ветрова, при каких обстоятельствах кот гражданина Титкова съел у вас шестнадцать килограмм колбасы? И кем это подтверждается?

— Да как же, Федор Василич, не подтверждается, когда сама видала. Лазит сюда с весны через форточку, когда я там торгую. И ревизия у меня была первого числа, остатки снимали. Я пятьдесят девять рубликов и двадцать копеечек своих вложила. Как же не подтверждается! Колбаса дорогая, по три семьдесят за кило. Вот и считайте.

Федя-Вася перемножил 3.70 на 16, получилось действительно 59.20, Анька не соврала.

— А больше он ничего не ел?

— Больше ничего. Масло лизал, но немного, это уж я не считаю за убыток.

— Как же не считаете, когда оно тоже в недостачу входит? А если входит, то колбасы он съел меньше.

— Я же сказала — немного, самую малость, Федор Василич.

— Так и запишем. — Федя-Вася записал, чувствуя на себе угодливый взгляд Аньки, и опять наставил на нее очки в черной оправе: — Вы уверены, что колбасу ел именно кот Адам, а не какой-то другой? Он ведь живет на Новой Стройке, отсюда два километра.

— Он, Федор Василич, он, больше некому! Полосатый, как тигр, большой, серый, его в клетке держать, а не на воле. Я же недалеко от Титкова живу, видала его не раз.

Федя-Вася записал и эти показания, оглядел складское помещение, укоризненно покачал головой: продукты свалены как попало, порядку нет, в углу насорена манная крупа, вытекающая из худого мешка, пахнет мышами, летают мухи. И на торговой половине мух много, несмотря на липкую бумагу, свисающую с абажура. Анька все поняла, кинулась прибираться, показывая, какая она заботливая.

— Недавно продукты получала, Федор Василич, не успела, покупательницы одолели. Знала бы, что придете, у меня бы тут как в церкви было. А крупа насорилась от мышей. Прогрызли мешок, паразиты, зашить не успела. С утра до ночи на ногах, уборщицей у меня ваша меньших Света, девка, конечно, грамотная, с аттестатом, подчёрк красивый, а сами знаете, Федор Василич, какие они работницы, наши грамотейки-то. Им бы только танцы да кино, а как пол помыть, так вроде брезгуют, не нагнутся. Я не в укор, Федор Василич, ты не думай, у меня у самой такая же, четвертый год в институт готовится. А неужто поступит, когда в синих срамных штанах ходит, в джинсах — они же как фанерные, не гнутся, в них только стоять да лежать. Вот она и лежит целыми днями с книжкой, а вечером где-то шлендаст с Витяем Шатуновым. Это что же такое творится, Федор Василич, а! Парню уж тридцать, поди, если не больше, а котует направо, волосы до плеч, как у бабы, и тоже в этих фанерных брюках. И ведь не один он — сплошь такие. Подвиньтесь в сторонку, я тут запахну. Светка ваша тоже. Где вот она ходит? Два дня уж не была на работе. Во вторник говорю ей: «Света, завтра надо полы помыть». А она: перебежусь, говорит, тетя Аня, в субботу помоем. Вчера встретила ее у колонки, напомнила, а она говорит: до субботы далеко, дел под завязку, отец объявления велел написать, отца я не могу послушаться. Дома-то, значит, вы ее в ежовых рукавицах держите. А я что, безмужняя баба, одна...

Федя-Вася был польщен такой доверительностью и уважением, хотя знал Аньку наизусть, изредка поглядывал на нее, шаркающую сухим венником, и всякий раз смущенно вздыхал, потому что видел ее туго натянутое платье, не способное хранить никаких тайн.

В старости только и остается глядеть да вздыхать, хотя и в молодости Федя-Вася не шел далеко, знал только свою жену Матрену, строгую, худую, жилистую, но зато высокую, на целую голову выше его самого. Когда ухаживал за ней, ребята смеялись: ты, мол, табуретку с собой бери или на завалинку вставай, а то целоваться не достанешь. И Матрена сперва стыдилась ходить с ним на люди, но Федя-Вася был уже в синей форме, при кобуре, и она со временем привыкла.

— У меня коньячок есть, — наметнула Анька, бросив венник в угол и повернувшись наконец-то к нему лицом. — Армянский, Федор Василич.

— Не могу, Анна Петровна, ты знаешь.

— Знаю, Федор Василич, как не знать. Ты всю жизнь будто святой...

— Распишись вот здесь. — Федя-Вася пододвинул к ней тетрадку и протянул ручку.

Анька взяла тетрадку, села за стол и, шевеля губами, принялась читать. Дочитывая, стала алеть, наливаясь краской, пока не сделала пунцовой и не бросила тетрадку.

— За что же ты, Федор Василич, неряхой-то меня выставил? При тебе же убиралась. И Светка твоя виновата.

— К Светке нынче же приму меры. А записывай я твои собственные слова.

— Да я же по-свойски тебе, Федор Василич, по-свойски!

— А суд у нас какой? Свойский, товарищеский, Митя-Соловей за судью.

— Да? — Анька опять взяла тетрадку, подумала. — А может, вычеркнем, Федор Василич? У меня копченая рыбка есть, осетринки немного, а? Для начальства только держу, никому не показываю.

Федя-Вася встал:

— Взятку, да? Подписывай, а то в отделение сведу!

Анька сердито подмахнула свои показания, подала тетрадку и ручку, принужденно улыбнулась:

— Я же по-свойски, Федор Василич, в подарок тебе, в благодарность. Ты же теперь не при должности...

Федя-Вася сложил писчие орудия в планшетку, закрыл ее и вышел черным ходом, сердито хлопнув дверью.

До чего распустились люди — до взяток! Строгости нет, потому что стыд забыли. И новый участковый тоже. Погоны носит какие? Лейтенантские. А понятия какие? Штатские. Даже младший сержант, даже рядовой милиционер не должен принимать от продавца бесплатную выпивку! Почему? Да потому что с этой выпивкой ты к жулику в долю войдешь, соучастником станешь, долг свой забудешь...

На улице было солнечно, жарко и пыльно, несмотря на зеленые палисады у каждого дома и близкое водохранилище. Пыль подымали подростки на мопедах, они же производили ненужный пронзительный шум и бензиновую вонь — летали с пулеметным треском, как оглашенные, и неизвестно почему радостные. Носятся все лето, пока их не загонят в школы и не посадят за парты.

До конца дня Федя-Вася побывал во всех торговых точках и сходил в райздравотдел, где побеседовал с долгоносим врачом Илиади, который, выйдя на пенсию, затосковал и опять определился на службу — теперь на санитарную. Илиади принял отставного участкового внимательно, зафиксировал его наблюдения в настольном календаре и высказал сомнения насчет коты и колбасы. Слишком уж большое количество, надо разобраться тщательней.

— А если мыши? — предположил Федя-Вася.

— На мышей она уже списала и огрызки колбасы представила в доказательство. Крупы списывала, муку, лавровый лист. Во втором магазине на Новой Стройке тоже списывали на мышей, на усушку-утруску, на бой при транспортировке — это уж винно-водочные изделия и растительное масло в стеклянной расфасовке. Они тоже на коты жалуются?

— Из второго магазина? Нет. А вот гражданка Маёшкина, заведующая сепараторным пунктом совхоза, заявила на флягу сливок. Будто по вине коты.

— То есть?

— Не знаю. Написано, что она за сливки платить не будет, поскольку виноват кот. Завтра я расследую. А вас прошу подготовиться насчет санитарности, шума и пыли. Вызовем в суд.

— Бесплезно. — Илиади вытер платком лысину и откинулся на спинку стула. — Я сорок лет работаю врачом, товарищ Пуговкин, и знаю, что все дело в людях, в человеке вообще, в его природе. Ваш обвиняемый Титков, например, всю жизнь воюет с частной собственностью, между тем частников у нас нет уже полвека. Не может он остановиться от первоначального толчка, не может погасить инерцию. Кстати, вы там не очень наседайте, в последние годы он стал запивать, причем меры не знает и, когда перепьет, заговаривается. Я когда работал в больнице, дважды выводил его из такого неприятного состояния.

— Ничего ему не сделается. Он кто? Обвиняемый? Обвиняемый. И должен отвечать по закону.

— Видите, вы тоже такой: внедрили в вас определенную функцию, вы и действуете соответственно. То есть я хочу сказать, что такое по-

ведение — в природе человека. Человек же, грубо говоря, состоит из трех частей. Поняли?

— Не понял, но сочувствую. До свидания на суде.

Об этих трех частях в человеке Илиады тоже всю жизнь говорит и никак не кончит. Почему? А характер такой потому что. От учености это, от большой грамотности. Ученые, они любят все разделить на мелкие части, всю нашу жизнь. Вот только соберут ли потом эти части в одно целое, неизвестно. А разобрали уже многое...

На другой день Федя-Вася побывал в районной столовой, где тоже сказали, что какая-то полосатая кошка или кот разбойничает. На прошлой неделе пропал кусок сала килограмма на два, в понедельник курица, вчера — две курицы. В меню была куриная суп-лапша, хватились кур — нету. Прямо беда. Составили акт на списание. Вот возьмите копию, если хотите.

Заведующая столовой и повариха были женщины тихие, глядели на него чистыми голубыми глазами, и Федя-Вася задумался. Возможно, не все люди распустились, хотя прежний порядок, когда он был участковым, утрачен. Но кошек все равно нельзя оправдывать. Почему? А заелись потому что. Прежде кусочек хлеба под стол кинешь — жрет, мурлычет, рада. А теперь колбасу им подавай, мясо. Ишь какие стали! Ловите мышей, на то вы и кошки. Каждая тварь для своей должности создана.

В этой мысли он полностью утвердился, когда встретился с Клавкой Маёшкиной на сепараторном пункте. Он знал, что Клавка нечиста на руку, за это Заботкин и вытурил из торговли, взял на ее место Аньку Ветрову, которая тогда заведовала сепараторным пунктом. Сменили кукушку на ястреба. Клавка запросто могла сказать и не сморгнуть, что кот слопал тридцать два килограмма сливок. Скажи она так, Федя-Вася сразу бы уличил ее во лжи, но Клавка так же сказала и вообще повела себя непривычно. И сама она была очень уж опрятной, в снежно-белом халате, в такой же непорочной косынке, губы подкрашены, ладные ноги облиты гладким капроном золотистого загара, туфельки модные, и ни крику, ни ругани — вежливая, деловитая. Федя-Вася растерялся от такого невозможного превращения, но потом вспомнил, что Клавка влюблена в Митю-Соловья, и такой она стала, значит, после его дрессировки. Почему? А потому, что когда баба любит, а женой еще не стала, она того мужика слушается, как бога, и ведет себя примерно. А как должна вести себя баба, которая полюбила вежливого Митю-Соловья? Тоже вежливо, благородно, иначе затылок об затылок, как говорится, и кто дальше улетит.

— Извините, товарищ Пуговкин, но к нам без халата нельзя, — сказала Клавка, заступив ему дорогу. — Подождите меня в конторе или переоденьтесь. Халаты в шкафу.

Пораженный Федя-Вася отступил, зашел в соседнюю комнату и осмотрелся. Тоже чисто, на белых стенах разноцветные плакаты и нужные лозунги, полка с новинками политической литературы, на столе две папки, конторские счета и письменный прибор в форме ракеты, у окна на тумбочке — радиола и стопка пластинок в конвертах, вдоль стен — полумягкие стулья, в углу шкаф. Культурно, хорошо. Федя-Вася не поленился, открыл шкаф — да, на плечиках висели раз, два, три, четыре белых халата, а в другом отделении два халата темных и под ними стоят две пары резиновых, отливающих глянец сапог.

— Проходите к столу, товарищ Пуговкин, — предложила Клавка, и Федя-Вася, вздрогнув, обернулся. Прежде за версту было слышно, как она идет, а тут будто кошка подкралась. А когда села за стол, а Федя-Вася — напротив нее, чувствуя себя просителем, произнесла невообразимое: — Слушаю вас, товарищ Пуговкин.

Надо же — Клавка кого-то слушает! Сроду за ней такого не было,

а если нарывалась на строгого человека или большого начальника, просто замолкала на время, но не слушала, а ждала, когда тот кончит свои внушения, и бросалась в атаку. Даже тогда, когда она, кругом виноватая, судилась со вторым мужем, она тоже никого не слушала и сумела выкрутиться.

Федя-Вася, веря и не веря, осторожно изложил свои соображения по поводу коллективной жалобы и конкретные сомнения в том, что кот Адам съел у нее тридцать два килограмма сливок.

— В заявлении не написано, что съел,— спокойно возразила Клавка и поднялась.— Идемте, я покажу и объясню.

Привела его в следующую за конторой комнату, заставленную молочными флягами, показала на подоконник, где стояла керосиновая лампа:

— Видите? Кот прыгнул из форточки и опрокинул лампу прямо во флягу. Ее только что принесли, и я ходила за марлей, чтобы завязать. И вдруг слышу грохот. Прибегаю и глазам не верю: стекло разбилось, осколки и керосин в сливках, их же не отделишь, запах не отобьешь, пропала вся фляга! Теперь понятно?

Федя-Вася наконец очнулся.

— Понятно, но не все. Ответьте мне, гражданка Маёшкина, на такие вопросы: зачем тут лампа? как вытек керосин, если она завернута? кто видел того кота и когда?

— Я же говорю, сама видела. Мы с помощницей, с вашей старшей дочерью Аллой, внесли флягу из-под сепаратора, и я пошла за марлей, чтобы плотнее закрыть крышку. А он в это время и заявился. Большой, полосатый. Дверь открываю, а он прыг между ног и деру. А без лампы нельзя, везде держат, не я одна. Вдруг свет погаснет. Сколько уж раз выключали во время работы. И насчет головки не вру. Лампа старая, резьба у ней плохая, головка чуть держится.

Клавка всегда была красивой, а сейчас, в белом-то халате, в модных туфлях и в капроне — глаз не отведешь. И вид огорченный, грустный — так ей жалко совхозных сливок, что успокоить хочется, пожалеть. Ведь и Алка была свидетелем, чего же еще!

Федя-Вася записал показания, Клавка расписалась, вежливо поблагодарила и проводила, показав ему вслед язык. Если бы Федя-Вася увидел этот ее прежний длинный, как у собаки в жару, язык, он не поверил бы ни одному ее слову и подумал бы, что у Клавки прорезался талант лицедейки и она стала еще хуже, чем когда была продавщицей. Но экс-участковый не видел ни опасного ее языка, ни торжествующего лица, от души радовался исправлению непутевой бабы и думал, что Митя-Соловей настоящий молодец, а мерзавцу Титкову и его коту придется отвечать по всей строгости. Если в древние времена судили разных скотов, то и в нынешние полосатому Адаму не отвертеться. Запросто хвост отрубят, а то и повесят. Шкура у него красивая, большая, шапку можно сшить. А Титкова надо хорошенько оштрафовать, чтобы другим неповадно было, чтобы глядели за своим домашним скотом и не чинили родной Хмелевке никакого урону.

VI

За первые два дня, пока Федя-Вася проводил дознание, его объявления развеселили всю Хмелевку и сделали кота и его хозяина самыми популярными. О них говорили в магазинах, в столовой, в пельменной, в забегаловке «Голубой Дунай», на хитром базаре неподалеку от автобусной остановки, на самой этой остановке и в автобусах, на водной станции, на пристани, на местных теплоходах, в мастерских Сельхозтехники, в совхозной конторе, в отделении Госбанка, в Доме культуры и у кассы кинотеатра, в коммунальной бане, в пром- и пище-

комбинатах, во всех районных учреждениях. Иван Никитич Балагуров, начальник райсельхозуправления, смеялся особенно весело, а потом позвонил Огольцову, районному прокурору.

— Послушай, Огольцов, ты знаешь, что на Новой Стройке собираются судить кота? — И опять залился так, что розовая бритая голова покрылась испариной.

— Слышал, — ответил тот. — Думаю, ничего серьезного, пенсионеры развлекаются.

— Значит, выступать на этом процессе не будешь?

— Зачем? Там же товарищеский суд.

— В порядке надзора.

— Для этого есть общественные советы по работе товарищеских судов, исполкомы поселковый и районный.

— Значит, устранишься, на Совет валишь?

— Но это же их дело, Иван Никитич! Есть Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, есть соответствующее Положение о товарищеских судах...

— Ладно, трудись. — И Балагуров перезвонил своему заму главному агроному Межову, который тоже не отличался веселостью, но все же чувствовал и ценил юмор.

— По-моему, это должно быть забавно, — ответил Межов. — Там Юрьевна в секретарях, надо ее спросить. Или Мытарина.

— Ну-у! — возрадовался Балагуров. — Неужто и Мытарин подключился?

— Говорят, он у них каким-то консультантом.

— Теперь понятно, почему такая каша заварилась. Только бы не пересолил он там. Кто у них председатель, не знаешь?

— Взаимнообоюднов. Митя-Соловей по-уличному.

— Ну-у! Вот, поди, заливается и регламента не соблюдает. Так? Нет?

— Да, позаседать он любит.

— А наши газетчики как?

— По-моему, они не знают. Я сегодня встречался с Колокольцевым, он разослал своих сотрудников по району готовность к сенокосу проверить и ничего такого о суде даже не намекнул.

— Вот это да: вся Хмелевка знает, газетчики не знают! У них же Мухин с Комаровским давно в фельетонисты лезут, они-то куда глядят?

— Не знаю. Возможно, посчитали это дело пустым, зряшным.

— Может, они и правы. Пускай пенсионеры повеселятся. Чем бы дитя ни тешилось...

И они перешли к серьезным текущим делам.

А Федя-Вася, досрочно закончив дознание, на третий день решил посмотреть свой ящик для жалоб и тут обнаружил, что допустил непростительную ошибку: сбил ящик наглухо, без дверки. Пришлось его снимать, нести домой, отрывать крышку. Занимаясь этим, он подумал, что главное в любом деле не только добросовестность и качество, но еще и предусмотрительность. Почему? А потому — вперед глядеть надо. Ящик сбит прочно и так, чтобы никакой длинноволосый охламон, шутки ради, не мог его открыть. И вот теперь мучайся, если не подумал, что самому-то тоже открывать надо.

С большим трудом, но крышку Федя-Вася все же отодрал, хоть и расколочил ее, придется делать новую. Правда, старался не зря — ящик был полон разнообразных документов: жалоб, заявлений, докладных, писем, записок и просто бумажек, свернутых как попало, без понятия.

Федя-Вася рассортировал их по жанрам — заявление к заявлению, жалобу к жалобе и так дальше, а потом включил уют и аккуратно, через газету, стал разглаживать. Потом, надев очки, принялся читать.

Были тут и зубоскальные письма и записки, которые он откладывал как не стоящие внимания, но было много жалоб и заявлений, требующих обстоятельного разбора. Например, в одном заявлении говорилось, что кошка виновата в антисанитарном состоянии, где таковое имеется. Хмелевка — поселок красивый, зеленый, но кое-где много мух. Факт? Факт. А где причина? Если подумать, то причина найдется. Мухи от чего? От крошек. Крошки от чего? От мышей. Мыши от чего? Коты не ловят. А также кошки. Почему не ловят? Колбасу жрут потому что. Сметану. Сало. Кур из столовой для трудящихся. Факты же, куда от них денешься? Надо с ними разобраться? Надо. Вот суд и разберет.

Были здесь и жалобы непонятные, но серьезные, от которых не отмахнешься. Например, свекровь и сноха Одноуховы просили разобраться насчет квартиры, потому что вместе жить не могут, нужна отдельная комната или однокомнатная квартира для свекрови, сколько же можно писать и жаловаться, сил нет.

Шофер Виктор Шатунов сообщал, что ГАИ лишило его водительских прав, хотя он не виновен, потому что аварийная ситуация создавалась не по его вине, а он расплачивается. И за ремонт грузовика плати, и за сломанную липку, и права отняли, слесарем вкальвать приходится.

Федя-Вася знал Витя Шатунова как облупленного, но жалоба есть документ, а документ должен быть в деле. К тому же Витя действительно ходил две недели без прав и все знали, что он врезался на Новой Стройке в десятилетнюю липу и сломал ее.

Но при чем тут кот? Может ли он создать аварийную ситуацию? Если подумать хорошенько, то может, и, значит, Витя не врет, потому что авария случилась на Новой Стройке. А где живет кот Адам? Там же, на той же улице.

Федя-Вася сложил бумажки в планшетку и принялся делать откидную крышку для ящика. Надо его опять повесить, могут поступить другие жалобы.

Крышку он сделал на прочных оконных шарнирах, в середине прорезал отверстие, а с левой стороны поставил металлические петли и закрыл висячим замком. Вот бы сразу так-то сделать, не возился бы целый день с ящиком да с бумагой. И руки с непривычки отбил. Но все, видно, приходит с опытом.

Вечером Федя-Вася повесил ящик на место и на обратном пути встретил у кинотеатра свою Светку с Витяем Шатуновым — оба в джинсах, в одинаковых рубашках, на Светке тоже мужская и тоже подвернуты рукава, оба длинноволосые и оба с сигаретами во рту. Надо же! Федя-Вася оторопел от негодования. Светка курит! И как это она бегаёт с Витяем, если Анька Ветрова говорила, что он с ее дочерью ходит?

— Стойте! — Федя-Вася решительно загородил им дорогу. Светка бросила сигаретку под ноги и наступила на нее босоножкой. — А ну отойдем в сторонку!

— Дядя Федя, не арестовывай, в кино опоздаем, — сказал Витя, ослепляя улыбкой.

И Светка, сопливка, тоже:

— Три минуты до начала, пап, чего ты выскочил!

— Я тебе дам «чево»! В магазине полы помыть некогда, а тут курить вздумала...

— Да она так, дядя Федя, балуется.

— Тебя не спрашивают, охламон. Ты тоже, видать, балуешь с жалобой-то. Идем допрос сниму.

— Какой допрос? Насчет шоферских прав, что ли? Я для суда писал, пусть суд и разбирается. Бежим, Свет.

— Стой! — Федя-Вася поднял руку. — Зови свою Ветрову, а к моей Светке не касайся, понял!

— Па-ап, чего ты, мы же втроем дружим.

— Второе-ом?!

— Ну. Погляди вон — у кассы она, билеты нам покупает. Бежим, Вить... — И рванула с места, как молодая кобылка, а Витяй за ней.

Федя-Вася вскипел от негодования. Надо же, они дружат втроем! Утешила отца! И непонятно, откуда взялся такой Витяй. Отец у него, Парфений Иванович Шатунов, первейший рыбак всего района, целую бригаду возглавлял до пенсии, мать Пелагея, несмотря на пожилой возраст, передовая птичница совхоза. И родители их, то есть дед и бабка Витяя, были правильными, смирными людьми. Откуда же несоответствие Витяя? Неизвестно. А на всякий вопрос должен быть краткий и точный ответ.

Чтобы успокоиться, Федя-Вася побежал к Алке, старшей своей дочери. Там душа сразу на место уляжется, только квартиру их увидишь. В новом доме потому что, с городскими удобствами: краник открой — холодная вода, другой отверни — горячая, третий, четвертый на плите — газ, бери спички, зажигай, ставь, вари что? Все, что пожелаешь: уху, щи, похлебку, кашу, картошку и так дальше.

Алла встретила его сердито. Она торопилась с ужином, приготовила, а муж, видно, опять будет торчать в своей мастерской до полуночи, жди его, подогревай каждый раз.

И эта дочь пошла лицом и статью в мать: рослая, стройная, только после родов расплнела, налилась как помидорина. А вырядилась тоже в лняные джинсы, а за ноги хватается годовалый Гришанька и плачет, срываясь и падая. Он хочет поймать ее за штаны, но никак не может ухватиться — ручки скользят по натянутой грубой материи, как по дереву.

— Дурица! — не сдержался Федя-Вася, хлестнув ее по заду ладонью. — Хоть бы дома-то сняла эти портки! — И подхватил с пола мокренького внучонка, но тот заревел еще пуще.

Алка, краснея от гнева, вырвала у него Гришаньку и заорала, тесня отца к двери:

— Учить заявился?! Ты, может, и материну юбку мне принес? Сейчас надену — подолом полы мести!

Федя-Вася плюнул с досады и вышел.

Вот они как нынче с родителями-то! И это о чем? О материнской юбке! А эта юбка помогает ребенку что? Ходить, вставать, садиться, устойчивость ему внушает, надежность и доброту. Почему? А потому, что юбка эта поддержкой служит в детское время, когда у ребенка основы закладываются. Какие? Главные: характера, природы. Завтра же доложить об этом в суде, пусть учтут.

Дома Федя-Вася дал разгон своей Матрене.

Почему? А потому, чтобы глядела за дочерьми, не потакала. Ишь, и Светку вырядила в эти портки, денег дала — иди, дочка, обжимайся с Витяем. Он в Хмелевке всех девок уж перебрал, а теперь и Светка. Втроем, говорит, дружим. Знаю, как они дружат. Нынче втроем, завтра вдвоем, а послезавтра жди внучонка. Чего вытаращишься, язык проглотила?

— Уймись, — приказала Матрена. — Ты в любовных делах ничего не знаешь. И в других делах ничего не знаешь, если следствие на kota ведешь. Уймись. Я сама с дочерьми разберусь. Алку замуж отдала с двумя подушками и тканевым одеялом и Светку отдам не в одних этих штанах.

Федя-Вася плюнул и отступился: он знал крутой нрав своей Матрены. Разозлишь, а потом самому же и попадет ни за что. Бабы, они какие? А такие: без тормозов. И, как говорил тот же балбес Витяй, зажигание у них позднее. Почему? А это уж и народный суд не разберет, не только товарищеский. И участковому старшине тут нечего делать. Товарищ Сухостоев вон подполковник милиции, а когда запаздывает

домой хоть на полчаса — звонит своей супруге: извини, дорогая, задерживаюсь, у нас тут происшествие, дома объясню подробно. Вот как! Без объяснения, глядишь, и домой подполковника не пустят.

Федя-Вася лег спать, а утром, после завтрака, не разговаривая ни с Матреной, ни со Светкой, понес документы в товарищеский суд. На его счастье, встретился на телеге Сеня Хромкин — вез из мастерской какие-то железки на уткоферму, — и с ним Федя-Вася отвел душу. Почему с ним? А потому, что Сеня чуткий, никакой корысти, сразу заметил его расстройство и предложил подвезти, хотя ему было не по пути. К тому же у Сени есть свой персональный взгляд на нашу текущую жизнь. Можно с таким человеком поделиться? Неужто нет. Любой неприятностью, даже горем. Сеня все рассудит с философской точки зрения и поймет как надо. Многие над ним смеются, но такие и надо мной смеются, а серьезности моей не понимают.

И Федя-Вася, сидя рядышком, как родной брат, такой же маленький, смиренный, пожаловался на неслушницу Светку, на Витя и на всю нынешнюю молодежь, не знающую укорота, не ведающую стыда и боязни. Про Алку он потом доложит председателю суда.

Лошадь шла шагом, отмахиваясь хвостом от мух, и Сеня не погонял ее, не отвлекался, сочувственно слушал. А выслушав, почесал потылицу, сдвинув на глаза кепку, едва прикрывавшую его большую плешивую голову.

— Согласен со мной? — спросил Федя-Вася, чувствуя облегчение от того, что высказался перед хорошим человеком.

— В общем виде согласен, — сказал Сеня. — Жизнь нашей современности идет по плану прочности созидания. И молодое поколение другое, правильно. Только вот насчет стыда и боязни у меня к вам сомнения. Народная пословица гласит: в ком страх, в том и стыд. И вот я думаю, если пословица правильна, а держать людей смолоду в страхе нехорошо, то насчет стыда надо задуматься поглубже, с философской точки зрения. Стыд разный бывает, и люди к нему относятся по-разному, согласно понимания сущности соображения. Вот моя дочь Роза, например, тоже имеет красивый внешний облик, вся в мать, в точности Феня в истекшие годы молодости. Только Феня имеет наличие характера огненное, ничего не боялась и не боится, а Роза кругом смиренная. Ну вот. Теперь давайте вспомним, как они одеваются. Смелая Феня ни за что не покажется на улице в короткой юбке с голыми коленками, а у смиренной, стеснительной Розы мы видим обтянутые джинсы. Или вот ваша дочь Алла. В такую узость плотных штанов влезает, что удивляешься. А твоя Матрена в прошедшей молодости так ходила?

— Тогда другая мода была, беднее жили. А сейчас мы видим что? Сейчас мы видим сплошное провокаторство женского обмундирования.

— Согласен с вами, Федор Васильевич. Но давайте посмотрим на моду с экономической точки зрения общественности. Жили беднее, а юбки шили протяженной длинноты, до полу, широкие, с напрасными складками материи. Из такой юбочной распространенности для Розы или для твоей Светланы выйдет пять юбок аккуратной нормальности. И тулупы носили до пяток, воротники выше одетой в шапку головы. Если с экономической точки, то нет ни разума соображения экономии, ни толку. Ходить в такой несурзости длины, собирать подолом пыль и грязь плохо в санитарном отношении правил. И работать тоже неудобно. Или вот деньги для необходимости нужд жизни. В войну и два с лишним года после нее мы вели счет на похудевшие, усталые тысячи, во время гражданской — на изможденные миллионы голодных рублей, а купить на те тысячи и миллионы в рассуждении бытовых нужд было нечего. Сейчас на десятку больше купишь. Зачем же, спрашивается, в богатой жизни — червонцы и рубли, а в бедной миллионы и тысячи?

— Зачем?

— Для утешения быстротечной жизни людей. И время было другое, Федор Васильевич.

— Я же говорил про время, Сеня!

— Говорил, но неправильно, не с философской точки зрения.

— Как так?

— Без глубины познания. А если глубже взглянуть, то с народной мудростью можно согласиться во взаимности признания и Светлану с Витяем не обвинять окончательным судом. Если у них нет боязни наших правил моды и они живут в просторности, то и стыд молодой души у них просторней, чем у нас, потому что боязни нету. Согласен со мной, Федор Васильевич?

— Насчет Светки согласен, насчет Витяя нет. Почему? А потому: жениться давно пора, а он молодых девок смущает.

— По одному моральному человеку определить всю молодежь нельзя, рассуждение надо вести от общего к частному, по-философски. К тому же вопрос женитьбы Витяя — его внутреннее дело. А исключения везде бывают, из любых правил.

— Насчет исключений согласен.

Федя-Вася совсем успокоился и, подумав немного, решил помириться с Матреной и дочерьми. Вот еще насчет курения бы поговорить, но придется в другой раз — они уже подъезжали к восьмиквартирному коммунальному дому. Федя поблагодарил Сеню, спрыгнул на ходу с телеги и, поправив пузатую от бумаг планшетку, пошел в уличный комитет.

VII

Протоколы Феди-Васи были признаны достаточными, и на другой день в 18.00 Митя-Соловей открыл второе заседание товарищеского суда. На этот раз, кроме судей и ответчиков, пришли истцы Сеня Хромкин, его жена Феня по прозвищу Цыганка и соседка их Пелагея Шатунова без прозвища, — эту функцию для всей их семьи хмелеццы возложили на фамилию. У порога толпились жильцы восьмиквартирного дома — эти из любопытства: в их доме заседает суд, как же не поинтересоваться! Такой публики было бы больше, но все знали, что комната уличного комитета вмещает десяток человек, стоит жаркая погода, в домах не только днем, но и ночью не закрывают окон.

Первой говорила птичница Феня Хромкина. Она в самом деле была похожа на цыганку и в молодости отличалась горячей, зазывно-звонкой красотой. Сейчас от этой красоты остались большие, непроглядно-черные глаза, безжалостно лишенные прежнего блеска и подпорченные куриными лапками морщин, да прекрасные густые волосы, впрочем, уже пробитые сединой. И одевалась Феня как цыганка — в длинную юбку и ярко-зеленую, в крупных розах кофту, а на плечах — спущенный с головы, прикрывал поблекшую, когда-то изящную шею черный платок в пламенных пунцовых цветах. Смелая откровенность тоже теперь не красила ее, потому что не смягчалась обаянием молодости, выродившись в вульгарную крикливость. Такой громкой и тоже на свой лад красивой была только Клавка Маёшкина.

— Двух цыплят задушил стервец! — кричала Цыганка, тыкая пальцем в сторону Титкова, который с палкой и котом на коленях сидел на боковой скамье подсудимого. — Одного во вторник задушил, другого в пятницу. И какие тут свидетели, когда сама видала. Клушка кричит, крыльями по земле хлещет, а ему хоть бы что — цап-царап и поволок. Я за ним, а нешто догонишь, когда у него четыре ноги, а у меня две. И на ферме утят ворует, я директору говорила... Если, не дай бог, пымаю, вот этими вот руками удавлю паршивца. И ты на меня, Титков, буркалы не выворачивай, ты похлеще его, Шкуродер несчастный!

— Че-ево? — Титков придержал насторожившегося кота и взялся за палку.

Митя-Соловей тревожно постучал карандашом по графину:

— Гражданка Буреломова, вы не имеете права оскорблять ответчика. Объявляю вам замечание.

— Да за что замечанье-то? Его все зовут так, он никого не щадил, когда налоги с нас драл: ни вдов, ни солдаток с детьми.

— Это все в прошлом, гражданка Буреломова, и к нашему делу не относится. Говорите по существу.

— Да как же не относится, когда все его существо в этом самом. И не шипи на меня, не пугливая!

— Гражданка Буреломова, делаю вам второе замечание. Будете оскорблять еще, лишим слова и оштрафуем.

— Вон што! Какой же вы суд, если Титкова защищаете? Где же ваши правильные глаза? Зачем вас выбрали? Сеня, твоей жене штрафом грозят, а ты мечтаешь! — И, досадливо махнув на него рукой, села рядом с Пелагеей Шатуновой.

Сеня грустно вздохнул. Он беззаветно любил свою Феню, горестно замечал и про себя оплакивал ее увядание, справедливо обвиняя время, эту беспощадную философскую категорию, в тягчайшем из преступлений — в уничтожении красоты.

Спокойная Пелагея Шатунова, поднявшись, подтянула по-старушечьи повязанный шалашиком серый платок и сказала, что кот утащил у нее шесть цыплят, жалко, слов нет. Ранние цыплята-то, большие уж были. А Титкова ли кот таскал, она в точности не знает. Правда, такой же полосатый и большой, как Адам, да ведь таких-то много у нас, он всех кошек наверно обеспечивает, и котята родятся в него. Вот и Феня скажет. Скажи, Фень.

— В него, — подтвердила Цыганка. — В Хмелевке скоро все коты и кошки полосатые будут.

— Чего же вы на одного Адама валите?

— Он ведь их породил, как вы не поймете! — вмешался Сеня, подерживая свою Феню. — Это прежде неправильно говорили, что сын за отца не ответчик, а отец за сына, а теперь должны отвечать, если добраться до глубины истины. И он сам отвечает и его хозяин.

— Правильно, — крикнула Феня. — За распутство!

Титков презрительно усмехнулся:

— Глядите, какая невинность! Чья бы корова мычала, а твоя-то молчала.

— Граждане, так нельзя. — Митя-Соловей зазвенел по графину. — Держитесь в рамках приличий и говорите спокойно. И что за нелепость обвинять животного в распутстве!

— Какие сами, такие и сани, — сказал Титков несамокритично.

— Не в этом дело, — осмелился опять Сеня. — Тут надо осмыслить глубже, с философской точки зрения. Во всех газетах пишут о преждевременной акселерации молодежи, она теперь живет без печали бедности, ест сытное меню, за свой завтрашний день продолжения жизни не беспокоится.

— А вырастают иждивенцами, нахлебниками! — рявкнул Титков.

— Не согласен с вами, Андрон Мартемьянович. Нахлебниками мы их делаем сами по неправильности воспитания в семье и школе.

— Распустились, не знают, как лошадь запрягать. Скажи, Кирилыч!

Чернов степенно разгладил усы, посмотрел на председателя, упустившего вожжи заседания, на строчившую протокол Юрьевну, хотел по привычке встать, но вспомнил, что он за судейским столом и рассудил с места:

— Насчет запрягать — правильно, не умеют. И это плохо. Но опять же на мопедах гоняют с десяти — двенадцати лет, техники не боятся —

это хорошо, им на ней работать. Только вот гоняют с одной этой пользой, а мы лошадь запрягали не для учебного катанья, а для работы. Учеба рядом с трудом шла, в пристяжке, и лошадь отработывала свой корм вдвойне, а мальчишка учился делу и ответу за свое дело, за труд, знал цену и хлебу и лошадиному корму. Положим, машина дурее лошади, она бороздой сама не пойдет, не поедет, цена же за нее немалая, корм дорогой. А знает ли твой Петька-Тарзан цену бензина, который жжет на мопеде? Нет, он знает только, что восемь копеек за литр³, а это дешевле бутылки газированной воды. И опять же те восемь копеек не он заработал, а ты. Это одно. Второе: бензиновой колонки для частников у нас нету, а в Хмелевке полно и мопедов, и мотоциклетов, и легковушки появились. И все ездют. Где они заправляются?

— Кто у шоферов покупает, кто у трактористов. Им дают для пу-скачей.

— Им дают, а они, стало быть, продают.

— Вор-руют! — не стерпел Титков. — Я всегда говорил и говорю: главное зло — частная собственность. От нее происходит разврат, ли-хоимство и всякое непотребство.

Митя-Соловей поднял руку, призывая к тишине.

— Так нельзя, товарищи. У нас заседание суда, а не сельская сход-ка. Вы закончили, товарищ Чернов?

— Закончил, но не все. Сеня правильно намекал на экономическую точку, я с ним согласен. Да и вы знаете: ребят в Хмелевке мало, после армии в город уезжают, а для девчат пока есть места на фермах, на утятнике, опять же и писчая работа в конторах не кончается. А жени-хов мало.

Митя-Соловей постучал по графину и обернулся к Чернову:

— У вас все?

— На nonешний день все.

— Хорошо, но мы отвлекаемся и говорим не о деле.

— Как не о деле, когда я об нем только и толковал. Надо рас-судить по справедливости.

— Но так мы никогда не кончим, товарищ Чернов.

— Пусть выговорятся, — сказала Юрьевна, закуривая.

— Хорошо, Клавдия Юрьевна, пусть выговариваются, а мы будем сидеть и слушать. Но тогда кто мы и почему называемся судом?

— Ну как знаешь, ты председатель. Закругляйся помалу, я вся взмокла с этой писаниной.

С передней скамейки встал и поднял руку Сеня Хромкин:

— Я не закончил, меня перебили. Можно дальше?

— Можно, но, пожалуйста, предельно кратко.

— Буду стараться. С экономической точки зрения Иван Кириллович немного сказал, а вот с философской... Человек произошел от обезьяны благодаря труду, и нам тоже надо воспитывать своих детей в труде...

— Они же не обезьяны! — врубился Титков. — Талдычите о труде, а главный вред в собственности. Надо пустить больше автобусов и все мотоциклеты и машины у граждан отобрать.

Сеня, смущенный бесперемонностью, сел. Всегда так: ты с людьми по серьезному рассуждению смысла, а в ответ или насмешки или глупые предложения. Ведь речь идет не просто о воспитании трудового поколения молодежи, а о новых трудовых связях человека, о новой поста-новке жизни. Если бы человек не установил культ своей личности в природе всей земли, то была бы атмосфера нормальности всего суще-ствования, потому что человек живет за счет съедобной культурной травы, злаков, плодов, ягод и так дальше, а также за счет одушевлен-

³ По этому замечанию читатель справедливо предположит, что действие происхо-дит в семидесятых годах.

ных животных, которые все равно подышают. Мирный, хороший порядок. Если у коровы не сдаивать молоко, ей станет плохо. Овцу тоже стригут не четыре или пять раз в год, а только два раза, весной и осенью, когда она все равно слиняет и зря потеряет шерсть. А не будешь стричь — паршой покроется, изведется. И луга, если вовремя не косить траву, вырождаются без пользы сельскому хозяйству. А тут скошенное сено съедят животные, навоз от них человек соберет и вернет земле как удобрение для будущего питания травы. Видите, связи стоят в прочной определенности: земля — растения — животные — человек — земля. Круговращательная цепь движения жизни. Но вот в эту цепь врезается машина и разрывает ее, потому что ест машина то, что не возрождается или возрождается очень медленно, кпд у ней — возьмем самый совершенный двигатель внутреннего сгорания — мал, тридцать — тридцать два процента, квд⁴ велик и еще не подсчитан: токсичные выхлопные газы, шум, вибрация и т. д.

— Сеня, оглох или спишь! — Феня толкнула его в плечо. — Домой пойдем, ужин варить надо, и поросенок, поди, визжит голодный. Вишь, все расходятся.

Сеня послушно встал.

— Конец, что ли?

— Какой конец, когда завтра опять собираться. Для всех воскресенье — выходной, а для них будни. Нас-то с Полей отпустили пока, других кого-то вызовут. Поди, Аньку с Клавкой. И што мы, дуры, взбулгачили народ своей жалобой, теперь затаскают...

Сеня вздохнул и поплелся за ней следом.

VIII

Жара не спадала, публики по случаю выходного ожидалось много, и, чтобы она не толпилась в дверях и у окна, Чернов предложил проводить заседание прямо на улице. Чем плохо? У дома большая лужайка и молодые липки, поставим там стол, вынесем к нему стулья и скамейки, а кому не хватит — постоят, ноги не отломятся. Юрьевна поддержала: в такой тихий день бумаги не разлетятся, чего долго рассуждать.

Так и сделали, хотя Митя-Соловей согласился не сразу. Какой-никакой, а все-таки суд, солидно ли сидеть на улице и вести серьезный разговор во всеуслышание? Здесь играют дети, они станут невольными свидетелями судебной процедуры, в которой будут участвовать их родители. Педагогично ли?

— Прогоним, — успокоил Чернов.

Заседаний наметили два, утреннее и вечернее. Утреннее хотели открыть в 10.00, но в связи с переселением на улицу задержались минут на десять, чем аккуратный Митя-Соловей был опечален.

Народу собралось порядочно, причем объявлений не вывешивали, сработал некий закон, по которому, если сошлись на улице несколько человек, прохожие невольно замедляют шаг, приглядываются, прислушиваются, а если заметят стол, то спрашивают, что будут давать и кто последний. А тут на виду и стол под красной скатертью, и графин с водой, и стулья, и четыре скамейки, причем уже почти все заняты. Суд?.. Ах да, тот самый... kota и пенсионера. Чудаки. Где он? А-а, вот этот Титков и есть? Смотри-ка, в самом деле с котом и на боковой скамье как подсудимый. А какой сердитый, брови кустами, сутулится, будто готовится к прыжку... Ничего странного, что мы его не узнали. Он ведь стройный был, плечистый, могучий мужчина. Правда, лет пятнадцать

⁴ Коэффициент вредного действия — термин принадлежит лично Сене.

назад. Неужели пятнадцать? Да-а, идет время... А усатый-то за столом — Чернов, что ли? Тоже весь седой, а держится прямо, будто дубовый копыл. А? Ты о Юрьевне?.. Да, Юрьевна прежняя: сухая, как доверенная вобла, и вечно дымит над своими бумагами...

— Внимание, граждане! Очередное заседание товарищеского суда считаю открытым...

А это, конечно же, сам Митя-Соловей, наш незаменимый заседатель и оратор, приятнейший не только для начальства. Вряд ли у него есть враги. Никогда никому не откажет, всегда ласково пообещает, а если порой и не сделает, так не всегда это от него зависит. Что ж, послушаем...

Слушать должны были сперва Клавдию Маёшкину, потом Анну Ветрову, но к столу неожиданно вышла старушка Прошкина и попросила обсудить ее, потому что она престарелая и сидеть на такой жаре неспособно — голова болит.

— Хорошо, — разрешил Митя-Соловей, с облегчением дав знак своей любимой и ненадежной Клавдии. — Только прошу короче.

— Как умею, уж не обессудьте. Про веник я. Прошлой зимой пропал у меня новый просяной веник. Ну, потужила я, а что сделаешь, пропал и пропал. Весной пошла я к Титкову за дрожжами — говорили, он самогонку гонит и дрожжи у него всегда в запасе...

— Ты с ума сошла! — крикнул Титков так, что Адам вздрогнул и чуть не сбежал, но Титков сумел его ухватить за задние поги. — Не гоню я самогона и пикогда не гнал, товарищ председатель!

— Гражданин председатель, — поправил Митя-Соловей.

— Виноват, гражданин председатель. Но все равно я самогон не гоню! Редко пьющий я теперь, по праздникам только, с расстройства. Вот доведете с этим своим судом — и запыю. А тебя, гражданка Прошкина, привлеку за клевету. Запишите, товарищ... виноват... гражданка... Запишите, гражданка секретарь, лживые ее слова и свидетелей, я это дело так не оставлю. Если вы kota моего засудили, то я вас...

— Успокойтесь, гражданин Титков, никто вам слова не давал. Продолжайте, гражданка Прошкина.

— А что продолжать? Я говорю, веник мой, просяной веник, новый совсем, два раза подмела только, пропал зимой. А потом пошла я к Титкову, весной уж, по теплу было, я калоши новые надела — вот как сейчас помню — и за дрожжами пошла. Говорили, он самогонку...

— Мы это уже слышали. Давайте по существу дела.

— Ладно, батюшка, про самогонку не буду, не гневайся. Я ведь не сама — люди говорят, а мне што, я за дрожжами пошла. В магазинах у нас дрожжей не дожделси.

— Не отвлекайтесь, короче.

— Ладно, батюшка, хорошо.

— И, пожалуйста, без «батюшек», вы не в церкви.

— Прости, Христа ради, я человек неученый, грамоте мало знаю, как думаю, так и говорю.

— К делу, гражданка Прошкина, ближе к делу...

— Ладно, батюшка... гражданин... товарищ... Значит, про что же я? Вот ведь старая голова... А-а, про веник!

— Не брал я у тебя веник, жадюга! — не сдержался Титков.

— Може, и не брал, я ведь не говорю, что брал. А только пришла я к нему, только на крыльцо влезла, гляжу — мой веник. Просяной. Вот, ей-богу, крест святой, не вру! Как перед иконой. Чтоб мне на этом самом месте сквозь землю...

— Я ведь тогда же говорил тебе, бабка, что веник это мой, сам вязал осенью. У меня и сейчас на подлавке штук шесть висят, можете проверить, гражданин председатель.

— Хорошо, проверим. Почему вы, гражданка Прошкина, решили, что веник это ваш? Какие приметы?

— Да как же, батюшка, просяной веды!

— Просяные веники не у вас одной. Прошу присутствующих, кто пользуется просяными вениками, подымите руки. Та-ак. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Можно опустить. Видите, кроме вас, уже семь человек, а ведь здесь ничтожная часть хмелевских жителей. Кстати, откуда они у вас, просяные веники? В продаже, кажется, не было?

— А сами жали. Совхозное просо рядом, ну и пользовались.

— Самовольно, выходит? Если так, то вас следует привлечь за погубление посевов совхозного проса на корню. И вас тоже, граждане присутствующие. Прошу еще раз поднять руки, а вы, Клавдия Юрьевна, запишите фамилии. Ну!

Тихий говор на скамейках и в толпе позади них смолк, установилась чуткая тишина, руку поднял один Титков, поскольку о своих вениках он уже сказал для протокола.

— Странно. Было семь, теперь ни одного, кроме ответчика,— Митя-Соловей поднял темные бровки на лоб, покачал головой.— Ну что ж, потом мы вернемся к этому вопросу. Продолжайте, гражданка Прошкина. Значит, вы на совхозном просяном поле нарезали стеблей и навязали себе веники. То есть проще говоря, украли их в совхозе, а гражданин Титков украл веник у вас, так?

— Что ты, господь с тобой, и в мыслях не было! Внушок привез соломы просяной, я и навязала.

— Если солома из-под комбайна, веник не получится,— сказал Чернов.— Тут надо жать серпом, а из мятой соломы не получится.

— Как же не получится, Кирилыч, когда навязала. Цельную дюжину навязала и на шест повесила. А как уж мой веник попал к Титкову, откуда мне знать. Может, кот его блудной заигрался и утащил. Коты, они любят с вениками играть, с пряжей тоже, все нитки перепутают, если не доглядишь.

— Значит, вы подозреваете не Титкова, а его кота, верно я вас понял?

— Этак, этак, батюшка, кота. Такой блудня у него кот, все знают, хоть кого спроси.

— Хорошо. Но по чему вы определили, что веник — ваш?

— А по завязке. Проволокой завязан. Внук мой завязывал.

— Все мы проволокой завязываем,— сказал Титков.— Шпагата в магазинах летом не бывает, зимой привозят, а проволоки всегда сколько хошь — мастерская Сельхозтехники рядом.

— А почему бы вам зимой не запасти шпагат?

— За него деньги платить надо, а тут вроде по-свойски. Распустили народ совсем, нигде порядка нету.

— Позвольте, но вы, гражданин Титков, тоже ведь проволокой завязываете и тоже просо воруете на веники?

— Я от обиды. Что я, в поле обсевов! Шилом море не согреешь...

— Неубедительно, гражданин Титков, совсем неубедительно и некрасиво. А вы почему не садитесь, гражданка Прошкина?

— Я, батюшка, хотела и про кота сказать. Вон какой он лежит полосатый да большой, все коленки у Титкова накрыл пузом-то. И глядит хмуро, щурится, моргает. Вот я и подумала: а если это не кот, а человек в образе кота, оборотень-разбойник Ванька-Каин?

На скамейках весело задвигались, заулыбались, в толпе позади кто-то радостно заржал. Митя-Соловей постучал по графину. Чернов укоризненно покачал головой:

— Это уж ты, бабка, напрасно.

— Да как же напрасно, Кирилыч, погляди сам. Видишь, опять подморгнул. И усами водит туда-сюда.— Бабка осторожно приблизилась к

Титкову и занесла костистую руку в крестном знамении: — Изыди, нечистая сила, нехристь...

Наверно, ее сухая рука показалась Адаму угрожающей, он рванулся и слетел с коленей хозяина, нырнул под скамью, промелькнул между ног собравшихся зевак и скрылся в зарослях крапивы у забора соседнего дома.

— Оборотень! Оборотень! Православного креста не выносит!

— Точно, бабка, антихрист!

— Старая дура! — прохрипел Титков с досадой. — Иди вот лови его теперь, ведьма сушеная.

— А ты не ругайся на меня, не ругайся, ты подумай сперва: если креста не стерпел, значит, оборотень и есть...

— Садитесь, гражданка Прошкина, иначе привлечем вас за непредусмотренное действие.

— Господи, твоя воля! — Бабка, бормоча о бестолковости судей, которые простого дела понять не могут, а берутся судить людей, прошла к своей скамейке и, перекрестившись, села, тая обиду.

Заседание остановилось за отсутствием основного ответчика. Председатель предложил Титкову поймать кота, но тот решительно отказался: кто спугнул, тот пусть и ловит. Ишь, нашли дурака!

— Придется вам, Иван Кириллович, организовать, — сказал председатель. — Попросите школьников или кого-то из присутствующих.

Чернов нехотя встал и, провожаемый насмешливыми замечаниями односельчан, пошел к Петьке Ломакину, проробову сыну, который неподдаляку подкачивал шины своего мопеда. Длинноволосый Петька будто не слышал Чернова, продолжал пыхтеть с насосом и обратил внимание, лишь когда окончил работу.

— Чего тебе, дед, Адама поймать? — И зубы скалит, курносый бес, никакого почтения к старшему. — Плати рупь, достану.

— Какая плата, тебя взрослый просит.

— За так в крапиву не полезу.

— Почему за так — за благодарность.

— За какую?

— Спасибо скажу, неслух. Или вам, нынешним, мало?

— Мало. У нас всякий труд оплачивается, материальная заинтересованность.

— Ай-яй-яй, до чего грамотность-то доводит. А мы, бывало, не то что кота, мы на смерть за правое дело шли, не торговались.

— За правое и я пойду, а сейчас не знаю, правое или нет. Вдруг суд оправдает, и вы его зря мучаете?

— Так ведь когда оправдает, а сейчас он на подозрении, и надо выяснить правду-истину.

— Выясняйте, я что!

— А ты, значит, в стороне? А еще, поди, старый пионер, в комсомольцы собрался. Какой класс?

— В восьмой перешел.

— Стало быть, четырнадцать полных, можешь и в комсомол. Какой же ты комсомолец, если в тебе никакой активности?

— Я еще не комсомолец, отстань.

С оглушающим треском и дымом подкатил сорванец поменьше, заглушил свой ревучий примус и спросил, будто Чернова тут не было:

— Петьк, чего эт он?

— За котом в крапиву посылает. Спасибо, говорит, скажу.

— Дядь Вань, дай на кино, достану.

— Сколько?

— Сорок копеек.

— На детский — сорок? Да тебя за пятак пускают.

— За пятак не полезу, там весь обстрекаешься.

— Стервецы же вы, ребятишки, вымогатели. Как жить-то будете, если с этих пор выгоду ищете?

— Проживем железно, дедок, не тушуйся. А, Петък? Заводи, равнем к залыву, ну их. Учат, учат, а сами...

Мопеды враз взревели, окутались дымным облаком, оно закрутилось, смешавшись с густой пылью, и это вонючее дымно-пылевое облако, завихряясь, полетело улицей. Чернов поглядел ему вслед, вздохнул и пошел к зарослям крапивы, надеясь, что Адам успокоился и сам дастся в руки.

— Кис-кис-кис,— поманил он, опускаясь на колени и заглядывая в зеленые пахучие заросли.— Кис-кис-кис.

Отзыва не было. Чернов переполз на другую сторону зарослей и там, в самой темной глубине, увидел Адама, прижавшегося к доскам забора. Глаза его горели зелеными нездешними огнями, и весь он был такой напряженный и решительный, что Чернов невольно попятился. Потом устыдился своей боязни, натянул рукав пиджака на правую кисть, пряча пальцы, и сунулся в крапиву:

— Кис-кис-кис, не бойся, дурачок. Ты же смелый, а испугался глупой старухи. Какой ты разбойник, когда у Титкова живешь?

Адам следил за его рукой, и когда она стала близко, отодвинулся, не доверяя хоть и дружелюбному, но чужому голосу. Чернов потянулся за ним дальше, но тут согнутый стебель крапивы распрямился и ожег его по уху. Чернов невольно дернулся, и тогда кот махнул из зарослей на забор и, стелясь по нему, огляделся и прыгнул в соседний двор.

Чернов, досадливо потирая ухо и ругаясь, пошел обратно, готовый встретить усмешливые лица односельчан, но те были заняты другим делом: ругали директора школы Мигунова за плохое воспитание школьников. Они видели, что Петька и его приятель не послушались Чернова, а Мигунов проходил мимо и вот попался.

Вечернее заседание Митя-Соловей, несмотря на помощь авторитетного Чернова, тоже не смог направить по запланированному пути, хотя кота Титков после обеда принес, Анька Ветрова с Клавкой Маёшкиной тоже сидели на передней скамье. Особенно неловко было перед Клавкой, которую Митя-Соловей перевоспитывал с прошлого года и уже добился заметных успехов, но вот этот суд может все испортить. Сегодняшний день сильно поколебал воспитательный авторитет председателя суда.

Вечером помешал старый священник Василий Баранов. Его привел веселый Витяй Шатунов, сообщив, что этого хочет товарищеский суд над Адамом.

— В Хмелевке нет Адама, сын мой,— возразил священник.

— Есть, батюшка, ей-богу, есть! Идемте, сами увидите.— И вот привел, показал на боковую скамью, где дремал на коленях Титкова разомлевший кот.— Убедились теперь?

— Но это кот. Как можно?!

Сутулая фигура седобородого священника в черной рясе, с крестом на груди произвела общее оживление, но Митя-Соловей встал и поднял обе руки, требуя тишины. Затихли скоро, потому что отец Василий стал говорить.

— Напрасное дело вы затеяли, граждане, греховное. Нет у нас иного судьи, кроме бога, и вы берете на себя грех великий, неискупимый.

— Извините, но как председатель суда я должен заметить, что мы не намерены обсуждать вопрос о грехах. Мы не в церкви.

— Это так, не в церкви.— Отец Василий покивал длинноволосой белой головой.— В церковь вы ходите грехи замаливать, да и то немногие ходят, а грешите здесь, в миру, в суетной жизни.

— Кто грешит? — спросили из толпы.

— Да, да, кто? Нельзя всех сразу, надо по личностям.

— Можно и по личностям. Грех хозяину Титкову — не называй kota человеческим именем, памятным для всех людей. Адам — прародитель наш, от него пошел род человеческий, а вы взяли его судить. Значит, грех судьям, грех пославшим их, грех всем вам, здесь присутствующим. Ведь вы взяли судить не только Адама, а всех нас, всех людей, поскольку мы есть побеги от корня Адамова.

— Мы kota судим, а не Адама.

— А как зовут kota?

— Дать ему другое имя, — предложила Анька Ветрова.

— Точно — Васькой, — поддержала Клавка подругу. — Назовем Васькой и засудим.

— Это уже прямая насмешка надо мной, а я сац священный имею, **служу** честно и непорочно который год...

— Тогда Ванькой или Митькой, а?

— Судьи не согласятся. Кирилыч, дашь свое имя коту?

— Хватит, зубоскалы, уймьтесь. Порядок соблюдайте.

— Он уже привык Адамом, на Ваську-Ваньку не откликнется.

— Подождем, когда станет откликаться.

— Ага, мы будем ждать, а он цыпляет лопаты!

— Не только цыпляет. Он у меня шестнадцать килограммов **краковской** колбасы сожрал.

— Сама, поди, миленку скормила.

— А ты видал?

— Товарищи! — Митя-Соловей встал. — Нельзя же так, вы не на концерте в клубе. Продолжайте, гражданин Баранов. Вы считаете kota Адама виновным или не виновным?

— Нет, граждане судьи, невиновным я его не считаю. Если он не Адам, а просто кот, то он виноват в одном грехе перед богом: в своих кошачьих свадьбах, кои проводятся в неурочное время великого поста. Для всякой твари бог назначил время спаривания весной, а коты и кошки по своей нетерпеливости время это божеское нарушили.

— Их пожалеть надо — в такую непогоду любят.

— Я не согласен. Разрешите? — С задней скамьи поднял руку Сеня Хромкин. — Этот вопрос надо разрешить с исторической точки зрения, а также с простой арифметической.

— Ты лучше с философской, Сеня.

— Товарищи! Граждане! Не превращайте суд в эстрадный концерт, иначе вынужден буду закрыть заседание. Вы что-то хотите добавить, гражданин Баранов?

— Хочу. — Отец Василий слегка поклонился. — Ржете, аки жеребцы стоялые, в бога не веруете и грехов не признаете, гореть вам в геенне огненной. Но есть у кошек и другая вина. Свои свадьбы они проводят в ночное время, мяукают с постыдной страстью и похотью, визжат с греховным ликованием и этим подлым гомоном нарушают сон праведников, наводят на плохие мысли грешников.

— А люди? — закричал Титков сквозь смех окружающих. — Ржете вот, а сами хуже котов и кошек. Вы только вспомните свои свадьбы! Ведь вся Хмелевка ходуном ходит. Не так?

— Воистину так. Вина пьют много и шум производят великий, непристойный.

— А я про что! Налакаются и уж себя не помнят, вывернутые мехом наружу тулупы надевают, рожи размалют страшной войны, а какие частушки орут — уши вянут. Где у вас стыд?

— Стыд? Да ты сам чуть не каждый год запиваешь, в больнице отхаживают.

— Я запиваю от мыслей. Я против мировой собственности иду, а вы отчего?

Смех стал стихать, послышалось самокритичное:

- Вообще-то пьем многовато...
- И хоть бы польза была от тех свадеб: нынче сойдутся, а через месяц-два расходятся. И детей нет.
- А я про что! Кошки-то, они покричат, покричат, а весной жди котят...
- А ведь правда, бабы.
- Не молиться же на свадьбах! Пра-авда...
- Если бы одни свадьбы, а то и поминки, и крестины, и гости, и с получки, и так, со скуки, от нечего делать.
- Жить хорошо стали.
- Неужто от хорошего надо пить?
- Насчет шума тоже правильно. Молодежь от рук отбилась. На гитарах наяривают во всю мочь без понятия, песни кричат без ладу, магнитофоны опять же. И выпивают до время, хулиганят.
- А вот мне Камал Ибрагимович рассказывал, как у них на Кавказе двое мужиков одному трезвому голову отвернули.
- Как так?
- А так: ошиблись. Тот ехал на мотоцикле осенью, а ветер встречный, дождик в лицо и в грудь, холодно. Он тогда остановился, передел пиджак задом наперед, чтобы грудь закрыть до горла, поехал дальше. А тут навстречу двое мужиков на телеге. Он хотел объехать, поскользнулся и кувыркнулся в кювет. Те к нему на помощь. Глядят — батюшки, голова-то у него за спину повернута! Сграбастали, посадили, один держит, а другой голову поворачивает лицом к пуговицам. Тот орет, а они свое: молчи, говорят, терпи, ничего ты не понимаешь от сотрясения мозгов. Мы твою голову живо на место поставим. Так и отвернули.
- Анекдот, поди, байка.
- Товарищи, так нельзя, мы опять отклонились от темы. У вас все, гражданин Баранов?
- Не все. За Титкова, хоть и не прихожанин, хотел слово замолвить. Люди мстят ему за прошлую ревностную службу по сбору налогов, а он выполнял волю пославших его, выполнял, не отступая.
- Точно,— усмехнулся кто-то,— собирать в то время налоги не всякий бы смог.
- Отец Василий покивал головой:
- Но вы неверующие, и я вам скажу слова великого ученого Карлейля Томаса, философа. Он жил в стране Англии в прошлом веке и хорошо говорил о героях и героическом в истории. Великие души, говорил он, всегда лояльно покорны, почтительны к стоящим выше их; только ничтожные, низкие души поступают иначе... Искренний человек по природе своей — покорный человек; только в мире героев существует законное повиновение героическому.
- Так нам что, награждать Титкова теперь?
- Нужна мне ваша награда! Да моя бы власть...
- Не награждать, а разобраться как следует, по-божески. Вы же затеяли лицедейское судилище и не боитесь греха. Тот же философ Карлейль говорил прямо: «Существует бог в мире, и божественная санкция должна таиться в недрах всякого управления и повиновения, лежать в основе всех моральных дел людских. Нет дела, более связанного с нравственностью, чем дело управления в повиновении. Горе тому, кто требует повиновения, когда не следует; горе тому, кто не повинуется, когда следует! Таков божественный закон, говорю я, каковы бы ни были законы, писанные на пергаменте; в основе всякого требования, обращенного человека к человеку, лежит божественное право или же адское бесправие». Так говорил ученый Карлейль Томас из далекой Англии

прошлого века. А я скажу так: помните о божественном праве каждой твари на жизнь и берегитесь адского бесправия, адского желания распоряжаться жизнью ближнего своего.

— Аминь! — добавил балбес Витяй.

— Я все сказал.— Отец Василий осенил себя крестом, поклонился в сторону Титкова и его кота: — Помогите вам бог пройти судное узилище.— И пошел, сутулясь и приволакивая ноги в стоптанных туфлях, сквозь веселую, говорливую толпу.

— А здорово он про Карлея-то завернул!

— Начитанный...

Митя-Соловей посмотрел в сутулую спину уходившего священника и подумал, что время потеряно, публика слишком развеселилась и допрашивать Ветрову и Маёшкину вряд ли нужно. Он сказал об этом на ухо Чернову, потом Юрьевне, и те согласились: не надо, лучше в будний день, когда народу придет меньше. Вот только согласятся ли сами потерпевшие?

— Они не дуры,— сказала Юрьевна.

И действительно, Анька с Клавкой обрадовались отсрочке и живо убрались, провожаемые недовольными замечаниями: люди обиделись, что представление закончено.

Митя-Соловей постучал карандашом по графину и выговорил присутствующим свое неудовольствие за такое развеселое поведение.

— Мы больше не будем,— сказал Витяй, обнимая за плечи смело декольтированную Пуговкину.

— Зачем же тогда открытый суд, если молчать? Для модели?

— Да, но вы не имеете права допускать выкрики и дезорганизовывать работу. Будем налагать штраф и удалять. Впереди у нас много дел, и я прошу относиться к суду со всей серьезностью. Следующее заседание состоится в среду в 17.00 здесь же, а если погода будет неблагоприятной — в помещении уличного комитета. Спасибо за внимание. До свидания.

IX

Чернов уходил домой расстроенный. Из обоих нынешних заседаний получилась один глупый смех. И ведь говорил спервоначалу, и Юрьевна говорила, что зря затеваем такое дело — не послушала. Положим, не послушали они не без понятия: Митя-Соловей с Башмаковым резолюцию судьи выполняли, а судья у нас строгая, не дай бог ослушаться. Опять же и Мытарин обсказал все по закону. В старые времена такие суды случались не только у нас, врать он не станет. Федя-Вася тоже протоколы принес настоящие, все честь честью: разбирайтесь, граждане судьи. И разбирались мы хорошо, как надо. По мне, так дело не в цыплятах и утятах, а почему такое дело.

В прежние годы цыплят больше было, в каждом дворе выводок, и коты их не трогали, мышами занимались. А нонче мыши остались только в продуктовых магазинах, а в домах редко водятся: хлебных запасов не держим, амбаров своих нет, скотину извели, а где нет скотины, там и корму не предвидится. Откуда быть мышам? И в магазинах-то, поди, для списания своих грехов держат, а то бы давно потравили.

Чернов шаркал праздничными туфлями по доскам тротуара и говорил о потерянном воскресенье. В другое время пробивать бы загодя косы, ладить грабли да готовиться недели на две в луга, а нонче про сенокос мысли гоняешь только попусту.

И еще старушка Прошкина со своим венником. Выставилась, а ни ей прибыли, ни Титкову убытку, одна неуместность. Всю жизнь, видать, уж потратила и малым дитем стала. Правда, она и прежде без плану

жила, всегда скупилась, тряслась над каждой малостью, ходила с ранней весны до самой зимы босиком...

Сбоку раздался треск мотоцикла, и из проулка наперерез Чернову вылетел запыленный Мытарин в красном шлеме, застекленном спереди до подбородка. Он сразу заметил своего бывшего бригадира, развернул мотоцикл и, остановившись, откинул вверх прозрачный щиток шлема.

— Кирилыч, можно на минутку?

Чернов подошел.

— Добрый вечер.— Мытарин, не слезая с мотоцикла, протянул ему угребистую руку, пожал бережно.— Как у вас с судом-то? Я тут замотался совсем. То совещание, то заседание, а сегодня вот летние животноводческие лагеря объехал.— Он потер широкий, как бульдозерная лопата, подбородок, устало помигал выпуклыми серьезными глазами.— Торопился к вам, а опять не успел. Закончили?

— С нашим народом скоро не кончишь. Нонче вот ржали, храпоидолы, на всю Хмелевку...— И Чернов обстоятельно рассказал, как прошло заседание.

Мытарин заметно оживился, усталость пропала, слушал радостно, а под конец с сожалением почмокал губами.

— Жаль, меня не было, жаль. Ну ничего, и то хорошо, что не кончили. В среду я постараюсь быть. А насчет полезности не сомневайся, Кирилыч. Полезность будет, а вредность учтем, и без всяких трагедий.

— Я про это догадываюсь, Степан Яковлич. Как говорится, если бы не голо, тогда бы и не плешь. Много у нас чего делается, а ты хозяин, тебе все знать надо.

— Хозяин здесь не только я, но все равно спасибо, Кирилыч, за подмогу. Кланяйся от меня тетке Марфе.— Опустил прозрачный наглазник и улетел с тучей пыли, будто и не был.

Вот как теперь! И голубое без пятнышка небо самолет развалил надвое белой бороздой. А ночью поглядишь — звезды летают, а в тех звездах — люди, космонавты. Поднять сейчас из могилы дедушку или отца — с ума сойдут от страха, от недоумения. А если оклемаются и тогда обсып их золотом, не поверят в такую жизнь и в таких людей. А она, жизнь-то, и теперь всякая, люди разные. Даже если это одни и те же люди. Мы вот с Митей-Соловьем да с Юрьевной кота судим, а когда-то с буржуями воевали, с фашистами. Анька Ветрова с Клавкой Маёшкиной тоже в свое время комсомолками были, а теперь, поди, свое тайное совещание устроили и схитряются, как нас облапошить, а самим чистенькими остаться. Витяю Шатунову была бы машина да девки, а его отцу Парфеньке ничего не надо, дай только речку да удочки. Сеня Хромкин всю жизнь изобретает разные механизмы или мечтает про мировую жизнь с философской точки...

Марфа встретила выговором:

— Нарядился, как молодой, и опять шатался незнамо где.

— Как незнамо, когда кота судим. Сказывал же!

— Ох, горюшко-горе! За мухой — с обухом, за комаром — с топом. Разоблачайся да ужинать.

Чернов у порога стащил тесноватые желтые туфли, смахнул с них тряпочкой пыль и поставил под лавку. Потом прошел в горницу и там бережно снял черные, тонкого сукна костюмные брюки и сатиновую кремовую рубашку-косоворотку, в которой венчался с Марфой. У доброго хозяина любая вещь долго живет, а если праздничная — до самой его смерти.

— Ты скоро там? — позвала Марфа.

— Ай соскучилась?

— Тьфу тебе, старый! Простынет все, холодное будешь есть.

Чернов высунулся с брюками в раскрытое окошко, несколько раз встряхнул их над кустом сирени, дивясь, что набрал столько пыли, по-

весил под пиджак на плечики в платяном шкафу и занялся рубашой. Крепкая рубаша, хорошая, надо наказать, чтобы после смерти в нее обрядили.

Повесив на место рубашу, Чернов переоделся в трикотажный тренировочный костюм меньшака Бориса Иваныча и вышел в прихожую.

Марфа сидела у стола на табуретке, ожидая хозяина. В обливном блюде исходила паром и мясным радостным духом тушенная картошка, стояла банка со свежей сметаной и тарелка с хлебом.

— Где такое добро спроворила, нешто на базаре?

— Укупишь нонче на базаре.— Сухонькая, сгорбленная Марфа распрямилась от похвалы.— Мясо-то по пять с полтиной, а сметаны совсем не было. В магазине это я. Вчера вечером стою с бабами, жалюсь, мужика кормить нечем, Анька продавщица мне и подморгни. Я не дура, дождалась, как все уйдут, Анька мне кило мякоти да полтора с косточкой и взвесила. Утром ши мясные сварю. Ты, говорит, бабка Марфа, послезавтра зайти, колбаски оставлю. До чего обходительная эта Анька, слов нет.

— А сметану, стало быть, Клавка принесла?

— Она, Клавка. Нонче утром. Нарядная была. Ты как узнал?

Чернов покачал головой, нехотя сел за стол и стал есть картошку, не трогая мясо. Марфа забеспокоилась:

— Не за так ведь брала — за деньги. Я и Клавке рупь давала, она сама не взяла: я, говорит, из уважения к вам, к Кирилычу. Тоже уважительная, будто подменили.

— А ты не подумала, с чего они такие?

— Как не подумать, подумала, да ведь мало ли что с людьми делается, а нам вреда нет, одна польза.

— Эх Марфа, Марфа, дура ты у меня окончательная.

— Пошто так-то: дура, да еще окончательная? — Тонкие губы Марфы поджались в ниточку.

— Старая потому что, некогда уж умнеть-то. Анька с Клавкой весь день передо мной на скамейке сидели, на кота свое воровство хотят свалить. И тоже обходительные, смиренные, руки на коленках. В другое время от них грому на всю Хмелевку, а тут вежливость показывают.

Марфа не отступила, взяла своих благодетельниц под защиту.

— Не строжись, Кирилыч, не строжись, кто из нас без греха. Себе бы они только брали, а то и другим дают. Туфли-то у тебя неразношенные, как жених ходишь, а тоже продавщице зелененькую сунула, она и достала. Последние, говорит, завалились, забыла про них.

Чернов перестал есть.

— А ты ешь, ешь, не гневайся, я правду говорю. Кофточки всеейка продавали шерстяные так же.

— Хватит, все сплетни высказала.

— Да какие сплетни — истинный бог, не вру! Хоть кого спроси, то же скажут. Спле-етни...

В воротах стукнула калитка, Чернов встревожился:

— Идет кто-то, убери посуду от греха.

Марфа живо сгребла блюдо с нетронутым мясом и сметану и, ворча, что с таким судьей скоро и есть придется украдкой, скрылась в чулане, а Чернов встал встретить неожиданного гостя.

Осторожничали не напрасно: явился озабоченный Федя-Вася.

— Я зачем к тебе, гражданин Чернов? По секретному делу. Как ты член суда и живешь близко.

— Садись, Федор Василич, к столу. Марфушк, чаю бы нам спроворила.

— Счас, счас, самовар горячий.

Федя-Вася оглянулся на колыхающуюся занавеску, подумал и,

сняв форменную фуражку с невыцветшим местом герба, присел на табуретку.

— Я что хотел? А то, что на суде я нынче не был из-за веников. Матрена послала навязать для бани.

— Молодец ты, Федор Василич, заботливый. Березовые?

— Да, березовых хотел. Но про что я? Про самогонный пункт. Как я его обнаружил. Думаешь, случайно? Нет, законно. Это я за вениками поехал случайно — Матрена прогнала. Почему? А пенсионер потому что. При должности она меня не посылала. И вот я поехал на бударке через залив.

— К дамбе?

— Нет, к Коммунской горе. Почему? Там лес лучше потому что, береза плакучая есть. А у плакучей березы ветки какие? Длинные, гибкие.

— Оно конечно... — Чернов в душе не одобрял такие веники: прутьев много, а листа мало, от хлестанья на теле полосы. — Ребятишек ими пороть способно.

— Телесные наказания у нас отменены, гражданин Чернов. И горю я не про то. Я про самогонный пункт.

Марфа поставила на стол медный самовар, чайные чашки и блюдца, выставила банку домашнего варенья и тарелку белых, магазинных сухарей.

От угощения Федя-Вася не отказался, поскольку Чернов не был на подозрении, и, прихлебывая из чашки чай вприкуску с сухарями, рассказал о том, что много лет омрачало его жизнь и задерживало продвижение по службе. Раскрой он это дело раньше, на пенсию он вышел бы не старшиной, а младшим лейтенантом или полным лейтенантом. Офицером то есть. А он раскрыл только сейчас. Да, в том самом Коммунском лесу, который до революции Барским звали. Бударку-то свою он спрятал в ивняке, а сам с серпом пошел резать березовые веники. И вот когда нарезал вторую вязанку, услышал стук лодочного мотора. Тут же скрытно спустился к берегу и увидел кого? Гражданина Фомина по кличке Федька-Черт и его рыбацкого напарника гражданина Рыжих, без клички, поскольку рыжистее не бывает. С чем? С молочной флягой приплыли и с бидоном...

Задавая себе вопросы и отвечая на них, Федя-Вася рассказал, как он крался за рыбаками по лесу, как чуть не выхлестнул ветками глаза и как зашел в глухую чащобу, где пряталась землянка. В ней и скрылись означенные рыбаки с двухпудовой флягой и пустым бидоном. Вскоре из трубы завился синий дымок, а потом Федя-Вася почувствовал и запах самогонки. Значит, во фляге они несли бражку, а бидон взяли для самогонки.

Федя-Вася хотел накрыть их с поличным, но вовремя вспомнил, что теперь не при должности, а Федька-Черт и Иван Рыжих мужики отчаянные, долго разговаривать не станут. Пришлось лежать в кустах и ждать, когда они уйдут. А они ушли только к вечеру. Фляга теперь была пустой, а бидон Федька-Черт нес бережно, дорогой отхлебывая, чтобы не расплескалось.

В землянке Федя-Вася обнаружил нары для отдыха, печку с вмазанным котлом и плотной крышкой, змеевик с охладителями, запас сухих дров и колючие скелеты сушеной рыбы, которой они закусывали. У единственного окошка стояла на чурбачке семилинейная керосиновая лампа со стеклом — значит, и ночью самодельный заводик работал.

— Повезло тебе, Федор Василич, в это воскресенье — сразу и самогонщиков и веники.

— Нет, гражданин Чернов, не повезло. На месте не застукал, потому что свидетелей не было, запросто откажутся. И веников не привез. Как так? А так: веники украли. После осмотра землянки пришел я на

место и вижу что? Ни вязанок моих, ни серпа, одна помятая трава у березы. Приехал пустой. Хорошо хоть лодку оставили. На этом берегу спросил ребятишек — нет, говорят, рыбаки приехали без веников, несли только флягу и бидон и пели песню про несчастную любовь. И вот я сразу к тебе. Как рассудишь?

Чернов почесал седую потылицу: дело сугубое, сразу не ответишь. Если попросту, то сказать бы участковому, и до свиданья. Но Федя-Вася участковому не сказал, и вряд ли из одной ревности: пусть, мол, этот лейтенантик с дипломом поищет, как я столько лет искал. Заводик, как ни кинь, ничейный, главного виновника не найдешь, а найдешь, так давность большая. Можно выследить других и накрыть на месте, но опять же накроешь одного-двух, а остальные будут в стороне. Развалить у них землянку? Сделают новую, в другом месте. Да и дома выгнать можно, в простой металлической кастрюле или в ведре без всяких змевинок и котлов.

— Как же, гражданин Чернов? — напомнил Федя-Вася.

— По правде сказать, не знаю. — Чернов виновато развел руками. — Одно могу посоветовать — в наш суд. Все равно уж разбираться. Опять же народу много, глядишь, кто-нибудь проговорится, а Федьку-Черта с Ванькой Рыжих все равно вызывать: они заявление написали, что кот у них сети изгрыз. Заседать будем в среду.

— Согласен с тобой, гражданин Чернов. — Федя-Вася встал, надел милицескую фуражку, подал хозяину руку. — В среду обязательно приду. Беспорядок внутри нашей жизни что? Недопустим. Верно?

— Само собой, — сказал Чернов.

На том и разошлись.

Х

Федя-Вася хотел товарищеским судом перевоспитать нарушителей порядка, а того не знал, что сам стал нарушителем. Пока он лежал в кустах за незаконной землянкой и ждал ухода самогонщиков, на его березовых вениках сидел Монах с ружьем за спиной и ждал погубителя родной природы. Не дождавшись, сгреб обе вязанки, воткнув в них серп с чернильными инициалами «П. Ф. В.» на ручке, и пошел завершать егерский обход. Вечером он переправил веники к себе на остров, а на другой день явился с ними в редакцию районной газеты. Он мог бы сразу в милицию, мог бы добиться штрафа для нарушителя, но дело это долгое, попробуй еще узнать по тем трем буквам с точками, кто он такой, тот стервец, который обкорнал зеленые подолы у плакучих берез, глупый хулиган или только до подола достающий шибздик. В Хмелевке же народу несколько тыщ, не скоро узнаешь. Да и штрафа за веники дадут немного, а хлопот наберется до потолка. Стало быть, прямая дорога в газету. Они в институтах учились, пускай разбираются.

— Понятно, — сказал, не вставая из-за стола, редактор Колокольцев и поглядел сперва на веники у порога своего кабинета, потом на сердитого Монаха. — Что же вы конкретно хотите?

— Пропечатать на весь район, — сказал Монах и надел форменный картуз. — А насчет штрафа не старайтесь, штраф я ему, хулигану, припаяю. Если найду.

— А если не найдете?

— Найду. А вы народ посовестьте, не повредит.

— Действительно. Сейчас самый сезон заготовки веников. Мухин! — крикнул он и стукнул кулаком в стену. — Комаровский! Зайдите срочно.

И почти тотчас рядом с Монахом возникли два современных молодца в синих джинсовых костюмах, оба одинаково поджарые, спортивные, шустрые. Мухин русский, Комаровский черный.

— Вот вам наш егерь, товарищ... — Редактор споткнулся, не зная

фамилии Монаха, и вскинул хитрые глаза на готовых ко всему своих сотрудников.

— Чего там, шеф,— нашелся первым Комаровский,— ясно: печальник природы, лесной человек, специалист по экологическим проблемам.

А Мухин взял Монаха под руку:

— Пойдем, дядя, потолкуем про твои елки-палки-веники.

— Племянник объявился.— Монах выдернул свою руку, но пошел следом за парнями в соседнюю комнату, синюю от табачного дыма. Сел там в простенке на стул между столов у окон, положил именной серп на колени.— Ну, что скажете хорошенького? — спросил у «племянника».

— Говорить будете вы, а хорошенькое или нет, сейчас увидим,— сказал Комаровский, открыв блокнот.— Итак, записываю.

— Я тоже,— сказал Мухин.

— Хоть одно окошко бы открыли, натоплено, как в бане.— Монах обернулся и ткнул ладонью в крестовину оконной рамы — створки распахнулись, и с улицы звонко застучал типографский движок.— Во-он что вы! От шума в дыму прячется...

— Точно. Ты, отец, наблюдательный,— перевел его из дядьев в высший чин Комаровский.— Ну, давай повествуй.

Монах уже оценил нахальность Комаровского и прилипчивую настойчивость Мухина и стал рассказывать, вежливо поглядывая то на одного, то на другого, про веники, про испорченные подола плакучих берез, таких пригожих, слов нет, про молодые погубленные деревца. Никто не против веников, но с умом надо делать, правила резки соблюдать. Чтобы после тебя природа не страдала, чтобы вместо ее красоты не возникло безобразия, подлости. Ты отдыхать отдыхай, но не ломай кустов и деревьев, не жги ненужных костров, не оставляй банок, бутылок и разного сору, бесстыжие твои глаза...

— Понятно, дед, напишем как надо. И подпись поставим твою, с указанием чина.

— Да, да, авторскую заметку дадим, не сомневайтесь. Мы тоже дети природы. Кстати, как ваша фамилия?

— Шишов.— Монах встал, не дожидаясь, пока его произведут в прадеды, и пошел к двери.

— Веники не забудь, дедок. У редактора-то.

— Парьтесь на здоровье. Только если суд спросит, потом подтвердите.

— Какой суд? — насторожился Мухин.

— Товарищеский. Скажу и там. А то кот судят, а до людей, которые природу губят, и дела нет.

— Постой, дед, постой! — Комаровский и Мухин мигом выскочили из-за стола и взяли Монаха под руки.— Кто судит? Какого кота? Где?

— На Новой Стройке. А кот — Титков Адам. Пустите, чего вцепились! — Монах сердито высвободил руки. Что за дурацкая привычка брать будто барышню или преступника.— Митя-Соловей там председатель. Взаимобразный.

— Взаимнообуюднов? Тот, что в райисполкоме работал?

— Он самый.

— Это же сенсация, Мухин!

— А кто ее открыл?

— Да сама открылась. Дед сказал. Правда, дед?

— Про суд вся Хмелевка знает, не спорьте.

— В самом деле?

— Врать я, что ли, стану. Вторую уж неделю вожжаемся. Объявления Федя-Вася по всему райцентру развешивал, три заседания было. Или четыре. Где у вас глаза-уши?!

— Действительно...

— Как это мы зевнули, старик?

Газетчики голодно посмотрели в форменную сутулую спину уходящего егеря и ринулись в кабинет редактора. Комаровский влетел первым и упал у порога, не заметив оставленных веников. Мухин с улыбкой напомнил ему о Цезаре:

— Плохая примета, старик. Не забывай историю.

— А-а, отстань! — Комаровский мигом вскочил, отряхнул деревянно загремевшие джинсы и устремился к редактору: — Шеф, поручите это дело мне.

Колокольцев поднял рыжую, с хохолком голову от гранок, не забыв прижать пальцем то место, где остановил чтение.

— Почему тебе? — подоспел Мухин. — Как что свеженькое, так ему. А кто спровоцировал старика на разговор о суде? Я!

— Не ты один — вместе...

— Вот видишь! Тогда и писать — вместе!

— Нет, с ним невозможно... Шеф, примените, наконец, власть! У меня же острее перо, тоньше!

— У него «острее»... Наглец! А вот насчет власти, шеф, он прав: примените. К нему. Пока он так выскакивает, мне нет ходу.

— Да зачем тебе ход, Мухин? Да ты...

Колокольцев ударил ладонью по столу:

— Хватит. Как на базаре. В чем дело? Рассказывайте кто-нибудь один. Ну хоть ты, Мухин.

— Почему он?

— А почему ты?

— Я — Комаровский, понятно?

— А я — Мухин!

— Опять заорали. Ну, кто умнее, замолчите. — Колокольцев подождал и удовлетворенно хохотнул: — Оба замолчали. Молодцы. Докладывай, Мухин.

— На Новой Стройке товарищеский суд рассматривает дело кота Титкова Адама, — доложил Мухин.

Колокольцев снял трубку и попросил телефонистку соединить его с уличным комитетом Новой Стройки.

— Новая Стройка? Кто говорит?.. Здравствуй, товарищ Башмаков... Да, Колокольцев. Что там у вас за суд происходит?.. Это я знаю. дальше... Так, так, подробней, пожалуйста. Минутку, я запишу. — Колокольцев поискал взглядом по столу, не нашел, перевернул ленту гранок и на чистой оборотной стороне стал быстро писать. — Так... так... Интересно... И директор Мытарин?.. И народный судья?.. Скажи пожалуйста!.. Так. Когда? В среду? Значит, надо торопиться, спасибо... А?.. Да. возможно, пришлем сотрудника, точно не скажу. До свиданья.

— Почему «не скажу», шеф, я готов!

— Опять «я». Ну, Комаровский, погоди!

— Ладно — «мы»! Мы с Мухиным готовы, шеф, хоть сейчас. Мы немедленно пойдем...

— Никуда вы не пойдете. Первую полосу забили?

— Почти. Единственная дырка в тридцать пять строк.

— Вот и досылай про веники, чего ждешь? Монах тебе на блюдечке принес, в рот положил, разжевать не можешь?

— А суд?

— А суд — когда выясним. Надо согласовать.

— Да чего согласовывать? — не удержался опять Комаровский. — Как чуть что, сейчас согласовывать. Любую филькину грамоту...

— Ты думай, что говоришь. Филькина грамота, Комаровский, может появиться только в шарашкиной конторе. Понял? Дай тебе волю, ты превратил бы газету в такую контору. Надо же иметь хотя бы какое-то представление о том курьезном деле!

- Вот и пошлите меня.
- Нас! — уточнил Мухин. — Здесь наклеивается фельетон, материал открыли вместе и писать будем вместе. Я не отступлю, Комар, не мечтай, ты меня знаешь!
- Ну хорошо, пусть вместе. Когда, шеф? В следующий номер?
- Когда подробно выясню и согласую.
- Видишь, Муха, вечно у нас выяснения, согласования, никакой сенсации.
- В нормальном, хорошо организованном обществе сенсаций не бывает. Выметайтесь, я передовую еще не вычитал. — Колокольцев перевернул гранки, ища начало статьи. — Где вот кончил, черти? И ведь пальцем зажимал, думал, на минутку зашли. Что теперь, сызнова ее, такую-то скучищу? Кто писал, ты, Мухин?
- Вы сами, — сказал Мухин, оборачиваясь к двери.
- Не может быть. Я вчера на совещании весь день просидел.
- Там и написали.
- Да? Впрочем, кажется, действительно что-то такое писал. Ну иди и вязанку веников возьми. С Комаровским поделишься.
- А вторая?
- Вторую — мне. Могли бы догадаться, эгоисты чертовы!
- Мухин взял зеленый пахучий сноп и пошел за Комаровским в общую комнату писать в «Письма трудящихся» заметку от имени Монаха. Колокольцев стал заново читать передовую статью. Теперь она, своя-то, читалась куда веселее.

XI

Из редакции сердитый Монах двинулся на поиски подлого хозяина серпа. Весь день, несмотря на жару, он ходил по людным местам райцентра, побывал у всех магазинов, на рынке, на автобусной и водной станциях, на пристани, у ворот РТС и пищекомбината, у дверей основных районных контор и учреждений, опросил десятки взрослых и сотни ребятишек и молодежи, каждому показывая орудие вчерашнего преступления. И, конечно же, ни один не признал серп своим, не помог раскрыть наглые буквы П. Ф. В., за которыми прятался трусливый недоросток, надсмеявшийся над плакучими березами. Многие даже удивлялись, нахлебники, как это Монах, серьезный, старый человек, занимается такими ничтожными пустяками, как поиски хозяина серпа. Переубеждать их было глупо.

Вечером усталый Монах, думая, как ловчее обеззаразить мир от человеческой среды, собрался домой, на свой остров. В библиотеке он взял «Мир животных» Игоря Акимушкина и журнал «Юный натуралист», в гастрономе нагрузил сумку хлебом, крупой, консервами и пошел к лодке, которую оставил неподалеку от старой ветлы, у огорода вдовы Кукурузиной.

Дневная суeta людей сменилась такой же зряшной вечерней суетой: у кинотеатра и Дома культуры гомонила молодежь, радиолококол с центральной площади блажил на весь поселок немую иностранную песню, в ближнем переулке у пельменной взвизгивала гармошка и сыпались вольные частушки. Только небо над грешной беспечной Хмелевкой, голубое, высокое, в золотом окладе зари, было чистым и на него вкатывалась щекастая луна. В лесу она освещает живую тишину растительной природы, а здесь света и так в избытке — почти над каждым столбом поднят, как зонтик, круглый абажур с сильной лампочкой, — и выставилась луна зря. Теперешним людям не свет нужен, а хозяйский грозный взгляд, воспитательная плетка, чтобы они, как малые дети, знали свое место в доме, чтили родителей и не делали того, что вредно

себе и другим. Покойный Яка⁵ правильно говорил, что нас в свое время недопороли, хотя царь и другие угнетатели очень старались.

Монах вышел задами к старой ветле за огородом вдовы Кукурузиной и остановился, заметив в прибрежном ивняке парочку. Вот паразиты! И, конечно, забралась в его лодку — она самая удобная, сухая, к тому же в кустах. Вот я вас сейчас турну...

— Милый мой, любимый мой, родной ты мой! — любовно всхлипнул женский знакомый голос. — Да неужто я виновата, если судьба так не задалась. Я ведь пионеркой была и комсомолкой, в драмкружке играла, на артистку хотела выучиться. А ушла из восьмого класса в продащицы. Отец-то умер, а я старшая, маме помогать некому...

Монах тихо, чтобы не зареветь банками, опустил на землю тяжелую сумку. Никакая тут не молодежь, а сама Клава Маёшкина с хахалем. Надо же! А говорили, что умеет только жульничать да орать на всю Хмелевку, если что не по ней. Все она, видать, умеет. И жалуется вот взаправду, с сердечной болью, и любовные слова говорит с нежностью. Артистка! Перед кем же она так выступает?

— А в торговле, милый, всем угоди: начальству дай план выручки с перевыполнением и культурное обслуживание, покупателям — свежий продукт с походом и взаимную вежливость, семье — получку до копеечки и душевное внимание. Во-от. Недовесь или ошибись со сдачей — покупатель орет, книгу жалоб ему подай, а ошибусь в его пользу, стану взвешивать с походом — без полочки останусь, семья голодной будет. Вот и рассуди, что делать хорошему человеку?

— В таких случаях, Клавочка, надо не угождать, а быть точной, другого выхода нет.

«Митя-Соловей! Неужто он? Бумажный мужичок, казенный правильный человек, исполкомовский заседатель!»

— Да, милая, только так. Точность, как честность, — самый верный, самый прямой путь в подобных случаях...

«Он! И надо же — усмирил самое Клаву! Вон даже плачет перед ним. Правда, что ей слезы — не купленные. Да и зря она плакать не станет».

— Митя, родной, мы ведь люди, а не машины. И какие же это случаи, когда всю жизнь так, всю жизнь ты если не на угождении, то на обслуживании. Или я неправильно сказала?

— Верно, Клава, правильно. Торговые учреждения и предприятия входят в сферу обслуживания населения. Но спрашивал я тебя не об этом.

— Постой, Митенька, погоди, мой хороший. Ты не об этом, а я о том самом, что болит. Двадцать лет отдано торговле, я отбредиваюсь налево-направо на вашу точность. А толку? Братики, которых растила, разлетелись, с праздниками забывают поздравить, молодость ушла, мечта об артистке высохла на корню, семьи сейчас нет. Я, Митенька, и не охнула, когда Заботкин меня уволил, даже перекрестилась: слава богу, сама по привычности бросить не решилась бы. А уж когда с тобой познакомилась близко, да сошлась, да полюбила... м-м...

— Минутку, одну минуточку с поцелуями... Я разделяю твои сердечные порывы, Клава, но ты почему-то уходишь от ответа.

«Так ее, Митя, правильно. Ты мужик, не забывай дела!»

— Про сливки?

— Про сливки. Признайся, ты ведь сочинила историю с котом и лампой, Клавочка?

— Да что ты, Митя! Вот, ей-богу, лопни мои глазыньки, не вру! Неужто же ты, любимый человек, мне не веришь? Какая же это любовь, если ты заодно со всеми считаешь меня воровкой и вруней!

⁵ Яков Мытарин, бывший егерь охотничьего хозяйства, ныне покойный, отец директора местного совхоза «Волга» С. Я. Мытарина.

— Ты права, Клавочка, нельзя любить воровку и лгунью, ты просто умница, я всегда знал это, но ведь я не сказал, что ты лжешь, моя ласточка, я сказал, что ты сочинила. Ты же в артистки готовилась, у тебя хорошо развито воображение, твоя натура предрасположена творить, тебя не удовлетворяет реальная действительность и ты хочешь пересоздать ее в своем воображении по законам красоты. Неслучайно же ты и сама красива, порой даже прекрасна, Клава!..

«Ну Митя, ну стервец, ну прохиндей! Как же мягко стелет, чиновный красной! А Клава хоть и крикунья, а, правда, пригожа и статью и лицом...»

— Остаточки, Митенька, последышки. В девках-то я красивше самой Фени-Цыганки была. Мне ведь уж тридцать восемь сровнялось.

— Разве это возраст, милая! Это цветение, конец весны, плодоносное время. Но мы опять, кажется, уклонились от темы.

— Плодоносное, Митя, твоя правда, плодоносное. Я тебе еще каких хошь детей нарожаю, хоть ребят, хоть девок. Неужто ты не хочешь сыночка, Митя? Такого маленького, горластенького соловьеночка? И в жены я к тебе не набиваюсь, живи со своею старухой, одна выращу. Знаешь, как я хочу сыночка — сил нет! Вечером приду с работы в пустую квартиру и реву: одна!..

Бездетный Митя-Соловей тяжело вздохнул, и его вздох передался Монаху, одинокому вот уже полвека. Правда, Монах был в дружестве с окружающей его со всех сторон растительной и животной природой, но иногда до слез хотелось, чтобы рядом был родной человек. Пусть даже такой вредный, как Клава.

— Мне ведь, Митенька, от любимого надо, от единственного. Чтобы сыночек мой был один такой на свете, самый красивый, самый культурный, самый хороший — как его отец. А такой у меня только ты, мой соловушка. Хочешь, украду второй бидон сливок, старуху твою убью, Хмелевку подожду, утоплюсь в заливе? Дай-ка еще поцелую...

«Ну змея так змея-а! И ведь сделает, что хошь сделает!»

— Минуточку, Клава, одну минуточку. Так мы опрокинем лодку, лучше на берегу, успокойся. Значит, сливки ты все-таки украдала?

— Да что ты, Митя, откуда взял!

— С твоих слов, милая, сама проговорила. И не вздумай отпираться, заклинать необыкновенной любовью. Я тоже тебя люблю, никого так не любил, но у меня и мысли не возникнет ради нашей любви воровать, убивать человека или топиться. Вообще никакое чувство не оправдывает преступлений против жизни и людей, а любовь тем более. Любовь — чувство созидающее, творческое, запомни это!

«Молодец, Митя, устоял...»

— Да я пошутила, родной. Как же я буду убивать или поджигать, когда за это в тюрьму посадят, с тобой разлучат! И сыночка у нас тогда не будет, и жить мы станем неизвестно зачем и для кого... Миленький ты мой, родной, суженый! Не расстанусь я теперь с тобой до самой смерти; не отдам никому, пусть хоть все полетит в тартарары. И любить тебя буду сильнее, чем Светка Пуговкина Витя. Разве ж они, нынешние, умеют любить!

Монах, внезапно пораженный догадкой, устало сел на теплую землю и привалился спиной к ветле: Пуговкин Федя-Вася — вот кто эти проклятые «П. Ф. В.» на ручке серпа. Начальные буквы сходятся в точности. Росту он тоже невидного, потому и обрезал самые нижние ветки... Ну Клава, ну молодчина — надоумила! Теперь я этого блюстителя-законника к самому Сухостоеву сведу, а то напрямиком к Огольцову, к прокурору...

— Нет, Клава, так нельзя. Мне, конечно, приятны твои слова о любви, твои поцелуи и ласки, но все же я не могу не думать, что ты уходишь от ответа на мой вопрос. В конце концов я все равно поставлю его пуб-

лично на ближайшем заседании нашего суда. Я люблю тебя и, естественно, мне будет больно тебя допрашивать публично, но что же мне делать, если ты сейчас игнорируешь мои служебные интересы.

— А ты мои любовные ни во что не ставишь. Готов променять на бидон казенных сливок. Им и цена-то всего полсотни, совхоз обеднеет, да? А на суде ты только для формы спроси, а станешь допытываться — открыто всю правду скажу и тебя ославлю. Неужто станешь рисковать, милый? Ты же правильный у меня, чистенький, жены боишься, до риска ли! А если я откроюсь, такого председателя суда держать не станут, твоя старуха тебя выгонит, я не приму. Не люблю я нерешительных, Митенька...

«Вот баба!.. Мне тоже Федю-Васю лучше в товарищеском суде накрыть, а то Сухостоев своего бывшего сотрудника пожалеет, прокурор не станет возиться с венниками — мелко для него».

— Если так, нам самое время расстаться. Что ж, я готов.

— Не готов ты, милый, нельзя нам расставаться, родной. Ты же сам говорил, я тебе нужна, Митя, без меня ты теперь не сможешь. А я — без тебя. И давай друг дружку слушаться, перевоспитываться. Я за один год вон как исправилась — вся Хмелевка дивуется. А сливки украла в последний раз. Из-за тебя, Митенька.

— Позволь, но это же чистейшая ерунда, Клавочка!

— Не ерунда. Из-за одного тебя. Сапожки французские с рук взяла, с переплатой. Каблукочек средний, чтобы не выше тебя быть, голенища без «молнии», с такими вот бомбочками на шнурках, мягкие, широкие, как раз по моим икрам. Сейчас ведь мода на баб худоногих, как цапли, голенища им делают узкие, а с широкими в мастерской не шьют, набойки только делают, мелкий ремонт. Как же упустить?

— Позволь, позволь, но при чем тут я? Ты воруюешь сливки, покупаешь сапожки, а я, видите ли, виноват.

— Ты, один ты, Митенька. Если бы не ты, я бы в югославских две зимы еще проходила, они крепкие, только каблук высокий. И финские у меня почти новые, прошлой осенью у Аньки Ветровой брала, ей малы оказались. Она же вон как расплылась, совсем за собой не следит, а я себя соблюдаю, по утрам только стакан простокваши, в обед — как всегда, а вечером опять простокваша и одно яблоко. Ни пирожного, ни печенья, ни конфет в рот не беру.

— Надеюсь, здесь-то я не виноват?

— Здравсьте, а кто же? Неужто я стала бы так терзать себя, одно-то! До чего вы, мужики, бестолковые. Всю свою жизнь ради него переделываешь, а он, дурак такой, удивление высказывает! Не любишь ты меня, Митя, вот что!

— Странное и безосновательное заключение, причем в грубой форме. Я уже не раз говорил, что люблю тебя, но я не в силах примириться с твоим воровством и ложью.

— Не могу же я в один год переделаться, Митя. Я и так уж многое исправила: кричать на людей перестала, вежливость соблюдаю, не пью даже красное, говорю всем «вы»...И украла в этом квартале первый раз, больше не буду. Вот, ей-богу, лопни мои глазыньки, не вру и врать не стану! Верить?

— Хочется, Клава, но ты должна эту веру оправдать.

— Оправдаю, Митя, оправдаю, родной, ты только верь. А любить тебя буду до гроба, как никто уж не любит, один только дядя Федя Монах. Ты не гляди, что он угрюмый да косматый, душа-то у него чистая, рассудительная, только неразговорчивая. Покойница мама рассказывала, что он...

И Монах, невольно затаив дыхание, выслушал восхищенный рассказ о том, какой он был веселый да отчаянный в парнях, как женился на самой красивой девушке Хмелевки, которая безумно его любила и

умерла при родах с именем своего Феденьки на устах. И ребеночек их первенький, сыночек, умер в тот же день. С тех пор Монах не глядит ни на одну женщину и остается верным своей жене. Пятьдесят лет! Правда, и жена у него была особенная, как церковная мадонна, не то, что нынешние фифы с сигаретами.

У Монаха зашипало в горле и он потер его, чтобы не всхлипнуть. Клавка говорила правду, почти правильную правду. Ну не так, чтобы мадонна-богородица, веснушки на носу были, маленькая бородавочка на левой щеке, но зато глаза большие и ясные, как весеннее небушко, щечки румяные, с ямочками, губки полненькие, вырезные, а светлая коса чуть не до пяток, три раза вокруг головы обматывалась. И когда умирала, все время повторяла его имя — тоже правда. А насчет того, что не глядел после ни на одну — неправда. Грешен, молодой был, не утерпел, дурак. Сильно уж похожа была на покойницу, сразу потянулся, но после первой же ночи опамятовался и со страхом понял, что замены не найдет. Никогда. С тех пор и стал настоящим монахом. Теперь вот Клавка вроде бы завидует, дурочка, о верной любви до гроба мечтает. И чуть не крикнул: «Не мечтай, Клавдя, не завидуй. Такая любовь — наказанье, а не утешение одиночества».

— В среду опять нас допрашивать станете? — спросила она.

— Почему опять? Мы вас с Ветровой еще не допрашивали.— Митя-Соловей, кажется, сердился.— На среду вызываем всех основных свидетелей, истцов и ответчиков, надеемся провести самое главное заседание. Так что готовьтесь. Сегодня ко мне приходили газетчики Мухин и Комаровский, пытались выведать следственную информацию, но я, разумеется, отказал. Судебный процесс еще не закончен, а они уже нацелились на фельетон или критическую заметку. Такие настырные. От меня направились, кажется, к Башмакову. Между прочим, навел их на суд твой прекрасный Монах. Именно он ходил в редакцию и какие-то веники еще им оставил. Вероятно, в подарок. А я считал его серьезным человеком.

— Да не наводил я,— сказал Монах, подымаясь.— И веники оставил не для подарка.— Спихватился, что выдал себя и с сердитым смущением закашлял.

В кустах раздался шумный плеск, испуганно зафыркал Митя-Соловей, упавший в воду, скандально закричала Клавка:

— Ах ты, хрен моржовый, Робинзон несчастный! Подслушивать подкрался, леший?! Митя, держи руку. Трус же ты, миленький. Чем вог перед своей Варварой оправдаешься? Да не в лодку лезь, не в лодку — к берегу выбредай, домой пойдем.

Монах взял тяжелую сумку и, не таясь — чего уж теперь — подошел к ним. Митя-Соловей, весь мокрый, снимал на берегу туфли. Клавка, держась за борт лодки, влезла на нос и прыгнула на землю, продолжая ругаться.

— Подслушиваешь, старый пенек? За молодыми подглядываешь? А я-то, дура, его нахваляю, чуть не за бога считаю! Это надо же, такое наказанье на мою голову!

— Не ори,— сказал Монах.— Заняли мою лодку и рассуживают, молодые! Вам, по-доброму-то, не обниматься-целоваться, а внучат нянчить.

— Не твое дело. Ишь, свекор нашелся — доглядывать. За лесной природой лучше бы смотрел, скоро всю изломают и расташут по домам. У-у, косматая образина!

— Не подымай клешни-то, враз обломаю.— Монах, однако, обошел Клавку, поставил продукты в нос лодки и достал из кустов спрятанные утром весла.— Кота судят, паразиты! Вот скажу на суде-то при всем народе, оправдывайтесь тогда, светите бесстыжими-то глазами.

— Что ты скажешь, что?

— Все скажу, ничего не утаю.— Монах слез с берега в лодку, вставил весла в уключины, сел на лавку.— Председатель суда милуется со свидетельницей, а она не свидетельница, а воровка.

— Это не по-мужски,— встревожился Митя-Соловей, стягивающий мокрую рубашку.— Заниматься шпионством, фискалить и вообще...

Клавка хотела запустить в Монаха сумочкой, но вовремя остановилась: Монах уже налег на весла, и она не докинула бы. Скоро он стал недосягаем и для ее главных обвинений: ведь кричать, не обнаруживая себя, нельзя, а приглушенного голоса он уже не слышал. И ее поднятых рук, которыми она бессильно грозила, уже не видел: старческие глаза потеряли былую зоркость. В вечернем сумраке он различал лишь размытый белый силуэт — это Митя-Соловей разделся и торопливо выжимал праздничную одежду.

ХИ

Среда для хмелевцев началась с неприятностей. Утром областное радио сообщило, что сегодня опять ожидается сухая жаркая погода, с температурой в середине дня 32—34 градуса, а в Заволжских районах — это значит и в Хмелевском — до 36 градусов. Как под пазухой. Впрочем, под пазухой-то нормальная температура здорового тела. А вскоре пришла почта, и в районной газете подписчики прочитали резвый фельетон Мухина и Комаровского «Развлечение дедушек», где осмеивался товарищеский суд Новой Стройки. Навыбирали-де пенсионеров, вот они от безделья и затеяли процесс над котом.

Очень поверхностное зубоскальство. Именно поэтому в редакцию и районные организации сразу пошли протестующие звонки. Членов суда хмелевцы уважали, к тому же наскок на них задевал интересы всех пенсионеров, которые охотно занимались общественной работой. К обеде атмосфера в знойной Хмелевке сгустилась настолько, что товарища Взаимнообоюднова официально пригласили к Балагурову⁶. В управлении Митя-Соловей встретил обескураженного Колокольцева, но на его «здравствуйте» не ответил, в кабинет Балагурова пропустил первым: ты наклепал, вот и вставай на ковер первым.

Балагуров поздоровался с обоими за руку, Мите-Соловью предложил сесть, а Колокольцева оставил на ковре:

— Расскажи, друг сердечный, как ты додумался мешать такому серьезному мероприятию, как товарищеский суд?— А у самого глаза смеются, потная лысина сверкает тоже весело.— Да не мне рассказывай, а ему, председателю суда. За что он вам не понравился?

Убедительных оправданий у Колокольцева не было и не нашлось. Мухин и Комаровский писали фельетон с колес, чтобы поспеть в сегодняшней номер и прихлопнуть суд в день его решающего заседания: их обидела дерзость Взаимнообоюднова, который отказался дать информацию о суде, и грубость Башмакова, не терпевшего фельетонистов. Да и тот факт, что подсудимым стал кот, не имел прецедентов и сам просился обнародоваться. Они взяли за основу рассказ ответчика Титкова и невольно упростили историю, дали ее однобокой. Колокольцев сначала не хотел печатать фельетон в таком виде, но о суде над котом пронюхал собкор областной газеты Коптилкин, и гвоздевой материал мог уплыть в чужие руки. Сатирическая публикация в областной прессе ударила бы прежде всего по району, представив его в анекдотической окраске,— объясняй потом, оправдывайся...

— Объяснить ты и сейчас толком не можешь,— сказал Балагуров, выслушав его сбивчивый рассказ.— Вроде бы заботился о чести района, а напечатал такой дешевый материал. Этот ваш конкурент даст его со своими комментариями в областной газете, и вот уже героями будем не

⁶ Главные районные начальники в тот день были в областном центре, и в районе распоряжался Балагуров.

мы, а ты со своими Мухиным-Комаровским. Понял? А теперь, будь добр, иди и извинись перед всеми членами товарищеского суда.

— Я извинений принять не могу,— заявил Митя-Соловей твердо и встал.— Публично смеялись, пусть публично и извиняются. Иначе подадим в суд.

— Правильно,— согласился Балагуров и пораженно уставился на Взаимнообоюднова: никогда не предполагал в нем такой решимости.— И подавайте сразу в народный. Они виноваты не только перед вами, но и перед читателями.

Голова Колокольцева загудела, как старая электронная машина в поисках оптимального решения. Извиняться печатно — это общественная демонстрация своего верхоглядства, удар по престижу газеты, уменьшение полугодовой подписки, нахлобучка от сектора печати обкома и т. д. Не извиняться — народный суд, его гласность и, как результат, те же неприятности, что и при извинении.

— А если мы косвенным образом исправим эту ошибку? — предложил он.— Например, побываем сегодня на суде и в следующем номере дадим большой репортаж с объективной картиной заседания и положительной оценкой работы всех членов суда?

— Нет,— отверг Митя-Соловей.— На заседание суда мы вас не пустим, пока не принесете публичные извинения.

И опять Балагуров удивился его непреклонности. Такой-то послушный исполнитель, который боялся вышестоящего начальства и не принимал самостоятельно никаких решений, восстал!

— Хорошо, Дмитрий Семенович, так и действуйте,— сказал он.— Мы с Межовым постараемся в конце дня побывать на заседании вашего суда, а потом поговорим. До свидания. А ты, Колокольцев, останься.

Митя-Соловей не спеша, будто делал это ежедневно, пожал пухлую руку Балагурова, покрыл поседевшую голову соломенной шляпой, вышел, не замечая Колокольцева.

С крутой, в один марш на двадцать две ступеньки лестницы он спустился скоро, не держась за перила, с поднятой головой, и лишь на улице почувствовал, как бесконечно устал и вспотел от напряжения. Впрочем, вспотел он, скорее, от жары, хотя и был одет в легкий полотняный костюм. Духота стояла непримиримая, улицы Хмелевки обезлюдели, только с водной станции доносились крики молодежи и шумный плеск от падающих — наверное, прыгают с вышки — в воду тел. Он расслабился, вытер платком лицо и шею и усталое пошел в уличный комитет. Победы давались ему непросто. Но давались уже, давались!

Только что он привычно почувствовал власть и силу Балагурова, но поборол свое рабское состояние, не закачался, устоял. Даже откровенное удивление начальника его не смутило. Не засуетился он в готовном многословии, не потек, как грубо предрекала час назад жена. Бедная Варвара! Отчаянно борется за сохранение своей бездетной семьи, за прежде дисциплинированного супруга, за спокойную старость. И она по-своему права. Но сколько же в ней власти, стремления подчинить взбунтовавшегося мужа! Да как он посмел поднять восстание на таком примерном семейном корабле, как наш! Как решился поставить под сомнение то, что испытано годами совместной жизни! Как он, ничтожный подкаблучник, отважился изменить ей, волевой и порядочной женщине, с какой-то полудикой мерзавкой! Да ты погляди на себя, опомнись! Тебя и зовут-то не по имени-отчеству, а по кличке. Какой ты соловей, ты старая ворона, галка, мокрый воробей! Да как ты смог на такое отважиться!..

А он отважился. Смог. Посмел. Решился, наконец. И уже не видел в этом большой доблести. Ему шестьдесят лет, он всю жизнь служил или работал, выполняя задания или приказания, он был добросовестным и исполнительным, никогда не изменял строгой жене, слушался ее

советов и повелений и вообще делал все, что от него требовали другие. О себе как-то не думал, не успевал. Его просто не было вне службы. И вот — пенсия. Вся прежняя жизнь как-то разом оборвалась, осталась одна Варвара, толстая, старая, сварливая. Она была ежедневно, с утра до ночи, на глазах, она была неизменно прежней, от нее трудно было скрыться. Целыми днями она могла сидеть на скамейке перед домом и лузгать семечки, толкаться в магазинах или на рынке, ругаться с соседками или воспитывать по своему подобию мужа. А вечером неотрывно сидела у телевизора.

Митя-Соловей остался один. Как всегда, много читал, копался в огороде за домом, но Варвара ухитрилась попрекнуть его и огородом: вот-де если бы не дом моих покойных родителей, жить бы тебе в коммунальной квартире и никакого сада-огорода, читай одни свои книжки, и все.

Однажды, одинокий в своей пенсионной бездельной жизни, он пошел в библиотеку, а попал на квартиру влюбленной в него Клавки Маёшкиной. Как-то нечаянно. Заблудился, знаете ли. Но как же хорошо ему стало в этой чистой коммунальной квартире, как уютно!

Громкая Клавка, о которой ходили всякие были и небылицы, как и прежде, при случайных мимолетных встречах с ним, сразу преобразилась в стыдливую, застенчивую девушку, напряженно-внимательную к нему, трогательно робкую, услужливую. И даже потом, когда привыкла к нему, долго еще каждое его слово выслушивала почтительно, советы принимала с благодарностью, выполняла их старательно, как младшая школьница заданный урок. Но и, подобно школьнице, она считала своего учителя непогрешимым, невольно заставляя его стремиться к этому, и горестно изумилась, когда заметила его слабости. А заметив, — вот она, женская последовательность! — полюбила еще больше: слабый Дмитрий Семенович, Дима, Митенька, Митя-Соловей стал близким, родным, он спустился со своих высот на землю, он помогал ей и сам нуждался в помощи, его можно было любить и жалеть, о нем надо было заботиться и даже, пока он сам не окрепнет и не осмелеет при ее возрождающем влиянии, защищать его.

Очень скоро он понял, что жена Варвара — это необратимая косность, а Клавка — сама естественность, стихия, неизвестность, слепая энергия, бездумный риск, жажда вечной любви и... порядка в своей жизни, гармонии. Как полноводному потоку, ей нужны были надежные берега, чтобы стать рекой и выйти к морю, к океану. Такими берегами она сделала его, Дмитрия Семеновича Взаимнообоюднова. Сама выбрала.

Раздумчиво шагая сейчас по деревянному тротуару, из досок которого солнце вытапливало грязную смолу, он думал о прошлом свидании, которое подглядел Монах, и своем позорном падении в воду. Клавка тогда заступилась за него, но тут же, при Монахе, обозвала трусом, а потом помогла выжать вот этот полотняный костюм и проводила домой, сочувствуя его пугливости и неловкости. Это ее сочувствие, угроза рассказать на суде об их связи, такая же угроза Монаха и особенно ругань жены, которой было лень гладить костюм, ускорило созревание его решимости. Варвара даже не спросила, где он был. Когда же он, вконец расстроенный, признался, что ходил на свидание с Клавкой Маёшкиной, она издевательски засмеялась: потому и прибежал мокренький?

И тогда, изнемогший от помыканий, Митя-Соловей взорвался: «Молчать, старая паразитка! Всю жизнь на моей шее и меня же погоняешь — хватит, приехали!» И влепил ей такую гневную плюху, что Варвара изумленно выкатила глаза и, пятась, опустилась на диван.

Ранним утром она срочно помирилась с соседками, и те с радостью подтвердили известную всей Хмелевке неверность Мити-Соловья.

Когда он проснулся, полотняный костюм был почищен, отглажен и висел на спинке стула перед кроватью, а с кухни неслись дразнящие запахи праздничного завтрака.

И опять он устоял, говорить с Варварой не стал, питался в столовой, ночевать, однако, пришел домой, а не к Клавке: с той надо тоже быть твердым, неизвестно, как поведет себя на суде его возлюбленная.

А среда началась с известного уже испытания — фельетона. Варвара, редко раскрывавшая газеты, каким-то чутьем сразу наткнулась на фельетон, приняла его за подкрепление свыше и решила дать генеральное сражение. Митя-Соловей не отступил. Известно, что не сбобел он и у Балагурова. Если он выстоит еще и на суде, тогда с чистой совестью можно жить дальше.

Он пришел в уличный комитет, разделся до майки и отдышался. Потом стал разбирать бумаги, готовясь к заседанию. Главное теперь — задать твердый деловой ритм и сразу добиться откровенности истцов и свидетелей, тогда и с ответчиком разговор пойдет легче. Но в этом случае самому тоже надо быть предельно откровенным, иначе ничего не добьешься. Ведь достаточно Монаху рассказать о позавчерашнем свидании, которое он подсмотрел, или закрыть глаза на живую жалобу Клавки о сливках, — и все пойдет на потеху. Значит, первое признание надо делать самому. Публично. Но сможет ли он потом вести заседание? Не потеряет ли моральное право на это?

Пришел с обеда товарищ Башмаков и сунул ему пухлую захватанную тетрадку со своим планом благоустройства жизни в Хмелевке: изучи-ка, понимаешь, до заседания, а потом обсудим. Митя-Соловей не дал запрычь себя в случайную повозку и вернул тетрадь, сказав, что товарищеский суд таких планов не обсуждает.

— Извини-подвинься, председатель. Если вы суд, то должны, понимаешь, обсуждать. Про мелочь какую-то сколько уж дней говорим, а тут план всей будущности района... Если не возьмешь, сам выступлю, понимаешь, перед массами.

— Это ваше личное дело. А пока помогите обеспечить явку основных жалобщиков и свидетелей.

Башмаков обидчиво промолчал, но список взял и ушел.

Потом заглянул Сеня Хромкин — этот с добрым, но слишком общим советом думать на суде не о виновности кота, а об интересах «всего населения трудящегося народа Хмелевки и найти шоссейной гладкости путь движения к всеобщему удовлетворению богатства и счастья для повышения нравочестности настоящих советских трудолюбив». Такую длинную, мудреную даже для Мити-Соловья фразу он, вероятно, подготовил заранее и произнес без отдыха, несмотря на знойную духоту. Впрочем, зной не особенно его беспокоил, потому что одет он был как древний философ, шеголял почти по-сократовски — в легких шароварах и майке, ноги и лысина босые. Уходя, Сеня сообщил, что на суд вряд ли придет, потому что сейчас он размышляет «над единым изобретением всеобщей электродвижущей дороги, которая должна оставить прежнюю жизнь позади текущих событий злободневной современности. Нельзя растворять себя в разных делах, надо сосредоточить всю личность творчества на чем-то одном».

Конечно же, он прав, надо сосредоточиться... И сделать решительное признание еще до открытия заседания. Или сразу после открытия.

Духота становилась нестерпимой, и Митя-Соловей отложил бумаги, приняв предложение мальчишек восьмиквартирного дома сходить искупаться. «Мы недолго, дядя Митя. Нам бы только поглядеть, как вы плаваете».

Не очень солидная компания для официального человека, но он всегда любил детей и они ответно любили его, восхищались его умением плавать «без рук» и далеко нырять. Никто на свете, кроме ребяташек,

не замечал этого искусства, а если замечал, то не ценил. Удивляюсь твоей легкомысленности, говорила Варвара, когда узнавала, что он в такой вот компании ходил купаться. И его тягу к детям не одобряла: ты-де государственный человек, представитель районной Советской власти, и ты никогда не добьешься большого авторитета и не станешь председателем исполкома, если за тобой ходит ватага мальчишек.

Тщеславная дура. Столько счастливых минут из-за нее потеряно. Они же все понимают, мальчишки, они его, как родного, дядей Митей зовут, чего перед ними пыжиться! И судом вот интересуются без всяких улыбок, помогают установить истину. «Дядя Митя, вы еще долго Адаму судить будете? Он же не любит столько лежать, он бегать любит... Дядя Митя, а зачем только Адам виноват? У Шатуновых Маруся настоящая воровка, тоже полосатая, и у дядьки Феди-Черта сетку в двух местах прогрызла. Он сетку с рыбой в кусты бросил, а Маруся унюхала ночью и нашла... Дядя Митя, а ему хвост не отрубят? Заступитесь, дядя Митя, он мировецкий кот, никого не боится...»

И таких ребят он должен стыдиться? Да в их обществе он только и отдыхает по-настоящему, без напряжения, они возвращают ему первоначальное ощущение жизни, чистое, свежее, непосредственное, возможное только в детстве.

Накупавшись и позагорав на песочке, Митя-Соловей окончательно решил выступить на суде с саморазоблачением. Утвердившись в этом, он повеселел и пошел с ребятишками пить квас. Бочка стояла у магазина и ребятишки предложили перекатить ее к восьмиквартирному: там же народу соберется тьма, дядя Митя, а тут — под горку, машины не надо. И тележку с мороженым туда же.

Обе продавщицы согласились, и мальчишки с радостными криками перекатали бочку с тележкой к восьмиквартирному дому. С их же помощью был обставлен «зал заседаний»: вынесены под липки стол, стулья, скамейки, подметен и полит пыльный «пол» с пожухлой травой, собраны табуретки из соседних домов, принесены для сиденья тарные ящики от магазина. А когда Митя-Соловей просмотрел свой листок с порядком рассмотрения жалоб на Адама и Титкова и убедился в его правильности, то почувствовал себя хозяином и понял, что сильный человек — это прежде всего терпеливый и стойкий человек. Как он сам. И еще решительный — как его Клавка. Значит, и ему надо стать решительным, иначе никакого союза у них не получится.

ХІІІ

Жара стала заметно спадать, но сухая, растрескавшаяся земля источала жар из самой своей глубины, прохожие жались в тень, охотно задерживались у квасной бочки, не спеша лизали мороженое. И уже не уходили из этого райского уголка, надеясь, что с началом заседания суда их еще и позабавят.

К открытию заседания собралось столько публики, сколько было в прошлое воскресенье, хотя рабочий день еще не кончился, пришли пока лишь домохозяйки да пенсионеры.

Юрьевна поздоровалась с Митей-Соловьем и с Черновым, которые уже были за судейским столом, кивнула Титкову — тот сидел, сутулясь над своим котом, прикрывая его на боковой скамье. А прямо перед столом красовалась нарядная, будто явилась на праздник, губы подкрашены, Клавка Маёшкина рядом с Анькой Ветровой; сидел с серпом на коленях волосатый Монах.

Юрьевна заняла свое место за столом, раскрыла папку с бумагами, закурила и разрешающе кивнула председателю: можешь начинать, я готова.

Митя-Соловей почему-то волновался, хрустел пальцами, но встал с напряженной решимостью. Видимо, что-то замыслил. Юрьевна насторожилась.

— Граждане истцы, ответчики, свидетели и присутствующие! — объявил Митя-Соловей звонко. — Прежде чем начать разбор по обвинению в различных проступках и преступлениях кота Адама и его хозяина гражданина Титкова, я должен сделать признание, которое считаю важным не только для себя. — Помолчал, усмиряя волнение, и — как с обрыва в холодную воду: — Я нахожусь в близких интимных отношениях с Клавдией Васильевной Маёшкиной. Мы любим друг друга и, возможно, соединим свои судьбы, если Клавдия Васильевна поведет себя на суде и в дальнейшем с правдивостью, достойной ее невянущей красоты, ее смелости. К сожалению, вы знаете ее, граждане, не только с лучшей стороны, хотя ее достоинства, по моему мнению, крупнее и ярче недостатков...

Юрьевна зашлась кашлем от такой глупости, достала папиросу и закурила.

— Занести в протокол?

— Непременно, — сказал он, переводя дух.

Юрьевна покачала седой головой и посмотрела в «зал». Конечно, люди были ошпарены такой откровенностью. Все же знали, что Клавка Маёшкина долго завлекала Митю-Соловья, знали, что в прошлом году она наконец победила, и Митя-Соловей стал ее мужем на общественных началах, но ведь только на общественных. А сердитая его Варвара как же?

Косматый Монах удивленно наклонился вперед, выставив лопатой седую бороду, Анька Ветрова раскрыла вместительный жабий рот, ожидая подробностей о своей подруге, Витяй Шатунов с улыбкой вертел пальцем у виска, небритый Федька-Черт что-то шептал своему рыболовному напарнику Ивану Рыжих, директор Мытарин, только что заглушивший мотоцикл, недоумевал, почему столько людей подозрительно молчат, глядя на стоящего за столом Митю-Соловья, а Клавка Маёшкина сидела с таким лицом, будто ее высекли природно или сообщили, что она выиграла по лотерее паровоз. Куда его? Заместо самовара?

Юрьевна наступила под столом на ногу председателю — не молчи! — и он, встrepенувшись, закончил:

— Поскольку гражданка Маёшкина выступает на суде не только как свидетельница, но и как истица, вы вправе считать меня пристрастным и не можете доверять разбор ее жалобы.

— Можем, — сказал догадливый Мытарин, пробираясь с тарным ящиком в передний ряд. — Это же открытое разбирательство, пожалуйста. Если сморозите не то — поправим. — И оглянулся: — Как, граждане?

— Доверяем! — заорали сразу несколько человек.

— А ответчики? Титков, ты ему доверяешь?

— Пускай. — Титков кивнул. — Вот только насчет Адама не знаю. Адамушка, ты не против? — И погладил лежащего на коленях кота по голове. Тот прикрыл глаза и замурлыкал. — Доверяет. Нам, говорит, один черт.

Митя-Соловей обиделся, что его решительное признание, стоившее таких волнений, легко принято — могли бы серьезно обсудить, поговорить на тему любви и брака. Но в то же время он вздохнул с облегчением и еще крепче сжал руль заседания.

— Не вышучивайте дела, гражданин Титков, вы не на завалинке. Тише, граждане. Благодарю всех за доверие, но все же считаю необходимым передать на время функции председателя товарищу Чернову. — И сел, отодвинув папку с судебным делом Кирилычу.

Принципиальный.

Юрьевна ткнула окурок в чайное блюдо, служившее пепельницей, и склонилась над протоколами. За свою жизнь она написала таких и подобных им бумаг горы, стенографировала на самых разных заседаниях, совещаниях, но работа в товарищеском суде была самой bestолковой и самой интересной. Здесь разговоры часто отражали самую жизнь, а не нормативные представления о ней. И человек тут виднее. Вот хотя бы Чернов. Старик ведь, недавний сеяльщик, плотник, крестьянин, а как просто принимает власть председателя. Неторопливо, без смущения. Надел очки, раскрыл папку, нашел первое заявление, породившее это хлопотное дело. Потом навел очки на Маёшкину:

— Встань, Клавдя, и расскажи, как это кот умудрился причинить такой урон совхозу. Тридцать два литра сливок — это больше трех ведер. А ты, Юрьевна, запиши ее слова в протокол как есть на самом деле.

— Знаю без тебя, — осердилась Юрьевна. Промолчи, и каждый неуч помыкать тобой начнет.

Клавка готовно встала, оправила прилипшее к тугим бедрам платье и, не сводя любящего взгляда со своего Мити, призналась:

— В недостатке сливок виновата одна я как заведующая сепараторным пунктом. Насчет кота пошутила и прошу простить. За сливки совхозу уплачу или пусть вычтут из полочки. Здесь сидит наш директор Степан Яковлевич Мытарин, и у него я тоже прошу прощения. — Мытарин при этом показал ей кулак. — Простите, Степан Яковлевич, по дурости это, больше не буду. И ты, Андрон Мартемьянович, прости, зла я тебе не хотела. Вот, ей-богу, не вру!

— Ладно, — сказал Титков, и отхлебнул из плоской фляжки.

Юрьевна подняла голову от бумаг и увидела, что опять все удивленно онемели: Клавка Маёшкина, произведенная Митей-Соловьем в Клавдию Васильевну, открыто признала свою вину — век этого не случилось. Что же это происходит, товарищи!

— Молодец, — похвалил председателя Монах. — Если куры не заклюют, далеко пойдешь. Но ей все равно не верь: надует, ведьма.

— Молчал бы уж в тряпочку, — сказала Клавка.

Чернов снял очки и откинулся на спинку стула:

— Ну что теперь с тобой делать?.. Давай, Титков, ты первый: простишь ее, или за клевету, за оскорбление привлечем?

Титков не мог сразу ответить: запрокинув голову, пил из алюминиевой фляжки «солнцедар» под видом кваса. Судебные волнения все-таки столкнули его с трезвой стези, как он ни крепился. Паузу заполнил Монах.

— Дело тут не в бабе, а в мужике, — сказал он, помахивая серпом. — В бабе вообще дела нет, существо это природное, подчиненное. А подчиненные хорошо работают только при хорошем начальнике. Прости ее, Кирилыч, чего там.

Титков положил фляжку на колени рядом с котом и тоже свеликодушничал:

— Хрен с ней, пусть идет, знаю я их...

Все весело захопало, Митя-Соловей облегченно улыбнулся, а Клавка, прежде чем уйти готовить праздничный ужин любимому, тихонько посоветовала старой своей подружке Ветровой тоже признаться и уплатить за колбасу — всего-то шестьдесят рублей, не бери грех на душу. «Спешу и падаю!» — с досадой прошипела Анька. И когда Чернов поднял ее, подтвердила прежние показания, которые дала Федевасе, и стала ругать Титкова и его кота, а заодно и хмелевцев, не понижающих душу работников торговли и общественного питания. Титков в долгу не остался, и Ветрова раскричалась еще пуще. Их переважку Юрьевна записала кратко: «По вышеупомянутому вопросу ответчик и свидетельница обменялись неместными друг для друга мнениями». Потом закурила и стала слушать.

— Мы хотим вас накормить-напоить,— кричала Анька,— а вам все плохо! Ваш Адам мышей давно не ловит, а собак гоняет да ворует у меня колбасу, а вы только и глядите за тем, как бы вас не обвесили. Какое же обвешиванье, если этот полосатый змей слопал. Вон и Матвей скажет...

С лавки поднялся краснощекий пожилой грузчик райпотребсоюза и сказал, что все правда, съел. Коты, они такие, сколь хоть съедят, лиходен.

— Я осенью свинью колол, и когда гусак вынул и положил в таз, кот печенку съел. Я в это время тушу в снях вешал, а он, значит, не зевал. Выхожу — от печенки один кусочек остался, во-от такой, на погляд только. Фунта три была печенка, всю сожрал, лиходей.

Чернов в сомнении покачал головой, но посадил грузчика на место и спросил Аньку, не ел ли Адам сахар.

— Не ел. Чего не было, того не было. Я бы хруст услышала.

— И вино не пил?

— Ваши насмешки оставьте своей Марфе. Где это видано, чтобы коты вино пили! А еще старый человек...

Чернов сделал ей внушение за nepозволительный упрек, посадил и послал ребятишек за ее начальником Заботкиным — пусть он объяснит, как можно списывать на кота целый пуд краковской колбасы. Хотя на свете все бывает. В Ивановке вон на волков списали сорок с лишним овец, а волков-то давно уж нет, всех вывели, егерь здесь, он не даст соврать. Монах подтвердил: да, волков в Хмелевском районе сейчас нет, это правда. Чернов сказал ему спасибо, передал власть председателя Мите-Соловью, и заседание двинулось дальше.

Теперь перед судейским столом встал, широко расставив ноги и сунув руки в передние карманы брюк, длинноволосый Витяй Шатунов. Поглядывая в сторону краснорожего Титкова и его кота, он усмешливо рассказал, что разбойный Адам любит затевать драки с собаками, те с остервенелым лаем гонят его, а он, чтобы завести собак под машину или мотоцикл, бросается на проезжую часть улицы. В азарте глупая свора кидается за ним, люди шарахаются кто куда, и вот налицо аварийная ситуация. Только из-за этого он наехал на дерево и потерял водительские права.

— Не из-за этого, а был под мухой,— сказала Юрьевна.— Мы проверили этот факт, справка есть. Вы, шофера, любите выкручиваться.

— Выпил я потом, с горя: липку жалко и подфарник разбил. А когда наехал на дерево, я был как стеклышко. И люди видели, что кот дороге перебежал. Скажи, дядя Матвей.

Поднялся тот же грузчик и подтвердил: да, перебегал, лиходей, а за ним целый кагал собак.

— Слыхали? Я врать зря не стану. Давайте бумагу в ГАИ, мне права надо выручить.

— Решение мы примем только после рассмотрения всех жалоб.

— Да чего рассматривать, или не знаете этого прохвоста? Он всю жизнь нам портит. Скажите, Ирина Федоровна! — Витяй оглянулся на крашеную директрису районного Дома культуры Серебрянскую: — Он же вам прошлый раз лекцию о героизме сорвал. Вот и остальные граждане подтвердят.

Публика согласно заговорила: что правда, то правда — сорвал, хулиган. И до того безужасный кот, никого не боится. На собаку, если она одна, сам бросается и гонит с визгом, а если много, тогда ведет их на улицу — правильно Виктор говорит...

Титков укорчиво покачал головой, но встала Серебрянская и протянула уличающий перст в его сторону:

— В срыве лекции виновен именно этот полосатый кот.

Адам поглядел на нее, зевнул и отвернулся.

— Откуда ты знаешь, этот или не этот? — осердился Титков. — Полосатых много.

— Прошу не тыкать. Я с вами свиней не пасла.

— Еще бы! Какой дурак доверит скотину крашеной бабе!

Председатель постучал карандашом по графину: не грубить!

— Это была не лекция в строгом смысле слова, — обиженно продолжала директриса, — а содержательный рассказ инженера РТС Веткина, в прошлом минера-подрывника... Товарищ Веткин рассказывал о войне с проклятым фашизмом, он три с лишним года был на фронте, знает много случаев мужества и героизма. Я в это время была за столом, а товарищ Веткин за трибуной. В зале сидело больше двухсот трудящихся обоего пола и возраста. Среди них, в первом ряду — супруга военкома товарища Примака с собакой. Она сейчас в деревне, но я пригласила сюда ее мужа. Подтвердите, товарищ майор.

— Так точно, сидела. — Майор Примак вырос среди сидящих на скамейках, высокий, стройный, замер в стойке вольно, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены. — Жена взяла ее с собой в деревню. Кличка — Гаубица. — И, заметив вопросительный взгляд Юрьевны, разъяснил: — По-просторечному, пушка такая. Но смешивать пушку с гаубицей будет грубой ошибкой. Это принципиально разные типы артиллерийских орудий.

— Спасибо. — Юрьевна пыхнула в его сторону дымом. — Никогда не забуду.

— И вот в самом ответственном месте рассказа о героизме, — повествовала Серебрянская, — этот ужасный кот выходит из-за кулис на сцену и нагло садится перед трибуной. В зале, разумеется, улыбки, смешки, кто-то свистнул, и Пушка супруги военкома не стерпела такого хулиганства...

— Виноват, не Пушка, а Гаубица.

— Ах, господа, какая разница! Я, товарищ майор...

— Еще раз виноват, но разница большая. Пушка есть артиллерийское орудие с настильной траекторией для ведения огня по открытым вертикальным целям, а также по целям, расположенным на больших расстояниях. Например, стомиллиметровая пушка образца тысяча девятьсот сорок четвертого года имела снаряд шестнадцать килограммов весом с начальной скоростью девятьсот метров в секунду и с дальностью его полета двадцать одна тысяча метров. То есть батареей таких пушек, установленных, например в Суходоле⁷, я могу в полчаса превратить Хмелевку в прах. Гаубица же имеет наполовину короче ствол, обычно пятнадцать — тридцать калибров, переменный заряд и предназначена в основном для навесного огня по закрытым целям. Из Суходола не достанешь.

Юрьевна придавила в блюдце тлеющий окурочек. Было приятно слушать увлеченного своим делом человека, но директриса Серебрянская уже театрально ломала руки в нетерпении, и Митя-Соловей опять встал:

— Благодарю вас, товарищ майор, но мы говорим не о пушках, а о вашей собаке.

— Тогда тем более. Если я назову свою Гаубицу Пушкой, она не откликнется, а уж выполнять приказания тем более не станет.

Тут выскочила с вопросом Ветрова:

— А что такое мортира? — Должно быть, хотела показать, что не чувствует себя виноватой и всем интересуется.

— Мортира есть, — Примак посмотрел на Аньку с уважением, — короткоствольное орудие для разрушения оборонительных сооружений. Название ее происходит от слова «ступа» по-латински. Она действительно похожа на ступу...

⁷ С у х о д о л — соседний райцентр.

— И на Ветрову,— крикнул кто-то со смехом из толпы.

— Точно: Анька — мортира!⁸

— ...но от этой ступы не спрячешься и за высокими крепостными стенами,— продолжал Примак, игнорируя недисциплинированные замечания.— У нас в тысяча девятьсот тридцать девятом году была создана двухсотвосемидесятимиллиметровая мортира, которая стреляла на десять километров, а снаряд у ней весил двести сорок шесть килограммов.— Примак услышал одобрительный говор и дополнил: — В Москве есть Царь-пушка, отлитая в шестнадцатом веке мастером Андреем Чоховым, некоторые из вас ее, возможно, видели. Эта пушка есть типичная мортира.

— Говорите по существу, не отвлекайтесь.

— Виноват, товарищ председатель, но я человек военный и обязан быть точным. Пушка есть пушка, а гаубица есть гаубица, а не какая-нибудь устаревшая мортира.— И сел, прямой, с развернутыми гвардейскими плечами и красивой просторной грудью.

— И вот его Гаубица,— продолжала Серебрянская,— а она вот такая барбоска, косматая, как медведь,— с ревом кидается на сцену. Представляете? Нет, это невозможно представить, это ужасно..

— Видели,— сказал Витяй, доставая из кармана сигареты.— Вы шмыгнули под стол, а коту хоть бы что, носится по всей сцене, дразнит глупую Гаубицу, а она аж охрипла от злости.

Обсуждение опять покатило в сторону: Титков, отхлебнув из фляжки, не признал вину своего Адама и сказал, что лекцию сорвала шатуновская Маруська, такая же полосатая, как Адам, Витяй заступился за Маруську, а майор Примак рассердился на Витяя.

— Граждане, соблюдайте порядок! — воззвал Митя-Соловей.— А вы, гражданин Шатунов, прекратите курить в зале.

— Да какой тут зал, скажет тоже. И не я один. Опять же бабы с семечками. Пардон, женщины и девушки.

— Ты нами не заслоняйся. Сравнил табак с семечками: у тебя один вредный дым и угар, а у нас дух подсолнечный, приятность.

Митя-Соловей возмущенно стукнул ладонью по столу, и это подействовало, пререкания утихли.

— Садитесь, гражданка Серебрянская, благодаю вас. И так, Адаму предъявлены обвинения в том, что он дразнил собак, перебежал улицу перед движущимся транспортом, создавал аварийные ситуации, входил без надобности в Дом культуры и из хулиганских побуждений сорвал там лекцию.

После шести часов народу стало прибывать больше, и скоро вокруг сидящей на скамейках, стульях, табуретках и тарных ящиках аудитории собралась густая толпа. Она обтекала квасную бочку, мороженщицу с тележкой, включив их в общую аудиторию, и иногда продавщицы прерывали торговлю: «Погодите, интересное что-то, дайте послушать».

Когда Митя-Соловей зачитал жалобу Федьки-Черта и стал спрашивать его самого, в толпе послышался шум: «Пустите же, нам скорее надо... Подвинься, чего выкатил шары-то, у меня ребенок дома обрелся!» — и к судейскому столу выскочили помятые и растрепанные Одноуховы, свекровь и сноха. Сходу, не слушая друг дружку и махая руками перед озадаченными судьями, они кинулись в атаку:

— Я у нее двоих детей вынянчила и пилит и пилит каждый день карга старая а муж-то за нее заступается он ей сын а сейчас ненужная стала какой же мир в семье давайте квартиру я пенсионерка районного значения у меня медаль есть света не вижу который год к Адамову ходим к бюрократу и правильно что его судите паразита так ему и надо а если посадите кто же нам квартиру даст...

⁸ Это сравнение вскоре закрепилось за Анькой как прозвище.

Юрьевна подняла голову от бумаг: Митя-Соловей переглядывался с Черновым и слушал, не перебивая. В толпе смеялись, кто-то одобрил поведение председателя: «А Митя-Соловей-то у нас голова-а — ждет, когда пары выпустят, не торопит зря».

Наконец клапаны закрылись, женщины утихли и стали повязывать легкие косынки, спущенные на плечи. Тогда председатель легко выяснил, что им нужна отдельная квартира для свекрови, а Титок Адамов⁹ не дает, вольтит уже десять с лишним лет, правильно вы его судите, так ему и надо. Конечно, публика опять развеселилась, узнав, что Адамов спутан с котом и опять отвертелся от наказания, а Одноуховы, узнав о своей ошибке, заторопились домой.

Это недоразумение задело большую тему бюрократизма и казенщины, шум поднялся великий, но установить конкретных виновников оказалось невозможно. Говорили, что в Хмелевке слишком много собраний и совещаний, много мероприятий, которые только создают видимость работы — галочка поставлена, дело сделано, все хорошо. А что тут хорошего?

Юрьевна дождалась, когда Митя-Соловей навел тишину, и стала записывать показания очередного жалобщика.

— Сеть была на семьдесят метров, всё изгрыз, жулик, — говорил кривоногий Федька-Черт. — Вот Иван видал, он скажет.

Подтверждение долговязого Ивана Рыжих было неуклюжим, и Митя-Соловей с Мытариным прижали их, как ужей вилами: где изгрыз? когда? при каких обстоятельствах? с каких это пор коты полюбили есть капроновые сети?.. Ах, была с рыбой. Почему не выбрали рыбу и оставили сеть в лодке?.. Ремонтировать хотели? Значит, она уже была порвана? И куда же вы ее положили?.. В носовой рундук? Но тогда как смог открыть этот ящик кот?..

— Да врут они, слушай! — Из толпы выдвинулся Сидоров-Нерсесян и хлестнул гжучим взглядом рыбаков. — Как инспектор рыбнадзора авторитетно утверждаю: врут с сознательной целью. От меня прятали, от закона. Нерест был объявлен, а они, слушай, ловят. Есть у вас совесть, нет?!

Иван Рыжих косился на своего продувного приятеля и уже готов был отступить, лишь бы уйти из этой толпы на волжский простор, но Федька-Черт держался неотступно. Какой же он мужик, если не опрокинет чистенького Митю-Соловья, если не смутит престарелых активистов Кирилыча и Юрьевну, если не отобьется от своего директора и рыбнадзора! А Титкова надо каждый день колотить, и тогда будет справедливо. Ишь заслонился котом, шкуродер несчастный! А мы и ката твоего отделаем, не думай, мы и коту хвост оттяпаем.

— Врут они, — поддержал инспектора Титков, промочив горло для ясности голоса. — Четвертак хотели с меня содрать. Зимой мне сами сетку совали: возьми за двадцать пять рублей, новая. Дур-раки! Неужто я куплю казенную сеть в частную собственность?

В публике зашумели:

— Они и рыбу налево сплавляют. Половину приемщику сдают, а половину себе. Потом дерут с нас по рублю, по полтора, стыд потеряли.

— А вам за полтину отдать? В магазине вон хек безголовый и тот по рублю...

— Поэтому ты и ловишь в нерест, слушай!

— Значит, они не соблюдают необходимых правил, стимулирующих размножение рыбы?

Последние слова принадлежали старому врачу Илиади, который однажды оштрафовал рыбаков за нарушение санитарных правил. Они этого не забыли, и сейчас Иван Рыжих обрезал его:

⁹ Адамов Тит Васильевич — заведующий отделом учета и распределения жилплощади при Хмелевском райисполкоме.

— Заткнись, Склифосовский! Только о правилах и забота...
— У меня есть сведения об их нарушениях.— Из толпы высунулся редактор Колокольцев.

Митя-Соловей возмущенно вскочил:

— Немедленно покиньте заседание!

— Как это покинете? Я представитель прессы.

Вскипела горячая короткая схватка. Колокольцев пробился к судейскому столу, махал соломенной шляпой, прижимал к груди руки, просил понять и его, редактора, и сотрудников, извинялся за себя и за них, доказывая, что ему необходимо быть на суде, а Митя-Соловей стоял на своем, гнал его, пока за Колокольцева не заступился Мытарин, сказав, что нельзя мешать человеку исправлять свои ошибки. Пусть присутствует и потом даст в газете объективную информацию. Его поддержал народ, хотя при этом пришлось услышать не очень лестные для газеты оценки: бюрократический листок, казенный бюллетень сводок, протокол совещаний... Колокольцев помотал головой, но проглотил и устроился на тарном ящике рядом с Федей-Васей.

Главный дознаватель и следователь на этом процессе, Федя-Вася, не сводил взгляд с широких стариковских рук Монаха, сжимавших его серп, и вытирал потеющее лицо и шею выцветшим милицейским картузом. Он признал свой серп сразу и вот ждал подходящего момента, чтобы вызволить его. Такой момент пока не приходил, и Федя-Вася с напряжением слушал рыбаков, их пререкания с судьями и рыбнадзором. Когда Иван Рыжих, поддерживая своего дружка, сказал, что они давно забыли вкус водки, Федя-Вася не выдержал, вскочил:

— А почему? Самогон гоните потому что, прямо в лесу лакаете, в землянке.

— А ты видел? — Федька-Черт угрожающе сжал кулаки.

— Собственноручно видел. Обоих. С бидоном и флягой.

— Что ж не задержал?

Федя-Вася смущенно покашлял.

— Я тогда ездил зачем? За вениками. И вас заметил случайно. А веники у меня какой-то подлец украл.

Тут уж не стерпел Монах:

— Это я подлец, да? Чтобы я — и воровать веники! Да я их взял как улику подлого преступления! — Монах шагнул к судьям и положил им на стол именной серп.— Вот этой вот уликой он уродовал наши родные березы, блюсти-итель...

— Не уродовал я, веники вяжут все наши жители...

Вспыхнул новый спор: о вениках и о вреде, какой наносится березам, символу, красе и гордости русской жизни. Какая это гордость, когда каждую весну их полосуют ножами и топорами ради березового сока, дерут с них бересту для разжигания костров, обрезают ветки. А когда приходит пора ягод, грибов, хмелевцы, особенно молодые, ведут себя в лесу не лучше туристов, диких городских людей, не понимающих, что природа есть наша кормилица и родная мать.

Монах так рассердился, что толкнул Федю-Васю, и тот чуть не упал. Народ зашумел с непонятным воодушевлением, с нервной какой-то радостью — наверно, устали, подумал Митя-Соловей, и, посоветовавшись с Черновым и Юрьевой, объявил десятиминутный перерыв.

Балагуров и Межов пришли к началу свидетельских показаний Заботкина. Чтобы не привлекать к себе внимания, они скромно пристроились позади толпы, но оттуда им, не очень рослым, ничего не было видно и плохо слышно. Они подошли поближе к судейскому столу и встали за квасной бочкой. Продавщица заметила их и хотела поздороваться, но Балагуров поднес палец к губам: помалкивай, не мешай.

Заботкин стоял у судейского стола, вполоборота к нему и к публике, чтобы отвечать всем. Пожилой хозяйственный мужик, ветеран войны и труда, он не пил, не курил, отличался семейным благонравием и был почитаем как человек добрый и честный. Хмелевцы его уважали, сочувствовали, что ему приходится руководить продавцами, но от упреков удержаться не могли. Ведь в этой торговле только ты один честный, товарищ Заботкин, спасибо тебе, дорогой ты наш, но скажи, пожалуйста, какой толк в твоей честности, если она одинокая, если сирота,— рассуди-ка сам седой-то головушкой!

Вот ты стоишь перед нами, в рабочем темном халате,— должно быть, прямо с базы или из магазинного склада. Знаем, не белоручка, везде сам норовишь, черной работой не брезгуешь, дефицитные товары нам выбиваешь. А ты знаешь, где эти товары вскоре оказываются?

Заботкин подобрался весь, расставил ноги для устойчивости, будто под сильным ветром, вынул руки из карманов черного халата.

— Что ж, я отвечаю, слушайте. Думал, сами знаете, а вам, оказывается, надо разъяснять. В районе нас живет восемьдесят с лишним тысяч человек и многие из них, а в райцентре так почти все, иждивенцы. Не шумите, я в том смысле, что мы — сельские люди, а живем с прилавков магазинов да с базара. Одну картошку вы не покупаете, а остальные продукты, не говоря уже о промтоварах, дай, дай, дай... А город, что ли, хлеб выращивает? Да и лук, свеклу, морковку... Некоторые хозяйки дошли до того, что капусты на зиму не запасают, нарубить лень, свежую давай весь год. Мы что, в Африке живем, в Южной Америке?

— Ты про дефицит скажи!

— Скажу. Про все скажу, не торопитесь. Вот сейчас в моде дубленки, тройную цену платят, только дай. Вы платите, вы взвинтили такие цены! А у нас ведь Заволжье, степи начинаются, прежде здесь у каждой малой деревни тысячные отары овец гуляли, романовские дубленые полушубки были повседневной одеждой крестьянина.

— Это ты с нашего директора спрашивай, с Мытарина.

— Овцеводство у нас планом не предусмотрено,— ответил с места Мытарин,— но мы думаем о возрождении этой отрасли.

— Надо не только думать, но и делать! А то нас обвиняют, а мы тут при чем?

— А при том, что слишком легко бросили крестьянское дело. Огороды вон у некоторых бурьяном заросли, в палисадниках — цветочки, дворы пустые, даже кур перестали держать, не то что коров.

— А кормить чем?

— Пусть про чаевые скажет, иль слабо?

— Не слабо, Аннушка, не слабо. Ты вот доярка, двести с лишним получаешь, так?

— Когда так, когда побольше. С премиальными.

— Значит, в два с лишним раза больше моего продавца. А у него семья. И ты постоянно его совращаешь, суешь чаевые. Чтобы кусок мяса получше, чтобы сапожки импортные, телевизор цветной, магнитофон портативный... А другим, значит, и хуже сойдет, в лаптях могут ходить, черно-белые смотреть? Ты об этом думала? Чего в толпу спряталась, а? — Заботкин укоризненно покачал головой.— Совести у вас нет. Собрались полсела, от дела меня оторвали. Да за эти чаевые, за подарки вы отвечаете в первую голову. Вы же их даете, вы моих продавцов развратили, избаловали!

— Ага, мы! Попробуй не дай, хрен чего получишь.

Митя-Соловей вскочил:

— Граждане, что за выражения! Придерживайтесь приличий и соблюдайте порядок. Сейчас слово представлено гражданину Заботкину, вот и пусть говорит. И нечего муссировать эти ваши чаевые, у нас нет социальной почвы для подобных явлений.

— Почвы-то нет, а явления еще есть! На воздушных корнях растут, что ли?

Шум не стихал, публика рассердилась, что ее обвиняют, но весы Фемиды еще не были опрокинуты, и чаша, на которой сидели Адам со своим хозяином, захорошевшим от частого прикладывания к фляжке, то поднималась, то опускалась. Заботкин, как всякий смирный человек, выведенный из себя, не щадил уже никого.

— Да, работа у нас не престижная — иначе вы и думать не можете. В газетах о нас только фельетоны, в книгах мы только отрицательные людишки, стихи и песни про нас не слагают. Поэт, как жаворонок, может заливаться над трактористом, комбайнером, будет воспевать геолога, летчика или врача. О продавце у него и мысли-то не возникнет. И в кино нас только для смеха показывают, и в театре, и на эстрадных концертах. Или на сцену выйдет, оглядываясь, жалкий недоучка кулинарного техникума и станет виноватым голосом говорить о своих бедах, а вы над этими бедами будете довольно ржать. Вы же правые, сильные, престижные, вам смешны ничтожные наши страхи, трудности наши. Но послушайте, вы, честные, покажите свою смелость, придите к нам на работу, научите трудовой самоотверженности — и я завтра же выгоню жуликов к чертовой матери! Ну, кто пойдет, подымите руки... Ага, никого? Вот и помалкивайте, герррой!

— Герои не герои, а труженики без дураков.

— Это вы — труженики? Не смеши, знаю я вас всех как облупленных. Не зря же мы земляки Обломова. Мы — обломовцы, мы восемь часов сонно работаем, а остальное время спим, спим, спим! Вы знаете, по сколько часов мы спим?

— А сколько надо? Или на сон тоже нормы установлены?

Поднялся Мытарин и сказал, что норм существует несколько. Самую экономную установил Наполеон: солдату — пять часов, ученому — шесть, дураку — семь, женщине — восемь.

Женщины оскорбились и обвинили Мытарина во всех возможных грехах, выставив главным его склонность к курьезам. Ведь и этот суд над котом заварился с его помощью. Или не так? Насмешничать любит, а совхоз до сих пор отстает по мясу-молоку. До затопленья, когда здесь луга были, мы как сыр в масле...

Мытарин усмешливо помотал головой, но все же ответил, что сооружение гидростанций и затопление пойменных земель, к сожалению, необратимый факт, надо укреплять кормовую базу на другой основе, и она будет укреплена, но работать надо, не разгибаясь. Заботкин прав, упрекая нас: плохо работаем, кое-как.

— Опять мы виноваты! Ну ты скажи, до чего ловко выходит!

— У них так: как чуть что, так — народ. А начальники где, зачем мы их выбираем? Для модели?

Балагуров толкнул локтем Межова:

— Давай, Сергей Николаевич, объясни народу как депутат райсовета. Выходи, выходи, не упирайся!

И едва Межов вышел к судейскому столу, на него посыпался град упреков: доски тротуаров сгнили, осенью грязь начнется, ноги поломаем; улицы тоже пора замостить, газ могли бы провести в дома, сколько нам с баллонами бегать! А с продуктами будет хорошо, когда сельское хозяйство поднимем, — чего тут думать! Разве власти не виноваты?

— Не знаю, — сказал Межов. — Сейчас у нас выборная власть, мы выполняем ваши указы, стараемся избавиться от недостатков и благоустроить вашу жизнь — других целей у нас нет. И у товарища Балагурова лично нет, и у меня. Или, может, мы подаем дурной пример?.. Тоже

нет. Значит, с горя пьете, что ли, от нужды воруете?.. Ну вот, сказать в оправдание нечего. Так кто же все-таки виноват?

С задней скамьи поднялся сутулый от старости, седой Илиади:

— Виноват человек, его природа. Сегодня мы услышали много фактов человеческой жадности, ненасытности, эгоизма, тщеславия, завистливости... Товарищ Межов верно сказал о власти, а я вам скажу о человеке. Что такое человек?

— Минуточку! — Митя-Соловей постучал по графину. — Наш суд превращается в диспут на самую общую тему. Подождите, товарищ Илиади. А вы свободны, товарищ Заботкин. Прошу внимания, граждане! Слушание свидетелей и потерпевших окончено, мы удаляемся для выработки решения на совещание.

— А как же мой план? Я же предупреждал, понимаешь!

К столу пробился Башмаков с папкой в руках, но члены суда уже вышли и направились к восьмиквартирному дому. Башмаков сунулся к начальству:

— Товарищ Балагуров! Товарищ Межов! Я же план благоустройства составил, понимаешь, а он с котом возьмется столько дней. Извини-подвинься, понимаешь, но слушать вам придется.

— Извините, но меня перебили и я должен закончить. Что такое человек? Грубо говоря, человек состоит из трех частей...

— Да ладно, Склифосовский, слышали!

— Извини-подвинься, человек тут ни при чем. Тут главное, понимаешь, сама жизнь, а не человек.

Межов покачал головой и присел на переднюю скамейку, а Балагуров занял за столом место председателя и поднял руку, призывая к тишине. Когда утихли, дал слово Башмакову, поскольку вопрос у него особой важности. Ни у кого еще такого конкретного плана нет, а у нас в Хмелевке есть. Ведь план для Хмелевки, верно?

— Верно, — сказал Башмаков, уже надевший очки и развернувший свою папку. — План построения жизни.

— Построения или благоустройства? — уточнил Балагуров.

— Это все равно.

— Нет, не все равно. Построение — это как бы новый процесс: вот ничего не было, а вы составили план построения, мы его обсудили, приняли за основу, потом внесли поправки, дополнения и уточнения, затем приняли в целом. Так?

К столу пробралась старушка Прошкина и поклонилась:

— Так, батюшка, так, правильно. А только кто же мне заплатит за новый просяной веник? Старый был бы, ладно, а то ведь раза два только горницу подмела. Который день хожу, слушаю, обо всем говорят, а про мой веник ни словечка. И он сидит неподступный.

— Кто он? — Балагуров не обиделся, что его перебили.

— Да Титков, кто же еще! Вот он, идол, дремлет без печали.

Титков спал сидя, Адам дремал у него на коленях, изредка приоткрывая глаза на постоянно говорящих людей: они, кажется, забыли про них с хозяином.

— Такие вопросы я не решаю, — сказал Балагуров. — На то суд есть, вот он посовещается, подумает, и тогда уж заставит кого надо возместить вам. Дело-то ведь серьезное, правда?

— Не пустяковое, батюшка. Просяной ведь, новый.

Публика развеселилась опять, но Балагуров быстро навел тишину и вернулся к разговору с Башмаковым.

— Так план построения или благоустройства? — снова спросил он.

— Построения, — сказал Башмаков. — Я, понимаешь, заново все хочу, чтобы и фундамент был, извини-подвинься...

— Неправильно! — крикнул прораб Ломакин и вышел, раздвинув

толпу, в первый ряд.— Позвольте, Иван Никитич, я ему растолкую по-своему, как строитель.

— Попробуй, Ломакин, попробуй,— улыбнулся Балагуров.

Ломакин застегнул распахнутый черный халат, вечно забрызганный цементным раствором, и отдельно, как учитель отстающему ученику, начал объяснять Башмакову, не сводя с него требовательного взгляда:

— Фундамент у нас, товарищ Башмаков, давно уже есть — жизнь не сегодня началась, мы ее продолжаем и обязаны благоустроить. Вот как если бы мы возводили многоэтажный дом и нам осталось сделать один этаж, последний. Ведь дом когда благоустраивается? Только тогда, когда он достроен, подведен под крышу, когда подключен к инженерным коммуникациям. Проще говоря, когда в отделанный полностью дом дали свет, радио, горячую и холодную воду, газ, когда работают санузлы, мусоропровод, лифт и так дальше. Мы правильно обсуждаем разные недостатки, правильно, что непримиримы к ним, и не надо расстраиваться, что они не сразу исчезают. Надо помнить, что происходят они от нестроенности жизни, что последнего этажа еще нет, инженерные коммуникации, которые должны дать все удобства, еще не подключены. Так, нет?

— Правильно! Верно! — отозвалось несколько голосов.

— Неверно,— сказал Балагуров.— Ты, Ломакин, хоть и строитель, но твое сравнение жизни с многоэтажным домом никуда не годится. Не так все просто...

Титков неожиданно громко чихнул, проснулся и, увидев за столом Балагурова, подался назад и опрокинулся вместе с котом и скамейкой на землю. Пустая фляжка со звоном откатилась к столу; Адам скакнул на квасную бочку, перепрыгнул мороженщицу и скрылся. Всем стало весело, даже Балагуров улыбнулся, глядя, как Титков пытается встать. Не смеялся только Межев. Он подал руку старику, поднял его, потом фляжку и удивился:

— Послушай, Титков, да ты захорошел, что ли? Как ты мог?

— Сам удивляюсь.— Титков с трудом удерживался на ногах.— Все время здесь, с Адамом сижу... с пяти часов... у всех на глазах... и фляга вот пустая, а оно вон как получилось...

XIV

— Мне пришлось рыться в книгах, много читать, делать выписки,— говорил Митя-Соловей,— и тревожила меня одна проблема: какова вообще цель наказания — содействовать уничтожению преступлений или только отомстить за содеянное. Вопрос усложнен тем, что ответчик не сознает своей вины и никакое наказание не предотвратит рецидивов подобных деяний. Даже если Адама лишить жизни.

— Не имеем права,— сказала Юрьевна, покуривая. Здесь было прохладней, чем на улице, уютней и никакого шума. Хорошо!

— И вообще. Если допустить, что мы убьем Адама, его соплеменники, сородичи, ну, словом, другие коты и кошки, не убоятся сурового наказания по своей несознательности и будут поступать в соответствии со своей хищнической природой. Верно? Ну вот. Следовательно, на первую часть вопроса мы можем ответить отрицательно: наказание в данном конкретном случае не содействует уничтожению преступлений и не играет никакой воспитательной роли. Из материалов дознания нам, однако, известно, что хозяин кота гражданин Титков после каждого проступка наказывал Адама физически, после чего тот не повторял такого проступка дома.

— Дома! — остановил Чернов.— А в магазинах, на совхозной ферме, где нет порядка и охраны, блудил.

— Вероятно, он решил, что если там не бьют, то воровать можно.

— Нет, он знает, что и там нельзя,— сказала Юрьевна.— Иначе он не убежал бы при виде человека. А он всегда убегает.

— Тоже верно. Значит, вы думаете, что наказание способно предотвратить преступление?

— В нашем случае — нет, а вообще трудно сказать. Если о человеке, то есть мнение, что все прекрасное — хорошая музыка, например, искусство, литература, живопись — способно исправлять нравы, улучшать характеры.

— Да? Но, по логике, тогда преступников надо не сажать в тюрьму, а водить в Большой театр, в консерваторию имени Чайковского, в Пушкинский музей или Эрмитаж...

— Про это надо раньше думать,— сказал Чернов.— И наказывать с толком можно тогда, когда он поперек лавки укладывается, а когда надо стервеца вдоль класть, тогда уж поздно.

— Справедливо. Но меня удивляет то обстоятельство, что во все времена люди больше внимания уделяли наказанию, а не преступлению. В любой стране есть свой перечень статей, свой уголовный кодекс, где за каждое преступление определено наказание, причем сделано это наподобие менового или денежного эквивалента. Например, за килограмм картошки — полкилограмма хлеба или десять копеек деньгами. Как за воровство в энных размерах десять лет лишения свободы. Как это определяется? Из какого расчета? Методом компенсации? Или речь идет о мести за содеянное? Один из членов общества нанес телесные повреждения другому члену общества — и оскорбил общественную нравственность. Тогда получается, что общество мстит за это преступление, устрашает других членов, хотя это безнравственно — заранее устрашать невинных людей, не помышляющих о преступлении. Ведь так? Зачем устрашать, например, Клавдию Юрьевну суровым наказанием за браконьерство, когда она рыбу вообще не ловит. Верно же? Но мы отвлеклись в сторону. Поскольку кот Адам есть животное, и мы приравняли его к ограниченно правоспособному, который не ведает, что творит, тогда...

— Если не ведает, какая же правоспособность?

— Я сказал это, Клавдия Юрьевна, в порядке допущения. И потом, нельзя поощрять такую плодовитость преступника. Тем более что у него есть хозяин, опекун, отвечающий за его действия. К нему в известной мере применимо все то, что я говорил о преступлении и наказании. Преступление у нас недостаточно изучено, а наказание родилось из личной мести. В данном конкретном случае меру наказания определяем мы. А как мы накажем кота, если он не сознает, или Титкова, который преступления не совершал, а кота уже наказывал, но положительных результатов не добился? И вообще, каков коэффициент полезного действия наказания?

Старик Кант учил, что воздаяние злом на зло есть идея, присущая человеку, категорический императив. То есть вместо грубой мести здесь поставлен метафизический принцип абсолютной справедливости. Давайте войдем в субъективную сторону, то есть учтем состояние преступника (Адам был бит, боялся сразу возвращаться к хозяину), мотивы преступления (воровство от голода) и прочее. Что скажет на этот счет старик Гегель? Для него право, отрицание права (преступление) и примирение с правом (наказание) есть звенья трихотомии, трехчленного диалектического развития идеи.

Итак, месть выросла в общественный принцип, что бессмысленно, потому что месть осуществляют органы народного суда, тогда как мстить может только личность. Но развитая личность освобождается от этого чувства, стараясь в первую очередь понять мотивы преступления. А понять — это в известной мере простить. Так?

— Ох, Дмитрий Семеныч, запутал ты нас, стариков.

Митя-Соловей довольно улыбнулся. Он был счастлив оттого, что

высказался свободно, без помех, хотя аудитория для таких речей, конечно, мелковата.

— Да,— вздохнула Юрьевна.— Не скоро тут разберешься. По мне, так Адам с Титковым самые невиновные во всей Хмелевке. Или ты не согласен?

— Согласен, но что делать, если на них поданы жалобы.

— А кто жаловался-то — Анька Ветрова, Федька-Черт, Витяй Шапунов... Да и другие не ангелы.

— Это правда,— сказал Чернов грустно.— Я вот прошлый раз домой пришел, а Марфа меня мясом да сметаной стала потчевать — взяла по благу у Аньки и Клавки. Мне бы нынче сказать открыто, а я помалкиваю, некогда, мол, других судить надо. И не раз так-то помалкивал: не задевают, и ладно. По пословице: не пойман — не вор.

— Да что, Кирилыч, казнить-ся, я тоже так думала. Когда Дмитрий Семеныч признался, что любит Маёшкину, я сперва опешила. Да и в публике не поняли, зачем он признался. Значит, не смогли бы они так-то. И я не смогла бы. Всю жизнь пишу, что другие говорят. Пишу и пишу. А если бы разок набраться мужества, бросить карандаши и листки, сказать дураку, что он дурак, демагогу — что демагог, а?!

Митя-Соловей уважительно, хотя и с некоторым превосходством, посмотрел на своих стареньких помощников:

— Значит, в отношении Адама и Титкова ограничимся публичным рассмотрением дела. Нет возражений?

— Какие возражения, когда правильно. Только ошибку мы допустили — Титкова в конце не послушали.

— Он уже устал и, кажется, дремал. Словом, его и kota мы оправдываем. А в отношении других надо вынести что-то вроде частного определения. Вот в «Положении» указано: «Товарищеский суд доводит до сведения общественных организаций и должностных лиц о вскрытых им причинах и условиях, способствовавших совершению правонарушения». Я тут набросал черновик, потом подредактируем.

XV

ВМЕСТО ЧАСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Всем жителям Хмелевки: а) обратить внимание на свою посредственную жизнь, проходящую в суете удовлетворения материальных потребностей; б) рекомендовать умерить эти потребности и не допускать случаев заготовки просяных веников на совхозных посевах и хищения проволоки для завязок из мастерских районного отделения «Сельхозтехники»; в) каждую осень заботиться о зиме, для чего заготавливать своевременно картошку, капусту, морковь, свеклу и другие овощи; г) прекратить резку березовых веников для бани без разрешения лесничества; д) улучшить отношение к окружающей нас природе и не бросать в заливы Волги пустых бутылок, консервных банок и разного хлама; не ломать веток в лесу, не резать кору берез для сока и не срывать бересту для разжигания костров, не оставлять после себя посуду, остатки продуктов и бумагу; е) не ловить рыбу во время нереста; ж) не употреблять спиртных напитков, потому что они ведут к алкоголизму, а алкоголизм — к разрушению личности и развалу семьи; з) в праздники и памятные даты можно употреблять сухое вино в умеренных дозах; Хмелевка будущего — это трезвая Хмелевка; и) свадьбы проводить скромно, закусывать плотно, веселиться негромко; к) и надо ли выпивать на поминках?! л) не давать чаевых продавцам, портным, шоферам и другим работникам сферы обслуживания; м) отказаться от моды приобретения и накопительства вещей не первой необходимости, как-то: дорожных ковров, хрустала, автомобилей и т. д., без чего можно чувствовать себя

человеком; н) отказаться от собирания личных библиотек как вредной формы собственности, консервирующей самый дорогой капитал — знание; о) сосредоточить свое свободное внимание в свободное от работы время на духовной жизни; п) молодым людям советуем быть вежливыми между собой и со старшими; р) девушкам, кроме того же самого, советуем не курить и заботиться о своей женственности; с) молодым женщинам-матерям настоятельно рекомендуем дома ходить только в длинных юбках, платьях или халатах: ребенку легче держаться за материнский подол, а за фанерной твердости джинсы он ухватиться не может и чувствует себя беспомощно, сиротливо, что пагубно отзывается на его самочувствии и ослабляет или ужесточает его характер; т) родителям подростков, имеющих мопеды и мотоциклы, советуем заставлять своих сыновей ездить не без толку, а по делу, например, в магазин, в булочную, на рынок, чтобы они использовали технику разумно и воспитывались в труде; у) не курить в общественных местах и начать борьбу против этой вредной привычки; ф) добиться в течение двух будущих пятилеток полного отказа от курения; Хмелевка будущего — это Хмелевка некурящих; х) быть вежливым, при встречах здороваться с легким поклоном; не обижать детей, любить молодых женщин и почитать старых; ц) бороться за организацию вежливой, предупредительной жизни, всегда помнить, что Хмелевка будущего — это вежливая Хмелевка; ч) будьте самокритичными, и прежде, чем обвинять других, подумайте, не виноваты ли в этом и вы, хотя бы косвенно; ш) настоятельно рекомендуем быть патриотами своего района (в любимом крае легче жить), своей области, республики, всей нашей страны, у которой не только великое настоящее, но и еще более великое будущее.

2. Просить Хмелевский райисполком народных депутатов: а) содействовать выполнению вышеперечисленных пунктов по улучшению нашей быстротекущей жизни; б) провести благоустройство Хмелевки в соответствии с ее званием поселка городского типа; в) наказать за хронический бюрократизм и волокиту Адамова Тита Васильевича, заведующего отделом учета и распределения жилплощади, 15 лет не удовлетворяющего просьбу гражданок Одноуховых.

3. Администрации совхоза «Волга» (директор т. Мытарин): а) обратить внимание на отставание сельскохозяйственного производства; б) на забвение такой традиционной для Заволжья и важной отрасли, как овцеводство; в) на плохую охрану уткофермы; г) на недостойное поведение рыбаков Ф. Фомина и И. Рыжих; д) на перерасход бензина у шоферов и механизаторов; е) и вообще порядок должен быть в хозяйстве, а не разговоры о порядке!

4. Хмелевскому райпотребсоюзу (председатель т. Заботкин): а) настоятельно рекомендовать из года в год увеличивать продажу минеральных вод и тонизирующих напитков «Байкал», «Саяны», «Буратино» и др.; б) бороться с нечестными продавцами, поощрять добросовестных, выращивать на практической работе молодых, для чего установить контакт с местной средней школой.

5. Просить директора школы т. Мигунова организовать в соответствии с требованиями трудового воспитания в порядке профориентации учащихся факультативы по изучению профессий сферы обслуживания: продавцов, парикмахеров, сапожников, портных и т. д.

6. Предупреждаем граждан Ф. Фомина и И. Рыжих, что если они не прекратят пьянок, будет поставлен вопрос о принудительном их лечении или выселении из Хмелевки.

7. Шоферу Шатунову В., потерявшему права по своему легкомыслию, рекомендовать бросить зубоскальство и вступить в законный брак с одной из любимых им девушек.

8. Редактору районной газеты т. Колокольцеву рекомендуем: а) больше печатать положительных статей о работниках сферы обслу-

живания, и особенно о продавцах; б) отвадить журналистов тт. Мухина и Комаровского от сатирических жанров, как неподходящих им по топорливости мышления.

9. Военному майору т. Примаку советуем переименовать свою собаку с милитаристской кличкой Гаубица — в Галатею, если любима, если же не любима — в Гапку.

10. Инспектору рыбнадзора т. Сидорову-Нерсесяну Т. В. выражаем благодарность за хорошую службу, но работать надо еще лучше.

11. Егерю охотничьего хозяйства т. Ф. Шишову выражаем сердечную благодарность и любовь за охрану родной природы.

12. Бывшему участковому старшине милиции, ныне пенсионеру т. Пуговкину Ф. В. выражаем благодарность за проведение дознания по делу кота Адама и его хозяина Титкова А. М.

Копию настоящего определения направить в поселковый Совет, а выписки из него — в соответствии с тем, кого они касаются.

Председатель товарищеского суда М. С. Взаимнообоюднов	
Секретарь суда	К. Ю. Ручьева
Член суда	И. К. Чернов.

XVI

Титков проснулся на крыльце своего дома. В глубоком холодном сумраке перемигивались острые звезды, лениво твякнула у соседей собака, далеко и долго прогудел теплоход — этот, наверно, у пристани.

Титков сел, опустив ноги на ступеньки, потер озябшую шею и спину. Часа четыре, поди, пролежал, если не больше. Луна уже зашла, скоро начнет светать. А ветер с северной стороны, потому и похолодало. Негодники же люди! Что бы в дом завести, раздеть, уложить в постель как полагается — нет, положили на крыльцо и смылись. Никакой заботы о человеке.

Растирая поясницу, — не дай бог прострел ахнет, замаешься! — Титков вошел в сени, включил свет.

В просторном пустом доме было гулко, как в барабане.

— Адам? — позвал Титков, щелкнув выключателем.

— Мяу! — отозвался с печки Адам, шурясь от резкого света.

— Во-он ты куда забрался! Значит, в самом деле холодает, а не показалось мне. Через окошко влез? Лежи, лежи, я его закрою. Вот. А теперь давай здоровье поправим, поужинаем. С этим дурацким судом поесть некогда, а у нас целая курица в кастрюльке. Ну, чего молчишь?

Адам лежал у самого края печи, вытянув передние лапы на задоргу, и внимательно следил за хозяином. Он тоже проголодался.

— Только ты подожди, я нутро согрею. Он, радикулит-то, если хряпнет, не скоро вылечишь, не молодой. Будь здоров, Адамка!

Адам услышал бульканье и шумные глотки хозяина, увидел на морщинистой шее прыгающий вверх-вниз кадык и облизнулся.

— Вот теперь, Адамушка, давай за стол. Разогреть уже не станем, не господа какие, а? — Он достал из холодильника кастрюльку с курицей, поставил ее на середину стола. Потом вынул из кухонной тумбочки тарелку с карамелью и черствый кусок хлеба, бутылку вина. В голове была какая-то неясность, шумело в ушах. — Я, Адамка, допью, а то он, радикулит-то... Чего оставлять? «Лучистое», оно не белое, его карамелью закусывают. За тебя, Адамка, за твое здоровье, змей подсушимый!

Адам слушал бульканье, облизывался, но с печки не слез: до еды дело еще не дошло, он знал своего хозяина.

— Мы, Адамушка, во всем виноваты, во всех грехах. Надо же! И к чему нас подведут, неизвестно. Тебя запросто могут утопить или повесить, а что уж мне приварят, и сам Митя-Соловей не знает... Чего ты улыбаешься? Ну, смейся, смейся, хитрец! Не зря тебя старуха Прош-

кина крестила. Молчишь, а себе на уме! Постой-ка, я еще полкружечки... Во-от. Жизнь, она, Адам, не карамелька, а тоже скоро кончается. Помнишь Агашу, хозяйку нашу? Давно уж в раю, а мы еще хоть куда, нас еще виноватыми считают. И правильно: мы все можем, и худое, и доброе, мы в силе! И пить будем, и гулять будем, а смерть придет, помирать будем... Эх, Адам, друг мой верный! Хошь спляшу?

Титков привстал над столом, держась обеими руками за столешницу, и лихо топнул ногой в новом туфле. Потом победно поглядел на кота. Он был не просто радостным, он чувствовал себя необыкновенно счастливым, всемогущим, он понимал теперь весь мир и хотел других сделать счастливыми. Иллади потом определил это состояние как наркотическую эйфорию, которая осложнилась чем-то таким мудреным, что не сразу запоминается.

— Ты чего улыбаешься, чего молчишь? Притворяешься ведь, вижу, притворяешься! Все ты понимаешь. Монах врать не станет. И Мытарин читал про вас из истории правильно. Скажешь, нет? Чего молчишь? А ведь ты — Адам. Один-разъединный Адам на всю Хмелевку, да и тот не человек! С кем же я говорить стану? Не подмаргивай, не улыбайся — отвечай!

— Ладно,— сказал кот, зевая,— давай куриную ногу и потом потолкуем.

Титкова окатило радостным жаром сбывшейся заветной мечты.

— Адамушка, неужто правда? — изумился он.— Да я тебе не только ногу, а и другую, и крылышки, и всю тушку с гузкой, и шею... Ну удружил! А эти умники записали: не умеет говорить по-русски. По-каковски еще тебе говорить, по-немецки? На, родной, ешь.

— На столе, а не под столом! — сказал Адам строго. Спрыгнул с печи, не спеша подошел к столу и подождал, пока хозяин, кряхтя и хватаясь за поясницу, поднимет с пола куриную ногу, положит ее на край стола и пододвинет ему стул. Как равному собеседнику.— Спасибо.

Адам впрыгнул на стул, сел и нетерпеливо, придерживая куриную ногу на столе лапами, стал есть. Титков глядел на него с умилением и качал седой головой:

— А я ведь знал, что ты ответишь, ей-богу, знал! Как же, думаю, не ответит, если я с ним который год как с человеком разговариваю. Не может он не ответить. А эти пустоплясы: не умеет по-русски. А чего тут уметь, когда три десятка звуков-букв, ты и читать-писать запросто научишься. Правильно?

— Ешь, а то опьянеешь.

— Нет, ты скажи: я правильно говорю?

— Правильно. Тридцать — это ерунда на постном масле. У музыкантов вон только семь нот в октаве, а говорят без переводчика со всем светом.

— Да, да, мне Столбов рассказывал, а он на всех похоронах играет. Можно, я крылышко одно съем, а все остальное — тебе? Только я сперва царапну стакашек, а?

— Не много будет? Ты хотел со мной поговорить...

— Ничего, это я на радостях. Выпьешь со мной?

— Еще чего! Выпью, а Анька-Мортира и водку на меня станет списывать.

— Какая Мортира? Что-то не знаю.

— Знаешь — Ветрова, вчера прозвали.

— Это они умеют, это — да. Ну, будем... А теперь карамельку... Они, Адам, все умеют, они о себе только думают, о частной собственности.

— О себе только дурак не думает. А частная собственность — что это такое?

— Это, Адам, все несчастье людского рода. Говорят, бог еще не

создал землю, а она уж была огорожена. Так и это самое чувство собственности раньше человека родилось, до него.

— Зачем же ты борешься с ним, если чувство это природное, если оно родилось для человека и свойственно только ему?

— Да вредное оно, бестолочь!

— Кому вредное?

— Всем. Если бы не собственность, мы теперь знаешь где были бы?

— Не знаю.— Адам взял куриную тушку, ловко разорвал пополам и одну половину пододвинул хозяину: — Ешь, мне одному не управиться.— И вкусно захрустел, разгрызая косточки, заурчал, замурылкал.— По-моему, все просто: родился, жил, помер. Чтобы род не пресекался, оставь потомство. А для жизни надо есть, пить и двигаться.

— Работать.

— Это у вас. А у нас — добывать пищу. Но зачем вам так много пищи? И почему вы столько говорите? Ты две недели меня таскаешь на свой суд, люди кричат, спорят, ругаются — зачем? Делят пищу? Сажок? Жилье? Но все это у вас есть. Вожаков мало?

— Хватает.

— Тогда, может, плохие они, слабые?

— Есть хорошие, сильные... Ты и мою порцию ешь, не стесняйся.

— Спасибо, наелся, пойду полежу.— Адам вытер лапой усы, в два прыжка оказался на печке и улегся там, как прежде, положив голову на лапы.

— Наелся и сбежал, а хозяин тут один думай. Или, может, не я тут хозяин, а ты?

— Неизвестно. Земля у нас общая, солнце общее, а вся жизнь идет от них. Возможно, людей больше, чем кошек, но кроме нас на земле живет тьма разных животных, зверей, птиц... А если посчитать насекомых, если взять все растения, микробов...

— Монаха наслушался? Ты, значит, природа, а я изверг природы?

— Нет, ты правильный, правый, как всякий человек. Я вот ловлю мышей в твоём доме, грачи — червяков у тебя в огороде, воробьи — гусениц в твоём саду, козы дают молоко для тебя... Все тебе и для тебя. Ну а ты для кого и для чего?

— Я? Для вас. Я, если хочешь знать, за всех вас должен думать, переживать и отвечать.

— Перед кем отвечать? Перед собой самим? Языком больше мелете, а толку нет. Меня ответчиком сделали.

— Так ведь со мной вместе!

— Ты так, сбоку, а основной ответчик я. Смешно: сами вывернули жизнь наизнанку, а виноват кто-то другой.

— Так всдь мы оба с тобой животные по природе, только я разумный, а ты нет. Правда, и ты от меня говорить научился.

— От тебя? Я всегда говорить умел, если уж хочешь знать, да не хотел. О чем с тобой говорить? Не буду я больше с тобой говорить, все!

— Постой, не решай с маху. И не брезгуй, не отворачивайся с презрением, легче всего отвернуться... Я глоточек, капельку...

Титков почувствовал новый прилив сил и начал доказывать упорно не отвечавшему Адаму, что такое жизнь и человек в быстротекущей жизни. Носатый Илиади думает, что человек состоит из трех частей, а он состоит из многих миллионов, и самая главная из них — разум. Это, Адам, такая штука, что может объяснить что хочешь, любую несуразность. Запросто. Объяснить и оправдать. Вот, например, ты презираешь меня. А отчего я запил, знаешь? От одиночества. Потому что я человек и у меня есть разум. Он у каждого человека есть, разум, и каждый человек своим разумом доволен. Понимаешь? Федька-Черт, Заботкин, Анька-

Мортира, Витяй Шатунов, Митя-Соловей, Сеня Хромкин... — все по-своему правы, хотя все они в чем-нибудь виноваты. Можно, конечно, считать, что каждый по-своему прав, но на самом деле каждый, по-моему, не прав...

Когда Илиади, видевший вчера падение Титкова со скамейки, приехал с молодым врачом на «скорой помощи», Титков сидел за столом и доказывал спящему на печке коту, что тот ничего не понимает в людях, потому что никогда не находился на ответственной работе...

XVII

Прошло пять лет. Хмелевцы не забыли серьезных рекомендаций товарищеского суда и все это время не сидели сложа руки. И хотя сделали меньше, чем могли бы, жизнь заметно изменилась.

Как сообщила хмелевская районная газета, труженики райцентра, выполняя принятые на себя обязательства, превратили родную Хмелевку в настоящий поселок городского типа. Деревянные тротуары вдоль домов стали асфальтовыми, замощены все улицы, закончено строительство дороги с твердым покрытием от центра к пристани длиной в два километра, проселок до Суходола засыпан гравием. Построено два пятиэтажных дома и строятся еще три. Газ теперь не привозной, в сменных баллонах, а магистральный, от нитки газопровода, протянутой сюда и стараниями таких районных руководителей, как Балагуров и Межов. Кстати, их очень ценят за хорошую службу и поощряют. Недавно о Межове был в областной газете очерк, где его очень хвалили. Авторы очерка Кирилл Мухин и Лев Комаровский тоже выросли, потому что их печатают в областной газете. Не часто, но печатают, и в основном положительные материалы о замечательных людях.

Председатель райпотребсоюза Заботкин пополнил свои кадры за счет выпускниц местной средней школы, и эти молодые продавщицы не принимают от покупателей никаких благодарностей, кроме «спасибо».

Заметные изменения произошли и в судьбах рядовых хмелевцев.

Анька-Мортира к своему пятидесятилетию награждена похвальной грамотой райсовета, но мечтает расстаться с продагом, получить пенсионную книжку и выполнять обязанности бабки — нянчить внучонка. Ее дочь так и не поступила в институт, но зато стала неплохой портнихой в бытовом комбинате и заставила Витяя Шатунова, которому вернули водительские права, жениться на себе. Правда, ненадолго. Через полгода он перебежал к ее подруге Светке Пуговкиной, но шесть месяцев спустя затосковал, восстановил с бывшей женой прежние отношения и... через полгода опять возвратился к Пуговкиной. Так у них и идет. Обе они притерпелись к подобным изменениям в своей жизни, потому что знают своего верного Витяя и, регистрируясь в браке или расторгая его, даже не меняют фамилий. Все равно он никуда не денется. Как, впрочем, и они от него. Ведь они с детства дружили втроем, выросли.

Верными супругами сделались Митя-Соловей и Клава Маёшкина. Произошло это не сразу и не легко, потому что им пришлось ждать смерти могучей Варвары, которая сильно огорчилась изменой мужа и тем расстроила свое здоровье. Клавка ее жалела, но во время регистрации прирастила к своей фамилии редкую фамилию мужа. Она гордится, что ее Митя председательствует в товарищеском суде, и когда отправляет сливки на маслозавод и обрат на животноводческую ферму, то в накладных расписывается на всю страницу «К. В. Маёшкина-Взаимнообоюднова».

Мягкий, но неотступный Митя-Соловей отвалил ее от жульничества и суетливости, научил вежливой жизни, и теперь Клавку серьезно зовут Клавдией Васильевной. Впрочем, иначе и назвать-то трудно: она стала обаятельной, несравненной женщиной. Правда, родить не смогла, обманула, но это был последний и извинительный случай обмана: зачем солидным людям поздние дети? В остальном же Клавдия Васильевна безупречна. Сейчас ей за сорок, во внешности есть какие-то потери, но они не очень заметны при тех значительных духовных приобретениях, какие пришли вместе с неустанной культурно-воспитательной доработкой, проводимой новым мужем. Когда теперь Клавдия Васильевна неторопливо идет по улице, одетая по моде, старая ее подруга Анька-Мортира подносит к глазам платок, а хмелевцы провожают долгим взглядом и шепчут зачарованно: «Артистка!» Никак не могут оставить человека без прозвища, даже уважаемого.

Иван Кириллович Чернов со своей Марфой еще живы, но оба заметно сдали. Кирилыч вышел из членов Оварищеского суда, уступив это почетное место инспектору рыбнадзора т. Сидорову-Нерсесяну, сидит зимой у телевизора, а летом на завалинке и обсуждает со старухой возможность возникновения колхозов в США. В будущем, конечно. Сейчас они до этого еще не доросли.

Юрьевна продолжает секретарствовать в товарищеском суде, собирается бросить курить и уже достала полсотни таблеток табекса. Некурящие сноха и сын Анатолий Ручьев поощряют это ее серьезное намерение.

Федя-Вася окончательно отошел от милицейских дел по старости, попал в жесткую зависимость к своей Матрене и иногда сбегает от нее на денек-другой к дочерям Алке и Светке, которые живут своими семьями отдельно. Он надеется, что внуки унаследуют его призвание и по достижении совершеннолетия пойдут в милицейское училище. Почему? А потому, что все мечты у нас, даже самые дерзкие, рано или поздно сбываются. Надо только не мешать их осуществлению.

Военком майор Примак стал подполковником и по рекомендации товарищеского суда переименовал свою Гаубицу в Галатею. Жена его Галя обиделась, что собаке подполковник дал имя красивой, чем у нее, родной жены, и зовет Галатею Гапкой. Собака откликается и на него, но при этом не виляет хвостом, как на Галатею.

Одряхлел егерь охотничьего хозяйства, верный заступник природы Федор Шишов. Его хотели отправить на пенсию, но он написал письменный протест: «Пусть я Монах и Робинзон, но все равно я непреодолимый в охране природы страж, вечный ее ученик и охранник. Не нужна никакая ваша пенсия, ни поощрительство. Я и так до самого конца смерти буду помогать терпению сноровистой природы, которая живет с чумовым человечеством, и не перестану быть в готовности ее защиты от вашего глупого хозяйничанья».

Рыбаки Иван Рыжих и Федька-Черт перекрыли все планы рыбодобычи и стали ударниками пятилетки.

А вот верующая старушка Прошкина, которая подозревала Титкова и его кота Адама в краже просяного веника, два года спустя покаялась в лжесвидетельстве (веник нашелся в подпечке) и после покаяния отдала богу душу. Отпевать себя она завещала отцу Василию, но тот по пенсионной старости уже не отпускал никакие требы, и печальный обряд исполнял молодой, двадцати шести лет, священник отец Игорь. Верующие были недовольны его отпеванием за поспешность, при которой пропадает торжественность, но они не знали, что отец Игорь торопился к своим прерванным делам: в тот день он ремонтировал мотоцикл «Ява» и хотел сгонять в областной центр за сигаретами «Стюардесса», любимыми им. Впрочем, возможно, верующие правы, потому что все

наши земные дела, по священному писанию, есть суета сует и их нельзя почитать выше великого таинства смерти.

Дал дуба и главный противник частной собственности, убежденный атеист Титков Андрон Мартемьянович. Его осиротевшего Адама взял к себе на перевоспитание сам товарищ Башмаков. В тот же день он из педагогических соображений отрубил ему хвост. Адам, защищаясь в неравной борьбе, исцарапал Башмакову руки и сбежал. Теперь этот бесхвостый злодей живет полудиким образом, отбирая пищу у хозяйских котов и кошек, ночует на разных чердаках и где придется. Людей к себе он не подпускает. Однако свои обязанности выполняет еще ревностней, и теперь все коты и кошки в Хмелевке серые с тигровыми полосами. Такое вот сильное у Адама семя.

За разведение романовских овец совхоз «Волга» пока не взялся, но Мытарин добивается включения овцеводства в план следующей пятилетки. И добьется. По итогам работы за прошлую пятилетку его совхоз заметно увеличил производство зерна и занял первое место среди хозяйств района. А к передовикам у нас прислушиваются. На совхозном собрании, посвященном итогам пятилетки, выступал в числе других механик по трудоемким процессам в животноводстве С. Буреломов, известный больше как самодеятельный философ-изобретатель Сеня Хромкин. Его прочувствованными и хорошо продуманными словами я и закончу эту историю.

— Дорогие товарищи по совместной работе и уважаемые сотрудники по подчинению общему начальству!

За этот продолжительный период времени действия наша текущая действительность добилась высокой практикой сельской недостаточности продукции животноводства и полеводства. НТР закусила удила железной челюстью и несет нас только вперед, поскольку она не знает обратного хода. Прежние факты отставания недоделок остались позади текущих завтрашних событий настоящей современности, и мы должны добиться, чтобы вся жизнь нашей Хмелевки, нашего района и остального земного шара, неровного от географической эллипсности и овражной рельефности пейзажного ландшафта, шла в радости по правильному советскому направлению счастливой коллективности мира и остатков природы земного существования.



ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ



ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Встреча с однополчанином

Прядь седую откинул со лба ты
И сказал:

«А как есть мы солдаты,
То не след нам ронять свою честь
И орать, кто такие мы есть.

Если скинем рубахи, как в бане,
Сразу рана приложится к ране,
И выходит, что носим в натуре
Биографии наши на шкуре.

Жаль, не скинешь рубахи где надо,
А бумага безлика для взгляда.

Я б от зла для державного прока,
Глаз наметан мой, как у пророка,
Пообчистил дорогу вперед,
И меня поддержал бы народ.

Вот сидим:

я Иван, а ты — Яков,
Пламень крови у нас одинаков,
Группа крови навеки одна
И одна за спиною война.

Не года, брат, беда,
не усталость,
А беда, что нас мало осталось.

И вот думаю я: это чудо —
То, что живы с тобой мы покуда.
Иль отсрочил Верховный Приказ
Наш с тобою двенадцатый час?»

Разговор адъютанта генерала Раевского с князем Петром Вяземским

Не убоявшись слова резкого,
Былой отвагою горя,
Однажды адъютант Раевского
Сказал в присутствии царя:

— Свидетельствую нам батални,
Что вьет интрига происк свой
На выстрел пушечный и далее
От линии передовой.

Она происхожденья знатного,
И с ней в салонах завсегда
Двух званий,
штатского и ратного,
Распутничают господа.

Еще во сне я порох нюхаю,
И верьте, милостивый князь,
Не мне якшаться с этой шлюхою —
Видавший смерть не лезет в грязь!

Биография поэта

— Я писал, одержимый призваньем,
Возносясь над хвалой и презреньем,—
Так сказал он мне,
Став стариком.—
И моя между ранним признаньем
И отчаянно поздним прозреньем
Умещается жизнь целиком.

Думу думала дорога

Если б я была царица...

Не крута и не полога,
Думу думала дорога:
«В полный рост подняться мне бы —
Дотянулась бы до неба,
А когда бы стала вдруг
Я владелицей двух рук —
Всех воров, хоть будь и тьма,
Изловила бы сама.

А когда бы, как ямщик,
Я имела бы язык,
О былом, восславив честь,
Рассказала все как есть».

Печаль

Себя легко обожествляли греки,
Их вымысел — как звездный свет во мгле.
Кавказ я вижу,

где в античном веке
Зевс Прометея приковал к скале.
Но неспроста злодейству мы перечим,
И вот Гераклом

среди бела дня
Убит орел, выклевывавший печень
В горах у похитителя огня.

Но Зевса сын побочный
нас едва ли
Спасти сумеет, как ни уповай,
От хищницы в обличии печали:
Ей вновь людское сердце подавай!

Л. ЛИХОДЕЕВ

★

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Роман

Пятница — меж четверга и субботы.
Даль.

Глава первая

1

Курдюмов во сне потерял зуб. Зуб был нижний. Вывалился он без боли, как съемная деталь. Курдюмов представил себе, как позовет Варвару и не сможет ничего сказать. С этим огорчением он проснулся и потрогал щеку. Зуб был на месте.

Курдюмов встал с жесткого топчана, застеленного новой, еще не стиранной простыней. Подушка тоже была новой — в край наволочки встроены лоскут с черным штампом производящей фирмы, то есть швейной фабрики.

Квартира, в которой он ночевал, была отремонтирована по-быстрому — наклеили обои, какие были на складе, перестелили кое-где паркет, покрыли лаком. Запах эпоксида все еще щекотал дыхание острой сладостью. Топчан, должно быть, принесли из какой-нибудь бытовки, постель — тоже. И еще принесли два новых стула с красными — искусственного сафьяна — сиденьями и спинками.

Стулья эти Курдюмов узнал: в управлении, в кабинете, вокруг длинного полированного стола для заседаний, стояло таких стульев штук сорок. Оттуда и принесли.

Курдюмов потянулся, еще раз потрогал щеку и снова вообразил Варвару — завитую, подкрашенную, затянутую в узкую юбку... «Да, Николай Павлович... Нет, Николай Павлович...» Странная Варвара, наследство Вельяминова. Курдюмов бодро скинул с себя новое оранжево-белое байковое одеяло, пахнущее следами керосина, опустил ступни и попал в шлепанцы.

Обнаженный — без занавесей — блок (два окна со стеклянной дверью посередине) выходил на балкон, в серое мартовское утро. Небесная голубизна несмело показывалась сквозь размазанные облака. Облака плыли нехотя, лениво. За стеклом зябко трепетала голая жидкая верхушка дерева. Пухлые почки сидели на ветках, как приклеенные.

Курдюмов подошел к балкону. Форточка была приоткрыта. Тянуло тепловатой сыростью. Квартира помещалась на третьем этаже, окна смотрели вверх молоденьких деревьев на широкое, вздыбленное кучами земли пространство, придавленное широченной бетонной плитой с густыми следами глины. Под плиту нырял готовый подземный переход. Холодные лужицы последнего стаявшего снега отражали стенку, облицо-

ванную глазурной плиткой с орнаментом. Через лужицы брошены были старые куски опалубки — мостки.

Переход нырял на ту сторону, к длинному одноэтажному сооружению, в котором помещалось управление комбината.

Во всю длину крыши стояли аккуратные литеры лозунга. Буквы стояли, как в шеренге, одна в одну, опираясь на кронштейны и даже как бы молодцевато отставив ногу.

Курдюмов помнил это помещение, когда оно было еще баракком...

В те времена барак располагался посреди чистого поля, и находилось в нем все на свете — и жилье, и контора строительного участка, и столовка, и бытовка. Было это двадцать пять лет назад. Там, в конторе, лежали калки Четвертого квартала — жилищного массива с горделивыми колоннадами, с венценосной лепниной, с алебастровыми лаврами, с победительной бронзой — со всеми страстями, удивляющими простодушное воображение.

Песковская стройка замысливалась когда-то с большим размахом, задумали ее широко. И неясно было с самого начала, какая эта стройка — всенародная или же местного значения.

Курдюмова в те времена назначили сюда после института по распределению. Было ему двадцать семь лет. Институт он закончил позже других и считался опытным строителем, поскольку до института уже успел походить в бригадирах.

Курдюмов поехал, посмотрел, увидел экскаватор с опущенной стрелой (ковш зацепил землю да так и застыл), травка росла возле заржавленной гусеницы. Травка эта сдавила курдюмовское сердце. (До сих пор почему-то помнил это.) Она росла и росла, ничего не опасаясь. Зеленела возле самой гусеницы, даже как-то из-под нее. Стоило экскаватору проснуться, ожить, дернуться, и во миг железные звенья травку эту в почву, в глину. Гребанет по ней ковш и выворотит с корешками. Но экскаватор стоял прочно, несдвигаемо. На потрескавшемся дерматинном сиденье колыхался слабым ветерком куст перекати-поля.

Прораб жил при конторе, в закутке, оклеенном газетами. Прораб сказал Курдюмову хриплым, перегарным голосом:

— Третий ты у меня, понял?

— Ну и что? — спросил Курдюмов.

— Ничего... К слову...

Прибыла Нина, навела уют в смежной загородочке, натянула занавески на переплетенное мелкими квадратиками барачное окно.

Но особенно устраиваться не пришлось. Стройку законсервировали довольно быстро — возникли новые планы, потребовались силы на строительство более важных объектов.

Начальник стройки Борис Васильевич Вельяминов получил назначение — сооружать химический комплекс на севере. Курдюмовы поехали с ним, на настоящее дело.

И работал Николай Павлович Курдюмов с Борисом Васильевичем Вельяминовым душа в душу, понимал начальника с полуслова и вырос до должности главного инженера. Начинали они с нуля четырежды, но довели до конца свои начинания лишь трижды. Потому что их четвертая совместная стройка оборвала и карьеру Вельяминова и дружбу его с Курдюмовым. Четвертую стройку Курдюмов кончал один, потом начинал и заканчивал еще две, и вот он снова в Песках.

За эти годы Четвертый квартал все же выстроили (не так, конечно, как замыслили, попроще, без баловства). Начали ставить дома с дальнего конца, и квартал приближался дом за домом сюда назад, к конторе, пока не уткнулся последним домом в последний задел перекопанной глины, где когда-то стоял тот самый экскаватор.

Временное помещение оказалось весьма долговечным. Двадцать пять лет предшественники Курдюмова почему-то латали его, подпирала-

ли, переоборудовали, как будто не решаясь избавиться от этой длинной несуразной халабуды. Лозунг был когда-то написан мелом по кумачу и приколотен планками.

Курдюмов приблизился к окну, приложил к холодному стеклу растопыренные ладони, придавился лбом, стекло радужно затуманивалось дыханием. «Неужели и я не слажу с этим бараком?» — подумал он и внезапно почувствовал затылком острый взгляд. Не оборачиваясь, — кто там может быть в пустой квартире — Курдюмов прикидывал насчет подземного перехода: сколько ж они освоили на пока еще не нужный объект? Конечно, мелочь. Шкодливые номера. Объектов таких разбросано по земле немало. Бывают и покрупнее. Сам он разбрасывал видимо-невидимо и не такие пустяки, как этот. «Гонка сооружений», — цедила сквозь зубы Варвара, подкладывая бумаги для подписи. Но почему-то именно этот пустяк, брошенный в мокрую глину кем-то другим, прямо перед окном, зацепил Курдюмова укором. «Надо осваивать капиталовложения», — учил Вельяминов. «Патронов не жалеть!» — надменно передразнивала Варвара.

А затылок ощущал упорный взгляд четко, даже с каким-то ознобом.

Курдюмов обернулся и оторопел: из вделанного над дверью в прихожую шкафчика смотрела большая желтая кошка.

Кошка была похожа на обезьяну. Была она песочной масти с черной скуластой мордочкой, с черными ушами. Она стояла на черных лапках и плавно водила за собою коротким черным хвостом, вот-вот прыгнет. Голубые круглые глаза ее смотрели на Курдюмова без всякого удивления. Поперек глаз стояли зрачки, узенькие, как риски ватерпасов.

— Ты откуда взялась? — отступил Курдюмов.

Кошка водила хвостом, глядя в упор.

— Ну?

Кошка легко спрыгнула, посмотрела на Курдюмова, слабо мурлыкнула, как позвала, и направилась в переднюю. Курдюмов пошел за нею. Возле приоткрытой двери в туалет кошка снова посмотрела на Курдюмова, снова мурлыкнула и ушла назад, в комнату.

— Что там? — спросил Курдюмов, открыл дверь и сразу увидел, что надо спускать воду. Он надавил шарик бачка, вода хлынула, смыв кошачий след.

— Ты что? — под шум воды спросил Курдюмов. — Ученая? Эй! Кис-кис!

Кошка сидела на подоконнике, внимательно всматриваясь в жидкие голые ветки, на которых раскачивался воробей.

— Эй! Кис-кис!

Черный короткий хвост свисал с подоконника, напряженно подрагивая кончиком.

Живности в доме никогда не было — ни кошек, ни собак. Курдюмов обнаружил, что не знает — любит Нина домашних зверей или нет. Выгонять кошку было жалко — пусть Нина решает, что с ней делать. Не может быть, чтобы ей не понравилась такая чистюля. Даже интересно, если в доме будет жить кошка. Кто же ее выдрессировал? Что она — живет в шкафу, что ли?

Курдюмов скатал постель, вспомнил сон, взялся ладонью за щеку. Надо бриться. Чемодан стоял на кухне, на плите — больше ставить было некуда. Курдюмов осмотрел свежекрашенную белилами кухню. На рыжем линолеуме белели засохшие брызги. Гнали, черти, ремонт, не могли линолеума приличного положить!

Холодильник стоял невключенный, открытый, пустой. Курдюмов подумал о кошке: чем же ее кормить? Говорят, кошки выносливые. Он достал из чемодана бритву «Агидель» и пошел в ванную втыкать шпатель. Но не дошел — остановился, прикидывая, как размещаться в квартире. Нина, конечно, решит, но кабинет нужно делать здесь, в пер-

вой от входа комнате. Открыл дверь и увидел на полу красный телефончик. Должно быть, о кабинете подумал кто-то и без Курдюмова. Телефончик был маленький, трубка на нем казалась не по размеру.

Что же это был за сон такой? К чему бы? Курдюмов относился ко всей этой моде на гороскопы и приметы снисходительно. Но все же, наверно, в этом что-то есть, если по данному вопросу пишут статьи. Он взялся за щеку. Что может быть? Баржа не придет, Варвара заболит или контейнер с имуществом застрянет где-нибудь?

Он вернулся к кошке.

Она сидела на подоконнике, спиной к стеклу и терла черной лапкой черную мордочку. Потом выставила лапку пистолетом и провела по ней бледно-розовым язычком.

Зазвонил телефон.

Курдюмов положил черную шкатулку бритвы на красный стул. Кошка посмотрела, спрыгнула с подоконника, задрала хвост и, обгоняя, томно скользнула по ноге всем боком.

— Какие нежности,— заметил Курдюмов, прошел в будущий кабинет, наклонился, поднял легкий аппаратик и снял трубку...

— Курдюмов...

— Николай Павлович, Миша беспокоит... Поедем?

— Миша,— посмотрел на кошку Курдюмов,— чем кормят котов?

Шофер, должно быть, насторожился, искал подспудного смысла в странном вопросе начальника, но все же нашелся:

— Так рыбой, Николай Павлович...

Курдюмов почувствовал удивление шофера, сказал смущенно:

— Тут у меня кошка...

— Вас понял! — вмиг оживился шофер.— Сейчас!

Миша прибыл, когда Курдюмов был уже выбрит и одет. Курточка на Курдюмове была мятая, из чемодана, но — ничего — сегодня весь день на колесах. Пиджак отвисался на спинке стула.

Миша был бодр и свеж. Лицо его, крупное, твердое на вид, и зимою и летом темнело загаром, от ветра, должно быть. Светлые глаза смотрели добродушно. Шапки Миша не надевал, имея густую, довольно длинную (по моде) прическу, всегда аккуратную, сходящую на щеки под бритыми небольшими баками. Шевелюра Мишина за многие годы как будто не поредела, но седины в ней прибавилось порядочно.

Миша был грузноват и лицом и телом. Была на нем курточка такая же, как на Курдюмове (Курдюмов же и покупал в подарок), но, конечно, выдавшая больше видов, поскольку носилась шофером, а не начальником. Правда, курточку эту Миша надевал только в некомфортные поездки. Никогда заранее не спрашивал, куда ехать, но всегда предугадывал.

— Я — на «козликке»? — спросил он, всматриваясь в Курдюмова.

Под курточкой Миша носил белую нейлоновую (легче отстирывается) сорочку и галстук-бабочку коричневой кожи. Про кожаную бабочку он где-то прочитал, как об автомобильном щегольстве. Курдюмов, увидав его впервые с бабочкой, спросил:

— В цирк переходишь?

Миша вспыхнул:

— Сниму, если не нравится.

— Мне-то что? Носи.

Но, странное дело, бабочка эта понравилась Курдюмову: была в ней приятная забавная лихость, вальяжность, веселый шикарный вызов окружающей действительности. Гаражная публика считала Мишу аристократом не только за место службы, но и вообще.

Миша держал авоську, в которой находился промасленный кулек и синий с белой шляпкой термос.

— Вот,— расплылся он широкими добродушными губами,— Катерина пирожков напекла. Заправьтесь.

— А ты?

— Да я уже под завязку.

— Ну как устроились?

— Все путем, Николай Павлович, Катерина довольна, а мне что? А где кошка?

Кошка появилась, как вызванная.

— Ну-у-у,— протянул Миша,— это сямская. Это к счастью на новом месте. Я тебе рыбы привез! Свежей!

Миша вытащил из авоськи прозрачный мешочек, в котором лежало несколько рыбешек.

— Где взял? — улыбнулся Курдюмов.

— В гараже. Один пришел прямо с клева. Восемь китов принес. Видите? Плотвичка. Я говорю, у меня кот на диете! Ну он и отдал. Рыжий такой... Балабон...

Кошка смотрела на улов выжидательно. В Мишиной авоське оказалась еще и алюминиевая мисочка.

Кошка, как знала, куда идти, поплыла на кухню, села возле слива.

— Ученый,— одобрил Миша.— Порода.

Миша присел на корточки, поставил миску и вытряхнул в нее утренний улов.

Кошка нюхнула, брезгливо тронула коготком, отдернула, подождала — не пошевелится ли плотвичка. Но плотвичка не шевелилась. Кошка подумала и аккуратно взяла рыбешку боком пасти.

— Аккуратист,— одобрил Миша.

Некоторое время они с Курдюмовым наблюдали, как кошка завтракает. Миша сидел на корточках, уперев локти в колени и свесив кисти рук. Курдюмов стоял над ним заинтересованно. Кошка терзала пищу, помогая себе лапками и стараясь держаться над мисочкой.

— Откуда она взялась? — спросил Курдюмов.

— Так влез как-нибудь,— предположил Миша.— Много ли ему надо? Фортка открыта была?

— Открыта.

— Ну...

— Миша,— неожиданно для самого себя сказал Курдюмов,— ты в снах понимаешь?

— В сна-а-ах? — удивился шофер и поднялся от мисочки.

— Зуб у меня выпал во сне.

— С кровью?

— Да нет будто.

— Ерунда!

Посмотрел на кошку, как она трясла серебряным рыбьим хвостиком и добавил неуверенно:

— Зуб потерять — к убытку. А у вас — прибыль. Так на так выходит. Так что сон аннулируется. Тем более — с четверга на пятницу...

— Как на пятницу? Разве сегодня пятница?

— Ну...

И вдруг кошке:

— Эй ты! Пятница!

Кошка выпустила рыбку, посмотрела на Мишу серьезно, как отозвалась.

— Ну ты даешь! — удивился Миша.— Отзывается! Николай Павлович! Нехай будет Пятница!

Курдюмов с удовольствием оглядел кошку:

— Но Пятница был мужик все-таки.

— А это что — баба? Николай Павлович, посмотрите...

— Да?

- Ну да!
- Ладно, — махнув рукою, отвернулся Курдюмов, — поехали!
- Так вы пирожков покушайте. Чаю выпейте!
- В машине, Миша! И так проваландались все утро!
- Это Нине Ивановне подарок! — объявил Миша. — Пятница!
- Действительно, — спохватился Курдюмов, — я и не подумал.

2

Старожилы вспоминают первый колышек и первый штык лопаты. Но нет среди них двоих, которые указали бы одно и то же место первого колышка. Старожилы помнят не землю, а себя на земле.

Двадцать пять лет назад, когда Курдюмовы работали в Песках, молодые энтузиасты под руководством Нины Ивановны построили кафе и назвали его «Бригантина».

Помещение сложили из брусьев квадратного сечения — хотелось из бревен лиственницы, но где ее взять в степи, лиственницу эту...

Брусья собирались было пропитать чем-то, чтобы на века, но тогдашний начальник строительства Борис Васильевич Вельяминов заартачился — скажите спасибо за пиломатериалы! Сколько леса на баловство! И скорее складывайте! Чтоб в три воскресенья стояла ваша избушка на курьих ножках...

Вельяминов лукавил: затея ему нравилась. Но ему всегда надо было скорее.

Избушка получилась беленькая, струганая, дверь окована затейливыми петлями под старину, а над дверью кованый кораблик о двух мачтах с черными железными парусами. Кораблик был небольшой — от бушприта до кормы сантиметров шестьдесят. Ковали его неожиданные умельцы — Вельяминов и не знал, что у него на стройке имеются такие художественные таланты.

Художественные таланты вспорхнули стаей, вдруг, как засидевшиеся голуби, только крылья затрещали.

«Бригантина» стояла на бугре, над балочкой, в которой струилась заросшая ивняком никчемная речушка Ненаглядная. Речушка эта петляла по всей степи и натывались на нее всюду, в самых неожиданных местах. Здесь же Ненаглядная представляла собою рубеж, четко отделявший будущий Четвертый квартал от древнего хутора Заречного. «Бригантина» стояла лицом к новостройке и спиной к этому хутору, как бы отвернувшись от старого мира и глядя на новый.

Впрочем, хутор был разрушен, и на его месте поставили небольшой поселок индивидуальных коттеджей под названием Индостан. Официально эти выселки назывались по-старинному — хутор Заречный. Неофициально же, в разговорах — Индостан и Индостан. Название это вылепилось не сразу — поселок именовали поначалу то Индюком, то Индигиркой, то даже Индикатором. Лишь бы в слове звучал насмешливый намек на то, что домишки индивидуальные, собственные, личные.

Дома в Индостане были одноэтажные, присадистые, крепкие. И жила в них вельяминовская гвардия. Главный резерв в смысле обеспечения стройки итээрром.

Говорили, что кто-то, кому выпал участок не по вкусу, писал в Москву на Вельяминова и про кирпич, и про цемент, и про технику, и про растраченное казенное время. Даже комиссия приезжала.

...Давно это было. Где та комиссия, где тот жалобщик, а поселок стоит, будто от сотворения мира.

Сам Вельяминов проживал теперь где-то под Москвой, старенький, тихий, будто и не Вельяминов. Проживал на небольшой дачке зимой и летом. И написал книгу воспоминаний. Однако об Индостане в книге своей не сказал ни слова. Кто прочитал книгу, понимал: Борис Василье-

вич писал по документам, чтобы не исказить картины, как иногда грешат другие мемуаристы. Индостан, однако, ни в каких документах никогда не значился, а потому в воспоминания не попал.

«Бригантина» же как раз попала.

Она попала как пример самоотверженной инициативы, которая при правильном руководстве всегда может быть нацелена на полезное дело.

Глава про «Бригантину» называлась в книге «Трудовые пятницы», и рассказывалось в той главе, как именно по пятницам проводились культурные мероприятия в специально построенном для этой цели молодежном кафе.

Знающие люди говорили, что поначалу Борис Васильевич упомянул было Нину Ивановну Курдюмову как заводилу молодежи, но потом вычеркнул.

3

Курдюмов сидел в «бобике», жевал Мишины пирожки, постелив на колени маленькое льняное полотенце. Полотенце тоже было предусмотрено Мишей.

Пирожки оказались с картошкой. Катерина обжаривала их до золотистого хрустения. Лук в пирожке тоже похрустывал, попадаясь в сытой картофельной мякоти.

«Бобик» ехал по неровной дороге осторожно, небыстро, плавно покачиваясь. Курдюмов хотел было приказать быстрее, но молчал: Миша ехал бережно, не мешая Николаю Павловичу завтракать.

Миша был хлебосол. Синий термос торчал в проволочном самодельном зажиме перед Курдюмовым. Курдюмов запивал пирожок из белой крышечки. Чай был заварен щедро, отдавал душистым цветком.

«Бобик» выкатился из Четвертого квартала и поехал по неширокому шоссе.

На правой обочине приподнимались из остатков черного снега бетонные столбики, а из каждого столбика расходились рожками двухдюймовые трубы, поддерживающие немалые фанерные щиты со смытыми за зиму изображениями. Влага не щадила краску. Уцелели только улыбающиеся люминесцентные губы и глаза. Губы были красные, глаза голубые. Замысел щитов состоял в том, чтобы приветствовать и поздравлять едущих по дороге, а также сообщать им будущие достопримечательности колхоза «Партизан», на чьи поля вывело шоссе.

Щиты тянулись до самой развилки.

— Налево, — сказал Курдюмов, вспоминая дорогу.

И только он сказал — раздался милицейский свисток.

С привычной досадой Миша остановился, приоткрыл дверцу, посмотрел, откуда свист.

Маленький милиционер появился сзади «бобика». Должно быть, стоял за щитом.

— Чего? — спросил Миша.

Милиционер приблизился, не спеша взял под козырек:

— Путевку...

— Хоть бы «здрасьте» сказал, — улыбнулся Миша, — нет путевки.

В Усть-Пески как ехать?

— Документы, — холодно произнес милиционер, и в высоком голосе его послышалось удовлетворение.

Миша покосился на Курдюмова.

Курдюмов допил чай, навинтил крышечку на термос, вытер руки концом полотенца, увидел молоденькое бледное личико с негустыми черными усами, нашел, что милиционер похож на Лермонтова, и пожалел его:

— Вы — власть, а прячетесь за кустами...

— Не спрячешься,— проворчал милиционер,— тогда они нарушать не будут!

— А вам надо, чтоб нарушали? — дружелюбно спросил Курдюмов.

— А как наказывать? — нашелся милиционер.

Антагонизм между шофером и инспектором имеет свои пределы. Обнаружив в «бобике» незнакомого, но бестрепетного дядьку, милиционер посмотрел на шофера, как на закадычного друга, который неожиданно подвел. Миша понял молчаливый упрек.

— Директор комбината,— тихо шепнул он милиционеру.

Милиционер тоже шепнул:

— Сказал бы сразу...

И громко, весело отрапортовал.

— На Усть-Пески влево! Через шестнадцать километров правый поворот!

Миша видел в боковое зеркало, как серая влажная степь поднималась за милиционером до неясного горизонта, поднималась бугром, за которым как будто ничего не было, а между тем за бугром этим находился Четвертый квартал. Милиционер удалялся, уплывал, один на всю степь, на все боковое зеркало, и фанерные щиты торчали на обочине, непомерно возвышаясь над маленькой одинокой фигуркой.

Широкая серая степь лежала перед плоским ветровым стеклом. Миша протянул руку, открыл крышку ящичка. Курдюмов увидел маленький магнитофончик. Миша взглядом спросил, можно ли включить. Курдюмов не возражал.

— Записал прощание,— пояснил Миша,— на Тургае. И то — не все. Конец только.

Тургай был последней стройкой Курдюмова.

Густой шум немалого собрания с треском рванулся из магнитофончика. Там кто-то смеялся, пробовал гитару, кричал неразборчиво, и вдруг в разлаженном крике Курдюмов узнал металлический, но похожий голос жены:

— Тише, товарищи!.. А теперь тише!..

Курдюмов прислушался. Гитара проламывалась сквозь шум, брэнчала, как упрашивала, и наконец справилась с публикой. Заерзали стулья, негромко дзинькнуло посудное стекло, гитара ударила стройно, осмысленно, и женские голоса, среди которых звонче всех выделялся голос Нины Ивановны, нетерпеливо переждав громкое гитарное начало, спохватились:

Мы все рождены, чтоб в труде непреклонно
Вперед наступать и не пятиться.
Мы все новостройки большой Робинзоны,
И есть у нас общая Пятница!

И сразу же нестройно, но охотно и весело невидимое собрание — голосов сорок, а то и более — загремело, повторяя:

Мы все новостройки большой Робинзоны,
И есть у нас общая Пятница!

Голос жены летал над всем, как будто был он один впереди, а все остальное тянулось за ним, стараясь не отстать.

— Миша,— посмотрел на шофера Курдюмов,— а песню эту придумали здесь, в Песках. Кажется, Володя Свиридов ее придумал. Не помню.

Серое небо светлело, поднималось, расплзаясь, и сквозь несмелые, размазанные облака уже проглядывала холодная голубизна.

Пустое влажное шоссе вытянулось впрямую. Издали показался встречный автомобиль. Это был такой же «бобик».

— Уковский,— узнал Миша.

Встречный «бобик» замигал фарами — не то приветствовал, не то просил остановиться. Миша покосился на Курдюмова и остановился на обочине.

Встречная машина тоже остановилась, и из нее вылез Лыков, заместитель Курдюмова по капитальному строительству.

Курдюмов открыл дверцу, спуская ногу на вязкую глинистую обочину.

Дмитрий Ярославич Лыков был похож на тонкую стальную поковку — длинный, узкий, с квадратными плечами, руки довисали до колен. Лицо Лыкова было темным, с глубокими складками, на небольшом носу сидели зеленоватые очки.

«Жгучий красавец», — подумал Курдюмов, когда знакомился с подчиненными, и почувствовал к Лыкову насмешливую симпатию. Лыков протянул руку через шоссе:

— Здравствуйте, Николай Павлович.

Голос его содержал в себе хрипотцу — избыток силы, голову он держал высоко, как бы задирая небольшой нос, чтобы не свалились тяжелые очки. Курдюмов пожал его тонкую длинную кисть, крепкую и теплую.

— Николай Павлович, — сказал Лыков, — тут всего километра полтора. Поедемте покажу, что они делают.

«Они» означало «строители».

Лыков посмотрел сквозь темные стекла прямо в зрачки Николая Павловича, будто пытался за один миг выяснить, как они будут жить дальше.

— Тут курган недалеко, — отвел очки Лыков, — говорят, скифы шапками насыпали. Оттуда вся существующая действительность, как в Ги-прогоре. День хороший (поднял к небу сморщенный нос), все увидим. Садитесь ко мне.

Стоя спиной к своей машине, Лыков поднял руку, щелкнул над головой пальцами и показал кружок в воздухе. И тотчас его «бобик» зарычал, резко развернулся, скользнул вертящимися колесами, сдирая комья, и замер на обочине.

— Видал, как с вашим братом? — сказал Курдюмов Мише не то насмешливо, не то одобчительно. — Давай домой. Устраивайся. Катерине спасибо за пирожки.

И повернулся. Но Миша ждал, как будто не все еще было сказано. И — действительно.

— Ты вот что, — сказал Курдюмов, — Варваре Никитичне помоги... Ну, где гвоздь вбить... В общем, сам знаешь...

— Порядок, Николай Павлович, — понимающе кивнул Миша, — не волнуйтесь.

Курдюмов сел к Лыкову.

Уковский «бобик» покатился, замигал правым указателем метров через двести и осторожно качнулся через обочину на грунтовую дорожку.

Они стояли на кургане возле тригонометрической вышки, сложенной из старых почерневших слег, стянутых проволочными петлями.

Этот курган находился в отдалении от строящегося комплекса, настороженно, как зритель, приготовившийся смотреть давно обещанный спектакль.

Солнце поднималось из-за спины и высветливало из сизого марева розоватые плоскости домов то на буграх, то в распадках, как будто везли эти дома из разных мест, но не довели, бросили поспешно, спохватившись, что не знают точно, куда везти.

Вдоль горизонта, отгораживая степь, будто останавливая ее, тянулся забор голубоватый корпус комбината. Готовая стена его обрыва-

лась, и дальше, влево от нее торчали рыжим частоколом оголенные неприкрытые фермы второй очереди.

— Вы видите, что он делает? — нетерпеливо спросил Лыков.

Курдюмов не ответил. «Он» — это строитель, подрядчик товарищ Кочанов, управляющий Новостроем.

— Вы видите, что он делает не то, что нам нужно, а то, что ему удобно, — настаивал Лыков. — Вы же понимаете, что у Новостроя с исполкомом — дружба, перешедшая в любовь.

Курдюмов понимал.

Он чувствовал всей кожей, что стоит один на ветру у старой тригонометрической вышки. Он понимал все получше Лыкова, который никогда не был подрядчиком. Он мог бы объяснить еще не то этому, пока еще непонятному Лыкову. Он мог бы ему рассказать, сколько миллионов он сам бывало вытаскивал из заказчиков, чтобы строить местные дороги, сельские клубы, поселки, фермы в порядке шефской помощи. Он и сам когда-то доказывал, что все это необходимо, что все это для народа, что министерство-заказчик не обломится, если подарит местным товарищам объект-другой.

Да, мог бы.

Но теперь он стоял один на ветру. Один с пятью сотнями миллионов рублей в портфеле, не оберегаемый никем, кроме этого длинного красавца. Он стоял один и понимал, что все эти неопровержимые доказательства посыплются теперь на него. Теперь эти завораживающие слова будут говорить не он. Их будут говорить ему. Товарищ Кочанов, управляющий Новостроем, матерый подрядчик, будет говорить эти слова товарищу Курдюмову, который ничего не хочет знать, кроме своего комбината. Он будет говорить о замечательных наших людях, которые справедливо достойны дорог, клубов, ферм, домов.

И уходить от прямого вопроса — почему он так щедро раскидывает миллионы Курдюмова.

Николай Павлович представил обширное, как ноздреватый масляничный блин, лицо Кочанова, он видел тесно сгруппированные в самом центре блина глаза, нос и маленькие губы, победительно изогнутые улыбочкой. И улыбочка эта подчеркивала, подводила итог тому, что было сказано глазами: «Ты что, парень, забыл, как это делается?»

Длинный Лыков задрал непокрытую голову, морщась, как будто небольшой нос его чесался седлом очков. Он старался не смотреть на директора. Николай Павлович покосился, почувствовал к Лыкову некоторую неприязнь и глухо спросил:

— А вы никогда не были подрядчиком?

— Никогда! — задрал нос Лыков.

«Фанфарон, что ли?» — подумал Курдюмов.

— Я тут один! — расставил руки Лыков, как будто защищал что-то. — Один! Я ждал вас как манну небесную!

— Но вы же знали, что я бывший строитель? — усмехнулся Курдюмов.

— Знал. Но я еще знал, что у вас есть совесть!

«Подхалим, что ли?» — подумал Курдюмов и спросил:

— Откуда вам известна такая тайна?

Резанное латунными складками лицо Лыкова сдвинулось не улыбкой — насмешкой:

— Николай Павлович, — сказал Лыков, — мне приятно надеяться, что мы с вами сработаемся. По крайней мере, будем вместе плакать от этого Новостроя.

«Ну я плакать не буду», — хотел сказать Курдюмов, но не сказал. Он еще раз осмотрел степь, прикинул в уме генеральный план. Знакомый Четвертый квартал, освещенный солнцем, казался обжитым, хоть людей отсюда увидеть нельзя было. А за Четвертым кварталом темнела густая роща.

— Индостан, что ли? — спросил Николай Павлович.

— Индостан, — кивнул Лыков.

Курдюмов неожиданно взял Лыкова под руку:

— Глина была. Пустота. А теперь смотрите — сад! Когда-нибудь весь Новый будет такой!

— Будет, — согласился Лыков, — будет. Когда деревья дорастут до шестнадцатых этажей.

4

За неделю Курдюмов обжился, как мог. Контейнер с имуществом разгружал Миша. Он же и расставлял мебель.

Мебель была некомплектная, как бы временная, служащая в ожидании приличного обзаведения. Двигая красный, киевской работы, сервант, Миша советовал заменить его стенкой — хорошие теперь стенки делают и наши и импортные.

Курдюмов первым делом попросил наладить кабинет и теперь сидел за старым желтым письменным столом, разбираясь в наспех упакованных бумагах. Стенка стенкой, а стол этот он никак менять не собирается — привык.

Помогали Мише гаражные молодцы. Особенно суетился рыжий шофер из местных. Николай Павлович выделил его сразу из всех по масти, по шерботому зубу, по веснушкам — каждая с копейку.

Разбираясь с бумагами, Николай Павлович ловил себя на том, что слушает сквозь приоткрытую дверь болтовню этого рыжего:

— Обстановки человеку не надо никакой! Человеку пространство надо! Человеку надо мир видеть, а не на обстановку смотреть!

— Ладно, кончай... Держи... Ножку вставим...

— Надо ее на казеин...

— На восемьдесят восемь...

— Не... Надо нарезать, чтоб ввинчивалась...

— Ну...

Рыжий почему-то понравился Николаю Павловичу. Должно быть, Пятницу кормили его рыбой.

Кот сидел на гнущем стуле и задумчиво смотрел поверх головы Курдюмова в чистое небо за окном.

Рыжий философствовал, остальные двигали мебель молча. Миша иногда вставлял свое «кончай», намекая, что начальство — дома, слышит трепотню и неизвестно, нравится ли она Николаю Павловичу.

В эти дни Курдюмов ездил с Лыковым: в управлении не сидели. Ездили в порт, на железнодорожный узел, в обком, дважды были в новостроевских штабах, слушали речи товарища Кочанова. По дороге Лыков внушал: никаких отклонений от проекта, стоять насмерть, не принимать недоделок, пусть работают, как следует, черт их задери!

А как это — как следует? Ах, Дмитрий Ярославич...

Сегодня прилетает Нина.

Николай Павлович услышал в окно лыковскую машину, встал, сказал Мише, выходя:

— Жаль, не смогу встретить. Цветы бы, что ли. Ты вот что. Переоденься. Бабочку нацепи. Я — на весь день.

— Понял вас, — кивнул Миша, — не волнуйтесь.

Глава вторая

1

В город Новый (так теперь назывались Пески) можно было попасть по воде, по земле и по воздуху.

Водой нужно было плыть до пристани Усть-Пески, где в большую реку впадала маленькая, вертлявая речонка Ненаглядная.

Речонка эта вызывала сладкое томление, как будто принадлежала она лично тому, кто на нее смотрел, — своей тишиною; умиротворенностью, мягкой жалостью, от которой плавится душа и тело. Текла она во влажном полумраке тальника, сдвинувшихся верб и редко замерзала — разве что в сильные морозы. Можно было сидеть над этой речонкой часами, смотреть без смысла в зеленоватую ее сущность, которая плывет и плывет, не останавливаясь и не возвращаясь. Она напоминала жизнь всякого, кто в нее смотрел. Разные были люди, и разные были жизни, но речонка Ненаглядная никогда не путала и дарила счастье не всему гамузу, а лишь каждому по отдельности, тайно, тихо, томливо, как бы с глазу на глаз.

Пристань Усть-Пески в последнее время, разумеется, насытилась новыми кранами, новыми причалами, и стали к ней швартоваться громадные баржи с грузами для комбината. Отсюда по свежей бетонке сорок два километра рычали грузовики до самого города Нового.

Можно было попасть в этот город и поездом.

Железная дорога проходила тоже не близко — тридцать шесть километров. С маленькой станции Ненаглядная, на которой прежде ни один поезд не стоял больше минуты, тянули теперь в будущий город ветку, и степная эта станция трещала от грузов, тормозила движение, грохотала освобождающимся порожняком. Старое грейдерное шоссе улучшенного типа петляло по степи, то приближаясь к строящейся ветке, то отползая от нее, но сразу видно было, что шоссе это перспектив не имеет, потому что вдоль ветки, дважды пересекая ее уже готовыми виадуками, через степь, через бугры и распадки проламывалась невиданная магистраль с бордюром, разделяющим четыре автомобильные полосы в одну сторону, четыре — в другую.

А пока по старенькому шоссе тряслись автобусы и приспособленные для перевозки людей пятитонки, доставляя на новостройку прибывающих строителей.

Строители приезжали шумно, весело кидали в кузов рюкзаки, чемоданы, лезли через борты пятитонок, рассаживались на струганых лавках, иные торчали, не садясь (что не полагалось), держались друг за друга, смеялись, запевали песни слаженно, будто заранее репетировали. Дорога от станции Ненаглядная до города Нового брыкалась, вырывалась из-под колес, наклоня кузова — вот-вот вывернутся. Радостный женский визг, будто кто шекотал или еще чего, взлетал птичьей стаей на уклонах, на поворотах, стихал нехотя и снова вспархивал над грузовиками, как над качелями Парка культуры. Дорога подбрасывала, дубасила, мяла каждого — и кто сидел и кто стоял, держась как бы сам за себя, чтоб не свалиться, а весело и беззаботно было всем. Дорога вилась по пустой степи, и не было в степи этой ничего такого, за что бы зацепиться глазом, ничего, кроме опор электропередач (кто их не видал?), кроме вздыбленной под котлованы глины (кому внове?), кроме железных кранов, похожих, как известно, на степных журавлей. Но песня неслась над пятитонками, неслась сама по себе, отделенная от всего на свете, держащая в самой себе и смех, и радость, и женский счастливый визг...

А можно было попасть в город Новый самолетом, поглядывая в круглое окошко.

Небо синело за иллюминаторами неподвижно, несдвигаемо. Внизу, прикрытая желтеньким туманом, угадывалась земля, не чернозем, не суглинок, а вообще — земля, на которую садятся воздушные лайнеры. Где-то там, в желтеньком тумане — сто километров дальше, сто километров ближе — какая разница для самолета — лежала бетонная приземная полоса со следами тормозящей резины. Иногда проплывут под крылом неплотные облачка, легко качнут всех сразу, весь салон, а каждому кажется, что лишь его одного, потому что человек в самолете летит сам по себе, летит один, в пассажирской тесноте, в ровном процедурном гуле. И все, что предназначено всему самолету, предназначено лишь ему одному.

2

Весеннее степное солнце испаряло влагу, и над серым, еще не ожившим полем струилось прозрачное марево. Марево это колыхалось над жухлыми листьями прошлогодней травы, над буйно заросшей почвой, парило над бетонной взлетной полосой и плыло в безветренном воздухе вдаль, загустевая, теряя прозрачность, упираясь сизым краем в молодое, синее, холодное небо.

Небольшой аэровокзальчик о двух этажах стоял на краю поля приземисто, уютно. Стены его, покрытые шершавой бетонной шубой, закруглялись на углах, отчего был он похож на дувал. Окна, прорезанные во всю толщину стены, чисто синели широкими стеклами без рам, без переплетов, как квадраты все того же холодного неба.

Стекланный коридор выходил из строения вперед шагов на пятьдесят, на небольшую площадь, мощенную бетонными шестигранниками. Над строением, на крепких стальных консолях держались немалые буквы Н-О-В-Ы-Й, а под ними во всю длину здания — буквы поменьше и полегче: «Добро пожаловать! Комбинат ждет!» Ночью все эти буквы вспыхивали красным и зеленым и видны были с самолетной высоты далеко, километров за десять. Впрочем, пока еще ночных приземлений в Новом не было, самолеты опускались по четным числам в семь часов утра и в десять взлетали.

Миша ждал на скамейке — планка красная, желтая, синяя и снова красная. Скамейка стояла у самого выхода из стекланный коридора, упираясь чугунными львиными лапами в стык двух шестигранников. Из стыка, из черной земли лезла бледная живая травинка. Самолет опаздывал. Миша терпеливо курил, изредка посматривая вдаль, в фиолетовую густоту плывущего марева.

На скамейке лежал прозрачный мешочек, из которого свесились белые с желтеньким кружком нарциссы. Больше Миша ничего не смог добыть в оранжерее колхоза «Партизан». Миша сидел так, будто цветы эти не имели к нему никакого отношения.

Большая, как стог сена, голенастая дежурная в короткой синей юбке, в тесном аэрофлотском кителе, затянутом золотыми пуговицами, в твердом беретике, пришпиленном к вздыбленной соломенной прическе, подошла к Мише, сказала басовито, стараясь не смотреть на букетик:

— На летном поле не курить...

— Ладно тебе, — ответил Миша, — сколько еще ждать?

— Бабочка у тебя, как у Муслима Магомаева, — навязывалась на разговор дежурная, — исполни мне что-нибудь.

И села рядом.

— Сейчас прокашляюсь — исполню. Сколько ждать?

— В воздухе. Кого ждешь?

Миша посмотрел на ее прическу:

— Доронину.

— Не нравится мне Доронина. Все про любовь, про любовь...

- Ты давай иди... Может, он посадку просит.
- Жену ждешь? — посмотрела все-таки на цветы.
- Внучку.

Дежурная поднялась, постояла над Мишей, загородив аэродром, и неожиданно дернула за козырек его кепку:

- Эх ты...
- Давай, давай,— поправил кепку Миша,— работай.

3

Белая курдюмовская «Волга» катилась по новому маслянистому асфальту не быстро, но уверенно, по-хозяйски. Миша сидел вальяжно, как и полагается вечному персональному шоферу. Сидел, откинувшись на спинку, голова чуть-чуть набок, тремя пальцами левой руки небрежно зацепил снизу баранку, правой рукой мял сигарету, будто думал, курить — не курить...

Нина Ивановна смотрела вперед исподлобья, уткнувшись носом в козий воротничок, держа на коленях весенние цветы. Круглая, поблескивающая искристым мехом шапочка была подперта с затылка пучком, в который Нина Ивановна закручивала желтую косу.

Миша изредка поглядывал на хозяйкин профиль. Носик у Нины Ивановны был небольшой, вздернутый по-молодому, лицо же все-таки в морщинках, особенно под глазами.

Шоссе с аэродрома (закончили до Курдюмова) проложено было напрямик, прямой линией, через подъем вниз, в распадок и снова на бугор. Оно тянулось по голой степи без дорожных знаков, без указателей к дальнему подъему, на котором издали виднелся высокий шпиль вроде памятника.

Ехали молча.

Миша доложил, что контейнер прибыл, вещи расставлены, хотел было развлечь по дороге мелочами, но воздержался: Нина Ивановна была молчалива, должно быть, заскучала, что Курдюмова нет. Села в машину и даже не посмотрела, что машина новая, еще пахнувшая чистым заводским маслом.

Серый прошлогодний бурьян тянулся вдоль шоссе, отделяя его от темно-коричневых свежеспаханных пространств, над которыми прозрачно клубились черные птичьи стаи. Какие это были птицы, увидеть нельзя было. Стаи клубились то плотно, то слегка растворяясь в холодном голубом небе, как будто птицы были связаны невидимо и не отпускали друга друга. Они взлетали вместе, вместе садились и вместе перемещались над ровной, бескрайней, словно сотканной из старой мешковины землей.

— Колхоз «Партизан»,— объявил Миша.

Нина Ивановна еще раз осмотрела поля, подумала и спросила:

— А что это за птицы?

— Перепела! — сказал Миша.

Нина Ивановна вытянула голову из воротника — смотреть.

— Откуда ты знаешь, что перепела?

— Ну галки,— ответил шофер.

Первый дорожный знак извещал габаритную высоту — пять и пять десятых метра. И сразу над шоссе потянулись с опоры на опору три провисших под собственной тяжестью троса. Мачты уходили вдаль, в сторону от дороги. Они стояли по струнке, раздвоенные кверху, к перекладине, с черными бубличными связками изоляторов — две с краю и одна посередине. Видно их было далеко. На ближнем пролете тросов, одна к одной, как нанизанные, плотно сидели небольшие черные птицы и, должно быть, отдыхали.

За окном тянулось черное поле впритык к дороге. Миша переменял

руки на баранке, прикрутил окно: из степи в машину пахло кислым зловонием.

Нина Ивановна скривилась:

— Гадость какая...

— Колхоз «Партизан», — пояснил Миша, — удобрения.

Нина Ивановна приподняла воротник к носу — дышать через ткань.

— С непривычки! — подбодрил ее шофер. — Ничего! Зато город будет замечательный!

Приблизился видный издали шпиль. У подножия были нагромождены бетонные шары, кубы, параллелепипеды.

— Памятник? — спросила Нина Ивановна.

— Начало города.

— Приехали?

— Нет. Еще восемь километров. Строить и строить...

Шпиль проплыл мимо. Нина Ивановна рассмотрела его.

Дорога снова поднялась, и вдали, за следующим подъемом, сквозь желтоватое марево проступили далекие коробки домов. Они то лежали плоско, то стояли торчком. Город возник вдруг, как вылупился из марева, из ничего. Нина Ивановна посмотрела на Мишу одобрительно, будто хотела похвалить его. Но ничего сказать не успела.

Под бетонный мостик вползала из-за холмика густо заросшая бабочка, вынырнула с другой стороны и пошла петлять дальше в степь.

— Речка? — спросила Нина Ивановна и обернулась, провожая взглядом речонку.

— Называется Ненаглядная, — пояснил Миша.

— Ненаглядная? — вспомнила Нина Ивановна. — Так она ведь должна быть дальше...

Миша помолчал с полкилометра и сказал:

— Она тут везде петляет.

4

Нина Ивановна вошла в квартиру — в новое свое жилище и вдруг подумала, что жилище это — седьмое по счету. Семь раз они с Николаем переезжали, а начали отсюда. Помнила, что жили где-то здесь в маленькой комнатухе со столиком из ящиков, а на столике — керогаз. Влажный запах испаряющегося керосина остался в памяти и еще черная, жирная копоть на рубашках Николая. Рубашки плохо отстирывались, а ей всегда хотелось, чтобы муж был при галстукке.

Не раздеваясь (была в колушке с козьей оторочкой), Нина Ивановна нерешительно, как по чужому, прошла по лакированному паркету, увидела старый письменный стол в первой комнате. Сквозь открытую дверь из другой комнаты выставил полированный бок родной сервант.

Комната была большая, мебели на нее не хватало. Сервант этот, тахта, шесть книжных полок — одна на другой и круглый несуразный обеденный стол. Нина Ивановна подошла к столу, положила цветы, погладила его — полировка давно пропала, пальцы ощущали пупырышки. Пупырышки эти были знакомы. И оттого, что были они знакомы, сердце почему-то замерло. Нина Ивановна опустилась на незнакомый стул, обитый красным искусственным сафьяном, и заплакала.

Она плакала, привалясь к старому своему столу, сжимая ладонями лоб. Она плакала, удивляясь, что плачет. Удивление не успокаивало ее. Нина Ивановна плакала сладко, вздыхала, набирая воздух, и осторожно выдыхала все тем же неизбывным плачем. Она не могла понять, откуда это наваждение, убеждала себя, что нужно радоваться, что она — дома, что скоро придет Алеша, но каждый этот довод только добавлял плача.

Наконец она заставила себя подняться с незнакомого стула, подо-

шла к балкону, достала платочек, пахнувший знакомыми духами, и запах этот почему-то успокоил ее.

Нина Ивановна не узнала управление комбината. Стена подземного перехода привлекла ее внимание яркими плитками. Нина Ивановна наклоняла голову, всматриваясь, пытаясь попасть в смысл орнамента. Но не орнамент будоражил ее воображение, а будущая трасса, отмеченная пока только первыми плитами бетона. Трасса эта возникла во взоре Нины Ивановны целиком — заасфальтированная, с деревьями по краям. Деревья воображались пышными, как зеленые шары на черных стволах, выбеленных до половины известкой. Стволы поднимались из чугунных решеток. Нина Ивановна улыбнулась своей фантазии.

И шары и решетки — все это, конечно, с проектных ватманов, все это было выучено, как стихи, когда достаточно напомнить первую строчку, чтобы все стихотворение отчетливо вспыхнуло в памяти. Первая строчка громоздилась за окном. Будет город! «Будет-будет-будет», — подумала Нина Ивановна и вовсе повеселела.

Здание с буквами на крыше было знакомо и незнакомо. Нина Ивановна прикрыла глаза, пытаясь представить, как здесь было тогда. Нет, представить трудно. Нужно выйти, осмотреться. Если это Четвертый квартал, как объяснил Миша, значит, недалеко должна быть «Бригантина»...

И вдруг она почувствовала, что не одна в комнате.

Нина Ивановна обернулась. Перед нею стоял кот Пятница.

— Это еще что такое? — удивилась Нина Ивановна. — Ты откуда взялся? А ну — брысь отсюда!

Кот не понял и продолжал смотреть на нее большими голубыми глазами, выжидательно поводя коротким черным хвостом. Кот не вызывал у нее симпатии. Когда же он успел влезть? Наверно, когда Миша перетаскивал чемоданы. Дверь была, кажется, открытой. Должно быть, кот был соседский. Ладно, пусть побудет, пока спохватятся.

Зазвонил телефон.

Нина Ивановна пошла на звук. Телефон стоял на письменном столе Николая в первой комнате.

Нина Ивановна взяла трубку:

— Алло?

— Нина Ивановна, Миша беспокоит. Забыл сказать — там в холодильнике рыба для кота.

— А почему здесь кот? — строго спросила Нина Ивановна.

— Так это ващ кот.

— Наш? Что ты выдумываешь? Урод какой-то...

— Николай Павлович одобряет, — мягко возразил Миша, — сямский...

Нина Ивановна поморщилась:

— Это же вонь какая будет...

— Нет, — заторопился Миша, — он чистый. Он в туалет ходит! Вы туалет не закрывайте... — И, подумав, добавил как самый веский довод в пользу кота: — Нина Ивановна! Мы его назвали Пятница!

Варвара была еще в управлении, когда Курдюмов с Лыковым вернулись. Она дымилась сигареткой, читая книгу. Курдюмов не удивился, но сказал укоризненно:

— Варвара Никитична... Что же вы... Домой пора.

И прошел в кабинет.

Лампы дневного света зажглись нехотя, холодно, неуютно.

Варвара вошла вслед за Курдюмовым. В руках у нее была красная папка все того же мебельного сафьяна. Курдюмов знал, что на папке этой выдвигался золотой шпиль Петропавловской крепости. Ленинград.

Ленинград — это Варвара. Это осталось прочно в памяти с того дня, когда Вельяминов посылал Курдюмова за документацией. Как давно это было! Еще на Терпуге...

— Свозите меня в Ленинград, — сказала тогда Варвара Курдюмову.

— Как это — свозите? — спросил Курдюмов, почувствовав от этой просьбы произвольный лишний стучок сердца, — что вы — чемодан, что ли?

Варвара тихо рассмеялась:

— Я пошутила...

Больше она никогда не шутила, как будто никакого разговора не было. Курдюмов и сам хотел, чтобы не было. А может быть, не хотел? Память охотнее всего держит то, чего не должно было быть...

Ленинград — это Варвара. Кажется, ее вывели из блокады умирающей и спасли чудом. Было ей тогда лет семь. Курдюмов знал об этом, но не от нее. Она никогда об этом не рассказывала. А Курдюмов знал и не представлял ее маленькой, хиленькой, совсем не похожей на неудыбчивую Варвару. Она веселилась глазами, и молчала глазами, и глазами разговаривала. Вельяминов осекался при ней, как пацан. Варвара тяготила своим присутствием.

— Убери свою Клеопатру, — сквозь зубы требовали высокие гости перед тем, как обрушить громы и молнии.

— Вещь в себе, — сказал про нее Володя Свиридов, — это из нее прет ленинградство.

Что такое ленинградство, объяснить было нельзя, но Курдюмов почувствовал, что Володя попал в точку.

Запас ленинградства оказался в Варваре прочным, неисчерпаемым, как в хорошем месторождении, которое сколько ни корежь сверхскоростными методами разработки, а все-таки что-то еще остается.

Варвара была невелика ростом, затянутая в серое платье, как в мундир. Белый воротник с отворотами и белые пуговицы в два ряда обведены были черным кантиком, как тушью по вафману. Курдюмов вдруг подумал, что Варвара начинает сесть.

Посмотрел мельком, как заверил. Черные Варварины волосы были взбиты кверху, отчего шея казалась немного длиннее.

Варвара протянула папку:

— Николай Павлович, тут еще письмо. Личное. Я не вскрывала.

— Садитесь, Варвара Никитична...

Он принял папку, раскрыл, письмо лежало сверху.

Варвара присела на красный стул торчком, елжив пальцы на коленях.

Курдюмов вскрыл письмо, сунув под недоклеенный клапан конверта карандаш. Письмо было напечатано на машинке.

«Уважаемый Николай Павлович!

Когда мы узнали, что Партия и Правительство доверили Вам замечательный комбинат, красу и гордость отечественного машиностроения, мы приветствуем и поздравляем Вас как старые ветераны! Директор комбината — это высокое звание, и мы давно знали, что Вы так вырастаете, и вот Вы выросли. Наша трудовая дружба не стареет, а наоборот, крепнет и закаляется в борьбе!»

Курдюмов дошел до этого места и почувствовал, что устал. Он досадливо осмотрел письмо, но видел только буквы, в смысл которых уже не хотел вникать. «Все — лишнее», — подумал Курдюмов, снова посмотрел на письмо, увидел подпись, но не росчерк, а в скобочках, на машинке:

— Пиунов. Ладно. Я Нине Ивановне покажу.

И — странное дело — слова про жену отгородили Курдюмова, принесли облегчение.

Варвара сидела торчком, не шевелясь.

Курдюмов поднялся, Варвара тоже поднялась.

— Прямо мне неловко, — пробормотал он, — впредь давайте все-таки уходите вовремя. Не ждите.

— Миша привез Нину Ивановну.

— Да? Прекрасно! — сказал Курдюмов и почувствовал, что сказал веселее, чем хотел.

Он вышел, прошел по темным мосткам к нелепому переходу, миновал его, поднялся к себе, открыл дверь, зажег свет в передней и в рассеянном полумраке увидел Нину Ивановну, которая спала на пустом топчане, подобрав ноги под шубейку.

«Устала», — подумал Курдюмов и осторожно опустился на стул смотреть на жену.

6

Из письма Свиридова к Варваре

...Говорят, человек меняется в течение жизни не однажды. Интересно, мог ли бы я, сегодняшний, водиться с собою прежним? Нет, наверно. Что же мешало бы? Возраст? Нет, не возраст. Я жил от прозрения к прозрению, и каждое было истиной, и всякая новая истина сокращала предыдущую, и новый я уходил от меня прежнего.

Как же мы могли бы водиться?..

За двадцать пять лет «Бригантина» почернела, брусья сделались как пропитанные шпалы. Кораблик над дверью исчез, дверь вставили новую, типовую, да и самое заведение называлось теперь иначе — «буфет от столовой номер шесть». Не было внутри ни тяжелых (из пятерки) столов, ни табуретов, а находился прилавок-холодильник, и стояли легонькие пластмассовые столики на жидких трубчатых ножках.

Толстая, молодая буфетчица в халате стояла за прилавком скучно. С красного свекольного лица ее отчужденно смотрели маленькие глаза.

Нина Ивановна осмотрела бывшую «Бригантину», почувствовала резкую обиду, но превозмогла себя: не хотелось огорчаться при этой буфетчице. Сколько ей лет, этой толстой девахе? Должно быть, ее и на свете еще не было, когда складывали кафе.

— А где корабль? — спросила Нина Ивановна.

Буфетчица первым делом оглядела шубейку, насторожилась, облизнув толстые крашенные губы:

— Какой корабль?

— Над дверью корабль висел...

— Не знаю. Может, и висел.

Равнодушие буфетчицы раздосадовало Нину Ивановну:

— Вы давно здесь работаете?

— А вам зачем? — начала буфетчица, но все же ответила: — Три года уже.

— И ты не помнишь, тут корабль был, бригантина.

— Не помню. Не видала.

Переход на «ты» расположил буфетчицу, она подобрела, присмотрелась к этой пожилой женщине, подумала, спросила:

— А вы тут жили?

Нина Ивановна вздохнула:

— Я строила.

Теперь буфетчица осмотрела потолок, стены, будто впервые видит, хотя за три года и надоел ей этот буфет, хоть не гляди. Потолок был

дошатый, доски прогнулись, из щелей лезла старая пакля, в углах, скрепляя брусья, торчали, как паучьи ноги, тяжелые ржавые скобы. Буфетчица пожалела Нину Ивановну:

— Ремонт был. Тут бытовка была.

— А где эта ваша столовая номер шесть?

— На Четвертом квартале.

— А у тебя тут народ бывает?

Буфетчица насторожилась:

— У директора спрашивайте. Я ничего не знаю.

— Как это ты не знаешь? Работаешь и не знаешь?

— Мое дело маленькое.

— Ну кто к тебе приходит?

— А я почему знаю? Документы не спрашиваю.

— А сухое вино у тебя есть?

Буфетчица посмотрела в глаза Нины Ивановны пристально, понимающе:

— С одиннадцати часов. А сейчас пока только десять!

Сказала и позлорадствовала маленькими глазками: «ну что, купила? Вино. Я тебе покажу вино!»

— А вода минеральная? — спросила Нина Ивановна.

Буфетчица усмехнулась:

— Не подвезли.

— А как тебя зовут?

— Чего зовут? Ну Света меня зовут. А жалобная книга — в столовой, у директора.

— Не нужна мне твоя жалобная книга.

Нина Ивановна еще раз оглядела помещение и почувствовала, что тянет ее не на обиду, а совсем на другое — немедленно отобрать у этой дурацкой столовой номер шесть развалившуюся постройку и сделать ее тем, чем она была с самого начала, — уютной, теплой, живой «Бригантиной».

Нина Ивановна вышла, подошла к балочке и увидела за нею красные, зеленые, черные крыши немалого поселка. Мартовские деревья, увешанные грачиными гнездами, вознеслись над крышами. Грачи кричали деловито, как на субботнике.

Память вспыхнула неуверенной радостью: Индостан! Нет, не похож. Вернуться спросить у буфетчицы? Да ну ее... Конечно, Индостан, что же еще?

И вспомнила Машу Пиунову, маленькую, веселую (чечетку плясала, расставив руки, задрав голову, в пальцах платочек). Пиуновы тогда остались, не поехали. Маша плакала, прощаясь, а Степан гудел, отворачиваясь: «Чего мотаться? Везде дело найдется». Нина Ивановна осуждала Пиуновых, даже не написала им с Севхима.

Деревянные мостки, подвешенные к тросам, висели над балочкой. Сердце Нины Ивановны застучало нетерпением.

Поселок казался чужим.

Дом Пиуновых оброс плющом, заматерел, вдавился в землю, будто отяжелел от годов. Кирпичная кладка (жженого кирпича) проглядывала сквозь безлистые прутья густого плюща. А где окна, прутья были аккуратно подстрижены. Стекла сияли голубоватой чистотой.

Плотный забор, калитка, высокие ворота с козырьком крашены были красным суриком. Справа от калитки на столбе, довольно высоко помещалась кнопка звонка, прикрытая жестяной шляпкой. А над шляпкой белела небольшая эмалированная таблица: «Помещение отлично содержания».

Нина Ивановна вспомнила, что Пиуновы всегда были аккуратны.

ми, медленно подняла руку (звонить или не звонить), нажала кнопку и стала ждать.

За забором мягко кляцнула щеколда, кто-то возился с той стороны. Калитка отворялась внутрь.

Перед Ниной Ивановной появился большой тяжелый старик в вязаной синей шапочке и в синем спортивном ватнике. Из-под шапочки белели седые виски, особенно белые на плотном, кирпичном, крупном лице. Брови старика были черные, нависшие, нос большой, толстый, а под носом седые усы. Он стоял в открытой калитке, держа ее за торец пухлой красноватой ладонью и невесело смотрел на Нину Ивановну.

— Извините,— смутилась Нина Ивановна.— Здесь жили Пиуновы. Степан Федорович и Маша...

— Ниночка,— вдруг сказал старик тихо, жалобно, как от тупой боли, от которой не кричат, а только стонут,— Ниночка...

Голос его вмиг отбросил и седину и усы, Нина Ивановна шагнула к нему, зацепилась руками за его жесткие плечи и придавилась лицом к твердой его груди. Старик отпустил калитку, обхватил Нину Ивановну большими руками:

— Ниночка...— И шмыгнул здоровенным носом, втягивая слезу.— Ниночка,— бормотал старик,— неужели не узнала?

Нина Ивановна отстранилась, улыбнулась, вытирая платочком глаза.

— Теперь узнаю...

— А я тебя сразу узнал... Ну пойдем, пойдем, Ниночка...

Влажные бетонные квадратики зеленели мохом в стыках. Дорожка — десять шагов — упиралась в крашенное суриком крыльцо, пять ступеней поднимались в открытую дверь застекленной веранды. Старик защелкнул калитку, сказал торопливо:

— Я давно знал, что Николая назначат. Николай теперь — рукой не достать.

— Степа,— совсем повеселела Нина Ивановна,— Николай каким был, таким остался.

— У меня тут пока хлам,— сказал старик.

На веранде громоздилась плетеная мебель, как на складе, стул в стул. На столе, ножками вверх торчали два кресла.

Нина Ивановна ступила в переднюю, обшитую темным деревом, увидела слева вешалку в четыре крюка. На одном крюке висел старый плащ болонья.

— А где Маша? — все так же весело спросила Нина Ивановна.

— Машу я схоронил восемь лет назад,— глухо сказал старик, снимая ватничек,— давай пальто...

Нина Ивановна остановилась, почувствовала, как резко зачастило сердце. Всегда, когда слышала о смерти, сердце испуганно вскидывалось. Она вздохнула:

— Степа, как же так? А мы и не знали...

Маша вмиг заплесала в памяти — молодая, совершенно не подходящая к этому старику. И то, что та Маша никак не подходила к этому Степану, почему-то успокоило Нину Ивановну, отдаляя от смысла слов, которые она услышала.

Хотела спросить — от чего, но только еще раз вздохнула и сняла пальто.

— Один живу,— сказал Пиунов, вешая пальто рядом с плащом,— Федька иногда наезжает. Но редко.

— Федя? — обрадовалась перемене разговора Нина Ивановна.— Ну да! Федя! Он же уже большой! Где он?

— Федька — большой,— понурился Пиунов,— такой лоб...

— Сколько же ему?

— Так тридцать семь.

— Вот это да... Степа! Это ж тебе тогда было тридцать семь!

— Сорок пять мне было тогда,— поправил Пиунов.

Нина Ивановна хотела спросить — сколько же было Маше, однако воздержалась.

— Значит, теперь тебе — страшно сказать...

— Ничего страшного,— с некоторым самодовольством возразил Пиунов,— пока стою на ногах, не падаю.

И улыбнулся.

В большой комнате во всю стену размахнулся до самого окна, сверкая полировкой, темный присадистый шкаф с застекленным вторым этажом. Стекла были кое-где раздвинуты, и из глубины выглядывали тяжелые, металлические кубки, толстые, расписные матрешки, флажки на блестящих палочках. А на отдельной полке стоял пузатый рябенький футляр пишущей машинки.

— Музей у тебя, что ли? — спросила Нина Ивановна.

Старик посмотрел на шкаф:

— Музей не музей. Меня теперь, Ниночка, рукой не достанешь. Я теперь и старожил, и долгожитель, и все такое... Веду работу среди молодежи. И среди ветеранов труда. Группа здоровья у нас. А будут — курсы активного долголетия. Входи — покажу.

В большой комнате лежал толстый тяжелый ковер, красный с голубыми путаными персидскими загогулинами. Нина Ивановна посмотрела на свои сапожки. Пиунов подал ей шлепанцы:

— Переобувайся.

Она присела на деревянный стульчик, стала снимать сапоги. Змейка на голенищах до конца не доходила: полноваты были икры у Нины Ивановны. Пиунов отвернулся. Она, как бы не заметив этого, спросила:

— А ты — здоров?

— Не жалуюсь. Я, Нина, пешком три тысячи километров прошел.

Нина Ивановна задержала сапог на ноге:

— Как?

Пиунов наконец посмотрел на ее ноги, сказал смущенно:

— Решил я, Нина, пройти пешком по родной стране. Получил пенсию и пошел. Еще Маша была жива.

— Как пешком, Степа?

— А так! До Средней Азии дошел!

— Зачем? — Нина Ивановна сняла сапог.

— Как это — зачем? Шел по родной стране. Лекции читал, встречался с молодежью. Газеты писали. Король пешеходов. Хотел до Владивостока дойти, но не пришлось.

— Да почему?

— Да так. Кому-то я поперек стал. Не поняли меня. Критика была, как на тунеядца. Но, говорят, того журналиста сняли. Писать ему запретили.

— Как же ты шел? — Нина Ивановна сунула наконец ноги в шлепанцы.

— Ну как шел... Встречали. Мероприятие немаловажное. Интересовался достижениями и рассказывал. Хотел Федьку сагитировать — отец и сын пешеходы-патриоты. Обсмеял. Они теперь в патриотизме мало что смыслят.

Пиунов сокрушенно махнул рукою. Нина Ивановна даже пожалела его.

Но Пиунов не ждал утешений:

— Пойдем в комнату. Там у меня действительно что музей.

Смежная комната напоминала чулан. Стояло в ней прислоненное к стене колесо высотой в рост, одной спины не хватало — обломок торчал из ступицы потемневшим изломом. Под окном на старинной лавке лежала черная уздечка с позеленевшими медными нашлепками, шаш-

ка — истлевший темляк уже непонятного цвета свисал черной засаленной кисточкой с лавки. Лежали сбитые подковы, бубенцы на сырмятной связке (Нина Ивановна никогда не видела бубенцов, но вмиг узнала) и какое-то небольшое неудобное седло с продольным горбиком. Тяжелые ржавые кольца торчали посерединке — Нина Ивановна даже ноги сжала от воображения: как на нем сидеть?

— А как же верхом, Степа?

Пиунов снисходительно улыбнулся:

— Не седло! Седелка. Запрягать. Видишь: войлоком на коня, а в кольца — чересседельник.

Нина Ивановна почувствовала облегчение.

— С первой тачанки Первой Конной армии, — смиряя гордость произнес Пиунов. — Прошла всю гражданскую и еще на этой послужила. У Кириченки. Вот — колесо! С обозной телеги славного кавалерийского корпуса.

— Степа! — растерялась Нина Ивановна. — Это же бесценные экспонаты!

Пиунов прилично понурился:

— Собираю помалу. Шашка вот пока еще неясная: то ли деникинская, то ли наша. Я думаю, отбита в рукопашной у какого-нибудь беляка... Надо установить, кто отбил.

Нина Ивановна посмотрела на исцарапанную прорванную кожу ножен.

— Разное, — любовался своим добром Пиунов. — Утварь, рогачи... Иконы... Пищаль была — Федька ограбил. Многое он увез. Как сделать, чтоб дети не грабили? Был у меня Микола. Угодник. Говорили, с киота куренного атамана. Увез. Я говорю — берегу для родины. Смеется. Говорит — для дела берет.

— А кто он у тебя?

— Кончил строительный. Старые постройки восстанавливает...

— Так, может быть, он действительно для дела?

— Мне от того не легче. Я собирал, а он — за здорово живешь...

— Степа! — с деловитой строгостью сказала Нина Ивановна. — Давай прямо! Что тебе нужно, говори, комбинат поможет!

— Видишь, как тут все. Стеллажи надо, крышу... Плитку хотел переложить, мало ли, народ начнет ходить — неудобно. Конечно, дом отличного содержания. Да мало как, если музей. И чтоб Федька не грабил.

Нина Ивановна почувствовала дело:

— Слушай, Степан! Ты напиши Николаю письмо!

Пиунов посмотрел на нее пристально:

— Вообще-то я ему написал. Поприветствовал. Думал, ты знаешь.

— Я же еще толком не говорила с ним, Степа! Я думаю, он поймет тебя правильно. Музей! Конечно, это замечательная мысль! А Федя женился?

— Да нет. Скачет, как козел.

— А Алеша женился! — звонко объявила Нина Ивановна.

— Какой Алеша? Твой пацанчик? Вот этот Алешка? — Пиунов поднял указательный палец, отмерив половину его большим. — Вот эта фи-тюлька? Ну Нина! Что делается?

— Положим, он уже не такой маленький, — счастливо засмеялась Нина Ивановна и, вытянув донельзя руки к потолку, добавила: — Он вот такой! Даже выше!

Вместе с руками в плотных рукавах поднялась кверху вся ее полневшая комплекция.

— Ну и что за девка? — спросил Пиунов.

— Не знаю, — пожала круглым плечом Нина Ивановна, — сам знаешь, как они теперь — не спрашивают.

— Теперь они да-а-а... Нина! А ты ведь еще молодая!

— И ты — я смотрю — молодец!

— Я-то что, — вздохнул Пиунов, — я мужик. А вы, женщины, быстро живете. Много у вас там такого. Всякого.

И слабо махнул рукою, как отмахнулся.

Нина Ивановна собралась было возразить, что по статистике женщины живут дольше мужчин, но вместо этого спросила:

— А Маша? Долго болела? От чего она?

— Все от того же, — насупился Пиунов, — все от того же, Ниночка. Да что говорить? Опустел я без нее. И ругались, и мирились, и все такое, а сейчас будто ничего и не было. Вон — тапки ее на тебе. И все.

Нина Ивановна посмотрела на шлепанцы повлажневшими глазами, горло затвердело.

— Ладно, — сказал Пиунов, — будем жить дальше. Значит, Алешка семейный? Вот тебе и жизнь, а, Нина?

7

Из письма Свиридова к Варваре

Варенька! Мы ведь строим свои гипотезы из того материала, которым располагаем. Модель наступающего дня есть всего-навсего день сегодняшний, из которого вычеркнуты досадные неудобства. Будущее прекрасно просто тем, что в нем мы пока еще ничего не намудрили...

Нина Ивановна проснулась счастливая, даже удивленная. Посмотрела в рассветной темноте на мужа — спал, подложив ладонь под ухо. Улыбнулась трепетно — хотела мазнуть Николая Павловича носом по щеке, как маленького Алешку, но почему-то застеснялась, как будто это был, действительно, не муж, а сын. Встала тихонечко (спала с краю) и — на кухню.

Розовая улыбка не сходила с ее лица. Вчерашний вечер был какой-то шальной, сумасшедший. Николай не слушал, как будто сто лет не выделись. Нина Ивановна приговаривала с радостным изумлением: «Ты с ума сошел». Вот что значит расставить, наконец, мебель и начать все сначала.

Нина Ивановна не любила возиться на кухне, но сейчас ринулась к кастрюльке с великой охотой, с какой-то бабьей благодарностью.

Курдюмов уже поднялся. Смотрел в окно на огромную бетонную плиту, прикрывшую переход. Никакая незавершенка не раздражала его, как эта. Будто нарочно под самый нос положили. «Николай Павлович, вы же сами были строителем». Чертов Лыков ехидно сверкал очками в его воображении.

А Нина Ивановна говорила на кухне горячо, увлеченно. Курдюмов не слушал и вдруг разобрал:

— И они все должны быть здесь!

— Кто? — без интереса спросил Курдюмов.

— Все наши! — крикнула Нина.

— Какие наши?

— Все, кто с тобой работал, Николай!

— Многие со мной работали.

Курдюмов не придавал значения радостной Нининой речи.

— Неужели ты думаешь, что наши друзья, которые работали с тобой рука об руку, не явятся к тебе по первому зову? Неужели они не пойдут на комбинат, в Новострой.

Курдюмов вздохнул. Надо было все-таки отвечать.

— Пойти-то они пойдут, а зачем?

— Как зачем? Ты меня удивляешь!

— Нина,— вздохнул Курдюмов,— там же тоже работа. Как же срывать людей...

— Что ты сравниваешь! — воскликнула Нина Ивановна.— Мы просто обязаны собрать курдюмовскую гвардию!

— Чего Пиунов хочет, не знаешь? — спросил Курдюмов.

Нина Ивановна вышла из кухни — в одной руке нож, в другой картофелина:

— Ты меня удивляешь! Если человек написал письмо, значит, ему что-то надо? Он музей создает!

Курдюмов подошел к жене, поцеловал в неприбранную голову:

— Ну говори. Чего ему надо?

— Ничего ему не надо! — жестко сказала Нина Ивановна.— Он прошел пешком по всей стране! Кто бы на это решился?

— Романтик какой,— улыбнулся Курдюмов.

Нина Ивановна недовольно отступила в кухню, и помолчала, и откликнулась, не скрывая недовольства:

— Что бы было с людьми, если бы не романтика?

Курдюмов подумал, сказал:

— Не знаю. Что-нибудь да было б.

Нина Ивановна не ответила. Станный холодок, который в последнее время стал являться ни с того ни с сего, появился и сейчас. Нина Ивановна думала: от чего бы? Неужели старость? Какая же старость (почувствовала, что розовеет), какая же старость? Все хорошо, все прекрасно, откуда же этот холодок?

Муж возился в ванной долго. Плескала вода, зудела бритва. И вдруг, как спохватился, крикнул, выключив свою «Агидель»:

— Нин! А где кот?

— Не знаю,— откликнулась Нина Ивановна,— его уже два дня нет. Шляется где-то.

— Жаль. Хороший был кот.

— А мне он не понравился,— сказала Нина Ивановна, почувствовав, что холодок прошел,— похож на крысу!

— На обезьяну,— поправил Курдюмов.

Нина Ивановна думала о Пиунове. Конечно, соваться к Николаю с его просьбой теперь уже нельзя. Николай, пожалуй, уважит, но непременно посмеется. И вдруг поняла, откуда холодок! Николай стал насмешлив, а Нина Ивановна не выносила иронии.

Курдюмов сел к столу:

— Ну, рассказывай, какие еще новости. Жаль, кот убежал. Я уж думал — будет председательствовать на твоих пятницах.

— Я была в «Бригантине». Ужас. Кошмар!

— Что? Загадили?

— Не то слово!

— Скажи Лыкову. Звал он в гости. Надо сходить. Не люблю я этих сабантуев.

— Ну почему, Николай? Непременно пойдем!

— Слушай,— поднял голову Курдюмов,— у Пиуновых сын был. Большой уже?

Нина Ивановна выругала себя за эгоизм: все сказала, не сказала только про Машу. И не потому, что не хотела огорчать Николая, а просто забыла.

— Маша умерла,— вздохнула Нина Ивановна.

Курдюмов опустил голову.

— Она будто моложе его была?

Дверной звонок вызвал Нину Ивановну в переднюю. Курдюмов вспомнил Машу Пиунову, и даже как-то легче ему стало от того, что, оказывается, помнил он ее хорошо, ясно. Маленькая Маша в огромных бахилах, в брезентовой куртке катила по мосткам тачку с раствором.

Тачку Курдюмов тоже помнил — железная, из котельного листа, Катилла весело. И еще она пела частушки. А какие, Курдюмов забыл.

— Нина, — позвал Курдюмов, — кто там?

Жена не ответила.

Курдюмов ткнул вилку в картофелину. Картофелина развалилась, серебрясь изломом. И вдруг вспомнил Машину частушку: «Мой миленок иринимал витамины и крахмал». И все почему-то смеялись.

— Людка Погодина нашлась! — возвестила Нина Ивановна.

Глаза ее блестели радостью.

Курдюмов отложил вилку (звякнула о краешек тарелки):

— Мадам Баттерфляй!

Нина Ивановна держала вскрытое письмо:

— Вот слушай: — «...помоталась я за эти десять лет. Была в Находке, потом в Якутии, теперь сижу ответственным секретарем районной газеты. Газетка маленькая, редактор глупенький. Хочу настоящего дела».

— Дочка ее где? — спросил Курдюмов.

— Про дочку не пишет. Наверно, у матери.

— А нога?

— Про ногу тоже не пишет. Как бы она моталась, если бы нога болела.

— Пишет — сидит при глупом редакторе. Не стоит же...

И снова — за вилку.

— Николай! Надо ее вызвать!

Курдюмов поднял голову:

— Зачем?

— Как зачем? Опытная журналистка! Знает строительство! В конце концов, героиня в какой-то мере! В нашу многотиражку!

— Нина, — досадливо поморщился Курдюмов, — квартиру же ей надо.

— Дворец, что ли? Ей и комнаты хватит!

— Она уже будто немолодая. И дочка. Сколько дочке-то ее?

— Наверно, уже лет пятнадцать. Не меньше.

— Видишь. Невеста. Нужна двухкомнатная. Раньше октября не смогу.

— А надо постараться!

— Мадам Баттерфляй, — улыбнулся Курдюмов, — ты не знаешь, где он?

— Кто?

— Ну оператор... Граб.

Глава третья

1

Граб представился Вельяминову, выслушал пожелания, прилично понурился, как умная лошадь. Вельяминов называл имена передовиков производства, почему-то глядя в окно кабинета, будто за окном находился список.

— По вопросам устройства — к Варваре Никитичне, — протянул руку Вельяминов, — желаю успеха. Если что — к Кирееву. По производственным вопросам — к Курдюмову.

Граб передал Варваре письмо от Свиридова. Варвара не утерпела, читала при нем, розовея и тихонечко смеясь счастливым смехом. Вероятно, письмо было смешное. Граб сказал:

— Варь! Мне бы поводыря какого, пока я еще слепой.

Варвара кивнула, сняла трубку, набрала три цифры:

— Люда! Вы на месте? Какое счастье. Можете зайти?

И положила трубку:

— Сейчас будет поводырь.

— Кто?

— Из газеты, Погодина. Но ты не особенно. Там больше восторгов. Погодина явилась вмиг.

На ней был какой-то странный вязаный чепец с помпоном, серая брезентовая потертая куртка, надетая на синий стираный комбинезон, вправленный в резиновые сапоги. Руки она немедленно сунула в карманы расстегнутой куртки:

— Привет!

— Знакомьтесь, Люда,— сказала Варвара,— это Семен Граб, из кинохроники.

— Ходить быстро умеете? — спросила Погодина и, не дожидаясь ответа, резко повернулась, толкнув дверь плечом.

Граб обернулся к Варваре, но Варвара опустила глаза в бумаги.

Не вынимая рук из карманов, Погодина шла преувеличенно быстро. Встречный ветерок раздувал куртку. Высокий чепец с помпоном и распахнутые полы делали Погодину похожей на улетающего мотылька.

Тяжелая камера давила плечо, но Граб не отставал. Они шли по будущей улице вдоль строящегося дома. Парень в каске, задрал голову на свисающую с крана застекленную панель, принимал груз брезентовой рукавицей. Он увидел Погодину, закричал:

— Привет начальству!

— Сколько сегодня? — спросила Погодина.

— Как штык! — ответил парень и снова задрал голову к панели.

Панель качнулась, сверкнув стеклами.

— Куда вы так летите? — не выдержал Граб.

— На огонь! — резко обернулась Погодина.— Устали?

Она посмотрела на Граба участливо.

Граб даже смутился.

— Помочь? — протянула руку к камере Погодина.

Граб улыбнулся:

— Ладно вам...

— Вы давно ее знаете? — неожиданно спросила Погодина, и Граб понял, что спрашивает она о Варваре.

— Давно. Еще с ВГИКа.

— С какого ГИКа?

— С кинематографического...

— Она что,— с каким-то удовлетворенным удивлением спросила Погодина,— в актрисы готовилась?

— Нет,— сказал Граб,— в экономисты. Но картин тогда было мало, а экономистов много. Куда деваться людям, когда некуда деваться?

— На стройку! — повеселела Погодина.

— А вы никогда не хотели быть актрисой?

— Что я — с ума сошла? — округлила глаза Погодина.— Я журналистка, и это меня вполне устраивает. Вам повезло — сегодня у меня есть время. Прежде всего пойдем в библиотеку к Нине Ивановне! Сегодня Пятница, она вас так не выпустит.

Нина Ивановна Курдюмова сообщила Грабу, что ему придется вечером рассказывать о себе: на Терпуге так полагается. Она перечислила поэтов, писателей, режиссеров и артистов, которые непременно выступали с творческим отчетом перед строителями и Севгаза, и нефтехима, и теперь — Терпуга. Тем более Грабу повезло, поскольку такие непринужденные беседы проходят как раз по пятницам.

Граб не знал, зачем ему выступать, и это отразилось на его лице.

Нина Ивановна насупилась, Граб понял, что не понравился ей. Тем не менее она сказала благожелательно;

— Не прощаюсь. Люся будет шефствовать над вами. Не пропадете.

Погодина летала по строительству победно, с каким-то нарочитым вызовом. Она знала всех, и ее знали все, но этого ей было мало. Она, должно быть, поставила перед собою задачу загнать Граба на все леса, пробежать все расстояния и перезнакомить его со всеми встречными. Здоровалась она так, будто сто лет не виделась. Спрашивала о выполнении графиков, придирчиво листала наряды, ругалась за неподвезенную арматуру, яростно колотила резиновым сапогом в корыто с раствором, поздравляла со свадьбой, кричала что-то на верхотуру, неожиданно переходила с гнева на хохот — и все это получалось у нее быстро, на ходу, за которым Граб едва попевал.

Возле обогатительной фабрики Погодина врезалась в бетонщиков, покуривавших на куче щебня. Граб остановился:

— Людмила Васильевна, я тугодум. Мне нужно медленнее.

— У нас такой стиль! — звонко, чтобы парни слышали, заявила Погодина, тряхнув помпоном.

— Стиль Баттерфляй, — добродушно отозвался кто-то, — всю смену раствора ждем!

— Сейчас мы из них душу вытрясем! — радостно объявила Погодина.

— С утра сам Киреев трясет. Садись.

— Товарищ Граб! Подождите! Я сейчас!

И упорхнула.

Граб остался с бетонщиками.

— На «Фитиль» снимать будете? — спросил рослый парень, тыкая окурком в сколок щебня. — Сейчас она им да-а-аст. Правда что — мадам Баттерфляй...

И покрутил голову.

Вечером была Пятница.

В столовой составили столик в два ряда с президиумом литерой «П». Граба посадили за малую перекладину рядом с Варварой.

Пели какую-то песню про Робинзонов, песня была вроде марша. Потом хлопали в ладоши Грабу, который нескладно рассказал, как он ездит по стране и снимает короткие фильмы для кинохроники. На буфетке возле тарелок лежала программка вечера, как меню. «Заменит ли женщина мужчину?», «Техническая революция и нравственность». Темы были ходовые, они мелькали в газетах. Умные статьи тревожили воображение.

Первая тема, как показалось Грабу, веселила собравшихся.

— Итак, — провозгласила Нина Ивановна, — сначала общий вывод: да или нет? Итак, вы!

Несколько женских голосов откликнулись одновременно:

— Заменит!

— Вы?

— Заменит!

Это было похоже на детскую игру.

— Так не годится, — вдруг возразил парень, в котором Граб узнал бетонщика, назвавшего Погодину мадам Баттерфляй, — так не годится! Что вы у женщин спрашиваете? У них ответ однозначный.

— Сейчас доберемся и до мужчин! — воскликнула Нина Ивановна, и все оживились.

— Вопрос поставлен неточно, — сказал молодой человек в подбритой, как наклеенной, шоколадной бородке. Созревшая для озорства публика охотно поддержала:

— Уточняй!

— Поставьте вопрос наоборот: заменит ли мужчина женщину?

— Смотря в чем! — немедленно отозвался неокрепший бас, и замечание его было взбодрено дружным смехом.

— И все-таки поясните свою мысль! — насторожилась Нина Ивановна.

Молодой человек поднялся:

— Заменит ли женщина мужчину? То есть в самом вопросе заложено: мужчина это что-то труднозаменяемое. Следовательно, способна ли женщина заменить труднозаменяемое?

— Казуистика! — вскрикнула маленькая девушка с кудряшками над высоким чистым лобиком.

Погодина сидела в конце стола. На ней была красная куртка. Вя-занный чепец она сняла, и Граб удивился, зачем она прячет пышные волосы, отливающие медью.

Спор вокруг молодого человека в шоколадной бородке вскипел бурно. На него нападали. Он слегка покраснел, отбиваясь:

— Ответить на ваш вопрос положительно, значит, признать, что женщина — тоже человек. Лично я в этом никогда не сомневался!

Граб спросил Варвару:

— Кто это?

— Начальник бетонного завода.

Особенно кипятилась маленькая девушка с кудряшками над высоким чистым лобиком. Синие глаза ее с пушистыми ресницами шурились злорадным азартом.

— Светочка, — отбивался начальник бетонного завода, — я согласен, всем может быть женщина!..

Но девушка не отставала:

— Космонавтом может? Конструктором может? Судьей может?

— Она народный заседатель, — шепнула Грабу Варвара, — Света Зенина.

Начальник бетонного завода увязал в споре:

— Лично я не хотел бы, чтобы меня судила женщина.

— А это вас не спросят! — обрадовалась девушка.

— А я хотел бы, чтобы меня спросили. По крайней мере о том, что касается лично меня.

— Зенина, — весело перебил бетонщик, — а может мужик родить?

— А чего ты его защищаешь? — обернулась девушка. — По его милости ты сидишь без раствора полсмены!

Начальник бетонного завода сел, слабо махнув рукой.

— А я не хочу, — сказал бетонщик, — чтоб моя баба лазила по арматуре.

— Ага! — снова обрадовалась девушка. — Чтобы дома сидела? Да кто за тебя пойдет!

— Она равнодушна к нему, — шепнула Грабу Варвара.

— Женщина, — печально сказал начальник бетонного завода, — не заменит мужчину. И очень хорошо.

Он сказал это грустно, публика уважительно умолкла.

А на углу стола кто-то говорил вполголоса:

— Физики... Физики... Ну и что? Сидят два академика и смеются над домашней хозяйкой, которая не знает, что такое тяжелая вода. Не знает, значит, мешанка!

Граб догадался, что соседи заняты вторым вопросом повестки дня: техническая революция и нравственность.

Граб снимал передовиков, сваривавших арматуру грандиозного цеха обогатительной фабрики. Он устроился на плоской крыше бытовки, свесив ноги и щерясь в свой аппарат.

Передовики сидели на прутьях, как стая черных птиц. Птицы не пели. Они вспыхивали голубыми молниями электросварки. Граб думал о пении лесных птиц, может быть даже соловьев. Сопоставление казалось ему занимательным. Ему захотелось оживить статичный план, на котором ничего не происходило, кроме этих вспышек.

Все было замедленно. Птицы не перепархивали — переползали. Высоченный кран — желтый с красной стрелой — едва-едва плыл вдоль цеха. Граб опускал камеру, давая отдохнуть рукам и ожидая, пока кран немного продвинется, чтобы было заметно, что он не стоит на месте. Граб резко водил камерой, и кран летал резко, будто падал.

— Мадам Баттерфляй летит! — услышал Граб и посмотрел вниз.

Бетонщики сгребали с самосвала раствор.

Погодина выпорхнула из-за бытовки, треща брезентовыми крыльями. Кличка пристала к ней ловко брошенным снежком.

Вчера, на Пятнице, она была молчалива, даже печальна. Сегодня она вновь летала бачочкой. Назавтра намечался воскресник. Погодина готовилась к нему.

Граб слез с бытовки и столкнулся с Погодиной.

— У меня день рождения, приходите сегодня вечером.

Это было неожиданно.

Погодина жила в вагончике на третьей просеке.

Вечером Граб пришел и принес ей карандашик, который ему презентовал Верников, съездивший в Африку.

Дверь и окошки вагончика были затянуты сеткой. На Терпуге сиял прозрачный полярный день, набитый тучами беспощадного комара.

В вагончике на маленьком — с ладонь — столике, накрытом салфеткой, стояла бутылка коньяка и два серебряных наперстка.

На Погодиной было тесное синее платье с желтыми полосками вдоль. Цепочка вокруг узкого перехвата свободно лежала на бедрах.

— А где гости?

— День рождения завтра, вам обязательно нужна компания?

— Нет, конечно.

Погодина улыбнулась:

— Садитесь...

Граб не сажился.

Обычная одежда Погодиной — роба, штаны, сапоги и куртка — делала ее иной. Он понимал, что оделась она для него, и это снова вызвало в нем какую-то странную жалость. В вагончике было тесно. От Погодиной пахло хорошими духами и противокомариной пастой. Упираясь головой в дощатый потолок, Граб стоял за спиной Погодиной.

В тесном вагончике звонко цокал будильник. Притененный лесом солнечный свет сбивал представление о времени.

Граб вздохнул:

— Я не успел вас поздравить...

Погодина обернулась.

— Поздравляйте! — протянула она руку.

Платье у нее было с короткими рукавчиками.

Граб наклонился к ее руке, Погодина рассмеялась и присела к столику:

— Садитесь, наконец!

Возле узкой постели стояло плетеное дачное кресло.

Граб водил вверх-вниз носатым польским ботинком. Круглую союзку отделяла мелкодырчатая полоска. Ботинок износился — толстая подошва под союзкой заметно утончилась.

— Зачем вы меня дразните? — спросила Погодина.

— Как? — удивился Граб.

— Мадам Баттерфляй.

— Это не я, Людмила Васильевна, я сам это услышал. Я думал...
— Уже все называют.

Граб опешил. Мадам Баттерфляй сказала это так искренне и беззащитно, что он почувствовал в себе вину.

— Людмила Васильевна, конечно, это дурацкая шутка.

— А может, это правда. Ладно! Лучше выпьем.

Она налила в серебряные наперстки, протянула наперсток Грабу и, не дожидаясь, выпила.

— Откуда у вас такие рюмочки? — спросил Граб и тоже выпил.

— Подарок. Ухаживал за мной один реставратор. Говорил — из походного сервиса Наполеона. Врал, конечно.

Граб осмотрел наперсток:

— Чернь — кавказская работа. Да и мал для Наполеона.

— Для меня тоже мал. Я из них пью редко, по праздникам. Гостям не подашь — всего два. Давайте...

Она снова налила, но на этот раз потянулась чокаться с Грабом:

— За ваши успехи, Семен Семенович.

— Но прежде всего — за ваши. У вас же день рождения.

— А вы когда родились?

— В ноябре.

— Стрелец, — сказала Погодина.

Из письма Свиридова к Варваре

...Не сомневайся, я высоко ценю твою самостоятельность.

Когда-нибудь человечество будет состоять из одних женщин.

Станут они рыть котлован под Вавилонскую башню, откопают стишки: «Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем».

Прочтут — обидятся. Подумаешь, пизюн! Не хочет печалить!..

Потом еще разок прочтут, еще разок. Вдумаются и вдруг обнаружат, что любовь-то, может быть, еще не совсем угасла! Может быть! Значит, есть еще надежда!

И делается им хорошо, легко и сладко. И воздвигнут они свою Вавилонскую башню на три дня раньше срока.

Нет, я очень ценю твою независимость...

— Стрелец, — сказала Погодина. — Мы с вами не совпадаем...

Она выпила, помолчала и сказала:

— А окрестили меня — точно.

— Уверю вас, Людмила Васильевна...

— Да нет, — печально сказала Погодина, — и мама моя мадам Баттерфляй и я. Неужели и Томочка?

Граб догадался, что Томочка — дочка Погодиной.

— Ваш отец погиб на войне?

— Не знаю, где он погиб. Может быть, еще жив. Я его никогда не видела.

— А кто он был? — спросил Граб, вкладывая в вопрос сочувствие.

— Пинкертон! — с вызовом объявила Погодина.

— «Томочкин отец тоже Пинкертон?» — первое, что влетело в голову Граба и уже чесануло по языку.

— Мама моя была хетагуровка, — тихо сказала Погодина, — приезжайте, девушки, к нам на Дальний Восток. Романтика у нас в крови.

И налила в наперстки.

Граб искал утешительных слов.

— Вы много пьете?

Погодина вмиг напряглась:

— А вам что? Ерунда! Завтра возьму ваш карандаш и полезу к Светке Зениной на верхотуру сочинять беседу с крановщицей! Отмечу день рождения. А вечером будут гости! Придете?

— Конечно. А зачем вам лазить? Все это можно сочинить на земле.

— Вы же лазите?

— Мне снимать нужно.

— А мне ощущать!

«Все это истерика»,— подумал Граб.

— Вы очень осторожны,— глухо произнесла Погодина, и Граб не удивился, что она догадалась, о чем он подумал.

Солнце ломилось в маленькое окошко вагончика. Граб встал:

— Поздно, Людмила Васильевна. Или рано, черт его знает. Всегда путаю время в полярный день.

— А мне нравится!— возразила Погодина.— Необычно! Как в Ленинграде!

— Именно что как. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Семен Семенович. Извините за болтовню.

В бутылке еще оставалось коричневое питье. Граб покосился и подумал, что Погодина непременно допьет одна из своих двух черных стопочек, подаренных реставратором. Обдурил ее реставратор. Погодина перехватила его взгляд:

— Посошок на дорожку?

Кран падал долго, плавно, беззвучно и вдруг дернулся, замкнув тросы электропередачи. Треск замыкаемых фаз рванул кабину, и обе там, наверху, как ожили, закричали. Опора электропередачи сдвинулась с основания, мачта крана уперлась в нее, тросы задержали ее на миг, горя и оплавляя металл. А они кричали страшно, безумно, бесысходно, и крик этот был слышен всем; он превозмогал треск замыкаемого электричества, скрежет слезшей с болтов опоры. Мачта крана согнулась, сдвинула опору и вдруг, неожиданно, не в ту сторону, пошла на цех, давя арматуру. Арматура сопротивлялась, гася тяжесть и скорость, опоры, сваренная с краном, сдерживала падение, волочась за ним, тормозя, и вдруг с силою оторвалась, вмявшись в свежую опалубку. А крик бесконечный, не прерываемый для дыхания, рвался через грохот, и никто внизу будто не слышал грохота — а только крик. Доски подались, расшарились, задымили, опоры застряли в них, а кран, освобожденный от нее, прогнулся в оплавленном месте, ухнул на цех, оборвав страшный крик.

Первым осмыслил присутствие Граба Киреев:

— Уберите его! Уберите оператора! Уберите! Разбейте ему аппарат!

Киреев не кричал — вопил. И оттого, что он вопил, когда ничего нельзя было сделать, когда все уже было поздно, Граб показался инородным, чужим, нездешним, выключенным из общего ужаса. Он держал свою камеру на плече и целился в объектив, ослабившись от напряжения, и это было похоже на злобную улыбку. Лицо его было таким, будто он задумал этот ужас, осуществил его и сейчас любитесь: удалось! Лицо его было таким, что, казалось, убей сейчас Граба, и кран остановится, повиснет в вязком синем холодном небе. А Граб включил рапид, чтобы кран падал медленнее, хотя бы на пленке.

— Брось! — заорал кто-то.— Брось, сука!

Кто-то в ватнике уже вскарабкался на бытовку и кинулся на Граба, сбив его с твердых ног, но Граб, не отрывая глаза от трубки, не оборачиваясь на удар, свалился на колени, продолжая щериться в окуляр.

— Миша! — вдруг очнулся Курдюмов как от сна.— Быстро, Миша! И сам кинулся к бытовке.

А кран уже грохнулся через цех, наколов кабину на арматуру противоположной стены.

Шофер оказался на крыше вмиг, как взлетел. Граб уже не снимал. Он лежал на камере, прикрывая ее собою. Парень в ватнике рванул Граба за плечи, выпрямился и стукнул в бок тяжелым резиновым ботом. Граб охнул, но не сдвинулся.

— Сдурел?! — заорал на парня шофер.

— Миша! — крикнул снизу Курдюмов. — В «бобик»! На аэродром! Чтоб его тут не было!

— Камеры разбей! Камеры! — вопил Киреев.

Парень в ватнике снова примерился ботом, но, ошалело глянув на шофера, вдруг привалился на колени к Грабу:

— Браток, слышишь... Не бойся. Драпай! Давай драпай.

Прижимая неуклюжую камеру (приклад торчал кожаным полумесяцем), Граб повернулся. По серому лицу его текли слезы, синие губы дрожали, он всхлипывал.

— Поехали! — заторопился шофер. — Поехали, слезьте. Можете слезть? Давайте аппарат.

— Не дам, — бормотал Граб, — не дам.

— Кончайте! Поехали! В Москву!

— Разбей! — вопил Киреев.

Курдюмов обернулся и изо всей силы толкнул Киреева в грудь. Киреев упал:

— А-а-а-а...

Но Курдюмов не слышал.

Дрожа, не попадая зубом на зуб и все время оглядываясь на камеру, которую обнимал Миша, Граб слезал, не попадая ногами на планки лестницы. Парень в ватнике держал его за локоть, помогал. Слезы текли по лицу Граба без плача, сами по себе.

Кран этот остался в Курдюмове навсегда. Не похороны крановщицы (звали ее Зенина Светлана), не машины скорые эти помощи (еще двух арматурщиков зацепило, но не сильно), а именно падение крана.

Корреспондентку вытащили из перекрученной кабины, увезли. А кран падал в мозгу неоднократно, поднимался и падал, поднимался и падал, как на киноплёнке, которую можно крутить взад-вперед неоднократно, и всякий раз она повторяет в точности неизбежное.

Граба с тех пор Курдюмов не видел, а видел он потемневшие, припухшие, лютые, будто и не вельяминовские, глаза Вельяминова.

— Та-а-ак, — протянул Вельяминов, значит, ты на своем «козле» выпустил кинооператора в Москву.

— Да.

— Зачем?

— Чтоб не затоптали.

Вельяминов нехорошо раздул ноздри:

— Чтоб не затоптали. Киреева избил тоже, чтоб не затоптали?

— Киреева я не избивал.

— Избивал, — тяжело возразил Вельяминов, — избивал. Но это суд решит, что с тобой делать.

И вдруг высоким свинцовым шепотом:

— Документик на меня послал?!

— Какой документик? — не понял Курдюмов.

— Пленку! Я тебя раскусил, Николай Павлович, я тебя раскусил. Ну и что же ты думаешь? Съел Вельяминова?

Курдюмов смотрел на начальника строительства с изумлением, не веря глазам. Это был осунувшийся, измочаленный, замученный своей злобой старик, постаревший за несколько часов до неузнаваемости. Вельяминов искал виноватого. Он говорил слова куцые, мелкие, как напуганный скорой расправой беззащитный бригадир, а не как бог и царь

строительства. Он кричал, хватаясь за пустяки, мазал грязью, мелочился и все время пил воду из сифона. Резной стакан не держался в тяжелой руке, газировка выплескивалась на пиджак, на стол, лопааясь мелкими пузырьками. А когда вода кончилась, смахнул со столика сифон (как не разбился, должно быть, из-за металлической оправы) и, горланно матерясь, накинулся в переговорник на Варвару.

Варвара вошла в кабинет безбоязненно, посмотрела на Бориса Васильевича печально. Вельяминов опустил большую седую голову и громко прохрипел усталым хрипом:

— Уходите все.

И этот хрип тоже остался в Курдюмове.

Оргвыводы последовали странные: Вельяминова отправили на пенсию, Курдюмова назначили временно исполнять его обязанности.

В тот же день Курдюмову пришлось пережить еще один разговор, который он перенес тогда, испытывая лишь усталость, однако разговор этот тоже застрял в нем и вспыхивал позже, вызывая странное чувство.

Нина Ивановна плакала:

— Как он мог... Как он мог...

— Успокойся, Нина. Я и сам не узнаю его. Жаль старика.

Плач вмиг оставил Нину Ивановну, как выпорхнул из нее:

— Какого старика?

— Так Вельяминова, — удивленно ответил Курдюмов.

— При чем здесь Вельяминов?

— Как это при чем?

— Я говорю об этом операторе! — вскрикнула Нина Ивановна. — Как он мог?

— Что мог? — не понимал Курдюмов. — Миша вернулся?

— Не знаю! Как он мог так спокойно, как чужой, как посторонний, плевать на все, что произошло!

Курдюмов сел, упер локти в стол, приложил к ладоням холодный лоб, закрыл глаза. Небывалое, лютное лицо Вельяминова бесновалось в памяти. Хотел представить себе оператора — не мог, до него ли теперь...

— Это его работа, — тихо сказал Курдюмов.

— Работа?! — вмиг закипела Нина Ивановна. — Гибнут люди, а он радуется? Это его работа?! Почему он не бросился помогать?

— Нина... Как же бросаться? Ты же видела... Что он мог сделать?

— Что?! Волноваться! Переживать! Сердце иметь, а не лягушку!

— Ну волновались, переживали.

— А у него кадрики! — вскрикнула Нина Ивановна. — Кадрики! У людей горе, а у него кадрики! У него сенсация! Как в Голливуде! В Голливуде бы ему — миллион за это! Это же какое нужно иметь презрение к людям: забраться на крышу и спокойненько крутить аппарат!

— Он плакал, — примирительно сказал Курдюмов.

Нина Ивановна будто обрадовалась слову:

— Плакал?! А ты? Спасать его кинулся?

— Киреев бы ему камеру разбил...

— И правильно!

— Что же, этим кран спасли бы? Остановили, что ли? Глупости, Нина. Он работал. Работа такая...

— Да, работа! Цирк сделали! Фитиль! А она жить хотела! У нее ребенок! Ждала ребенка!

— Откуда ты знаешь?

Нина Ивановна удивилась, ребенка она придумала с ходу, для убедительности, для жалости, для кошмара.

Курдюмов поморщился:

— Нина, тебе мало чего было? Зачем ты еще придумываешь?
— Как придумываю?! Мог у нее быть ребенок или нет?!
«Мог, наверное»,— подумал Курдюмов и пожалел жену.

Граб был один на этой сизой земле, над которой замедленно волочился самолет. А если остановить самолет в небе и пустить его назад, задом наперед, чтобы он сел хвостом и хвостом отрулил обратно, с дорожки, и выйти спиною на трап и спиною же добежать до кассы, отдать билет и спиною в курдюмовский «бобик» и спиною, спиною на бытовку, с бытовки, мимо киреевского крика, назад, на третью просеку, в вагончик, в котором стоит мадам Баттерфляй.

Граб был один на этой сизой земле. Жена его выходила замуж, а дочка, щадя, должно быть, Граба, утешала: тот мужик ничего себе и маму любит. И все это было до того, как Погодина стояла у окна.

Граб отматывал время обратно. Он привык гонять пленку взад-вперед.

(Продолжение следует)



ДЕНИ ДИДРО



Тот факт, что Дени Дидро (1713—1784) писал стихи, историки литературы, как правило, обходят молчанием. Зато никогда не забывают подчеркнуть, что век Просвещения во Франции был удивительно скуден по части поэзии. Мысль, в общем-то, верная, но в наше время многие французы даже Вольтера при всем уважении к его имени считают плохим поэтом. А ведь его короткими стихотворениями из «Поэтической смеси» восхищались такие читатели, как Гёте и Пушкин!

Что уж тут говорить о Дидро: в отличие от Вольтера стихи он писал от случая к случаю, и при его жизни они никогда не публиковались (так же как и его зрелая художественная проза, которая по достоинству была оценена только в XIX веке). К тому же и сам Дидро поэтом себя не считал, хотя техникой стихосложения владел не хуже тех, кого его современники считали поэтами.

Писал он и серьезные философские стихотворения, и «стихи на случай» в духе «легкой поэзии», которой так сильно увлекался XVIII век. Говоря словами Дидро, богиня мудрости Минерва и бог насмешки и шутки Момус вдохновляли его музу. Причем влияние Момуса, на наш взгляд, было и более сильным и более благотворным. А «стихи на случай» действительно были иногда вызваны чисто случайными обстоятельствами вроде тех, когда Дидро в компании близких и друзей два года подряд был провозглашен бобовым королем: согласно старому доброму обычаю это звание получал на один день тот, кому доставался боб, запеченный в традиционном крешенском пироге. Как тут было не откликнуться на такое событие шутивными стихами! Но за шуткой Дидро нередко скрывается вполне серьезная мысль, и в отличие от присяжных поэтов XVIII века на его стихах лежит ответ яркой и неповторимой личности их автора.

Кодекс Дени

Угодно королям, чтобы народ
Их волю выполнял без промедленья;
В моем же царстве все наоборот:
Здесь подданный свои диктует повеленья.

«Кто хочет властвовать, тот должен разделять» —
Вот правило тиранов, как известно,
Но не мое, и, признаюсь вам честно,
Когда б я вас не мог объединять,
Мое присутствие здесь было б неуместно.

Коль вы придворные мои,
Друзья, да будут вами чтимы
И бог вина и бог любви,
И пусть не гаснет жар в крови,
И пусть вы будете любимы.
Вокруг меня должны звучать
И смех и взрывы ликования,
И даже нежные признанья
Не надо при дворе моем скрывать.

Мой кодекс открывается словами:
«Как стать счастливыми, должны решать вы сами» —
И к сим словам приложена печать.

В год тысяча семьсот семидесятый,
 Близ милой дамы сидя за столом,
 С открытой душой и полным ртом
 Составлен кодекс мой. Его блюдите свято.

И да продлятся ваши дни!
 Король бобовой милостью Дени.

1770.

**Песня в форме рондо,
 написанная Дени, бобовым королем**

Коль ты король, минуты нет спокойной,
 Нет отдыха от множества забот:
 Вражда соседей, ропщущий народ,
 Казна пустая, заговоры, войны...
 Как тут развлечься с толком и пристойно,
 Коль ты король!

Несчастен он, и жалости достойна
 Его профессия. Но довелось мне быть
 День целый королем, и мог я преспокойно
 И вкусно есть, и сладко пить,
 Смеяться, весело шутить,
 Поскольку бог охотно позволяет
 Все делать так, как сердце пожелает,
 Коль ты король.

Правдив и честен был мой штат придворный,
 И подвиги во сне я совершал,
 Вселенная внимала мне покорно,
 Писал законы я, стихами их писал
 Весьма плохими (это уж бесспорно);
 Один маркиз,
 Когда прочел их, скис,
 А после поносил упорно...
 При короле другом такая речь
 Могла бы на него беду навлечь:
 Карать за критику нисколько не зазорно,
 Коль ты король.

Признаюсь вам, я не такого нрава,
 Чтоб обижаться на людей.
 Как правило, стихи и проза королей
 Отменно плохи; это грех, но, право,
 Их наименьший грех, и, рассуждая здраво,
 Простительна подобная забава,
 Коль ты король.

1771.

Женщинам

Любую глупость ради вас
 Легко свершали наши предки;
 Из-за прекрасных ваших глаз
 Безумства и в нас нередки.

И наблюдал я сам порой,
 Что может из-за вас случиться:
 Один надумал утопиться,
 Лишился разума другой.

Судья, как ни был бы он важен,
 Выслушивает ваш приказ;
 Один герой французский даже
 Свой долг нарушил из-за вас.

Был Крез богаче всех на свете;
 Однажды он пришел на бал
 И на балу Темиру встретил
 И вскоре в госпиталь попал.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ



22 июля 1984 года — день Возрождения Польской Народной Республики, национальный праздник польского народа.

В его преддверии в СССР с большим успехом прошли Дни польской культуры. Из Варшавы в Москву приехала большая группа артистов, музыкантов, художников, писателей, общественных деятелей. В одном из своих выступлений заведующий отделом культуры ЦК ПОРП, известный польский критик и литературовед, профессор Витольд Навроцкий подчеркнул, что проведение этих Дней следует рассматривать как «высокое признание ценности вклада польской культуры в содружество социалистических культур».

В рамках Дней состоялось немало насыщенных, творчески плодотворных встреч и бесед советских и польских писателей. В Союзе писателей СССР состоялась встреча советских и польских писателей на тему: «Задачи литературы в обществе, строящем социализм. Проблема традиций и новаторства в советской и польской литературе».

Как бы в продолжение этих Дней наш журнал предлагает подборку стихотворений известных современных польских поэтов.

АЛИЦИЯ ПАТЕЙ-ГРАБОВСКАЯ

Освенцим



Спускаемся на дно бездны
дай руку
у неба пока что улыбка подсолнуха
и трава томит ароматом
Спускаемся на дно бездны
дай руку
Твои и мои шаги
чирикают по двору
а он умывает на солнце гладкую кожу
и наряжается в газоны
точно девушка перед гостями
Спускаемся на дно бездны
ступенька первая
Бритые лица стен
Пахнушая одеколоном свежая штукатурка
где тут смерть?
где тут смерть?
книги в витринах
цифры буквы

ровные
как стриженная на английский манер живая изгородь
цифры, каллиграфические цифры
они всего лишь знаки на таблицах
пахнувших свежей краской

II

Спускаемся на дно бездны
ступенька вторая
Фотографии костей обтянутых кожей
маленькие дети с лицами стариков
чую смерть
дай руку
в черном глазу колодца вижу слезу

III

Ступенька третья
Волосы
извиваются, дергаются, кричат
ползут из-под стекол, волосы
скалят зубы Зубы челюсти
столько лиц, сколько челюстей щерят зубы, кричат
разъявленные пасти ботинок, исходят паром ноги
в каждом ботинке густое тепло
туловища ботинок слиплись, щерят челюсти
вопят
труп куклы со сложенными накрест руками, с одной ногой
хнычет маленький тупелек, хочет молока
вселенский плач
великий плач, стены шевелятся, трескаются
их бритые головы склоняются над нами
дай руку
она еще теплая. Наши руки живут
Это хорошо
Спускаемся на дно бездны

IV

Ступенька четвертая
чувствую чад
Сгорают глаза
Они здесь. У них в глазах огонь
«Это фотография»
нет, они здесь, слышу их шаги
последний выдох втиснулся каплей
в стылый пол
Полосатая одежда на стуле еще пестует жизнь
Последняя дорога сквозь полуотворенные двери
лицом к стене, чтоб выдавить крик
Со дна бездны небо как металлический круг
Дай руку
хочу знать, что живу

ЗЫГМУНТ ВУЙЧИК**На остановке в Братске**

Мороз приостанавливает шаги	Серебро снежинок
Ветер жмурит веки	то сближает
Греет красота девушек	то отдаляет
в розовом сиянье щек	наши взгляды

День моей матери

Будят ее звоночки недосыпа
 три часа утра — три ласточки дорассветных
 улыбается кудахтанью о яйце
 забыв что опять замучит одышка

Полдень себе уяснит
 пришествием тени на лоб
 или ветерками взмаха
 коровьих хвостов

Склоняется и встает надземною дрожью воздуха
 поет:

Ой, была б счастливой
 ой, да как в ручье коряга
 ой, да вот деток в белый свет
 ветер сдул бродяга

Мир огороженный плетнем
 обвивает руками
 и вешает в узелке на шею
 чтобы не сбег

И только ночью
 являются ей
 белые кони нежности
 и уснувшую догоняют сны
 об отдохновении

ЕЖИ ХАРАСИМОВИЧ**Мой дом**

Мой дом	Нынешней осенью
всего лишь страница	несется над нею
застроенная словами	только
	дым пера

Все мое богатство

Все мое богатство	Еще стол
длинная рубаха поэмы	спешащий рысцою
в которой сплю	с вьюками воображенья
в которой принимаю гостей	
Стоптаные ботинки с носами	А еще у пояса
загнутыми	долбленная кружка дня
как нос джонки	И всё

Кухня

Листья летят
луковицы летят
поют чайничные пейзажи
Смеркаясь туманом кухня
сердце томит

Чайник
соколом
сидит на плече у мамы

Воздвигся собор
голубых чугунок
в осеннем дожде
покачивается допотопный
пароход гладильной доски

И всё в густом пару
и колокольный гул — сахарницы

Одним — Греция
где колоннады
шлемы героев

Мне — кухня
где в горшке
разваривается действительность

Мне — глубинная флора
супа с крупой
красный коралл
борща

Мне кухонные тропики
могучие баобабы укропа
громоздящиеся пагоды мисок

Клееночный гобелен
в золотых цветах бульона
большеголовые иконы
темных шумовок

Мне — наигрывать на дудке
ревеня
сочинять — поэзию кухни

ТАДЕУШ СЛИВЯК

Дерево

Обнимаю
живой ствол
слушаю его соки
вникаю
как совершается живица

В стволе
бьется мое сердце
слушаю собственную кровь

Когда осыплются листья
а ветки

уподобятся трещинам
растрескавшегося неба

Дерево отворится
и я войду внутрь
отворится и захлопнется земля
за нами

И никогда по-другому
не завершается
любовь человека к дереву

Помпея

Тут свет очей моих берет начало
и первым яблоком полна ладони чаша
тут стал огнем огонь едва я прикоснулся
вода водою близкою губам
В меня сей город улицами встроен
в его заставы пальцы утыкаю
Он вытопан до косточек до самых
тех кто тут жил чтоб известняк составить
чтоб слой за слоем житие оставить
сих стогнов и остаться в звуках звонов
Гляди же как неспешно каменеют
садовники натурщицы и прачки
им даже стоп пока что не достигнул
неторопливый белый камень этот

Сапоги

С войны вернулись
сапоги моего отца
кожа жесткая ссохшаяся
расползшаяся в швах

А где ноги — спросил я
где штанины

где солдатские портянки
и стук каблуков

А сапоги молча
вывалили язык
тяжело дыша на пороге
стали слизывать кровь

Вольнская Антигона

Ярославу Ивашкевичу.

И Антигона до Волыни добрела
земле предать искромсанного Полиника
с polegшего газеты собрала
не устрасась в любви и голоса без крика

не тронь его сестра — недолго рядом лечь
тут ворон — жрец обрядов похоронных
тут пулемет ручной молился бесперечь
и стлался дым кадильный хат спаленных

брат брата говоришь
но что же можешь знать
о ненависти ты —
любви источник чистый
чем руки белые
в отчаянье ломать
беги покуда не пришли сюда фашисты

ЮЗЕФ БАРАН

Пусть для лириков времена и худые
и вот-вот придется
исповедаться насчет трепета сердца
мои гостеприимные строки
всегда отворены настежь

так что входи в них без стука
случайный прохожий
видишь — тепло и уютно
чувствуй себя как дома

пожалуйста
войди и ты критик
Фома неверный
вдруг возьмешь и уверуешь

со столешницы
приглашает по-славянски
буханка ржаного сердца чем хата богата

и хотя я знаю
что многие
ославят меня едва уйдут
и раззвонят что в стихах моих дьявол
прикидывается благонравным

строки мои отворены настежь
ни перед кем я в них ничего не скрываю

ТАДЕУШ МОЦАРСКИЙ**Возвращенный долг**

С лицом немодным бронзового века,
он, знаешь, не умеет расписаться.
Как горб верблюжий,
как кафтан дырявый,
комично моего отца обличье.

Но повод для насмешек — только это.

Когда по вечерам
свой собственный внимают
усталый гуд задетые случайно
в отцовых мышцах арфы-самогуды,
семья вокруг него всегда толпится
играть концерт совместный
бед и счастья.
Таков он, мой отец.

Где его руки, два орудья тяжких,
спят,
там не спит он,
хоть и свет погасит;
ну как заснешь, когда сыны уснули,
ну как поверишь ночкам все таким же,
ну как поверишь, что бомбежек нету.

Цыпленок малый прямо из-под квочки.
Подарок. Пляска моря. Время года.
Сданный экзамен. Первый бал с тобою.
Доброе слово. Масленица. Санки.

Таков он, мой отец.

ЧЕСЛАВ КУРЯТА**Открытие весны**

Небо кроет цветом цветы,
почки прорывают деревьям пространство,
окна выстраиваются на пути к солнцу.

Ласточки на пяти линиях проводов —
и бродячая птица-трубадур
пользуется этими нотами.

Башня возносит знаменем тучу!

Идешь, убоготворенная листьями,
достигаешь цветами очей,
облекаешь обличья деревьев,
словно памятники.

Совершаешь открытие весны.

Наш сын войдет в свет

Наш сын войдет в свет
земли, которая отныне свет будет порождать.

Он станет жить в пространстве, равный птицам,
но крылья его не свяжут, словно птицу,
и все увидит просветленным взором
лучше, чем ты у рентгеновского аппарата...

Наш сын произрастет из нас потоком света,
проблещет над дорогой, где ты изранила ноги,
а я влекся, влача вокруг себя прямоугольник,
и взгляд калечил во мгновение молний.
Наш сын сделает из блеска приспособление,
как я делал клоуна из пластилина...

Наш сын войдет в свет
земли, которая впредь будет светом.

Перевел А. ЯВОРСКИЙ.



ГЮНТЕР ГРАСС

★

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ*

Роман

В меня был пустой урок, поэтому я ввел в курс дела моего зубного врача. Он слушал, не выказывая нетерпения, захотел узнать подробности:

— Скажите, подружка вашего ученика дышит ртом?

Опешив, я ответил утвердительно и заговорил о полипах в носу. Однако, когда я хотел расширить свое сообщение, подведя под него теоретическую базу, он сухо преврал меня, сказав:

— ...Ну да, если удастся применить ваши педагогические принципы... Мальчик нравится мне.

— Но он это сделает. Он это правда делает.

— Весьма возможно.

— Как мне поступить? Как его классный руководитель, я отвечаю...

— Вы слишком много думаете о себе. Не вы, а мальчик хочет это сделать.

— Но мы должны ему помешать.

— С какой стати? — спросил мой зубной врач по телефону. — Что мы выиграем, если этого не произойдет?

— Они его убьют. Эти бабы из кафе Кемпински заколют его вилочками для пирожных. Растопчут. А телевизионщики нацелят на него свои камеры и будут просить, чтобы им создали условия для работы. «Сохраняйте благоразумие. Подвиньтесь на самую малость. Как мы можем дать объективный репортаж, если вы нам мешаете...» Уверяю вас, доктор: в наше время в часы пик на Курфюрстендамм или, скажем, на углу Иоахимсталер вы можете распять Христа и поставить распятого стоймя напоказ — люди всего-навсего поглазуют, щелкнут разок фотоаппаратом, если он будет при них, растолкают всех, чтобы лучше рассмотреть, порадуются, что хорошо видно, ведь как-никак это щекочет нервы; но стоит тем же самым людям увидеть, что кто-то сжигает здесь, в Западном Берлине, собаку, да, собаку, как они начнут избивать этого человека, не останавливаясь до тех пор, пока он еще будет шевелиться, но и тут они не перестанут наносить удары.

(С Голгофой это был мой коронный номер. Я позаимствовал его у Ирмгард Зейферт: «Поверьте мне, Эберхард, изо дня в день на каком-нибудь городском перекрестке распинают Христа, и прохожие глазеют и кивают».)

Мой зубной врач был по-прежнему невозмутим. (Религиозные реминисценции пришлось ему не по душе.)

— Полагаю, ваш ученик знает, что при столь неумеренной любви к животным, какая существует у широких слоев населения, ему не на что надеяться.

— Тогда мне все же придется сообщить о нем.

— Могу понять, что вы обеспокоены тем, как бы не потерять свое место студент-рата.

— Но что же я, по-вашему, должен?

— Позвоните мне еще раз в обеденное время. Понимаете, у меня идет прием. Мое дело не останавливается ни на минуту. Даже если земной шар вдруг перестанет вращаться, люди все равно будут приходить ко мне, жалуясь и крича от зубной боли...

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 5, 6 с. г.

Вышагивать по берберскому коврику, моему недавнему приобретению. Цитировать Иеремию: «Как потускло золото...» Знать, что за тобой следит письменный стол, на котором начатые рукописи в папках рвутся порождать новые. А ну иди, иди сюда. Сочини маленькое, отлично выполненное убийство. Разве можно допустить, что твоя невеста с этим Шлоттау... Следовало бы подложить подрывную шашку под сигнальную электроустановку для ящика с песком; и тогда едва Линда начнет контрнаступление под Курском, и она, и он, и Крингс, а также весь барак взлетят в воздух... А может, следовало бы придерживаться фактов и писать о Шернере... Еще лучше сидеть у Реймана, заказав одну-две кружки пива. Или новую смесь: бутылку колы и рюмку водки...

Что же мне делать? Написать сенатору, занимающемуся школами: «Глубокоуважаемый господин Эверс, одно чрезвычайное обстоятельство, выходящее за рамки моих педагогических возможностей и способностей, вынуждает меня просить Вашего совета; мне кажется, именно Вы призваны к тому, чтобы внести ясность в данный вопрос. Позвольте мне для начала напомнить, что в интервью с нашей «Западноберлинской учительской газетой» Вы сказали: «Я исхожу из того, что существуют отдельная личность и общество в целом. И ни та, ни другое не являются вышестоящей инстанцией. Напротив, они взаимозависимы, накладывают отпечаток друг на друга...» И вот один из таких индивидов, а именно мой ученик, принял решение выразить свой протест против общества в весьма грубой форме: он намерен облить свою собаку бензином и сжечь ее в публичном месте, с тем чтобы жители этого города — он обвиняет их в равнодушии — поняли бы, что значит сгореть живым. Мой ученик надеется, что таким образом он продемонстрирует действие современного средства ведения войны — напалма. Он ожидает, что его акция просветит людей. На вполне обоснованный вопрос, почему он собирается сжечь собаку, а не какое-либо другое животное, к примеру кошку, ученик отвечает: особая, известная всем любовь западноберлинских жителей к собакам не оставила ему другого выбора; ведь публичное сожжение голубей, например, вызвало бы в Западном Берлине разве что дискуссию на тему: а не целесообразнее было бы отравить голубей, как это делалось обычно во время соответствующих крупномасштабных операций, ведь горящие и летающие голуби представляют собой явную опасность... Мои попытки образумить ученика с помощью различных аргументов, с одной стороны, и указать ему на последствия его поступка — с другой, не привели ни к каким результатам. Несмотря на то, что ученик признает: да, он боится, — все равно он готов претерпеть любое насилие со стороны населения, которое особенно бурно реагирует на жестокое обращение с собаками, всякое вмешательство он расценивает как политику соглашательства, ведущую к компромиссам политике, которая будет лишь способствовать продолжению военных преступлений во Вьетнаме — в них он обвиняет исключительно американские вооруженные силы... Прошу Вас поверить, что я не в состоянии действовать обычным административным путем, ибо глубоко сочувствую стихийному стремлению моего ученика к справедливости. (Конечно, все мы, особенно западные берлинцы, должны быть благодарны американским силам, ведь они защищают нас, но те же самые союзники в других местах ежедневно и ежечасно попирают наши представления о морали; и не только мой ученик, но и я страдаю от этого трагического противоречия.) В июле прошлого года Вы, достопочтенный господин сенатор, на одном из митингов воскликнули: «Давайте же поучимся гражданскому мужеству у Адольфа Дистервега!»¹ Ваши столь достойные одобрения слова врезались мне в память. Посему я хотел бы попросить Вас сопроводить вместе со мной моего ученика, когда он вступит на свой тернистый путь; ведь благодаря Вашему присутствию публичное сожжение собаки приобретет тот просветительский характер, которого все мы неустанно взываем, которого взывает мой ученик и к которому всегда стремится истинная просветительская политика, являющаяся, по Вашим словам, «обязательной социальной политикой».

С совершенным почтением Ваш...»

(К сожалению, не существует статистических данных о количестве неотправленных писем, о количестве просьб о помощи, которые так и не были запечатаны в конверты с марками. Существует лишь зубная боль и... арантил.)

¹ Дистервег Адольф (1790—1866) — немецкий педагог и политик.

А теперь хочу добавить: обнаружив свою несостоятельность, я сразу же стал оправдывать любую несостоятельность — я тревожусь из-за Шербаума, ведь он человек; однако западных берлинцев встревожит лишь собака, поскольку она не человек.

Дальше пошли многочисленные попытки заменить слово «человек», равно как и общий термин «западный берлинец», или же, не изменяя, зачеркнуть их вовсе; меня тревожит Шербаум, но общественное сочувствие будет на стороне собаки. (Неужели мое отношение к Шербауму можно сравнить с отношением любителя собак к своему песику?.. У меня есть фотография Шербаума. Как-то я отдал снимок класса фотографу и попросил его увеличить Шербаума и все его ямочки. Иногда я вставляю снимок в рамку, которая уже много лет стоит пустая, вставляю портрет мальчика величиной с почтовую открытку, и у меня при этом такое чувство, будто я совершаю нечто недозволенное; мой Шербаумчик склонил голову набок.

Ирмгард Зейферт давно говорила. «Ваше отношение к Шербауму кажется мне неправильным, вы не сохраняете должной дистанции. Нельзя же держать мальчика на таком коротком поводке...»)

Проекция чувств. Суррогаты любви. Принято считать, что собаки куда более верные, нежели люди, кладбище в Ланквитце. Надписи на надгробиях: «Моя возлюбленная Зента...», «Мой незабвенный, единственный друг...». «Верность за верность». Не потрясла ли бы западных берлинцев (спросим себя) статистика собачьих потерь за время войны во Вьетнаме больше, чем превосходящие но много раз потери человеческих жизней в тех же районах военных действий? *Body count*². Согласно официальному *body count*...

Сенека говорил о собаках: «Даже бессловесное животное — носитель добра, в нем есть и добродетель и своего рода совершенство, но животное никогда не может быть в полной мере ни добрым, ни добродетельным, ни совершенным. Привилегия эта выпала на долю разумных существ. Только им одним дано постичь: Почему? Каким образом? Зачем? Истинное добро заключено лишь в разумных существах...»

Вот как все просто. Я мог бы (должен был бы, решил) с помощью родителей Шербаума отравить длинношерстную таксу Макса и таким образом лишить ученика Шербаума наглядного пособия. (В ответ на радикальные намерения надо действовать радикально.)

Днем я позволил зубному врачу, но он не дослушал меня до конца, когда я излагал мое, как я выразился, решение «покончить с этой историей по необходимости насильственным путем». Резко бросив: «С меня довольно», он продолжил весьма невежливо:

— Я рекомендовал бы вам как можно скорее выбросить из головы это капитулянтское предложение. Невольно кажется, что вы задались честолюбивой целью превзойти сумбурные планы вашего ученика с помощью уж вовсе детской белиберды. Курам на смех — отравить собаку!

Я указал на мое безвыходное положение, согласился с тем, что проявляю беспомощность, упомянул об идее написать сенатору Эверсу, от которой, впрочем, уже отказался — в ответ на это зубной врач громко и бесцеремонно расхохотался, — тогда я пожаловался вскользь на ноющие и дергающие боли, на то, что принимаю все больше арантилы, а под конец вышел из себя и заорал в трубку:

— Бога ради, доктор! Что же мне делать, доктор? Помогите же мне. Черт побери. Помогите же мне!

Сперва я услышал только, как он дышит, потом он соизволил дать совет:

— Предложите своему ученику осмотреть вместе с вами предполагаемое место действия. Не исключено, что из этого можно будет кое-что извлечь.

Еще до конца уроков я предложил Шербауму осмотреть место запланированного действия, где все будет разыгрываться.

— Ну хорошо. Но не возлагайте на это несбыточных надежд. Чего только не сделаешь ради своего учителя.

Я спросил, не собирается ли он привести свою подружку.

— Веро это вообще не касается. Кроме того, я уже начертил для нее план местности. И пусть не встречает.

Мы договорились встретиться после обеда. Дома я выпил чашку чая.

² Список потерь (англ.).

Готовиться заранее или не вмешиваться? И будь что будет. Ходить взад и вперед, мерить шагами ковер, раскрывать книги и читать по несколько строчек наугад? Бреясь, держать речи перед зеркалом до тех пор, пока оно не запотеет?

«Как тебя убедить, Филипп? Даже если ты прав, игра не стоит свеч. Когда мне минуло семнадцать, я и сам. Мы были против всех и вся. Я не хотел, чтобы мне хоть что-нибудь объясняли. Как и ты. И я не хотел стать таким, каким стал сейчас. И хотя я такой, ты знаешь какой, но тогда я знал, глядя на других, какие они. Даже теперь я понимаю, что стал таким, каким не хотел стать и каким не хочешь стать ты. Но если бы я захотел сейчас стать таким, как ты, то должен был бы сказать: сделай это! Почему я не говорю: «Сожги его!»?»

«Да потому что вы завидуете, хотели бы сами, но не можете. Потому что вам уже нечего ждать. Потому что вы больше не боитесь. Потому что в глубине души вам безразлично, сделаете ли вы это или не сделаете. Потому что вы человек конечный. Потому что все у вас позади. Потому что, вы лечите зубы загодя. Потому что всегда стремитесь держаться в стороне. Потому что вы видите последствия еще до того, как начинаете действовать, и учитываете эти последствия заранее. Потому что вы себя не любите. Потому что вы благоразумны, но это не мешает вам быть глупым».

«Хорошо, Филипп. Сделай это. Сделай ради меня. Я больше не могу, ведь я уже. В семнадцать лет я тоже мог. Тогда я ни перед чем не останавливался. Тогда шла война...»

«Война идет всегда».

«Хорошо. Теперь твоя очередь. Но что толку? Это станет твоим воспоминанием и разрастется до небывалых размеров. Ты через него не перешагнешь. Всегда будешь повторять: когда мне минуло семнадцать, я это сделал. В семнадцать лет я ни перед чем не останавливался. Ну хорошо. Теперь я пойду с тобой туда, чтобы ты увидел, что ждет тебя перед кафе Кемпински...»

Мы условились встретиться без собаки, но Шербаум привел с собой таксу. Январский день был холодный, солнечный и безветренный. И наше дыхание как флажок развевалось перед нами. Люди, шедшие навстречу, обгонявшие нас или перерезавшие нам дорогу, также подавали сигналы — белые облачка; они как бы говорили: «Мы живы! Мы живы!»

Перед нами было нечто вроде широкой площадки: угол Курфюрстендамм и Фазаненштрассе. Мостовую обрамляли снежные сугробы с черными краями, исчерченные собачьей мочой, что явно волновало длинношерстную таксу Шербаума. (Бодро-весело.) Терраса кафе Кемпински была заполнена до отказа. Под крышей террасы жарко горели спирали электрокаминов: они обогревали сборище полных, но подтянутых дам, поглощавших изделия из теста, — туловище в тепле, ноги в холоде. Между уменьшающимися в объеме горами пирожных теснились сахарницы, молочники со сливками, кофейники, а также чашечки с кофе-мокко и — как и следовало предположить — кофейники с кофе без кофеина. Модные наряды дам подчеркивали их полноту: туалеты этих дам либо шились у дорогих портных, либо покупались в дорогих магазинах. Много меховых манто, большей частью каракулевых, не меньше и пальто из верблюжьей шерсти, их цвет кофе с молоком гармонировал с цветом венских тортов и бисквитных пирожных, с тонкими ломтиками кексов и столь излюбленными этими дамами корзиночками с ореховым кремом (Веро Леванд дала чеканную формулу: пушнина пожирает пирожные). Когда мы вместе с Максом подошли к тому месту, которое Шербаум избрал для своей акции, начали дергаться собаки, привязанные поводками к ножкам стульев. Кроме них, нас никто не замечал, ибо дамы, по-видимому, привыкли к тому, что собаки дергаются у них под стульями, ведь мимо террас проводили множество повов.

(В общей сложности в Западном Берлине 63 705 собак. На 32,8 жителя приходится одна собака Собак стало меньше. Еще в шестьдесят третьем году в Западном Берлине держали 71 607 собак: одна собака приходилась на 29,1 жителя. Мне не кажется, что слишком много. Собственно, я считал, что собак гораздо больше. Повсюду наблюдается одна и та же тенденция — спад. Это следовало бы сказать Шербауму: «Вполне нормально, Филипп. В районе Кройцберга их и вовсе не густо: одна-единственная собака на 40,6 жителя. Цифры эти показывают, что говорить о собакоманнии западных берлинцев значит поддерживать легенду, которая давно изжила себя».)

Мы разглядывали кафе — со стороны могло показаться, что мы ищем знакомых.

Пирожные убывали. На столики ставили новые горы теста. Чтобы осмотр места действия потерял свой торжественный характер, я призвал на помощь чувство юмора:

— Если исходить из того, что порция берлинских оладий с вареньем содержит двести калорий, то вопрос о калорийности порции шварцвальдского вишневого торта со взбитыми сливками просто смешон.

(Веро Леванд правильно определила: «На каждой из дам навешано по меньшей мере полтора кило украшений. А о чем они говорят, когда говорят? Ну конечно, о том, кто сколько весит и как сбросить лишний вес! Фу-у!»)

Дамы в шляпках поглядывали вокруг, одновременно ели и разговаривали. Малоаппетитное зрелище, порой карикатурное, но вполне безобидное. Сторонний наблюдатель, к примеру Шербаум со всей его предвзятостью, мог при взгляде на это одновременное и непрерывное обжорство представить себе единственный эквивалент — одновременное и непрерывное извержение экскрементов; ведь чрезмерное изобилие яблочных паев, миндальных рожков, беже со сливками и ватрушек была способна уравновесить только одна, обратная картина — дымящиеся кучи кала. Я еще взвинтил себя:

— Правильно, Филипп. Грандиозное свинство. Сплошная гадость... И все же нельзя забывать, что это только частность.

Шербаум сказал:

— Вот они сидят.

Я сказал:

— Они объедаются с горя.

Шербаум:

— Знаю, затыкают все прорехи своей жизни пирожными.

Я:

— До тех пор, пока они жуют пирожные, они довольны.

Шербаум:

— Обжираловку надо прекратить.

Некоторое время мы наблюдали за всей этой механикой: вилочки для пирожных поднимались и опускались, дамы без конца пили маленькими глотками, отставив мизинец (все это они называли «лакомиться»).

Я попытался побороть отвращение Шербаума (а также мое):

— Собственно, это может только насмешить.

Но Шербаум различал за всем внутренние закономерности.

— Таковы ваши взрослые. И вот предел их мечты. Они достигли его. Свободно выбирают и свободно заказывают. Это они понимают под демократией.

(Должен ли я был опровергать его сильно утрированный вывод с помощью сложных рассуждений о плюралистском обществе? Скажите, доктор? Что бы вы сделали на моем месте?)

Я попытался разведелить мальчика:

— Представьте себе, Филипп, этих дам с их расплывающимися телесами голыми...

— Нет, они не будут больше уплетать за обе щеки пирожные. А когда захотят приняться за старое, подавятся: перед глазами у них встанет Макс, горящий, катающийся по земле Макс.

Я сказал:

— Ошибаетесь. На этом самом месте они вас и прикончат. Заколют зонтиками и каблуками. Посмотрите на их когти. А другие, те, кто просто прогуливался, встанут в кружок, будут проталкиваться вперед, а потом затеют спор: какой породы собаку сжег этот валяющийся на мостовой кровавый комок — пинчера, терьера, таксу или пекинеза? Некоторые прочтут ваш плакат, разберут слова «бензин» и «напалм» и скажут: «Какая безвкусица!» Конечно, большинство дам, поглощающих пирожные, расплатятся сразу же после того, как они вас прикончат, и, выразив свое неудовольствие директору, покинут кафе Кемпински. Но их место займут другие дамы в похожих шубах и шляпках, они закажут яблоки в тесте, беже со взбитыми сливками и пирожные с кокосовой мякотью и медом. Размахивая вилочками, они будут показывать друг другу, где это случилось. Здесь, здесь, где мы стоим!

Шербаум ничего не говорил, смотрел неотрывно на то, как таяли горы пирожных и как приносили все новые и новые порции, а я продолжал расписывать последствия его поступка:

— Пойдут разговоры о бесчеловечной жестокости, и, сидя перед пирожными со взбитыми сливками и чашечками мокко, дамы будут с упоением расписывать происше-

ствие с собакой, ведь Макс не станет тихо, терпеливо и быстро гореть. Я вижу, как он прыгает и катается, слышу, как он визжит.

Шербаум все еще не сказал ни слова. Макса мои речи не трогали. А меня прямо понесло. Надо говорить, говорить не умолкая.

— Разумеется, имело бы смысл попытаться, чтобы дамы уменьшили потребление пирожных. Но тогда следовало бы написать на специальной табличке, сколько калорий содержится в каждом кондитерском изделии. Например, один кусок струделя с изюмом содержит четыреста двадцать четыре калории. Не мешало бы установить и компоненты изделий — углеводы, белки, жиры. Не так глупо, Филипп. Просветительский поход против общества избытия.

Когда я перечислил, какие ингредиенты в шварцвальдском вишневом торте и сколько в нем калорий, Шербаума начало сильно тошнить — его несколько раз вырвало на мостовую перед террасой Кемпински. В механизме движения вилочек для пирожных произошел сбой. Шербаум давился, но ничего не получалось. Прежде чем нас окружили люди — прохожие уже стали останавливаться, — я протащил Филиппа и визжащего Макса через Фазаненштрассе, и мы смешались с толпой, праздно прогуливающейся в это послеобеденное время. (Как быстро можно скрыться!)

В автобусе я заметил:

— Это произвело на них куда большее впечатление, чем произвела бы горящая собака.

— Но они понятия не имели, почему я блевал.

— Все же шутка удалась. Как они смотрели, Филипп, как они смотрели.

— Не я, а они должны блевать, когда Макс будет гореть.

— Нуда, нуда. Это может случиться с каждым от подспудной тревоги...

— Вы просто не хотите признать — я оказался слабым.

Я предложил ему не идти сразу домой, выпить у меня чаю. Он кивнул, но продолжал молчать. В лифте — он держал Макса в руках — я заметил, что на лбу у него выступили капли пота. Я сразу же поставил кипятить воду, но он отказался от чая, хотел всего лишь прополоскать рот. Я предложил:

— Отдохните немножко, Филипп.

Он послушался и лег на диван.

— Хотите одеяло?

— Нет, спасибо.

Он заснул. А я сел за письменный стол, так и не открыв папку с начатой рукописью. (Пустая рамка для фотографий, вместо пресс-папье обломки ступки.) На желтом картоне с заголовком «Проигранные сражения» я стал выводить фломастерами унылые завитушки. (Как этот торт... Как это воздушное печенье... Как эти взбитые сливки... Как эта доступная всем сладость...)

Шербаум проснулся около шести. Лампа на моем письменном столе отбрасывала круг света. Но Филипп оставался в полумраке.

— Я пойду. — Он прикрепил поводок к ошейнику Макса, который спал на берберском ковре.

Уже надев пальто, он бросил:

— А теперь следовало бы сказать вам спасибо.

Пошел ли он к Веро Леванд? («Я человек конченный. Скажи наконец, что я человек конченный!») Станет ли она его утешать, без усталости утешать, как всегда говоря в нос? («Ну что ты, Флип. Ты просто должен это сделать. Неужели не понял. Почему ты это не делаешь? Ведь все совершенно ясно. Ясно, как апельсин. Отступаешь от теории. Но доказываешь практикой. Флип. Сделай это».) Лягут ли они вместе среди тряпичных зверей Веро?

К моему удовольствию, зубной врач не рассмеялся, когда я поведал о рвоте Шербаума в публичном месте. Его диагноз по телефону гласил:

— Осечка только утвердит вашего ученика в его намерении. Знакомая реакция — вопреки всему... Не хотите ли прийти с мальчиком ко мне?

Вот какой он отзывчивый. Я могу выложить ему все, что взбредет на ум, переказать даже самый дурацкий план, к примеру такой: пусть мой ученик Шербаум для пробы сожжет какую-нибудь другую собаку, тогда он поймет, что значит сжечь хотя бы чужую, возможно, самую шелудивую шавку, — даже это предложение он выслушал с полным хладнокровием, а потом стал задавать вопросы: «Какую собаку? Кто купит

собаку? Когда и в какое время это должно произойти?» Своими вопросами он расчленил мою идею (не первую и не последнюю!) на столько составных частей, что я уже не в состоянии был собрать ее воедино. Он помог мне теоретически реконструировать этот вариант без всяких зазоров, назвал его «в основном разумным», похвалил мою педагогическую изобретательность: «Достойно восхищения, как неумоимо вы ищите выход», а под конец перечеркнул все — и мою мысль и свою реалистическую версию:

— Чепуха, надо поскорее выбросить из головы, ибо никто не гарантирует, что этот эксперимент, обещающий относительный успех, не приведет к обратным результатам. Не исключено, что ваш ученик выдержит испытание и со свежими силами и приобретенным благодаря нам же опыту устроит сожжение собственной собаки. Несмотря на то, что ваше предложение можно реализовать, оно относительно опасно.

То и дело он вставляет словечко «относительно». Все (не только боль) кажется ему относительным. Когда я описал сцену на Курфюрстендамм и — попутно — покритиковал дам, которые потребляют в неумеренных количествах пирожные, зубной врач прервал меня:

— Я совершенно не понимаю, чего вы хотите. Эти дамы — пусть они и едят неразумно много пирожных и тортов — относительно милые, и каждая из них в отдельности вполне разумна. С ними можно говорить. Вероятно, не обо всем. Но с кем вообще удастся поговорить обо всем? Моя матушка, например, пруссачка, трезвая женщина, не лишенная, впрочем, чувства юмора и обаяния, взяла себе за правило два раза в месяц, сделав все покупки, посещать кафе «Бристоль». Я сопровождал ее относительно редко. К сожалению, после ее смерти два года назад я упрекал себя за это, ведь больше всего она любила ходить в кафе с сыном, «злословить и грешить» — так она это называла. В кафе матушка съедала всего один кусок торта, обязательно песочного и без взбитых сливок. Даже вы признаёте — сей грех был относительно невелик, зато в злословии она не проявляла такую умеренность.

Он рассказал, как его матушка в годы войны во время бомбежек и позже, когда действовал «воздушный мост», училась искусству злословия.

— Однако в последние годы жизни именно часочек в кафе, своего рода пауза, давал ей возможность проявить свое злоязычие, не щадя никого на свете. Я вспоминаю: однажды с ней вместе сидела ее школьная приятельница, очаровательная старая дама, в облике которой еще сохранилось нечто девичье, она курила сигареты в янтарном мундштуке. Хотелось бы мне, чтобы вы послушали разговор этих дам. Любый шпик решил бы: здесь обосновались две ярые анархистки, две отравительницы, которые в скором времени взорвут и межевую канцелярию и моабитский суд. Нет, нет, милый мой. Ваша страсть к обобщениям вас подводит. Общество, даже если оно валит валом на террасы кафе, относительно многослойно. Не надо делать пугало из таких атрибутов цивилизации, как модные шляпки, горы тортов, ожирение. Вашему ученику может только повредить, если вы воспримете его искаженный взгляд на вещи.

Мой зубной врач женат, у него трое детей, он стоит обеими ногами на земле, получил профессию, дающую зримые результаты.

На его счету много чего хорошего: удачное лечение зубов, удаление зубного камня, исправление неправильной артикуляции, профилактика среди детей дошкольного возраста, лечение и спасение коренных зубов, которые считались безнадежными, установление мостовидных протезов, закрывающих уродливые дырки между зубами, он может снять даже боль... («Ну как, вы еще что-то чувствуете?..» «Ничего. Я больше ничего не чувствую».)

Я сказал:

— Вам хорошо, доктор. Вы воспринимаете людей как некую уязвимую, довольно несовершенную конструкцию, которая нуждается в разумном попечении. Однако человек, желающий большего, требующий, чтобы мы переросли самих себя, осознающий, что его угнетают, человек, который ждет, что человечество готово изменить мир и созданные в нем порядки, словом, такой, как мой ученик, видит вокруг лишь тупую сытость — для него механическое пожирание пирожных становится уже само по себе частью механизма капиталистического общества

Он вздохнул. Явно хотел опять заняться своей картотекой.

— Я согласен, что это относительно закрытое общество потребления может показаться семнадцатилетнему юноше жутковатым, ведь оно ему непонятно; но вам, опытному педагогу, не следует смотреть как на своих мнимых, так и на действитель-

ных противников — при этом безразлично, о ком идет речь: о дамах, поглощающих пирожные, или о средних партийных функционерах — как на неких демонов. Я не собираюсь, поместив вас в категорию «учитель», поставить на вас крест, но взамен прошу, чтобы и вы не сбросили меня со счетов, занеся в рубрику «зубной врач», ведь мы и впредь не должны облегчать себе задачу, категорически заявляя: все зубные врачи садисты. Или: все немецкие учителя из поколения в поколение оказывались несостоятельными. Или: немецкие женщины сперва проголосовали за Гитлера, потом за Аденауэра и едят чересчур много пирожных.

Я возразил: пусть и я как учитель, и вы как зубной врач, и ваша почтенная ма-тушка как «не частая посетительница кафе» — относительно редкое явление, своего рода исключение (вы знаете, насколько высоко я ценю многих моих коллег), все равно обобщения, приведенные вами, имеют под собой почву, так же как имеет под собой почву, к примеру, приблизительное обобщение «немцы плохо водят машины», хотя есть тысячи немцев, которые уже много лет не попадали в аварию, в то время как — я уже снова обобщаю, — в то время как у бельгийцев согласно статистике куда чаще случаются дорожные происшествия.

(Может быть, мы все же негодная пара — зубной врач и учитель. Он привык лечить без боли, я рассматриваю боль как средство познания, хотя сам не переношу зубную боль и, лишь только зубы начинают ныть, хватаюсь за арантил. Он вполне может обойтись без меня, я в нем нуждаюсь. Я говорю «мой зубной врач», он в лучшем случае говорит «один из моих пациентов...») Стало быть, я не повесил трубку, а сказал доверительно:

— Да, доктор. Так оно и есть. Именно так оно и есть!

Мой зубной врач никогда не говорит: «Вы не правы». Он и на этот раз сказал:

— Возможно, вы правы. Как-никак статистика на вашей стороне. Результаты выборов, число дорожных происшествий, чрезмерное потребление пирожных — все это можно подверстать под определенный стереотип и сделать соответствующие выводы, ну, скажем: немецкая женщина отдает предпочтение политикам диктаторского типа, ест слишком много пирожных и варит самый лучший в мире кофе — это последнее утверждает в рекламных объявлениях по телевизору добрый дядя Чибо. Но, таким образом, можно доказать только относительную правильность вышеперечисленных обобщений. Рекламу и политическую пропаганду удовлетворяет эта удобная полуправда, они используют ее в своих целях, идя навстречу потребностям людей в обобщениях; но вы и ваш, как я полагаю, в высшей степени способный ученик не должны столь быстро соглашаться с этим. Учтите, это говорю я — зубной врач. А ведь не кто иной, как я изо дня в день борюсь с гнилыми зубами, которые портятся или продолжают портиться из-за неумеренного потребления пирожных и вообще всяких сладостей. Тем не менее я против того, чтобы людям запретили есть вишневый торт или карамель. Единственное, что я считаю себя вправе делать — это призывать к умеренности и пломбировать больные зубы, если еще не поздно, а также предостерегать от поспешных обобщений; из-за них создается видимость бурного движения, но в конечном счете они ведут к застою.

(Позже я записал: «Скромность специалистов, сообщающих о своих трудностях и ограниченных успехах, — так проявляется в наши дни гордыня. Они похлопывают по плечу: нудада, все мы работники в виноградниках господ бога... Они вечно требуют дифференцировать, даже во сне. Они видят относительность даже самого большого кошмара...»)

— Ну а как вы оцениваете напалм, доктор?

— По сравнению с известным всем нам ядерным оружием напалм еще можно считать относительно безобидным.

— А каковы, по-вашему, условия жизни крестьян в Иране?

— Если рассматривать их в сравнении с Индией, можно, даже соблюдая осторожность, говорить об относительно передовой аграрной структуре Ирана, хотя по сравнению с Суданом Индия очень охотно идет на реформы...

— Вы, стало быть, видите прогресс повсюду?!

— Умеренный, мой милый, умеренный...

— К примеру, новую эффективную зубную пасту...

— Ее я как раз и не заметил, но фирма «Грюндиг» выбросила на рынок полезный аппарат EN3. Вы уже слышали о нем? Со вчерашнего дня я его законный владелец. Для меня он как говорящая записная книжка, которая значительно облегчит ведение

картотеки. Мне рекомендовали приобрести диктофон на последнем конгрессе по челюстному протезированию в Сен-Морисе: он легкий, удобный, даже полный профан с ним справится. Отменная игрушка, с ее помощью я, кстати, записал наш телефонный разговор. Вы очень ярко изобразили, как вашего ученика рвало в публичном месте. Хотите послушать? «...Мы условились встретиться без собаки, но Шербаум привел с собой таксу...» Однако шутки в сторону: пусть мальчик придет ко мне. Я хотел бы с ним познакомиться.

Тоже мне дурак нашелся, верит в прогресс. Умник несчастный. Энергичный крентин-специалист. Обходительный технократ. Благодушный филантроп в шорах. Просвещенный дремучий обыватель. Щедрый крохобор. Реакционер. Модернист, заботливый тиран. Ласковый садист. Зубодер-зубодер.

Мимоходом в школьном коридоре я сказал:

— Шербаум, мой зубной врач хотел бы с вами познакомиться. Конечно, я могу понять, что вы не рветесь его посетить.

— Почему бы и нет? Чтобы доставить вам удовольствие.

— Это была его идея. Я рассказал о вашем плане, разумеется, очень вскользь и не называя вас. Вы же знаете, теперь я решил больше не отговаривать вас, я с любопытством жду, что будет говорить мой зубодер. Профилактика — его конек. Иногда он чересчур много треплется.

Мы пошли пешком, так как от Эльстерплатц до кабинета зубного врача было рукой подать, и на Гогенцоллерндамм Шербаум сказал, словно хотел предупредить:

— Надеюсь, вы не рассчитываете обратить меня в свою веру. Я иду только из духа противоречия.

Мы явились к концу приема. Пришлось подождать несколько минут в приемной (прежде чем оставить нас там, помощница выключила фонтанчик). Шербаум полистал иллюстрированные журналы. Подвинул ко мне раскрытый номер «Штерна»:

— Ваш фюрер, фюрер нацистской молодежи.

Я сделал вид, будто не следил за этой публикацией из номера в номер.

— И это чтение будет иметь кое у кого успех.

— У меня, например.

— Ну и как? Каково ваше мнение?

— Этот дядя старается жульничать искренне... как и вы.

Я сразу почувствовал боль под мостовидными протезами, хотя принял дома две таблетки арантила.

— Просто констатация факта. То же я могу сказать и о себе, если откажусь от своего плана. Но с некоторых пор это исключено. Я сделаю, как решил.

— Будьте осторожнее, Филипп. Мой зубной врач умеет убеждать.

— Понял это уже. Заигранная пластинка: сохраняйте благоразумие; не теряйте благоразумия; оставайтесь в рамках благоразумия; проявляйте благоразумие; где же ваше благоразумие?

Мы засмеялись, словно два сообщника. (Зря его помощница выключила фонтанчик — пусть бы плескался.)

Мой зубной врач, как всегда, держался непринужденно, почти весело. Он поздоровался с Шербаумом, не выказывая явного любопытства, а меня пригласил сесть в кресло фирмы «Риттер», сказав:

— Ну вот, стало уже значительно лучше. Воспаление проходит. Но, быть может, мы еще немного передохнем...

После этого зубной врач отослал свою помощницу в лабораторию и незаметно перешел к делу:

— Слышал о вашем намерении. И хотя лично я не мог бы так поступить, тем не менее стараюсь вас понять. Если вы должны это сделать — но только действительно должны, — то делайте.

Потом он начал объяснять Шербауму, а заодно и мне — можно подумать, что я был новичком, — устройство кресла фирмы «Риттер»: откидывающаяся спинка, полная автоматика, триста пятьдесят тысяч оборотов в минуту — аэродинамика. По левую руку столик с инструментами. Щипцы для коренных зубов. Щипцы для корней. А также движущаяся в разных направлениях плевательница со струйкой воды. И целая коллекция еще не поставленных мостовидных протезов.

— Вот видите, людям явно нечем кусать — не хватает зубов.

Вскользь он упомянул о том, что экран телевизора всегда перед глазами пациента.

— Небольшой эксперимент, который, как я считаю, удался. А по-вашему?

Я отбарабанил мой текст:

— Великолепно отвлекает. Мысли уносятся куда-то вдаль. И даже экран без изображения волнует, не знаю почему, но волнует...

Шербаум интересовался решительно всем, стало быть, и функцией телевизора, успокаивающего и отвлекающего пациентов во время лечения. Потом он захотел узнать, как работали прежде.

— Я имею в виду обезболивание и тому подобное...

Я побоялся было услышать дежурную историю о Шаритэ — как четверо дюжих мужчин держат одного больного, — но зубной врач набросал вместо этого четкую и ясную картину развития зубоврачебного дела за последние пятьдесят лет и закончил не без иронии:

— Современная медицина в противоположность политике может продемонстрировать и успехи, которые недвусмысленно доказывают: прогресс и впрямь существует, если только строго и неуклонно придерживаться выводов естественных наук и результатов эмпирических исследований. Однако любая спекуляция, которая выходит за пределы возможностей естествознания, — и тут я должен признать, что пределы эти весьма ограничены, — неизбежно ведет, нет, заводит в дебри идеологической мистификации, или, как мы это называем, ошибочных диагнозов. Только если политика, подобно медицине, ограничит свою задачу глобальной профилактикой...

Шербаум сказал:

— Вы правы. Я об этом тоже думал. Вот почему я и намерен сжечь мою собаку в публичном месте.

(Так, стало быть, можно заставить его замолчать. Он даже не покашлял, не пробормотал: «Гм, гм». В кабинете всего три человека, и в каждой голове роем проносятся мысли: как он поступит теперь? как я поступлю, если он? как поступит он, если я? как поступлю я, если он мне? что я сделаю, если они оба? что там можно с... Только бузеновская горелка по-прежнему настойчиво гудела на одной и той же ноте. Сейчас! Сейчас!)

— Кстати, мне кажется, что ваши передние зубы... Скажите-ка «сторожка»... Да, да. Конечно. В детстве вы кусали губы? Я хочу сказать: захватывали передними зубами нижнюю губу?.. Ведь у вас дистальный прикус... Разрешите.

С этих пор я вижу Шербаума в зубоврачебном кресле фирмы «Риттер».

— За это надо будет платить?

До чего подкупающе умеет смеяться мой зубной врач:

— Для сторонников естественных наук делается исключение — иногда их лечат бесплатно.

Шербаум все же чем-то похож на меня.

— Только не делайте больно.

Дантист ответил так, будто не он, а сам господь бог в застегнутом доверху белом халате и в парусиновых туфлях занялся зубоврачебной практикой:

— Делать больно — не моя профессия.

А как он нагнулся над ним. Как осветил лампочкой полость рта. И как мой Филлип послушно протянул «а-а». (Мне надо было бы попросить врача включить телевизор: «Вы не возражаете, если я посмотрю немного западноберлинские «Вечерние новости», а потом рекламу?»)

— Вам следовало бы показаться мне еще ребенком с молочными зубами.

— Разве все обстоит так худо?

— Нуда, нуда. Сейчас мы сделаем ни к чему не обязывающий снимок. И тогда посмотрим.

Зубной врач и его помощница, которую он вызвал звонком, сделали рентгеновские снимки всех зубов Шербаума. Портативный рентгеновский аппарат «Риттер» пять раз прожужжал, когда врач нацеливал его на нижнюю челюсть Шербаума, а потом прожужжал шесть раз — столько снимков верхней челюсти было сделано. И каждый снимок регистрировался. Как и в случае со мной, зубной врач зафиксировал на одной пластинке четыре нижних резца Шербаума — второй, первый, первый, второй.

— Ну как? Было больно?

Оставить большие поля для дополнений, которые позже вычеркнуть. Отмечать галочками воспоминания. Пройти вторично, на сей раз при моросящем дождике, по променаду вдоль Рейна к Андернаху — крестный путь — этап за этапом. А не то взять лист седьмой:

«...фон Дёрнберг показывает, что подсудимый требовал от него противозаконной акции — приводить в исполнение смертные приговоры не путем расстрела, как предписано военно-уголовным кодексом, а через повешение, причем подсудимый будто бы заявил, что в районе дислокации 18-й армии и армейской группы «Нарва» (Грассер) приговоренных к смерти уже вешают...» Может быть, все же назвать Шёрнера, поскольку речь идет о Шёрнере... «Подсудимый приказывал, чтобы вешали перед фронтовыми командными пунктами, перед домами для солдат, получивших увольнительные, или на узловых железнодорожных станциях. Он велел также, чтобы к повешенным прикрепляли дощечки с надписями: «Я — дезертир»...»

А может, забросить все это? А может, приземлиться у Ирмгард Зейферт и вместе с ней пережевывать старые письма? А может, вставить в рамку фотографию Шербаума и приклеить к ней скотчем табличку: «Я дезертир, так как сел в зубоорачное кресло...» Не додумав до конца эту фразу, я ушел.

— Кельнер, кружку светлого! — Я прилепился к стойке, чтобы не быть в одиночестве.

Когда пришли Шербаум и Веро Леванд, по подставкам уже было видно, что я выхлебал три кружки светлого.

— Мы звонили вам несколько раз по телефону, а потом подумали... подумали... (Стало быть, известно, где я сижу, когда меня нет дома.)

— Собственно, нас пригласили на вечеринку. И мы подумали, не захотите ли вы... (В таких случаях вполне уместно указать на огромную разницу в возрасте: «Молодежи надо быть с молодежью».)

— Там бывают люди из университета. Преподаватели и кое-кто из профессоров. Тоже не самые юные.

(Еще немного поломаться: «Я неохотно хожу в гости без приглашения».)

— У них открытый дом. Можно приходить и уходить когда вздумается. И приводить кого хочешь.

(И вообще: стонку скорее приличествует сидеть в пивной.)

— Кельнер, счет.

— Сила, что вы идете с нами.

— Но только на минутку.

— Мы тоже не собираемся поселиться там навек. Возможно, это вообще дохлый номер.

В почти пустой квартире старого дома в Шёнеберге теснилось человек шестьдесят за вычетом тех семи, которые как раз уходили, и плюс те одиннадцать, которые как раз входили или пытались войти. Без Веро нам бы это вообще не удалось. Мы так и не разделись, ибо вешалка, где складывали пальто, по-видимому, находилась в глубине квартиры, но туда нельзя было пробраться. Можно было голько предположить, что там, в глубине, что-то происходит, что-то более интересное. Что именно? Очевидно, то самое. Между стоящими, сидящими на корточках и проталкивающимися людьми с ищущим взглядом стояло, сидело и проталкивалось с ищущим взглядом — ожидание. (Ожидание — чего? Ну да, того самого.) Не только я, но и Шербаум чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Что уж тут было бы говорить о шуме, спертом, застоявшемся воздухе, о духоте и о вони или о внешности присутствующих — об экстравагантном единообразии их одежды, о прическах, об их явном желании перешеголять друг друга пестротой и необычностью нарядов, отчего наряды казались похожими друг на друга. Бросались в глаза судорожное веселье, размашистые жесты, словно люди позировали перед скрытой камерой: вообще эта вечеринка была мне вроде бы знакома, казалось, я видел сцену из старого фильма, что показывают в ночных киношках или даже из многих фильмов-близнецов.

«Как же называется этот фильм?»

Отнюдь не Филипп, а Веро Леванд знала режиссера, оператора, исполнителей.

— Политически они все крайне левые. Наши люди. Вот этот в фуражке, как

у Кастро, самый левый из всех издателей литературы *underground*³. А вот этот только что приехал из Милана, где встречался с парнями, которые прибыли прямо из Боливии — там они говорили с Че.

Итак, отправные точки. (Ежеминутно я встречался взглядом с каким-нибудь Христом, каждый раз с другим.)

— О чем они, собственно, говорят?

— Ну, о себе.

— Но чего они, собственно, хотят?

— Ну, изменить, изменить мир.

Мне представили типа, работавшего на радио («Ведет религиозные передачи, но крайне левый!»). Он дал понять, что очень спешит. Ему до зарезу нужен Олаф, тот самый, кто привез информацию из Стокгольма («Наше досье об Анголе, понимаете...»). Веро знала, в каком именно углу квартиры среди шестидесяти стоящих, сидящих, толкающихся людей находится нужный человек с Севера.

— Он там, сзади, еще дальше, за вешалкой, где складывают пальто.

(Узнав это, человек с радио, разрезая толпу словно лодка килем, уплыл от нас.)

— Веро, объясните, пожалуйста, кому принадлежит эта квартира. Я хочу сказать, кто разрешил снимать здесь сцену, уже не раз показанную на экранах?

Веро показала на человека, который смеялся эдаким трансатлантическим смехом и излучал во все стороны флюиды счастья, хотя его оттопыренные уши — в давке их прижали к черепу — все время взывали, прося освободить наконец квартиру.

— Он здесь живет. Но, собственно говоря, квартира принадлежит всем.

(Напрягая память, я вспоминаю соответствующие места у Достоевского. Но здесь было на порядок ниже: «Penny Lane», густо перемешанная с «All you need is love», да девятнадцатый век никак не желал отступить — «Yesterday, yesterday»⁴.)

Шербаум притих настолько, что я стал бояться, как бы это не бросилось в глаза всем. (Надеюсь, его не стошнит опять.) Видимо, гости решили окончательно доказать, что я и впрямь нахожусь среди крайне левых интеллектуалов; в центре комнаты какая-то группка стала выкрикивать «Хо Ши Мин» и, вызвав вроде таким образом его дух, запела «Интернационал». (Вернее, кусок первой строфы — они повторяли эти строчки, словно их кто-то заставлял, как говорится, «пластинку заело». А я в это время — дело, конечно, заключалось во мне — почему-то слышал все громче, отчетливей, яснее популярную песню «О, ты, дивный Вестервальд...», да и здешние девицы мне совсем не нравились.) Слишком стар. Ты слишком стар. Только не быть несправедливым. Ты просто завидуешь им — они такие левые и так умеют веселиться. Присоединяйся к ним. Погляди-ка на этого церковного радиодейателя, на левого издателя и еще на нескольких слегка пожухлых мужчин лет под сорок. Они включились, подхватили девушек под руки, подвыпившие слезливые рейнландцы, раскачиваются в такт: «Вставай, проклятьем заклейменный...» («...Ветер северный гуляет над твоей дорогой...»⁵) Старый критикан. Новоявленный реформист. Типичный учителяшка. (Ну-ка давай пробуй: Хо-Хо-Хо!)

Мне почудилось, что Филипп рядом со мной с каждой минутой становится все старше и старше и все это не говоря ни слова. Нам пора уходить. Но тут его закадрировали две девицы:

— Это он, Веро? Ты и есть тот Шербаум, о котором все говорят? Молоток. И прямо перед Кемпински? Обольешь бензином. Чирк! И наших нет. Но ты, Веро, обязана нас оповестить, когда это будет. Фантастика, клевый чувак! Просто фантастика!

Из шестидесяти человек осталось всего пятьдесят семь — Шербаум потянул за собой Веро, я полпелся за ними. Но навстречу нам по лестнице уже поднимались человек шесть-семь.

Еще на лестнице Шербаум залепил Веро пощечину. Однако гости, направляющиеся наверх, восприняли это как добрый знак. Стало быть, там, в квартире, происходит что-то из ряда вон.

На дворе Шербаум вцепился в Веро (по щекам больше не бил, просто дубасил ее), пришлось их разнять. Я сказал:

— А теперь довольно!.. Выпьем по кружке пива в знак примирения.

³ Ультралево искусство получило на Западе название подпольного.

⁴ «Пенни-лейн», «Любовь — вот, что тебе нужно», «Вчера, вчера, вчера» — песни битлзов (англ.).

⁵ Старая солдатская песня.

Веро же плакала. Я протянул Шербауму мой носовой платок — у нее пошла кровь носом. Когда он вытер ей лицо, я услышал:

— Только не отсылай меня домой, Флип, ну пожалуйста...

(Зря я просвистел несколько тактов «Интернационала», когда мы поспешили прочь от того дома,— это было глупо, подло.) В первой попавшейся пивной на Хауптштрассе мы заняли свободные места у стойки. Филипп и я говорили через голову Веро, которая судорожно держалась за свою бутылку с кока-колой.

— Как вам понравился мой зубной врач?

— Совсем не плох. Знает, чего хочет.

— При его профессии это необходимо.

— Классная идея — телепередачи во время приема.

— Да, очень даже отвлекает. Вы решили у него лечиться?

— Возможно... Когда это уже будет позади.

— Еще не передумали, Филипп?

— Эти девицы меня не отпугнут. Ну нет. Неужели вы всерьез решили, что я сделаю финт ушами только потому, что несколько соплячек, которые изображают из себя левых, кричали: «Фантастика! Просто фантастика!»?

Подготовиться к уходу и заказать всем еще по кружке пива. Веро подвывала, склонившись над своей бутылкой колы (выть в нос из-за полипов). Я ждал, когда Шербаум положит ей левую руку на плечо и скажет:

— Пошли. Прекрати же. Все уже в порядке.

Тут и я отправился восвояси.

(«Помиритесь скорее. Когда левые ссорятся, это производит плохое впечатление».)

Было по-прежнему холодно. И рот сводило от сухости. Человек, который покидает в такую погоду пивнушку, спасается бегством. Гнуть спину. Обзавестись привычками (например, класть спичку в узел галстука про запас). Выходя из пивной, я огляделся: прежде чем окунуть большой палец в пиво, все они кивали друг другу. А когда кричали: «Кельнер, счет!» — то вид у них был такой, словно они просадили целое состояние. Мне захотелось послать все к черту, сесть на самолет «Rap Am», вылетающий утренним рейсом, и думать только о полете.

Дома на том же месте лежало то же самое — начатая рукопись. Я открыл папку, просмотрел главу «Шернер в Арктике», вычеркнул несколько прилагательных, захлопнул папку и набросал отзыв, который запросит защитник ученика Филиппа Шербаума, когда дело дойдет до этого.

Я долго не знал, как его озаглавить: «В судебную коллегия по уголовным делам Западного Берлина»? Или, может, написать: «Генеральному прокурору»? (Пожалуй, лучше я вообще опущу обращение.)

Вокруг акции Шербаума я воздвиг ограду из литературных примеров, которые были связаны друг с другом, а также с делом мальчика. Я цитировал манифесты сюрреалистов и футуристов, привлек в качестве свидетелей Арагона и Маринетти. Процитировал монаха-августинца Лютера, нашел полезные отрывки в «Гессенском сельском вестнике»⁶. Хэппенинги назвал жанром искусства. Несмотря на весь свой скептицизм, приписал огню (сожжению жертвенного животного) символическое значение. Определение «черный юмор» вычеркнул и вместо него вписал «шутка без пяти минут студента», вычеркнул и это и получил неожиданную поддержку от классика, при сем я дал Шербауму роль Тассо, а суду порекомендовал исполнить роль здравомыслящего светского Антонио. Я писал: «Подобно тому как здравомыслящий могущественный Антонио, поступками которого управлял разум, относился к поэтическим гиперболом сбитого с толку и прислушивавшегося лишь к голосу чувства Тассо, подобно этому должен вести себя и западноберлинский суд — его задача примирить крайности и великодушно подвести под делом черту в духе Иоганна Вольфганга Гёте. «Так корабельщик крепко за утес цепляется, где должен был разбиться»...»⁷

И хотя я вынужден был в качестве эксперта осудить поступок Шербаума, который я назвал заблуждением, произошедшим из желания пожертвовать собой, мне все же удалось придумать либеральную концовку: «Государство, которое считает опасно-

⁶ Революционная листовка Георга Бюхнера, изданная незадолго до «Коммунистического манифеста».

⁷ И. В. Гёте, «Торквато Тассо», перевод С. Соловьева.

стью для себя смятение юноши, нашедшее свое выражение в означенном поступке, юноши, столь высоко одаренного и сверхчувствительного, как Шербаум, лишь доказывает свою неуверенность в себе и желание заменить благотворную терпимость демократии жестоким самовластием.

(С сознанием исполненного долга я лег спать.)

В классном журнале я обнаружил анонимку: «Перестаньте наконец нервировать Флипа», — а в учительской в моем ящике лежала записка, подписанная И. З.: «Мы видимся так редко. Почему, собственно?»... Два почерка, обе спешили: их просьба звучала угрозой. Во время уроков я делал вид, будто не замечаю мою ученицу. Избитый прием, показуха: я вас в упор не вижу... Ну и что? А мою коллегу я поразил активностью и многословием (шутливо-высокомерно описал предреволюционную вечеринку). Потом я испытал себя в качестве исследователя скрытых пружин.

— Может быть, это наведет нас на след: отец Шербаума был во время войны солдатом противовоздушной обороны...

— Это как-никак доказывает...

— Меня интересует не политический аспект его деятельности. Он гасил пожары, его даже наградили медалью «Крест за заслуги» второй степени, Шербаум написал это в своем сочинении об отце черным по белому. Отец спасал людей. Вы, конечно, понимаете, куда я клоню...

— Несмотря на это, ваша параллель «солдат противовоздушной обороны — сожжение жертвенного животного» не кажется мне убедительной.

— И все же в том сочинении солдат противовоздушной обороны — своего рода ключ к разгадке. Вот вам одна выдержка: «Когда мы отправляемся купаться на Ванзее или, как два года назад, на Сент-Петер, мой родитель, солдат противовоздушной обороны, всегда идет с нами, но он не раздевается, а так и сидит в одежде и наблюдает за нами». Ну? Что вы на это скажете?

— Наверно, вы предполагаете, что отец Шербаума получил ожоги во время войны и стесняется показываться на людях без одежды, может, у него все тело в ожогах.

— Именно к такому заключению я и пришел, в сочинении Шербаума встречается еще одна фраза, которая подтверждает мою гипотезу. «Когда я был маленьким, я однажды видел отца голым. Голый солдат противовоздушной обороны».

— Стало быть, вы должны поговорить с отцом.

— Имел это намерение. Вполне серьезное намерение...

(Нет, я больше не хочу. Боюсь, что тело его отца покрыто следами от ожогов. Одно тянет за собой другое. А я не намерен копать вглубь. Я всего лишь учитель. мечтаю, чтобы это кончилось...)

Предложение Ирмгард Зейферт пойти «как следует поесть» дало нашим мыслям другое, но отнюдь не новое направление. Мы решили, что способны одолеть две порции свиных ножек. Я с этой задачей справился. Ирмгард оставила много чего на тарелке: ведь она то и дело залезала в фибровый сундук своей мамы, вытаскивала оттуда старые письма и, как попугай, повторяла фразу за фразой...

(«Это никогда не кончится. Моя вина. Эберхард. Это не может кончиться...»)

Прежде чем мы заплатили и пошли (она угощала меня), я извинился, мне нужно было выйти на две-три минутки — позвонить.

— Ну что показал рентген, доктор?

Мой зубной врач заговорил о Шербауме с теплотой: мол, учить и воспитывать такого юношу — огромная радость.

— Поверьте. Поистине он Луцилий, который, впрочем, еще не нашел своего Сенеку. Ну а что касается рентгеновского снимка — сушистые пустяки. Но вы ведь знаете, все начинается с пустяков. И еще: дистальный прикус. Кое-что придется сделать. Кстати, мальчик уже звонил.

— Значит ли это, что Шербаума интересует, что у него с зубами?

— А кого это не интересует?

— Я имею в виду, заглядывает ли он в будущее. Или думает только о той минуте. Вы ведь понимаете...

— Ваш ученик спросил, не следует ли ему пройти лечение в школе.

— Ой как разумно.

— Я сказал: ну конечно, этот путь для вас всегда открыт. Но и я могу в любое время принять вас у себя.

- Он согласился?
- Я не хотел настаивать.
- А о собаке ни слова?

— Прямо он о ней не упоминал. Но поблагодарил за то, что я укрепил его в этом его намерении, так он выразился... Мы должны еще решительней одобрять вашего ученика. И вселять в него мужество. Понимаете? Неустанно вселять мужество.

(подавая Иргард Зейферт пальто, я поблагодарил за свиные ножки, а потом сказал: «Теперь он перекинулся на педагогику. Что же мне — переквалифицироваться в зубного врача?» Моя ревность просто смешна. Так или иначе — Шербаума я потеряю...)

Представим себе: миром управляют зубной врач и педагог. Наступает век профилактики. Все недуги благополучно предотвращаются. Поскольку каждый учит, каждый также учится. И поскольку всех поражает карьеризм, все дружно ведут борьбу с карьеризмом. Предусмотрительность и осмотнительность умиротворяют народы. На вопрос о сути бытия отвечают не религия и не идеология, а гигиена и просвещение. Нет ни неудачников, ни запаха изо рта. Представим себе...

Наша конференция заседала два дня подряд в Шенебергском прелатстве. Во время перерыва между заседаниями я позвонил моему зубному врачу и описал (подчеркнуто критически) весь ход церемонии: вступительные слова, приветствия, обращенные к гостям, приветственные послания гостей делегатам, финансовый отчет казначая, шесть докладов в связи с введением унифицированного обучения, гессенский акцент кое-кого из выступавших, выделение нескольких основных задач, потом резолюции — о введении обязательного десятого года обучения, об урегулировании практических занятий в школе и о первой фазе переподготовки учителей и стажеров (включая обращение к палате депутатов). Потом я разъяснил ему — скорее в шутовском тоне, нежели в форме лекции, — неповоротливость нашей динамичной школьной политики — на смешливо процитировал коллегу Эндервица, с мнением которого был, в сущности, согласен: «Унифицированное обучение — это оптимальное средство противопоставить школу нынешней социально-политической ситуации». И вот я благополучно закончил свой оперативный обзор, но тут мой зубной врач, видимо, решил отомстить мне — он выдал подробную информацию о конгрессе челюстной ортопедии в Сен-Морисе, перемежая цитаты из вступительной речи на тему «Челюстные деформации» подробными описаниями пейзажей, детальнейшими сведениями о тамошних прогулочных маршрутах, о лиственных лесах и об альпийских лугах: «Густая синева озер произвела на меня неизгладимое впечатление. Очаровательный уголок земли».

Одним словом, говоря по телефону, мы друг у друга в долгу не остались: каждый нес свое. Собственно, то, что я хотел узнать: «А Шербаум? Он вам опять?» — так и потонуло в дуэте двух профессионалов.

— До скорого.

Мы повесили трубки.

(Представим себе: зубной врач и учитель управляют миром. Первый слушает второго, второй — первого. Их обычное приветствие «даешь профилактику» станет обязательным для всех — на всех языках. Прием будет идти днем и ночью... Как он сказал? «Звоните мне в любое время, не стесняйтесь...»)

Когда я вернулся к Иргард Зейферт в парадный зал прелатской резиденции, прения уже начались. Правда, против унифицированного обучения мало кто высказывался, но все выступавшие то и дело нахваливали традиционную школу и каждый раз, вспоминая о ней, буквально разливались соловьем.

— Несмотря на то, что мы безусловно приветствуем стремление кое-кого к новациям, нельзя забывать, что...

Иргард Зейферт и я отметили «легкое движение в зале» (позже оно было зафиксировано в протоколе) и демонстративно отвернулись. В зале шаркали ногами, покашливали, чихали, что, очевидно, должно было вызвать смех, — словом, обычная ученическая реакция. Мы начали рисовать рожицы на листках с повесткой дня, потом придумали себе новое развлечение — игру, в которую играли, будучи еще стажерами, когда гуляли вокруг Грюневальдского озера.

Она. Порядок перевода в следующий класс. Параграф А. Общие определения. Четвертый раздел.

Я. Плохо успевающий ученик, получивший оценку «неудовлетворительно», имеет меньше шансов на перевод в следующий класс, нежели ученик, получивший оценку «не вполне удовлетворительно».

Ирмгард поставила мне плюс, следующий вопрос получил право задать я.

Я. Второй государственный экзамен на замещение учительских должностей, параграф пятый, раздел первый.

— Экзамен начинается с допущения к нему.

Ирмгард Зейферт тоже получила плюс. Теперь была ее очередь спрашивать.

— Наказание в школе, права школьников. ШНО, раздел первый.

Я. В школах и воспитательных домах Западного Берлина запрещены телесные наказания... Иными словами, мне не разрешено отлупить моего ученика Шербаума, между тем не далее как вчера я серьезно размышлял: не лучше ли было затеять основательную потасовку, во время которой сломать ему кисть левой руки, — больница, гипсовая повязка, вынужденный досуг... И в результате: сожжение собаки в публичном месте не состоится. Я с улыбкой получаю дисциплинарное взыскание. Что вы на это скажете?

Но Ирмгард Зейферт, оказывается, именно сейчас открыла для себя Шербаума (или открыла себя в нем?). Во всяком случае, в прелатской резиденции — на трибуне в это время зачитывали дополнительные предложения — она вполголоса завела ту же песню, что и он. Еще до конца заседания мы смылись, но она продолжала в том же духе. Зейферт лепила Шербаума по своему образу и подобию, она превратила его чуть ли не в христосика. Он, видите ли, должен совершить то, что ей не удалось совершить в семнадцатилетнем возрасте.

— Не может быть, чтобы вы говорили серьезно.

— Правда, Эберхард. Я верю в этого мальчика.

Она говорила о том, что все лучше и лучше понимает Шербаума. Почти дословно повторила стратегические наметки моего зубного врача.

— Если бы я могла вселить в него мужество. Мне хотелось бы без усталости все-таки в него мужество.

Да, она за словом в карман не лезет, и аргументы у нее всегда наготове. И она не боится говорить, что прислушивается к «внутреннему голосу». Может, это из-за того, что она возится с декоративными рыбками? Я знаю, что она готовится к урокам, разглагольствуя перед аквариумом. А потом, наверно, внимает советам вуалехвостов и золотистых окуньков. Кого же ей еще слушать? Если говорить напрямик, Ирмгард Зейферт одинока.

А я, доктор? А я?.. Крошка Леванд уже опять подсунула мне записку: «Если вы не оставите в покое Флипа, вы оплатите за свое контрреволюционное поведение». Неприкрытая угроза, доктор. И никто мне не поможет. Бросить всю эту муть и уединиться: с меня довольно! С меня довольно! Пора придумать себе какое-нибудь бессмысленное хобби и уйти в него с головой: например, устраивать улиточные бега...

В перемену в десять часов она прижала Шербаума к задней стене крытой стоянки для велосипедов. И тут она начала все-таки в него мужество:

— Вы правы, Филипп. Разве вам помогут наши компромиссные решения, ежедневная капитуляция взрослых?

Меня она использовала в качестве подопытного кролика:

— Мы — не правда ли, дорогой коллега, — мы вот уже много лет как не способны к спонтанным действиям?

(В эту минуту я вспомнил только ту пощечину: «Я способен. Я способен». Так мне и следовало сказать. Однако я промолчал и нащупал языком свои мостовидные протезы.)

— Как часто я собиралась встать перед классом и дать показания: да, такой я была в свои семнадцать лет. Так я поступала в семнадцать лет... Помогите мне, Филипп. Покажите пример. Укажите мне путь, укажите нам путь, не то наша несостоятельность распространится на новые поколения.

Вид у Шербаума был такой, словно он не знал, плакать ему или смеяться.

— Я буду с вами, когда вы вступите на ваш тернистый путь.

Он заморгал и попытался было перевести взгляд на стайку воробьев, чтобы избежать ее горящих глаз. Но ловушка была закрыта наглухо.

— Глядите на меня, Филипп. Я понимаю, что скромность мешает вам признать величие задуманного вами.

Он укрылся за ухмылку, ямочки так и не появились. Прежде чем я помог ему выйти из этого дурацкого положения, сообщив, что перемена кончилась, Шербаум сказал:

— Я вообще не знаю, о чем вы говорите. И мне до лампочки, что вы там делали в свои семнадцать лет. Наверняка что-то делали или не делали — в семнадцать лет это не считается.

Подобно Зейферт, Шербаум тоже использовал меня как подопытного кролика:

— Вот вам, например, господин Штаруш. Когда я объясняю ему, что происходит во Вьетнаме, он рассказывает о своей шайке подростков и читает лекции о раннем анархизме семнадцатилетних. Но мне ни к чему его шайка. Что касается анархизма, то я его вообще не признаю. Решил стать врачом или чем-то в этом роде...

Шербаум от нас ускользнул. И мы с Ирмгард Зейферт пробегали весь свой пустой урок по школьному двору. То, чего не захотел выслушать он, пришлось проглотить мне слово за словом:

— Мальчик даже не догадывается, что он воистину велик. Он видит лишь свой план, свой поступок и не понимает, какое эхо это вызовет, не понимает, что он нас спасет...

(В ее голосе никаких колебаний.) Школьный двор почти пуст, и чуть слышно выдохнутое слово «спасет...» зависло в воздухе в виде идеально круглого пузыря...

— Действительно, Эберхард, с тех пор как появился юный Шербаум, во мне опять проснулась надежда. В нем такая сила и чистота, что он нас — да, я не боюсь это произнести, — что он спасет нас. Мы должны вселить в него мужество.

Трезвый январский холод не дал ее словам улетучиться. (Ходить по морозу взад и вперед, открывать рот и повторять: «Сила — чистота — мужество».) Я требовал, чтобы Ирмгард Зейферт оставалась на почве реальности, при этом обращался к ней на «ты»:

— Ты не должна накручивать Филиппа, он и так взвинчен, и это вполне понятно. Неблагодарно взваливать на мальчика еще и нашу ношу. Кроме того, нечестно с твоей стороны разукрашивать твой, прямо скажем, не очень благовидный поступок наподобие рождественской елочки. Праздничная иллюминация здесь не к месту, дорогая. В конце концов Шербаум не мессия. Спаситель... Курам на смех. Речь идет просто о пареньке с тонкой кожей, он чувствует не только несправедливость, с которой сам сталкивается, но и ту несправедливость, которая совершается далеко от него. Для нас война во Вьетнаме в крайнем случае результат политики или неизбежное проявление продажной социальной системы, а его не интересует причина, он видит горящих людей и хочет это пресечь, во что бы то ни стало пресечь.

— Именно это я и называю, с твоего разрешения, подвигом во имя спасения...

— Никакого подвига не будет.

— Почему не будет? Время созрело...

— Возьми себя в руки. В конце концов мы, как педагоги, обязаны ясно растолковать мальчику последствия его поступка.

Но Ирмгард Зейферт нравилась и она сама, и возможность отрешиться от земных расчетов. Не только холод вызвал румянец на ее щеках. Она смеялась, ее радость оживляла школьный двор — такую радость обычно приписывают христианским мученикам.

— Если я еще к тому же была бы верующей, Эберхард, то сказала бы: святой дух отметил мальчика, от него исходит сияние.

(При этом она такая тоненькая в своем пальто, и жесты у нее робкие и неуверенные. Истерия молодит Ирмгард. Если я еще немного подожду, не поставлю ее на место, она, как переволновавшаяся девчонка, окончательно разнюнится на этом морозе и захнычет: «Но ведь это необходимо... Мы не должны... Пускай хоть какой-то отблеск... Это чудо, Эберхард, чудо...» Что она там плетет о чуде? Я сам был бы до смерти рад, если бы одно дерево вдруг исчезло, но голые каштаны стоят ровной шеренгой — без просветов.)

Когда я пересказал зубному врачу наш душеспитательный разговор и шаманские заклинания на школьном дворе, он кратко и убедительно подвел итог:

— Способность вашей коллеги впасть в транс заставит мальчика задуматься, какого рода сторонников привлечет к нему его поступок. Чем больше она будет восторгаться, тем труднее ему будет чиркнуть спичкой... Держите меня и впредь в курсе. Ничто так не сердит героя, как рукоплескания до того, как он совершил задуманное. Таковы они все, эти герои.

Нет. Он не таков. Не герой. Не хочет вести за собой других. Не гонится за сторонниками. В его глазах не горит фанатизм. Он даже не умеет быть невежливым. Он не резок, не грубиян, не сильная личность. Никогда не захватывает первенство. (Его сочинения не в счет.) И не лезет вперед. (Ему без конца предлагают стать главным редактором школьной газеты, но он каждый раз отказывается: «Это не по мне».) При том он не робкого десятка, не стеснителен и не лентяй. Ни разу не случилось, чтобы он отстал от класса. И в то же время он никогда не старался казаться особо бесстрашным, вызывающе храбрым, не говорил, что не боится высоты. Его насмешки не оскорбительны. Его расположение не навязчиво. (Никогда он не был мне в тягость.) Он не лжет ни при каких обстоятельствах. (Только в сочинениях, но это не в счет.) Его трудно невзлюбить. И он не пытается нравиться. Внешность у него неброская. Уши не оттопырены. Он не говорит в нос, как его подружка. И он не вешает. Он не мессия.

Не несет людям весть. Он совсем другой.

Мое прозвище было Штёртебекер. Я ловил крыс голыми руками. Когда мне минуло семнадцать, меня призвали отбывать «трудовую повинность». В то время я и моя шайка попали уже под следствие. Меня допрашивали: обер-фельдмейстер прочел утром перед строем приговор — отправка на фронт для искупления вины, стало быть, штрафной батальон. Я обезвреживал мины. Мне приходилось обезвреживать мины под носом у противника (Штёртебекер остался в живых, Мооркен подорвался на mine). Теперь Штёртебекер — штудииерат, и голова у него полна всяких старых историй.

Я только и умею что рассказывать эти истории, я без конца рассказываю их Шербауму, который умеет хорошо слушать. Я верю в эти истории. Между Шербаумом и его замыслом я складываю камешек за камешком точно датированные, научно обоснованные, стало быть, вполне исторические истории. Я предложил ему пройти немного. Мы отправились от поселка Эйхкамп сперва к Чертовой Топи, потом к Шебенчатой горе (Пик Обломков). С искусственно насыпанного холма катались на санках. Мы обошли американскую радарную установку и, перечислив все, что открывалось нашим глазам (жилые дома концерна «Сименс», Европейский центр со звездой — рекламой «мерседеса» — и все еще строящуюся телебашню в демократическом Берлине), мы сказали:

— Вот он, Берлин, здорово большой.

Но я гнул свою линию:

— Видите ли, Филипп, в сущности, все время встает один вопрос: можно ли передать свой опыт? Мы уже некоторое время изучаем на уроках Великую французскую революцию и ее последствия. Говорили о разочаровании Песталоцци и о трагическом поражении Георга Форстера в Майнце. Волны революции докатывались даже до моего благополучного родного города, ибо жители Данцига, всегда озабоченные тем, как бы не попасть в зависимость к кому бы то ни было — будь то польская, шведская или русская корона, — находились тогда в зависимости от пруссаков. Не только простой люд, но и весьма самонадеянные бюргеры с сочувствием следили за событиями во Франции. Но они ни в коем случае не хотели допустить переворота, разгула силы, баррикадных боев, Комитета общественного спасения⁸, гильотины — словом, всего болезненного революционного процесса; но вот семнадцатилетний гимназист Бартольди решил с помощью нескольких однокашников и портовых рабочих, в большинстве своем поляков, — они жили в Хакельверке — провозгласить в Данциге республику, однако он потерпел поражение еще до того, как осуществил свой план. Тринадцатого апреля тысяча семьсот девяносто седьмого года, когда заговорщики встретились на Бойтлергассе — там находился дом родителей Бартольди, хорошо обеспеченных торговцев, — соседни-

⁸ Комитет общественного спасения (1793—1795) — один из комитетов французского Конвента. В период якобинской диктатуры фактически играл роль правительства.

бюргеры заметили скопление лиц «с целью совершения противозаконных действий», так они это назвали. Были вызваны судейские. Начались аресты. Бартольди приговорили к смерти, спас его только указ королевы Луизы о помиловании — на следующий год она вместе с Фридрихом Вильгельмом Третьим посетила город и была встречена всеобщим ликованием.— указ заменил Бартольди смертную казнь заточением в крепости. Очевидно, он просидел в крепости Торгау двадцать лет. Даже поражение Пруссии и последовавшее затем превращение города Данцига в республику не изменили его участи. Мальчиком я пытался разыскать отчий дом Бартольди на Бойтлергассе. Мемориальной доски там не было. В хроники города дело Бартольди вошло не как историческое событие, а, скорее, как некий курьез. Нет, нам не хотят лишний раз напоминать о Бартольди.

Мы спустились вниз. Шербаум молчал. Вороны над Шебенчатой горой многозначительно напоминали о причинах возникновения этого насыпного холма, часть которого уже успела порости лесом. (Я предложил выпить «чего-нибудь горячительного» в лесничестве Шильдхорн.)

— Вы спросите себя, Филипп, что он хотел сказать этой историей. Наверно, вы полагаете, что я пытаюсь отговорить вас от вашего намерения — на днях ваша подружка Веро обвинила меня в своем подметном письме в том, что я «хочу лишить вас уверенности». Нет, это в прошлом. Действуйте, действуйте, действуйте. Но и мне должно быть разрешено проводить параллели между задуманным вами поступком и историческими фактами. Надеюсь, вас интересует эта история?

— Точно. Я буду задавать вопросы. Позже.

— Я считаю вот что: попытка Бартольди начать революцию и провозгласить республику была, в сущности, опрометчивой и глупой; он вверх в несчастье не только себя, но и польских портовых рабочих (только его однокашники — таково предание — были оправданы). Бартольди не хватало трезвости революционера. Правда, юноша не мог знать, что даже сам Маркс далеко не сразу понял, что только класс, которому нечего терять, кроме своих цепей, и который может приобрести весь мир, призван совершить победоносную революцию. И вы, Филипп, зная все это — ведь вас заранее предостерегли, — должны понять, что ваш замысел — сожжение собаки в публичном месте — только тогда окажется эффективным, когда широкие слои населения — я сознательно избегаю понятия класс — сумеют истолковать этот поступок как призыв к дальнейшим действиям. Но об этом и речи нет. Вы же видели, что приятели Веро рассматривают это просто как спектакль, как сенсацию. И вы видели, что моя уважаемая коллега фрау Зейферт, как ни крути, понимает вас совершенно превратно.

— А как звали вашего Бартольди?

— Даже имени его история не сохранила.

(Мы уже сидели в лесничестве Шильдхорн за горячим пуншем.) Шербаум спрашивал об экономическом положении города. Я рассказывал о спаде в торговле лесом и о долговом бремени (два миллиона прусских талеров), которое, впрочем, уменьшилось в 1794 году благодаря государственным субсидиям. Тут он захотел узнать поподробней о регулярных частях, составлявших данцигский гарнизон. Мой ответ произвел на него большое впечатление: в гарнизоне постоянно числилось в общей сложности шесть тысяч военнослужащих, в том числе артиллеристы, крепостные войска и лейб-гусары; и всему этому оккупационному войску противостояли лишь тридцать шесть тысяч гражданских лиц; что касается вооруженных отрядов горожан, являвшихся в прошлом важным орудием в руках ремесленных гильдий, то им пришлось разоружиться. Я открыл свою папку, показал материалы «К истории Бартольди» и процитировал путевые заметки одного иностранца, попавшие ко мне: «Французская государственная система имеет здесь много приверженцев. Но я не думаю, что они когда-нибудь решатся пойти на измену прусскому правительству, если оно будет править с похвальной умеренностью и мягкостью».

И тут Шербаум понял, к чему я клоню:

— Не так уж много изменилось с того времени.

— Вот почему, Филипп, я считаю: история Бартольди не должна повториться.

(Но опыт нельзя передать даже за пуншем.)

— Во-первых, я не стремлюсь к революции. Во-вторых, я все логически вычислил. Не знаю, имеете ли вы представление о математической логике...

— Мне известно, что у вас плохие отметки по математике.

— Это относится только к прикладным разделам. Во всяком случае, моя форму-

ла верна. Сначала, правда, у меня ничего не получалось, потому что я исходил из посылки — это произойдет в субботу. Но даже воскресные газеты не успели бы откликнуться. Понедельник вообще отпадает. Теперь я разрабатываю вариант со средой: в среду днем. В тут все вдруг заиграло. Уже в четверг соберется палата депутатов. В пятницу я опять буду в состоянии давать интервью, соберу в больнице пресс-конференцию. И обнародую заявление. Состоятся первые манифестации солидарности. Не только в Западном Берлине, но и в Западной Германии. В некоторых крупных городах сожгут собак. Позже к этому присоединится и кое-кто за границей. Веро называет это ритуализированной формой вызова. Ну да ладно, мою историю надо как-то окрестить. Я покажу вам формулу. Но только потом, когда все будет позади.

— А если пойдет по-другому, Филипп? Если вас убьют на месте?

— Стало быть, формула была неправильной, — сказал мой зубной врач. — Ох уж эти ваши истории. Поступок Бартольди прямо-таки взывает к повторению.

— Вы считаете, он станет действовать...

— Если ясная и морозная погода продержится до следующей среды, у меня не будет времени заняться его дистальным прикусом и по силе возможности исправить его.

— Мне бы ваши заботы.

— Скажите, милый док, отвлекаясь от тех исторических примеров, которым вы, как педагог, призываете следовать, есть ли у него какой-либо живой пример? Вы ведь знаете, у нас всегда перед глазами идеал. Я почти убежден, что гимназист Бартольди довольно долгое время служил для вас опорой. Угадал?

Мы направляем воспоминания в определенное русло (в поисках утерянного образа). Вот я уже опять надел короткие штанишки и стою перед старинными домами с остроконечными крышами на Бойтлергассе. А он уверял, что его идеалом был чудобегун Нурми. (Мы сошлись на том, что потребность иметь живые примеры в профилактических целях должна удовлетворяться передачей из поколения в поколение живых примеров. «Даешь профилактику!») Я изложил ему свое построение, созданное, так сказать, по аналогии: мой отец был лоцманом, сына называли Штёртебекером; его отец, став солдатом противовоздушной обороны, тушил огонь, сын хочет принести жертву — разжечь огонь; и тут зубной врач согласился со мной:

— Разумеется, вся цепь ваших умозаключений сметана на живую нитку, но я все же не исключаю, что предполагаемые ожоги и увечья его отца могли бы нас на что-то натолкнуть. Не мешало бы вам хоть разок напроситься к мальчику в гости...

Она живет среди тряпичных собак и читает изречения председателя Мао. В ее комнате, которая, очевидно, меньше, чем его, среди множества самоделок взгляд привлекает внимание большое «крупнозернистое» фото Эрнесто Че Гевары. Все это я знаю со слов Шербаума, который называет ее комнату детсадовской, а тряпичную коллекцию зверинцем. Он говорит об этом добродушно-снисходительно:

— Нуда, дело вкуса.

С коллекцией мерседесовских звездочек она до сих пор не хочет расстаться, хотя он не раз повторял:

— Это уже пройденный этап.

А она привязана к старым трофеям.

— Собственно, то было хорошее время — хорошо собирать звездочки.

Он говорит:

— Иногда мне здорово надоедает: она читает Мао, как моя мама Рильке.

Хмурого Че Шербаум называет Pin-up⁹ Веро.

Когда он оглядывается назад, в сумрачные, еще доисторические времена, в нем всплывает воспоминание:

— Раньше там висел Боб Дилан. Я сам подарил ей этот портрет. И написал на нем: «He's so damn real»¹⁰. Нуда, это было давно.

У Филиппа Шербаума тоже прикреплена кнопками в простенке между окнами фотография, вернее, газетная полоса небольшого формата — три узкие колонки; в средней колонке, как бы разделяя текст, помещен портрет примерно в два раза больший,

⁹ Фотография кинозвезды или красавицы, которую вешают на стенку (англ.).

¹⁰ Вот он — настоящий! (англ.).

чем обычная фотография на паспорте. На ней юноша лет семнадцати — твердое круглое лицо, волосы сперва смочены, а потом тщательно зачесаны назад, пробор слева. Открытое и серьезное лицо, обычная фоторулыбка; я сразу узнал мальчика гитлеровских времен, мальчика моего поколения.

— Кто это?

(Я спросил Шербаума: «Могу ли я как-нибудь зайти к вам в гости, Филипп?» И он ответил, как всегда, вежливо: «Ясное дело. Ведь я у вас уже был. Только я не умею заваривать чай». И когда я и впрямь пришел к нему — и даже принес цветы его матери, которые оставил в передней, — он отвечал на все мои вопросы, ничего не приходилось повторять дважды.)

— Этот? Гельмут Хюбенер. Член какой-то секты. Вроде мормонов. Она называлась «Святые последнего дня». Родом он был из Гамбурга, но напечатано о нем в Киле. В их группе было четверо: подмастерья, служащие. Продержались они довольно долго. Но двадцать седьмого декабря сорок второго его казнили здесь, в Берлине, в Плетцензее, ну а до этого, конечно, пытали.

Шербаум разрешил мне снять со стены статью — я хотел прочесть и то, что было напечатано на оборотной стороне: увидеть фотокопию официального объявления о его казни. (Статья среди других статей. Справа на оборотной стороне рубрика «Новости вкратце» кончалась заметкой о конкурсе молодых ученых «Молодежь исследует».) Рядом с колонцифрой я прочел: «Дойче пост».

— С каких пор вы читаете профсоюзную печать?

— Наш почтальон рекламирует эту газетку. Довольно скучную, но она бесплатная. Все же я благодарен ей, без нее я бы о Хюбенере нипочем не узнал.

Я смутно вспомнил, что о Хюбенере говорилось в статье «Свидетельства сопротивления», которую дала мне прочесть Ирмагд Зейферт, — да, там было написано что-то о семнадцатилетнем практиканте-служащем и его группе Сопротивления. (Почему я не говорил об этом на своих уроках? Почему всегда только о слишком позднем офицерском заговоре¹¹? И к чему вся эта путаная чепуха о моей шайке?)

Шербаум не дал мне чересчур долго ломать башку. Поскольку я молчал, он нанес удар:

— Да, такое тоже было. По сравнению с этим ваша шайка подростков — пустой номер. Больше года они печатали листовки и распространяли их. Причем среди самых разных людей. Во-первых, среди портовых рабочих. Во-вторых, среди французских военнопленных, разумеется, в переводе. В-третьих, среди солдат-фронтовиков. Он начал уже в шестнадцать. И он не занимался разрушением церквей и прочей мурой. Ничего похожего на ранний анархизм. И он не был таким уж простачком, как ваш Бартольд. Умел стенографировать и даже знал азбуку Морзе.

(А я, дурак, надеялся и боялся, что мое прошлое главаря шайки станет для него примером или что примером станет его отец — солдат противовоздушной обороны с этими его предполагаемыми ожогами.) Правда, я все еще продолжал искать в комнате Шербаума доказательства, подтверждающие цепь моих мотивировок, например фотографии руин или снимки, которые показывали бы его отца на дежурстве. И я напомнил ему, что меня в мои семнадцать лет захлнули в штрафной батальон.

— Знаете, что значит разминирование без огневого прикрытия?

Но Шербаум по-прежнему твердо хотел учиться у практиканта Хюбенера.

— Он стенографировал сообщения, которые передавало лондонское радио. Кстати, я тоже окончил курсы стенографии. Когда история с Максом будет позади, я начучусь передавать на коротких волнах и займусь азбукой Морзе.

(И то и другое я не умею. Хотя осенью сорок третьего в военном лагере допризывников поблизости от Нойштадта в Западной Пруссии меня хотели научить азбуке Морзе. Может быть, я даже умел передавать и принимать телеграммы: семнадцатилетние часто делают то, о чем в сорок лет с трудом могут вспомнить, — пример тому Ирмагд Зейферт. Шербаум музыкален: ему легко научиться выстукивать сообщения на телеграфном аппарате.)

После того как я опять прикрепил кнопками к стене страничку из профсоюзной газеты, мы замолчали. Филипп играл со своей таксой. Приятная комната, но убранная не слишком тщательно: сразу понятно, что хозяин комнаты Шербаум. (Рубрика

¹¹ Имеется в виду заговор 20 июля 1944 года — неудавшееся покушение полковника Штауффенберга на Гитлера.

называлась «Голос молодежи». Я запомнил имя журналиста, его звали Зандер, и решил ему написать.) Лево́й рукой Филипп отбивался от своей длинношерстной таксы. Я сделал несколько выписок. После оглашения приговора Хюбнер, по имеющимся сведениям, бросил судьям «Народного трибунала»: «Подождите, придет и ваш черед».

Позже домработница принесла нам чай и печенье. Между двумя глотками Шербаум стал считать по пальцам:

— А сколько лет было, собственно, Среброусту, когда казнили Гельмута Хюбнера?

— В тридцать третьем он вступил в нацистскую партию, тогда ему исполнилось двадцать девять.

— И теперь он канцлер.

— Говорят, за прошедшие годы он осознал...

— Теперь ему опять позволили...

— Он не вызывает опасений...

— Он, именно он...

Постепенно в Шербауме нарастал гнев — вот-вот он взорвется. Сперва он сидел, потом вскочил, но не повысил голоса.

— Нет, его я не признаю. Вонючка. Когда я его вижу по телеку, мне хочется блевать, как перед Кемпински. Он, именно он расправился с Хюбнером, хотя судью, который с ним расправился, звали иначе. Я это сделаю. Бензином я уже запасся. И специальной зажигалкой, чтобы не задувал ветер. Слышишь, Мак! Нам придется.

Филипп запустил руку в длинную шерсть собаки. Могло показаться, что они опять играют.

Даже если он этого не сделает, наше болото он все равно взбаламутит. Мне придется отказаться от службы. И от прочих планов. Но разве может человек, который уже перешел какую-то черту, начать с нуля? Желание поменять обстановку создает, правда, видимость движения. Но что значит движение само по себе? Ее декоративные рыбки тоже все время движутся в одном и том же ограниченном пространстве. Чрезвычайно оживленный застой.

Не я позвонил ему, он набрал мой номер.

— Я попал в трудное положение.

(Отказала его машинерия? Или какой-то пациент укусил его за палец? А может, хочет уйти помощница?)

— Ваш ученик требует от меня того, на что я, как врач, не могу согласиться...

(Я готов расхохотаться ему в лицо: «Ну что, доктор? С парнем не соскучишься...»)

— Трудно представить себе, что ваш ученик сам набрел на эту мысль. Наверно, вы ему посоветовали?

(Я чист, как ангел, ничего не понимаю: «Как вы могли заметить, я уже давно вышел из доверия у Шербаума».)

— Или вы дали понять ему не прямо, а косвенно, что такая возможность существует, конечно чисто теоретически?

(«Какая же, доктор, какая?» Что его так здорово смущает? Что лишает такого прагматика, как вы, радостно-привычного чувства самонадеянности? На что вы жалуетесь? Чем я могу помочь...»)

Оказывается, мой ученик — или, скажем лучше, без пяти минут пациент моего зубного врача — попросил об обезболивающем или частично обезболивающем средстве для его длинношерстной таксы Макса. Он будто бы сказал: «Вы ведь пользуетесь инъекциями, снимающими боль. Должны же быть такие инъекции и для собак. Чтобы он ничего не почувствовал, понимаете? И вы наверняка знакомы с каким-нибудь ветеринаром, а может, вы получаете эти лекарства просто так в аптеке».

— Думается, несмотря на известные опасения, вы не отказали мальчику в его маленькой просьбе. Ведь вы должны вселять в него мужество, неустанно вселять мужество.

— Странные у вас идеи!

— Сущий пустяк. Всего лишь местная анестезия.

— Вы просто понятия не имеете!

— Не понял. Вы поможете ему или нет?

— Конечно, мне пришлось отказать...
— Конечно...
— Мальчик впал в отчаяние.. Он даже слегка зашепелявил.
— Так ужасно обмануть его доверие...
— Тем выше мы должны ценить стремление парня понять. Он сказал: «Я могу вас понять. Вы врач и должны оставаться врачом при всех обстоятельствах». И впрямь поразительный мальчик. Образцово-показательный.

Мой Шербаумчик бьется головой об стену. (Спротивление врача не сломишь.) Значит ли это, что я должен достать ему лекарство для инъекций? Но я больше не хочу. Задергиваю занавес. Ползу назад до тех пор, пока не наткнусь на пемзу — туф — цемент. Вот-вот! Здесь она стоит. Между сдвинутыми почти впритык штабелями пустотелых плит...

А может, купить черепаху и наблюдать за ней? Как ей удастся жить так замкнуто, не вылезая из своей скорлупы? Сколько жалости к себе должно претвориться в плоть, чтобы плоть стала панцирем, защищающим от обид... Таким образом возникли бетонные бомбоубежища. Надежные массивные укрытия. И так называемый бункер-ячейка, самый маленький бункер, рассчитанный на одного человека, его черновые наброски были сделаны в сорок первом году одним французским военнопленным, потом проект доработали и по нему выстроили огромное множество этих бункеров.

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.

(Окончание следует)



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ФЕДОР АБРАМОВ

★

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Небольшой цикл «Наедине с природой» возник, как и «Трава-мурава», из многолетних заметок в записных книжках и на отдельных листах.

Почти повседневные записи вел Федор Абрамов давно. Первая записная книжка помечена 1939 годом, всего несколько записей. Более регулярно стал он вести записные книжки позже, когда твердо уверовал в свое писательское призвание, когда появилось чуть больше свободного времени, чуть легче стал жить материально, более устойчивым стал домашний быт, а затем появилась возможность совершать загородные прогулки и даже съездить в Крым, на Кавказ, побывать у Черного моря.

Постепенно любовь к природе становилась у Федора Абрамова столь же могучей, интенсивной, творческой, как любовь к России, народной жизни, литературе. И с годами эта любовь не притуплялась, а обострялась.

Юг никогда не был близок сердцу писателя. Он навсегда был пленен Севером. Север, Пинежье оставались для него самой большой радостью, самой большой любовью. И не случайно он неоднократно повторял: «На юг нужно ездить единственно для того, чтобы оценить красоту и поэзию Севера», «Юг — для тела, Север — для души», «После юга будешь больше любить свои леса, луга и реки». А в заметках к задуманной автобиографической повести, осмысляя прожитую жизнь, он писал 31 января 1983 года: в детстве «несчастьем считал, что родился в захолустье. Возненавидел сосну... Грезил о юге, о пальмах. Впоследствии взгляд у меня коренным образом изменился. Юг не понравился. Лежбища. Жара. Голо. Колюче. И любовь к сосне...»

«Любовь к сосне» вызревала постепенно. Он думал о ней на Севере и в пригородах Ленинграда, на Кавказе и в Крыму. «Впервые увлекся сосной» в 1958 году. А затем мечтал написать «Поэму о сосне».

Другой неосуществленный замысел — «Поэма о заливе». Более двадцати лет мы почти ежегодно жили по два — три месяца в Доме писателей в Комарове, под Ленинградом. Прогулки по прибрежным лесам Финского залива доставляли нам много радости. Постепенно у нас выработалась потребность, ставшая привычкой: еженедельно в любое время года, в любую погоду выбираться из шумного города в лес, в парки, на залив — в тишину, в природную красоту — в Павловск, Пушкин, Комарово. Если не было времени ехать далеко, отправлялись в Приморский парк Победы, лучший парк, созданный в Ленинграде за послевоенные годы.

Нередко приходилось нарушать установившееся правило, и мы сразу же чувствовали, как сдают нервы, резко ухудшается самочувствие, снижается работоспособность. Тогда напоминали друг другу, что пора выбираться за город: «омыться, очиститься», зарядиться энергией.

До последних дней сохранил Федор Абрамов юношески восторженное отношение к миру, жизни, природе. Приведу несколько записей последних лет: «Заслуженный отдых. Хожу, люблюсь цветущей зеленью, заливом и пью и пью воздух — целебный, пахучий, комаровский», «И острота чувств, как у наркомана: упиваюсь расцветающей

землей. Верба, березовый ситчик, черемушка, тополь, зяблик, валуны, чайки... Все вижу, от всего в восторге. Надолго ли?»

Он знал свой трудный, беспокойный, неуравновешенный нрав и характер. Восторженность нередко сменялась отчаянием, рефлексией, безразличием.

Тогда и красота не радовала. И все-таки природа часто излечивала душевные недуги, возвращала бодрость, жизнестойкость: «Снова захотелось жить, работать», «...залив... пока это ни с чем не сравненное место, где можно омыть, освежить душу, содрать с себя шлак и грязь города». И рассуждение-вывод: «Природа, конечно, самый лучший врач. Это как ребенок каждый раз, попадая в объятия матери, заряжается от нее энергией, так и мы, взрослые, здоровеем душевно и телесно, выезжая в природу».

Как возмущался, как негодовал Абрамов, когда встречал в лесу, на речном или морском берегу людей с орущими транзисторами: «Почему, почему они не слушают музыку природы, почему не видят ее красоты, не чувствуют ее исцеляющей, одухотворяющей силы?» И сразу возникали мечты-предложения: создать заповедники тишины, учить людей понимать природу как искусство.

Сам Федор Абрамов любил и воспринимал природу многосторонне: как человек, выросший в деревне, как мыслитель, художник, поэт. Он часто сожалел, огорчался, что в его романах, повестях, рассказах мало развернутых пейзажей, мало живописных подробностей. Он ценил выразительную подробность, яркую деталь, дорожил малейшими оттенками. Радовался, когда удавалось запечатлеть в слове поразившую картину, возникшую мысль. Горевал, что законы целого требуют отказываться от многих дорогих его сердцу зарисовок, деталей, размышлений. И вот как восполнение невысказанного — эти представляемые ныне заметки.

Всегда дорожа временем, он объяснял сам себе, почему делает многочисленные записи: «Зачем трачу время? А затем, чтобы красота не пропадала. Затем, чтобы хоть каплю из того, что вижу и обоняю, удержать».

Ему очень, очень хотелось написать повесть «На моем любимом угоре», в которой он собирался рассказать о той красоте, которая окружала и питала его в Верколе, на родине, возле нашего небольшого домика, где мы жили каждое лето с 1975 года. Он не раз изъяснялся в любви к Северу, а о любимом угоре написать не успел. Остались только отдельные наброски, зарисовки, лирически исповедальные строки, как, например, запись от 1 августа 1979 года:

«Уже который день задыхаюсь от любви к жизни. Не могу наглядеться на ненаглядную Пинегу, на монастырь, на поля. Жито (ячмень) ходит бронзовыми волнами — как море. Да, ячмень выделился из зелени, или, как говорят у нас, хлеб отделился от травы. В поле рождается хлебный свет.

Порадовали ласточки... Понемногу начинают оживать и грядки с цветами... Но лучшие цветы — пестрая, благоухающая трава, подступающая к оградке со стороны кряжа».

Цикл «Наедине с природой» собран самим автором, но не до конца отшлифован им. Некоторые заметки он стилистически отчеканил, некоторые остались в первоначальном виде. Композиционно расположить их пришлось мне одной. Я не убирала повторы, которые, возможно, исключил бы сам автор. Теперь они исполнены особого смысла. Они укрупняют, подчеркивают привязанности автора, остроту его восприятия, постоянные поиски колоритного, меткого слова, образа, сравнения, в конечном счете — богатство, своеобразие его личности.

Лишь на первый взгляд живописные лирические миниатюры могут показаться простыми, незамысловатыми. А если вчитаться и вдуматься... В них свет авторской личности, свет художника-мыслителя, свет родственных ему стихий — народно-фольклорной и культурно-исторической.

Природа в заметках Абрамова предстает как радостный праздник постоянно меняющейся красоты, целительное, врачующее начало и как могучая первооснова бытия, вечный источник искусства, творчества.

В привычном, примелькавшемся, обыденном писатель открывает прекрасное, глубинное, сложное, трепетно живое. Заметки наэлектризованы мыслью и чувством. Восхищение и размышления, тайны бытия и думы о России, об истории, национальном характере, человеке, искусстве. Все в них слито воедино: радость, поэзия, осмысление мира.

Чаруса

Бывает так: устанешь бродить в густом лесу или просто заблудишься в нем. И вдруг выйдешь на манящую, изумрудно-яркую полянку. Хочется броситься на траву, отдохнуть: от дум, от тревог, от усталости. Но... обольщаться нельзя. Это чаруса, болото, трясина.

Что за сила сокрыта в заливе? А в океане, перед которым залив — просто лужа? Песок? Не застывшая ли лава энергии? И так вся материя. Овеществленная энергия.

Глубина постижения природы — это глубина и масштабность человека. Научиться воспринимать природу как искусство.

Закат

Сперва был огромный раскаленный шар, потом по мере приближения к черте горизонта шар сверху и снизу сплюснулся, будто по нему стали бить кувалдой, потом образовалась пирамидка с закругленной верхушкой, потом шапка, плоский курганчик, краюшка и наконец тоненькая красная ниточка, подернутая сиреневой дымкой. Красной зари не было. Заря была палевая.

Небо без облаков что море без волны.

Черное море заражает человека своей энергией, своим неистовым жизнелюбием, оно возбуждает в нас желание жить, работать.

Балтика, Север настраивают на философские раздумья, на разговор с вечностью.

Время и жизнь

В Судаке — кругом голые скалы, но кое-где у подножия гнездятся деревья и наступают на вершины.

Лес атакует скалы.

Трудно первым деревьям — их смывает водой, срывает ветром. Но они вгрызаются в камень и пускают корни на века. Так солдаты атакуют вершины... Водрузила зеленое знамя жизнь.

Жизнь и камень

Деревья здесь сами как каменные. Они сильнее камня. Они раскалывают камень. Это целая эпопея страшной борьбы жизни и камня.

Поражает в Крыму одно: все самое прекрасное и величественное создано в XIX веке.

Даже природу украсил XIX век. Даже в природе он оставил память о золотом веке.

Спуск с гор оказался труднее, опаснее подъема. Так и в жизни: спуск, падение, неудачу пережить труднее, чем подъем. Тут-то многие и падают, скатываются, не удерживаются на ногах.

Единственное, зачем надо ехать на юг, — чтобы оценить красоту и поэзию Севера.

Север и юг имеют много общего — то же торжество первозданной природы, скалы, море, сосны.

Нет полутонов. Резкие краски, резкий климат.

Реки Севера имеют свой, особый запах: они пахнут древесиной, ибо по ним сплавляют лес.

Переходное время в природе (конец осени, конец зимы) так же тягостно, как в человеческой жизни переход от детства к юности, от юности к зрелости, от зрелости к старости.

Нагретый воздух — как дымок.

Ленинградская погода с рефлексией.

Весна чувствует, осень размышляет.

Лес. Посмотрел вокруг — ровная линия леса на горизонте. Природа не любит выскочек.

Слоны на Приморском шоссе

Едем по Приморскому шоссе.

— Смотри-ка, смотри-ка, слоны у нас под Ленинградом, — толкает меня в бок приятель.

Глянул за окно — и в самом деле, голые подстриженные ивняки вдоль обочины шоссе напоминают стадо бредущих друг за другом слонов.

На Псковщине молоденькую березку называют весёлкой, а старую, плакучую — глушнёй.

После дождя ель с вершины до комля залита слезой. Будто заплаканная вдова.

Три сосны выросли из одного корня, но подались в разные стороны. Так и живут, отвернувшись друг от друга, словно поссорились.

С березой — можно под ручку (земная). А с сосной — извините. Мелок, суетен ты для нее.

Осины — как журавли среди деревьев: все время курлычут.

Небо голубое, младенческое, как у В. Белова глаза.

Круглая клумба с мохнатыми желтыми цветами посреди шоссе. Ни дать ни взять лукошко с новорожденными цыплятами.

Осина — дерево нервное. Березка и другие шумят ветками, а эта — каждым листочком.

Утром вышел к заливу. Солнце. Бело-молочная вода, и далеко на отмели шагает высокий худой купальщик, как Христос.

Как жил — всю жизнь не видел камня?

А сейчас выйду на залив — и весь во власти валунов, их потаенной, скромной красоты. Так уж, видно, устроен человек. Сперва видим все яркое, крикливое и лишь потом, по мере роста души, замечаем неприметное, неброское.

Камни-валуны сродни русскому человеку. Красота их неброская, застенчивая. Зато уж когда разглядишь ее — покорён навсегда.

Камни в заливе. Как лягушки, выглядывают из воды.

Залив. Сильный отлив. Вдоль берега на версту, на две — валуны, напоминающие лежбища греющихся на солнце тюленей.

В солнечный день камни-валуны не смотрятся. Красота их, тонкая, застенчивая, ушла внутрь.

Неброский, но такой нежный, такой волнующий ситчик валунов.

Мягкий закат на заливе и великолепие валунов. Оказывается, они и в светлое время играют, только надо иметь глаза.

Удивляюсь, почему мои глаза не видели их раньше.

Первый налет весны

В начале февраля весна сделала свой первый налет. С елей и сосен дождем смыло снег, и те опять зазеленели. И радостно и волнующе запахло оттаявшим кедром.

Встречаются ли лето и зима? Встречаются.

Сегодня видел эту встречу за Щучьим озером: сверху летнее голубое небо, а внизу — классическая белоснежная зима.

В воздухе свежесть мартовского снега и теплое дыхание сосны.

Талая земля с островками снега напоминает застывший ледоход на земле.

Очень дружно в этом году работают весна и зима. Днем буйствует весна — солнце, лужи, раскидает, набедокурит вокруг, как беззаботная молодайка, и уйдет то ли гулять, то ли отдыхать.

А кто за нее должен прибирать? И вот вечером, ночью и рано утром хлопочет зима, как добрая свекровь: все прибирает, сушит, очищает.

Туман. Нет неба. Но зато как хорошо смотрятся камни, песок, последний снег. Но вот проглянуло солнце, и камень перестал ворожить.

Приморский парк Победы. Залив. Стойбище рыбаков. Чайки, катающиеся на льдинах, — группами, брачными парами.

Белые березки — телочки среди рыжих сосен-коров.

Последний снег... Тоскливо-одинокий, жалкий и грязный, как дряхлый старик. А ведь недавно хозяином был на земле. Крепким, властным.

Весна нынче идет какими-то короткими перебежками: вдруг все заблестит, потеплеет, а потом снова холод, снова зима.

Серенький темный денек. Но в лесу светло. Природа зажгла свои светильники — цветущую иву.

Весна. Все вышли погулять, все вышли на солнышко: люди, дома, кусты, деревья, фонари, скамейки, и даже грязные, заплыванные урны заулыбались.

Вербы. Серебристая почка — как капля молока на груди матери.

Цветущая верба среди иссиня-черных елей как луч света в темном царстве.

Чудо. Расцветшая верба вмерзла в лед. Фонтан жизни, бьющий из льда.

Апрель. Вызывающе голые березы. Старые сосны рядом — стыдятся.

Выехали в тумане, в ожидании дождя. И в Комарово приехали — туман.

Но какая радость, какое счастье! Запах земли, запах талого снега. Вода, песок, старые сосны как вороны с подбитыми крыльями. А на заливе лед еще у берега и полно-полно птицы.

Впервые разглядел красоту камня. Для того чтобы увидеть камень, надо, чтобы был туман, не было неба.

А небо все-таки было. Примерно часу во втором, когда мы разожгли костер, в волокнистом тумане, как голубиное яичко в пуху, проглянуло солнце.

Славно отдохнули... Снова захотелось жить, работать.

Березка начинает кружиться.

Первые узоры, которые природа кладет на зеленую землю, — желтые, солнечные.

Полянка, усыпанная белыми ветреницами, как детский сад, вышедший на прогулку.

9 мая. Всю ночь лил дождь — природа оплакивала погибших. А утром выглянуло солнышко — природа улыбалась солнышком живущим.

Белоствольная роща берез при дороге, ярко освещенная солнцем, как могучий орган, на котором играет природа.

Жаворонок

Самая трогательная птица — жаворонок. Наивная и бесхитростная, как ребенок. И поет и радуется, как ребенок. Простенько, но так чисто.

Покосы уже зажелтели: зажглись купальницы, курослепы, одуванчики. Больше того, на некоторых одуванчиках уже пуховые шары. Когда успели отцвести?

Зацвела черемуха — белые ангелы спустились на землю.

Отцветающая растрепанная черемуха — как баба с похмелья.

В лесу к веселым радостным звукам весны прибавился еще один звук — назойливо-тоскливый стон комара.

Старые сосны на приволье — как грибы-боровики.

Весной больше всего страдают от человека черемуха и сирень. Буйно, ярко цветут. Так и в обществе: яркий человек вызывает наскоки со всех сторон.

Цветущий каштан похож на огромное многоярусное паникадило, увенчанное белыми, еще не зажженными свечами.

Величественно, как белые колокольни, выплывают из зелени парка цветущие каштаны.

Пионы

Пышные белые пионы на Марсовом поле. Распустились, отяжелели. А после дождя слегли. И когда смотришь на зеленые газоны, кажется, на них распростерлись умирающие лебеди.

Белая ночь — сочетание безмолвия ночи со светом дня.

Кукушка

Кукушка кукует на Севере до тех пор, пока ячмень не пойдет в ость. Кукушка подавилась — ость в горло попала.

Северное лето спрессовано в три месяца. Выручают белые ночи.

Иссиня-зеленая трава. Такая она бывает только в начале лета.

Спокойный, безмятежный залив. Солнце, бьющее из-за туч, вдали у кромки горизонта, и там яркий, ослепительный круг на воде. Как блин на жаркой сковородке.

Давно ли березки на поляне были, как девчонки сопливые? А сейчас вытянулись, налились. Стоят, как девицы на выданье.

Лесная дорога — широкая просека, заросшая травой. Будто зеленая река.

Куриная слепота — как солнце, разбрызганное по траве. Колышутся заросли белопенного морковника — легкие, как облака.

Безрадостный летний восход. Солнце, налитое каленой яростью. Без лучей.

Татарник

Щетинится кустами на самой горочке.

Кругом выгорела трава, посох кустарник, поник спаленный солнцем ячмень, а он разросся царственно, в громадных понизу лопухах — раза в два-три больше, чем капустный лист. Ветер шелестит лопухами, ворощет колючими седыми головками, которые тоже кустятся и кое-где уже стали красными.

Как ни пытался вырвать — не смог.

Стоит насмерть!

Чем пахнет ржаное поле в жаркий день? Печеным хлебом, только что вынутым из печи.

Опять вокруг моего дома собирались на свой слет ласточки, опять цвел и благоухал кряж (косогор) и буйным белым половодьем цвела картошка. Кажется, я в жизни не видел такой мощной травы и такого цвета.

Кажется, сады с юга приехали к нам на фестиваль — до окон поднялись картофельники.

Погода меняется несколько раз на день. Как будто на Северном полюсе клапан открывают: то жару выпустят, то холод.

Зеленый взрыв

В иное лето голая земля — все выжжено солнцем. А нынче каждая травка, каждая былинка расцвела, во всей своей красоте себя выявила. Все необычно большое, сочное — травяная акселерация. Причины? Дожди весь июнь лили, а с Петрова дня пошла теплая погода — солнце вперемежку с дождем.

И вот зеленый взрыв. Головка у розовой кашки как колокол, мятлик в грудь, желтое блюдце ромашки как солнце на стебле, а мышинный горошек, нежный мышинный горошек — просто колючая проволока. Словом, на земле, как в какой-то волшебной стране: все непривычно большое, высокое, мясистое. Вдвое, втрое больше обычного.

Песчаный берег за рекой за лето выгорел, как гимнастерка на солдате.

Тщетные усилия

За рекой на песке все лето загорает белая лошадь и никак не может загореть.

Осеннее солнце

Утром солнце разгоралось медленно, трудно — как костер из сырых дров.

Мало гриба в лесу. Все собрано. Только грибы-проглядыши и подберешь изредка.

Осенняя береза на ветру — как зеленый парус, затканый золотом.

В ельнике за дорогой было уже темно, а березовая роща напротив еще удерживала день.

Теплый солнечный день в Павловске. Бабье лето, которое, как чудо, спустилось на землю в эту необыкновенно сырую осень.

Деревья, измученные дождями и ветрами, нежатся на солнце. Стрекочут, как летом, кузнечики. Пересвистываются птицы. Удивительно целебная тишина.

Следовало бы создать заповедники тишины.

Осенью в парке цветы стусевались, их незаметно. Другие появились цветы — деревья. Гигантские купы цветов — красные, желто-лимонные, розовые.

Рябина

Красная рябина — царица осеннего леса.

Зеленая поляна и красные заросли рябины на ней. Как народные вышивки. Как невесты на беседе.

Красные, изнывающие под тяжестью ягод рябины — как малявинские девки. Малявинский разгул рябин.

Лесное пиршество

Природа, перед тем как отправить деревья на покой, устраивает каждый год лесной пир, последний лесной карнавал, своеобразную осеннюю

выставку красоты леса. Каждое дерево одевается в свою одежду. Вот итоги!

И только сосны, кажется, равнодушны к земной суете своих собратьев.

Осень

Брусничным соком стала наливаясь листва черемухи. Желтые зонтики кленов висят в воздухе, красные флажки осинки. Малиново-розовые листья вяза. Бронзовая листва дуба. Красные сосны, прошитые лимонными березами:

Лимонно-солнечные кустарники. Вангоговские.

Поле капустное. Иссиня-морозные кочаны.

Желтый березняк, густо расшитый красной рябиной.

Лето в октябре

Не помню такой осени, как нынешняя. 18—19 градусов тепла. И за городом — чудо — все цветет второй раз: одуванчики, сурепка, подорожник, куриная слепота, ромашка.

Мы нарвали летний букет цветов. И если бы не оранжевые и красные деревья, можно было бы подумать, что у нас снова начинается лето. И еще вода в Неве не летняя — густая, ленивая и сонная.

Румяные листья дуба на зеленой отаве.

День-дистрофик.

Клен уже голый. У ног его лежит пышная одежда. Разделся, будто приготовился идти в воду.

Осень. Первые утренники. И уже березы выбросили желтые флаги капитуляции.

Солнечный тихий день. Сижу над маленьким прудком в парке.

Замшелое дно засыпано дубовыми листьями. И они блестят в воде, как медные блесны. А поверху бежит стайка рыбешек. И, наверно, рыбешки воображают себя невероятными смельчаками. Подплывут, остановятся, осмотрятся — далеко заплыли от дома! Жутко. Но в сердце неистребимое влечение к дальям, к неведомому. И опять вперед.

Шторм на заливе

Все кипит, все бушует: вода, кустарник, сосны, березы, рябины. Ветер гонит песок, как поземку. Белые кипящие волны дохлестывают до сосен. Мокрый, радужно вспыхивающий на солнце галечник. И великое множество молодых чаек — как будто белый птичник сбился у воды.

Чайки в воде среди обмелевших валунов — как корабли в бухте. И все плавают, все перестраиваются, словно выполняют какой-то маневр. Смотришь на этих чаек с задранными хвостами — и невольно приходит в голову: да не они ли послужили прообразом первого корабля? Не на них ли глядя, в мозгу нашего пращура зародилась мысль о корабле?

Благословенный день. Ветер, кипящий залив и синее, синее небо. И эта синева — в каждом ручейке, в каждой луже. И даже песчаная

кайма мокрого берега, на которую то и дело с шумом набегает волна, тоже голубая.

А справа за шоссе красные заросли рябины — то пылающие костром среди сосен, среди мрачных елей, то на фоне белоствольных березок. В сочетании с ними — красное, белое и голубое — особенно хорошо.

И еще поразила береза, огромная, косматая. Боже, как вспыхнула эта листва, когда проглянуло солнце. Будто гигантский костер взмыл к небу.

Лебеди на заливе. Белая сказка на синем заливе.

Белые букеты хризантем на прилавках возле метро — как присмиревшие пудели.

Залив, замороженный последним теплом. А с утра — ледок у берега и, когда накатывается волнишка, легкий хруст, шепот. Да, шепот. Будто залив нашептывает какую-то старую, старую сказку.

Слепо, промозгло, омертвело — блокадный день на заливе.

Ездили с Л. в Комарово заряжаться энергией от залива. Хорошо работает этот аккумулятор. Шторм, волна, как на Черном море... И берег, укатанный волной, как наст. Наши следы на девственном песке были первые. Словно мы шли по необитаемой планете.

Было сыро, моросил дождик, но костер мы разожгли. И еще спасибо солнцу. В самое ненастье на полминуты, на минуту вылезло из-за туч, крикнуло: «Не пугайтесь, ребята! Я здесь».

На отмели напротив нашего костра целый день недвижно сидят чайки. В великом множестве. Посиживают и о чем-то разговаривают, советуются. О чем? К отлету готовятся? Строптивых своих товарищей прорабатывают? Ах, как хотелось бы подслушать их разговор! И не мне одному хочется. Раза три на моих глазах к чайкам подплывали утки, но переступить черту, установленную природой между отдельными видами, не решались.

Возле берега чайки. Одна за другой. Хвосты приподняты, мелкая рябь от движения и тихая важность во всей осанке. Подумал: картина Рериха — ладьи новгородских гостей.

Залив. Прибрежные валуны. Ветер. И на каждом валуне — чайки. Стоят недвижно, не шелохнувшись — часами. Подобно рериховской картине «Беда-проповедник».

Что это? Какой-то неведомый нам чайчий ритуал? Молитва чаячья в полной немоте и отрешенности от всего окружающего, как у правоверного мусульманина? Или особое чаячье слушание музыки шумящего моря?

Чайки на отмели в бурлящем заливе. Часами недвижно, оцепенело, как боярская дума.

Свернули с залива в лес. И вот под еловыми лапами уже вечер, а на заливе еще день — и оттуда по просеке солнечным ручьем вливается в ельник.

Чайки на заливе. Встали на камни — не шелохнутся. Как гайшники, наблюдают за тишиной залива.

Чайки на молитве в заливе. Большая молитва — за благополучный отлет в теплые края.

Первый снег. Землю, как на праздник, накрыли чистойшей, бело-снежной скатертью.

День отдыха. С утра на залив — за здоровьем, за силами!

Поначалу проглянуло солнышко — обрадовались. А приехали — все небо снежными тучами забито. Наглухо. И мороз — 7 градусов. Но мы зажгли свое солнце...

Четыре часа блаженствовали у костра. Прощались чуть ли не со слезами. Уже вышли на дорогу, да увидели — красными платками машет нам, и снова вернулись.

Раскаленное, пульсирующее сердце в снегу — так назвал костер приятель.

Отлив. Лед у берега, лежбища валунов. Декабрьская стужа и сентябрьский свет.

Залив в декабре

Белая зима на берегу и открытое море, с шумом, с грохотом перекатывающее крутые волны.

Очищающая первобытность и рядом автострада — гать XX века.

Залив встречает нынче зиму по-особому: торжественно, как праздник.

Сперва скоблил, драил песчаный берег волной. Размашисто, с силой — до самого шоссе мусор смыл. Потом в работу включился дождь. Тот вылизывал и чистил песок целый день. Потом еще морозец потрудился.

И вот берег, как крестьянская повесть накануне праздника: чистый, выскобленный, звенит под ногой.

Свист снегиря в декабре. Тонюсенький прокол ленивой тишины зимнего леса.

Ленинградский чахоточный снежок.

Январь. Запорошенные снегом кустарники по сторонам дороги, как затаившиеся стада оленей, вслушивающиеся в тишину. А на лапах елей и сосен разное зверье из снега: зайцы, медведи, лисы.

Ночью пришло тепло, и дождем смыло с лап все зверье.

И олени убежали.

Снежная навесь в лесу. На молодом сосняке — заячьими лапками, а на еловых сучьях — медвежьими тушами, и, если рухнет такая туша наземь, — облаком поднимается снежная пыль и яма образуется на том месте, как от снаряда.

Наверху мороз — собакой за колени хватается. А спустились вниз, на залив, — и будто с мороза в теплую избу попали. Все залито солнцем.

Одно из самых величественных зрелищ — как разгорается утренняя заря зимой. Зарево — вполнеба. Торжественно является солнце миру.

АЛЕКСАНДР НИКИТИН



ТРЕТИЙ СЕКТОР

1

В нас на садовом участке новость: Модест с Изольдой вывели свое потомство в первый полет. Это пара ласточек, которые уже второй год селятся под нашей крышей, а окрестили мы их в честь наших добрых соседей, носящих эти звучные имена.

Все лето ласточки как оглашенные носились над нашим кооперативом. Не шутки: до пятисот раз в день им положено приносить корм птенцам! Бывало, сядут вечером на чердачное оконце, раскроют клювы и сидят, не глядя друг на друга: умотались...

Говорят, ласточки к счастью. Ну а это к чему? Прошлый год вывели птенцов чуть ли не в сентябре, когда уже лететь на юг пора. Два или три дня родители не появлялись: были, должно быть, на предотлетном совещании. Прилетели, заглянули, подняли отчаянный крик, откуда-то слетелась целая стая, минут десять носилась и кричала. Когда они улетели, мы подставили лестницу, заглянули в гнездо, а там — мертвые птенцы... На целую неделю у нас было испорчено настроение. Зато какая была радость нынче летом, когда они без опоздания вывели детей, и однажды на коньке крыши выстроилась целая вереница белопузых симпатюшек...

Наверно, только здесь, в коллективном саду, можно увидеть по-настоящему, сколько все-таки детского хранится в душе седеющего человека, как он любит играть и чудачить. В другом обществе мы постеснялись бы делиться своими переживаниями по поводу ласточек. Здесь соседи готовы часами обсуждать с нами причины семейной птичьей неудачи. Сами-то они тоже... «с приветом». Вон Иван Дмитрич, архитектор, выстроил себе дом в форме индийского бунгало и все реконструирует, совершенствует его. То колесо велосипедное присобачит к насосу па колодце, то «солярий» на крыше сарая оборудует. Модест Борисович пол-участка перекопал, завалил глиной, роет пруд — будет карасей в нем разводить. Еще один сосед тарыхтит по саду на «ИЖе»: возит в люльке воду с пруда. На участках полная «деспециализация». 50—60 видов овощей, фруктов, ягод, цветов и трав — от картошки до кинзы. И все мало, мало...

— Вы не знаете, где достать отводки ежевики?

— Говорят, у геологов одна дама лимонник развела. Вот бы выпросить семена!

— Вы не поделитесь чернокорнем? Мыши одолели.

Пожилые, солидные, в обыденной жизни стеснительные и чопорные люди на участке шеголяют в купальниках и плавках — никого это не смущает.

На трех сотках играем в сельское хозяйство. На одной сотке играем в капитальное строительство. Все понарошку. Одно только всерьез: труд. Дадут кооперативу не землю — кошмар. Через три года — пышный, цветущий сад. В выходные дни здесь вкальвают, кооператив кишит, как муравейник. И так по всей стране — вокруг каждого города. В болотах Вологодчины и на камнях Армении, на песках и солончаках Средней Азии и в тундре под Воркутой.

Еще одно всерьез: результаты. Журнал «Приусадебное хозяйство» публикует рассказ ветерана войны, москвича-садовода Гречушникова о его опыте (стенд с продукцией Гречушникова экспонировался на ВДНХ). У него 8 соток. «Что я получаю со своего участка? — рассказывает Евгений Александрович. — 200 килограммов ягод, в том числе земляники — 30—60 кг, малины 25—30 кг, крыжовника — 15 кг, смородины 40—50 кг, облепихи — 20—30 кг, жимолости съедобной — 2—5 кг; 50—60 кг плодов

гибрида терна со сливой; 300—500 кг яблок зимних сортов, 750—800 кг овощей и картофеля (в том числе картофеля — 100 кг, свеклы — 25 кг, моркови — 50 кг, лука-порея — 40—45 кг, лука-репки — 20 кг, капусты цветной — 20 кг, редиса (5 посевов) — 20 кг, огурцов 150—200 кг, томатов 200—250 кг, сельдерея корневого — 30—40 кг, тыквы — 100 кг). Кроме того, возделываю салат, петрушку, укроп, чабер, иссоп и другие пряные растения... На моем участке около 200 м² занято цветами.

Прочитали мы этот рассказ, изумились, восхитились, а потом прикинули, что дает в расчете на сотку наш участок, участки соседей в нашем молодом кооперативе. Меньше, конечно, чем у Гречушкина, а в общем примерно по центнеру продукции на сотку... Писали как-то, что в ГДР государство призывает садоводов выращивать не меньше центнера на 100 квадратных метрах. Ну что же, выходит, мы уже достигли «немецкой нормы». А какие еще у нас резервы! Мы ж неграмотные в агрономии анекдотически. Мы даже не знаем состава своей земли: сколько в ней азота, фосфора, калия, как с закисленностью? Набухали свежего навоза, вымахала картофельная ботва чуть ли не в полтора метра длиной, а урожай-то весьма скромный. И огурцы у нас почему-то горькие, и редиску никак вырастить не удается — блошка съедает, — и треть клубники пожирает серая гниль. Думай, садовод, читай литературу, бегай к соседям за советом.

Вот ведь парадокс: играючи люди достигают лучших результатов, чем в серьезном, деловом. «взрослом» производстве. Мы на свою картошку ворчим, а ведь урожай-то у нас раза в три выше, чем рядом — в передовом, специализирующемся на картофеле совхозе...

Над этим стоит задуматься, правда? Когда умные люди писали о переходе «из царства необходимости в царство свободы», о «вольной игре умственных и физических сил» в будущем обществе, может быть, они имели в виду как раз такой труд, как у нас, — вольный, нерегламентированный, не по долгу, не ради заработка — ради удовольствия?

Мой полет к высотам философии прерывает прозаическая реплика соседа Михаила Леонтьевича: «Здорово, куркульство!» Он приветствует свое садовое товарищество этими словами с тех пор, как прочел в «Комсомольской правде» статью «Клубника». Ни к нему, ни к большинству его соседей статья эта касательства не имеет. Там речь идет о селянах под Киевом, которые занимают свои участки сплошь клубникой, везут ее на базар и дерут втридорога. У большинства наших садоводов к базару отношение отрицательное. Говорят, одна наша семья вывезла на базар пару мешков картошки. Муж оставил жену торговать, а сам предусмотрительно смылся в пивной бар. Переминается она возле этой картошки, подходит знакомая: «Ты чего, Маша, продавать привезла?» «Да нет, вот купила». Муж подходит, она на него набросилась: «Поехали домой, что я тебе, спекулянтка?»

И все-таки чем-то зацепила неторгующего садовода Михаила Леонтьевича эта статья. Чем?

— Кошку бьют, а невестке повестку подают — вот чем! Опять старая песенка: «Частники, куркули!» Писали-писали об уважении к личному сектору — и вот снова здорово... Чем, собственно, они провинились, эти клубничники? Везут на базар? А куда везти? Вон наша кооперация который год телится, обещает приемный пункт в саду организовать. Дорого дерут? На базаре цена зависит от спроса и предложения. Устыдятся, перестанут растить и торговать — почему тогда будет клубника, об этом премудрые авторы подумали? Пишут: до того, мол, поездками с клубникой увлеклись, что задремали за рулем «Жигулей» и в столб врезались. Как будто на государственных машинах не громятся, не напиваются, пьяные не ездят! Я эту статью так понял: нам до поры до времени дают резвиться на этих сотках. Еще, мол, надо посмотреть, чего от вас, садоводов, больше — пользы или вреда. Что продукцию вы для страны растите — это хорошо, а все-таки вы собственники, люди второго сорта. Вы тут закопались в землю, как жуки навозные, а добрые люди в свободное время свой уровень повышают, в театры ходят, книги читают...

А в самом деле — кто мы есть? Действительно ли наши четыре сотки будят в нас частнособственнические инстинкты, страсть к наживе, жадность?

При желании можно привести факты, как будто подтверждающие это предположение. Как два хомо сапиенса годами судятся из-за двух квадратных метров спорной земли. Как иной садовод сплошь занимает участок тюльпанами и дерет по тройку за цветок. И все-таки я с полной ответственностью утверждаю: таких людей среди

моих коллег-садоводов мизерное меньшинство. Во всяком случае здесь, в среднерусской полосе. Об этом говорит экономика. У нас в Калуге примерно треть семей имеет садовые участки, еще, наверно, около трети связаны с приусадебными участками деревенской родни — на правах наследства владеют деревенскими домами с 5—6 сотками — или живут в одноэтажных городских домах опять-таки с садом и огородом. На базаре на одного покупателя по крайней мере два потенциальных продавца. Казалось бы, при такой ситуации цены на фрукты и овощи должны быть крайне низкими. На деле даже в самый разгар сезона базарные цены в два — три раза выше государственных. Объяснить это можно только одним: средний садовод как продавец на рынок не идет (как, впрочем, и колхозник из дальней деревни). Торгуют в основном южане да пенсионеры из подгородних деревень.

В нашем молодом кооперативе из ста с лишним семей выходят на рынок хорошо если две — три, хотя почти у всех есть излишки продукции, которые с грехом пополам расхищают по банкам, по друзьям и родне. В старых кооперативах торгующих побольше, но и там они в меньшинстве. Доказать это очень просто. Пройдите по любому коллективному саду: много ли вы увидите участков, специализированных на одной-двух культурах — на клубнике, помидорах, тюльпанах? Если найдете больше двух — трех, сдаюсь: мы — собственники, наша цель — нажива! Любое товарное хозяйство начинается со специализации, это азбучная истина. Мы же, садоводы, в массе своей как будто помешались на другом: впихнуть в свои 4 сотки как можно больше культур. Журнал «Приусадебное хозяйство» публикует объявления об обмене семенами. Прочтите любое — и вы увидите истинное лицо садовода-любителя:

«Поросль: ирги, виргинской черемухи, сирени, калины; черенки: смородины, винограда, рябины десертной, гранатной; картофель шести сортов... меняю на сеянцы облепихи, лимонника, актинидии, зимостойких слив. Могу безвозмездно поделиться семенами мальвы, мака восточного» (Г. Шакиров, Татария);

«Семена кизила хочу обменять на семена ежевики, физалиса, косточки терна» (Б. Тарасов, Сахалин);

«Стахис, арахис, чуфу, артишок, фенхель... на семена редких сортов томатов, георгины рассеченнолистные» (Е. Заблочкин, Ялта);

«Имею детку и луковички 70 сортов гладиолусов, 50 сортов тюльпанов, 30 сортов нарциссов... розетки от десяти сортов земляники. Нужны: морозостойкие саженцы плодовых деревьев, сладкоплодной рябины... луковички туберозы, крупноцветного гиппеаструма... Могу безвозмездно поделиться семенами махрового дельфиниума, люпина, махровой календулы» (Н. Андреева, Москва).

Скажите, чего тут больше — «нметь» или «уметь»? Страсти к наживе или яростной, фанатической тяги к творчеству на своем участке? Основываясь на своем опыте, на разговорах с десятками коллег-садоводов, я утверждаю: нам, в сущности, интереснее растить клубнику, чем есть или продавать ее, интереснее строить домик, чем предаваться в нем сладостному безделью. Когда участок освоен до последнего сантиметра, может даже наступить некое охлаждение к нему (по крайней мере у меня так было). А Михаил Леонтьевич, который три года любовно и тщательно строил свой дом, недавно признался: «Все сделано — скучно ездить». Когда некоторые наши догматики и ортодоксы пугают нас тем, что из дачника может вырасти новый эппман, а кое-кто на Западе, наоборот, видит в этом «благую весть» о возрождении собственности в нашей стране, мне хочется сказать: зря пугаете и зря надеетесь! Мы, миллионы людей, посвящающие свое свободное время земле, — неотъемлемая часть современного социалистического общества. А кроме того, мы доказываем, что в среднем, рядовом человеке заложен стимул сильнее, чем желание набить карман и брюхо: способность работать творчески, свободно, наслаждаясь самим процессом труда. Сгласитесь: это черта скорее коммунистическая, чем частнособственническая!

Могут сказать: «наслаждаетесь»-то вы не на заводе и не на колхозном поле, а на своем участке — значит, вы все-таки частники, собственники. Всю свою инициативу и энергию отдаете даче, а на главной работе — как вареные. Что им возразить? Если человек любит свою главную работу, то сад освежит его мускулы, ум и сердце, подготавливает его к трудовой неделе, право же, куда лучше, чем торчание в пивной или у телевизора. А если не любит, то ему самому, его начальству, его товарищам по работе стоит задуматься: что это за секрет такой сокрыт в садовом участке, почему он преобразует человека и нельзя ли заводу или колхозу кое-чему поучиться у садового кооператива?

Мне вспоминаются поездки в колхоз имени Коминтерна Рязанской области, в калужский совхоз «Агарышевский». Там все земледельцы объединены в безнарядные отряды и звенья, получают от урожая, от конечного продукта. Знаете, что меня там больше всего поразило? Жалобы на личное хозяйство: «Когда всю душу отдаешь колхозному полю, ни времени, ни сил, ни желания не остается для своего двора. Жена пилит: почему сено до сих пор не заготовил для коровы, почему картошку не окучил? Да потому что колхозный клевер косили — торопились убрать до дождей, потому что колхозной картошкой были заняты. В четыре встал, в десять лег, когда брать литовку в руки? Надо, чтобы колхоз позаботился о нашей корове — дал кормов. А то чушь какая-то получается, мозги нараскоряку, не знаешь, чем вперед заниматься: своей буренкой или кормами для сотни общественных коров». Выходит, «наше» при определенных условиях может быть интереснее, чем «мое»? Выходит, дело в этих условиях, а не в некой «роковой» приверженности человека к частной собственности?

У наших садоводов и у безнарядчиков есть одна общая, бросающаяся в глаза черта: и тем и другим труд интересен. И те и другие любят играть в шахматы с природой, предугадывать ее коварные ходы, ставить ей мат. Но мне показалось, что чисто творческого, экспериментаторского духа у садоводов побольше. Безнарядчики строго выполняют требования агронома, применяют личный, крестьянский опыт и смекалку, но в главных, «стратегических» вопросах (выбор системы земледелия, культур, сортов) они все-таки больше полагаются на агронома, председателя или директора. И конечный результат в тех хозяйствах все-таки ниже, чем в садовом кооперативе. Они, скажем, бьются за 200—250 центнеров картошки с гектара, а у нас 400 считают средним, если не плохим урожаем (Понятно, на сотке легче такой урожай вырастить, чем на 100 гектарах, но, с другой стороны, у них мощная техника, удобрения, агрономическая мысль, а у нас — руки, тяпка да своя голова, зачастую мало что смыслящая в земледелии.) Мы жадно учимся у соседей, до дыр зачитываем статьи под рубрикой «Наш сад», гот же журнал «Приусадебное хозяйство» коучет из рук в руки. Безнарядчики с меньшим рвением занимаются агрономической учебой. В чем тут дело? Мне кажется, в большей творческой самостоятельности садовода. Его семейный «колхоз» сам решает, какие культуры возделывать, в какие сроки проводить работы. Звено же подчиняется колхозу, колхоз — району, район — области. И хотя мелочная опека над земледельцем осуждена партией и правительством, она, увы, еще существует. Попробуй хотя бы сократить зерновой клин (даже не сокращая задания по зерну) — не оберешься неприятностей! Многолетняя привычка к администрированию сидит в председателе или директоре, в бригадире, даже в звеньевом. Умный руководитель, начиная работу, непременно спросит: «Как вы, мужики, думаете ее провести?» Даже если знает заранее ответ. Большинство же предпочитает скомандовать: делайте то-то, езжайте туда-то. И убивают в человеке самое дорогое — инициативу, чувство хозяина.

В этом, именно в этом, а не в «священном» «моем» у нас, садоводов, секрет фирмы. Истинные чудеса люди творят: ананасы в Подмосковье, белые грибы на грядках, вишни размером со сливу, автоматические теплицы, кролики и куры, к которым хозяин приезжает раз в две недели, оборудовав помещение автоматикой...

Как журналист я завидую уже цитированному мной журналу «Приусадебное хозяйство». Он и делается «вкусно», талантливо по форме и содержанию. Но он имеет еще и такую действенность, какой, наверно, не имеет ни один печатный орган в стране. По его статьям «принимают меры» два миллиона подписчиков. Его слово оборачивается тысячами тонн дополнительных овощей и фруктов и тысячами новых увлеченных душ. Это вам не унылые бюрократические отписки «по следам», которыми так часто кончаются самые справедливые журналистские выступления в других органах.

Творчество, инициатива оказываются сильнее, результативнее, чем рубль. Или как стимул сильнее, результативнее, чем приказ. Когда мы это поймем по-настоящему, безнарядчик на колхозном поле победит в негласном соревновании садовода на своем участке. Вспомним знаменитое звено Первицкого. С ним на 4 сотках не посоревнуешься. Ни по результатам, ни по уровню инициативы, творчества, эксперимента...

Есть еще один параметр, по которому можно сравнить безнарядчика и члена садового кооператива. Коллективизм. Кто в этом смысле дальше продвинулся к будущему? Ведь при коммунизме человек не будет робинзоном, работающим в одиночку. «Я и другие» — вопрос вопросов! Опять вспоминаю рязанский колхоз имени Коминтерна. В последнее время туда зачастили делегации за опытом. Один из ходяков — тракторист — рассказывает о своих впечатлениях:

— Подходит молодой механизатор к бригадиру: «Ну, хочешь казни, хочешь милуй, а вал я запорол». Тот ему: «Ну спасибо, ну разодолжил...» Па-ашел парень как оплеванный.

— А что, собственно, вас удивляет в этом разговоре?

— Как что? У нас бы стесняться не стали: «Давай вал! Не видишь — запороли». Здесь человек стыдится, переживает. Он ведь знает, что за этот вал бригада заплатит. Совсем другой колленкор.

С председателем С. В. Бакулиным едем по полям. От трактора к нам бежит механизатор:

— Сергей Васильевич, надо бы Ивану культиватор заменить. Плохо пашет, парчит.

Бакулин сияет:

— Работает безнарядочка-то, а? При старой системе какое ему дело было бы до Ивана?

Механизаторы рассказывали, как создавались бригады. Было тайное голосование: с кем хочешь работать? Двое друзей — водой не разольешь — третьего забаллотировали: «Выпить с ним приятно, закусывает хорошо и анекдотов много знает, а работать лучше с кем другим».

Ребята ездили в порядке шефства в другое хозяйство, не перешедшее на безнарядку.

— Чудные у них там порядки. Свекла по паюшкам разбита. Которая баба трактористу полбанки поставит, он ей выкопает паюшку. Мы за три дня сто гектаров сданули. Удивляемся: «Откуда вы такие взялись?» «Мы, говорим, свои, рязанские, из «Коминтерна», а вы-то откуда беретесь, хозяйвы-раззявы?»

— А правда — откуда?

— У них там начальство за всех все решает. Будь оно хоть о семи головах, за всем не углядит. Мы же сами друг за другом смотрим. Попробуй тут выпей в рабочее время. Первое — товарищи вломят: «Мы что, обормот, работать за тебя должны? Тебе бригада что — вырезвитель?» Второе: в табеле баранку поставят. Работай не работай, а оплата за день пропала. Третье: КТУ в конце года снизят, чекушка-то в сотню влетит.

Выходит, главное в бригаде — жесткий взаимоконтроль словом и рублем? Так-то оно так. Но вот что я заметил: чем старше, слаженнее, дружнее звено или бригада, тем нужды в таком контроле меньше. КТУ, смотришь, почти у всех одинаковый. Работают порой в разных концах колхоза, а следить ни за кем не нужно, замечаний друг другу уже не делают. Взаимное доверие. Этот самый контроль вроде лесов на строящемся здании. Построено — леса снимают, и начинаются отношения, более близкие к коммунистическим: дружба, доверие, коллективная творческая мысль.

Теперь посмотрим, есть ли коллектив в коллективном саду. Есть, и не один: десятки коллективов. Ну, во-первых, семейные коллективы (у безнарядчиков тоже такие есть, причем, как правило, самые сплоченные). Многие семьи дружат, образуют между собой что-то вроде клана. Вот ведь удивительно. в коммунальном доме люди живут десятками лет и часто не знают соседа по имени-отчеству. Здесь многочисленные дружбы с первого года завязываются. То и дело идут к соседу — за инструментом, за семенами, просто потрепаться, чаю попить. Как правило, помогают друг другу строиться... Вот чего у нас нет, так это жесткого взаимоконтроля. Хотя он порой и нужен. То деревья посадят так, что они соседу пол-участка затенят, то годами участок не обрабатывают, семена сорняков летят по всему кооперативу. Но, как правило, предпочитают ворчать про себя. Ну его к черту — заводиться с соседом! Будет потом годами дуться — отдых уже не в радость. Худой мир лучше доброй ссоры. Советы принимают и дают охотно, но лезть с ними непринято: у каждого свое самолюбие. В общем-то, есть у нас и общественное мнение, и негласное соревнование, и в какой-то степени взаимный контроль, но все это в свободных, мягких, внешне малозаметных формах. Личность сохраняет некую автономию в коллективе.

Так что же получается: мы, садоводы, живем на уровне самых зрелых безнарядных бригад? Они к такому стилю подойдут через несколько лет, а мы сразу? Они сами пользуются, а мы сразу, начисто здание строим?

Ох, если бы так... Безнарядные звенья входят в большой коллектив: в колхоз, совхоз, район, область, страну. Наше же садовое товарищество коллективом назвать трудно. Это рыхлое, слабо связанное сообщество людей на одном куске земли. Коллек-

тивизма в нем не больше, чем в коммунальном доме или в вагоне электрички. Я часто думаю: насколько легче работалось бы каждому, насколько интереснее жилось бы на участке, насколько выше были бы урожай, если бы товарищество действительно было бы товариществом.

Два года кооператив был не огорожен. Соседний совхоз гонял коров через наши сады, хулиганье по ночам громило домики, подростки из ближней деревни аж на мотоциклах ездили за клубникой и гладиолусами. Сколько было слез, обид, переживаний! А объявило правление субботник по строительству забора — чуть ли не половина народа разбежалась по домам.

Четыре года кооператив живет без воды и без света. Выбрали мы правление, председателю даже жалование установили. Вяло работают, дело почти не движется. Подходит отчетное собрание. Погалдели, ругнули начальство и... выбрали его на второй срок. Во-первых, каждый боится: а вдруг меня выберут? Во-вторых, наш председатель Николай Павлович как-никак начальник строительного управления. У него и тракторы, и машины, и материалы. Может, все-таки соберется со временем — построят артезианку, проведет свет?

Слабая связь микроколлективов между собой, слабая связь товарищества с внешним миром — вот самое больное место садового кооператива. Мы хорошие, симпатичные люди, пока копаемся на своих участках, преображаем землю, доверенную нам, экспериментируем и фантазируем. Как только мы высовываемся за ограду товарищества, чтобы достать что-то для дома или участка, мы действительно напоминаем частников. Тут уже действует принцип «кто смел, тот и съел». Не купим, так достанем, не достанем, так украдем... Стоит разобраться, кто в этом больше виноват — мы со своими «неискоренимыми частнособственническими инстинктами», «пережитками капитализма в нашем сознании» или вялость, безделье, лень тех людей и организаций, которым государство поручило обеспечивать нас товарами или услугами?

2

Периодически то в одной области, то в другой прокуратура, народный контроль, партийные и советские органы устраивают проверки садовых кооперативов. Порой вскрываются факты действительно безобразные. Садоводу сегодня разрешено строить дом солидной площади, с печкой на твердом топливе, с хозяйственными помещениями. Можно держать кроликов, птицу, нутрий. Некоторым даже эти предельно широкие права кажутся стеснительными. Возводят хоромы в три этажа, финские бани, мраморные бассейны, огромные гаражи. Даже за очень высокую зарплату всего этого не нагородишь. Чаще всего в дом вкладывают несправедные доходы, обращают их в капитал, в недвижимость, которая с годами, по мере развития дачного движения становится все дороже. Почти в каждом уголовном процессе непременно фигурируют эти самые дачи. С государственных строек сюда плывут материалы, которых сроду не увидишь в хозяйственных магазинах или на лесоторговой базе. Обычно их не просто крадут — «выписывают». За хищение — статья в Уголовном кодексе. Выписка же — это только «наращивание», «злоупотребление служебным положением», можно отделаться выговором.

У нас тоже есть один такой деятель. Четыре года мы, соседи, с отвращением наблюдаем, как государственные машины везут на его участок отборные государственные материалы, как подчиненные ему рабочие украшают веранду ажурными рамами. Он уж до того дошел, что этих же рабочих нанимает полоть и поливать свои грядки. С ним не разговаривают, не здороваются, ему дали кличку Генерал, но ведь никто на собрании не встанет, не скажет ему в глаза: «До каких пор воровать будешь? Есть ли предел твоей бесстыжести?»

Между тем когда до него доберутся, то и по нам, по соседям, это обязательно рикошетом ударит. Такие факты подмачивают репутацию массового дачника, укрепляют уверенность некоторых администраторов в том, что дачник — частник и куркуль. А им втайне хочется, чтобы это было так. С куркулем чего церемониться? Можно регулярно снимать автобусы с маршрутов, ведущих в коллективные сады. Пусть семидесятилетний «куркуль» с полной грудью орденов и с десятком ранений ковыляет пешочком за пять — десять километров. Можно взять и прекратить изыскание и раздачу новых садовых участков — зачем плодить «частников»? Вместо того чтобы изобличить

и посадить десяток хапуг (а это нелегко и непросто — у них и связи кое-какие есть, и денежки, чтобы дать кому-то в лапу), можно издать приказ. «Всем, всем! Не строить дома из дефицитного леса и кирпича!» «А из чего их, простите, строить?» «Из чего хотите». «Всем, всем! Вытащить из фундаментов обломки железобетонных свай, подобные на свалке!»

Настоящему вору от всего этого ни жарко, ни холодно, массовому садоводу плохо, а чиновникам, отвечающим за организацию быта и отдыха тысяч людей, предельно удобно. Они не просто бездельничают. Нет! Они борются за чистоту нравов в обществе. «Я понимаю: надо развивать коллективное садоводство, но все-таки, между нами, положи руку на сердце, не делаем ли мы ошибку, не пробуждаем ли в людях нездоровые, собственнические страсти?»

Когда надо приобрести навоз, торф, огородную землю, саженцы, семена, стройматериалы, измучиться в поисках людей и организаций, которые обязаны все это продать, произвести, организовать. Зато контролеров, инспекторов, указчиков, авторов всевозможных ограничивающих инструкций над садоводом хоть пруд пруди. Даже профсоюзы — наши заботники и заступники, организаторы быта и досуга трудящихся — и те взяли себе наиболее лакомое: контроль за соблюдением устава садоводческих товариществ!

Самое интересное, что при такой усердной контрольно-запретительной деятельности истинные хапуги режутся годами, успевают выстроить себе трехэтажные виллы. Это и понятно. Не в «генералах» главная опасность, а в том, что мы, их соседи, люди в принципе порядочные, ненавидящие казнокрадство, миримся с ними. Сосуществуем. Соблюдаем пусть холодный и враждебный, но нейтралитет. Причина тут простая. Нет, вероятно, ни одного дачника в стране, который ни разу не нарушил бы закон, служебные инструкции или мораль в ходе сооружения домика и освоения земли. Занимаясь прекрасным, благородным делом, имея деньги, умелые руки и желание, все равно в той или иной мере вымажешься в грязи, связавшись с дачей. Это самая противная сторона жизни садовода, о ней говорят неохотно, только с друзьями, говорят с болью и гневом. У меня, у моей семьи все уже позади. Цветет и благоухает земля, стоит домик пусть маленький и холодный, но есть где от дождя укрыться. Сейчас, готовя эту статью, я задумался: допустим, ничего этого нет, надо начинать с нуля. Начал бы я? Первое: получить участок. Сейчас даже здесь, в Калуге, это очень трудно — земли дают все меньше. Да и тогда, в разгар дачного бума три года назад, мне вряд ли удалось бы получить землю, если б я не был собкором центральной газеты. Или дали бы у черта на куличках, куда и дороги нет, я бы не сумел ее освоить. Уже первая несправедливость: собкор получит, а какая-нибудь уборщица нет. Между тем ей, наверно, участок нужнее. Для меня это забава, для нее приварок к весьма скромному заработку.

Есть, правда, другой путь: купить сад с домом. Вообще-то землю продавать не положено, по уставу кооператива участок передается только его членам. Но вступить в кооператив не проблема, доски объявлений пестрят сообщениями «продам...», «куплю...», причем, конечно же, продают куда дороже, чем сами заплатили за дом и освоение участка. В среднем три — четыре тысячи. Купи, если купилки хватит...

Где дефицит, там и спекуляция. По существу, продают землю, которая была и остается общенародной собственностью, спекулируют землей.

Где дефицит, там всякого рода несправедливости. Один москвич-рабочий прислал характерное письмо. Из его цеха было отвлечено несколько рабочих строить дачу для начальника. Рабочий возмутился, написал письмо в народный контроль. Начальник стал думать, как бы прижать «критикана». Сделать это крайне трудно: «обидчик» тридцать лет работает на заводе, инструментальщик такого класса, что везде с руками оторвут. И все-таки додумались: не дали садовый участок... Дефицит, дефицит! А как это мы умудрились — в необъятной нашей стране сделать дефицитом 4 сотки плохой земли? Один из участников дискуссии в «Литературной газете» «Горожанин на земле», москвич А. Ковбаса, прислал простенький расчет: чтобы обеспечить каждую городскую семью садом-огородом, потребовалось бы меньше процента пашни и меньше полпроцента земельных угодий. Следует еще учесть, что многие горожане на землю вовсе не рвутся, многие ее уже имеют. Значит, дефицит этот искусственный!

Тут, правда, могут возразить: область области рознь. Одно дело просторы Вологодчины и другое, скажем, Московская область. Да, у москвичей и подмосковников

положение с землей самое, пожалуй, драматическое! Тут надо учесть и особую тягу москвичей на землю, их замученность толкучкой, ревом машин, учесть и тот факт, что здесь больше, куда больше, чем в Калуге или Рязани, настоящих, «столовых» горожан. У них связи с деревенской родней давно оборваны, поехать летом в деревню им не к кому.

Зайдите в любое учреждение столицы, на любое предприятие — и вы услышите одно и то же: один участок дают на несколько десятков желающих, дайте землю, нужна земля! Подмосковные исполкомы жалуются на экспансию москвичей. Подряд скупают дома в деревнях. Солидные ведомства правдой или неправдой, давлением на область или оказанием ей «услуг» пролезают со своими садовыми товариществами на калужскую или смоленскую землю.

В Москве и Московской области живет около 15 миллионов человек. В небольшой области много городов, поселков, деревень, предприятий. С этой же земли надо еще и кормить Москву, по крайней мере снабжать молоком и овощами. И легкие столицы — леса, зеленую зону — надо побережь, и с новостройками сюда же лезут многие министерства и ведомства. Когда все это взвесишь, остается только вздохнуть. никакой возможности расселить в Подмоскovie москвичей-дачников нет. Остается одно. полдня тратить для поездки на дачу. Ну а если получше разобраться, вникнуть, прикинуть с цифрами в руках? В 1979 году в интервью корреспонденту «Литературной газеты» тогдашний заместитель председателя Госплана СССР Н. Гусев привел цифру. только земель, не рекультивированных после выработки торфа и полезных ископаемых, в Московской области насчитывается 53,3 тысячи гектаров. Заметим: этого хватило бы на миллион с лишним семей, то есть на 3,5—4 миллиона человек. А ведь кроме бывших карьеров, есть и другие неудобья: всякие болотца, пустыри, пусторосли, кустарники, мокрые луга, вытопанные дотла пастбища, поля, которые не стоят сжигаемой на них солярки...

Второе: освоить участок. Садовым кооперативам выделяются либо неудобья, либо не используемые сельским хозяйством земли или используемые плохо, неэффективно. На практике вторым и третьим вариантом исполкомы, землеустроители пользуются крайне редко. Господствуют два принципа: «сам не дам и другому не дам» и «на тебе, боже, что нам негоже».

Для меня загадка: почему выделение более или менее нормальной земли садовому кооперативу обычно квалифицируется как «разбазаривание угодий», а 7 центнеров ячменя с гектара, получаемые иным колхозом на этой земле, считаются нормальным явлением?

Ни для кого не секрет, что наше сельское хозяйство еще не полностью обеспечивает страну продуктами. Есть на то весьма серьезные причины. Одна из них — нехватка кадров на селе. Государство делает многое, чтобы закрепить людей в хозяйствах, создать им условия не худшие, чем в городе. Но ведь эта громадная, поистине революционная перестройка деревни требует и времени и денег. Пока что производство продуктов обходится дорого. Государство берет на себя значительную часть этих расходов, по существу, платит нам, потребителям, дотацию.

И вот появляются миллионы людей, горожан, которые отказываются от этой дотации, говорят: «Овощами и фруктами мы снабдим себя сами — дайте только по небольшому участку земли. Мы выростим примерно по центнеру продукции на сотку, произведем для себя многое. Кроме овощей и фруктов, мы получим свежий воздух, физическое движение, полезный и увлекательный досуг, трудовое воспитание ребятишек. Мы разгрузим в летнее время улицы городов, магазины, поликлиники, санатории, мы зайдем добрым делом миллионы наших старичков, которые сегодня болеют, хандрят, пишут жалобы или забивают козла на бульварах». Государство приветствует эту инициативу. А сельскохозяйственные ведомства в центре и на местах, землеустроители, обл-исполкомы либо не дают садоводам землю, либо годами тянут резину с выделением участков, либо предлагают такие неудобья, которые не по зубам колхозам и совхозам с их мощной техникой, мелноративными и строительными организациями. «Хотите помочь государству, снять с его плеч часть забот и затрат? На здоровье! Но за право помочь, будьте любезны, осушите сперва болото, выкорчуйте пни, уберите камни!» Что-то мало тут пахнет государственным подходом! Если уж очень прижмешь автора подобных решений, выложит свой коронный довод: «Мы не можем раздавать частникам общенародную землю». — «Да не частники мы вовсе — кооператоры! Нет у нас в

стране легального частного сектора, с тридцатых годов он из статистики исчез. А были бы мы частниками, стало бы социалистическое государство нам по две тысячи одалживать с рассрочкой на тринадцать лет?» — «И все-таки частники». — «На колу мочало — начнем все сначала»...

Ну ладно, давайте болото. Но одновременно продайте все, что необходимо для того, чтобы превратить его в плодоносящую землю: торф, навоз, огородную землю, песок, машины для их доставки. Вот с самого простого и начнем — с песка.

— Алло, это управление промышленности стройматериалов? У вас может садовод-любитель купить машину песка?

— Что вы, нам министерство категорически запретило продавать песок частным лицам. Позвоните в Стройдеталь — может, там дадут.

Звоню.

— Иногда мы продаем песок своим рабочим, но вообще за это наказывают.

— Кстати, у вас на заводе я видел довольно много бракованных железобетонных плит. Можно купить парочку для фундамента дома?

— Ну что вы — у нас и цены на них нет...

Хорошо. Нет песка — засыплем свое болото нормальной огородной землей. Вон ее сколько снимают и вывозят при сносе старых одноэтажных кварталов города.

— Алло, это управление строительства? Можно ли купить у вас машину огородной земли для сада?

— Для частного сада? Ни в коем случае! Мы ее вывозим на газоны, на рекультивацию земель. А продавать частным лицам — как можно! Земля — общенародная собственность!

Нет так нет — натаскаем землю тележками из ближайшего леса. Если, конечно, лесник не заругается. Вот торф еще нужен — позарез!

— Алло, это управление топливной промышленности? Частник может купить у вас машину торфа?

— Изредка бывает. Приходите, выпишите, станьте в очередь, может быть, через полгода получите.

— Мне сейчас, весной, нужно, а не через полгода.

— Ну, это уж не наша печаль.

— Алло, это совхоз? При вашем молочном комплексе накопилось довольно много невывезенного навоза. Даже газета как-то писала — мол, речку запрудили. Мы могли бы вам помочь, вывезти. В нашем садовом товариществе многие нуждаются в удобрениях.

— Еще чего не хватало — навозом торговать! У нас, дорогой товарищ, задача другая — хлеб растить, а навоз нам категорически запрещено продавать частным лицам.

— Алло, это облплан? На днях было постановление обкома партии и облисполкома о производстве товаров для народа. Чтобы каждое предприятие произвело этих товаров на сумму своего фонда зарплаты. Вы его готовили. Скажите, навоз и огородная земля к этим товарам относятся?

— Нет, не относятся. В инструкции Госплана СССР и ЦСУ есть перечень товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения. Ничего из перечисленных вами материалов там нет. Вот полочки, хлебницы, бельевые прищепки — это пожалуйста.

— Послушайте, это же нелепость! В городе около пятидесяти тысяч человек остро нуждаются в материалах для дач. А хлебницами и так хозяижи забиты.

— А вы думаете, мы этой инструкцией не возмущаемся? Что ни семинар, ни совещание плановиков, то ругань стоит: чего вы, госплановцы, держитесь за этот пудовый перечень, как черт за грешную душу? Напишите просто: все, что продается людям через розничные магазины, является товаром народного потребления.

— Ну и какие результаты?

— Говорят: обсудим, подумаем... Лет пятнадцать уже думают.

На многие километры растянулись садовые товарищества. Загляните на любой участок — непременно увидите аккуратные кучки песка, торфа, навоза, грядки черной огородной земли. Все это где-то куплено. Где? По какой цене? С какими моральными накладками? Вспомните рассказ приятеля, преподавателя общественно-политических наук в вузе. Человека самых высоких моральных качеств:

— Взял садовый участок. Земля дрянь. Год прошел, у соседей все цветет и

благодаря, у меня хвощи да глина. Едет по кооперативу трактор, тракторист выкликает: «Кому навозу?» Со всех участков кинулись, я первым подбежал: «Почем?» «Просили сорок, сторгумся на тридцати пяти. Ты посмотри, товар какой: сухой, чистый, на поле вез». Посмотрел я на тракториста — молодой совсем парнишка, глаза такие чистые, доверчивые, как у моих студентов. Тем высокие идеи внушаю, а этот через пару лет при нашем участии превратится в хрипуна-алкоголика. Ведь никто эти левые деньги ни на что путное не тратит, только на пропой. «Просили сорок» — значит, не один торгует, целая там шайка. Навози-мафиози... Так мне тошно стало! «Не возьму, говорю, у тебя навоз, плохо от него пахнет». Ну что же, он к соседу вывалил, а я еще на год с глиной остался. Позвонил директору одного совхоза: «Сю-сю-сю, вас беспокоит садовод-любитель, будьте такие добренькие»... Он на меня: «Ры-ры-ры, частникам не продаем!» Поехал к нему сам: так, мол, и так, преподаватель, кандидат наук, совесть не позволяет ворованное покупать. Он для чего-то собирает треугольник: «Товарищи, к нам приехал за навозом большой человек, ученый. Поможем?» Сажу красный, как рак. А если бы сторожиха наша институтская к нему этак бы приехала — дал бы он ей?

Доставать — преступление, выписывать — нарушение. А когда можно будет просто купить?

3

Вся страна участвует сегодня в осуществлении Продовольственной программы. Личное подсобное хозяйство граждан — неотъемлемая часть этой программы. Об этом со всей ясностью сказано в партийных документах, в выступлениях руководителей страны. Многое меняется в отношениях руководителей колхозов и совхозов, районов и областей к деревенскому подворью. Я помню, как в 60-е годы пытался однажды выяснить у статистиков данные о продукции личного сектора. Замаялся: то цифр вообще нет, то они приблизительные, то «личное» мясо и молоко считают вместе с общественным. В райпланах, в облстате еще и удивлялись: «Для чего вам эти цифры?» Как для чего? Товарищи дорогие, личное хозяйство — это треть молока и мяса в стране, 60 процентов картофеля, свыше половины овощей и фруктов. Наверно же, у этой огромной части сельского хозяйства есть свои трудности, свои проблемы. Наверно, оно нуждается в какой-то помощи. «Частник, он ушлый, сам как-нибудь выкрутится!»

В одном совхозе стариков, инвалидов заставляют косить за процент — на свою корову и еще на две совхозные. В другом совхозе вообще запрещают косить до окончания общественного сенокоса, то есть до белых мух. В третьем все трудоспособное население собрали в двухэтажных коммунальных домах, а хлева в целях «гигиены» вынесли на другой край поселка: бегай туда три раза в день с ведрами.

О том, как ударило по личному поголовью объявление тысяч деревень перспективными, и говорить не буду. Там, в этих мелких деревушках, и угодыя были, и руки для ухода за скотом, и желание держать коров — живут-то люди пожилые. На центральной усадьбе держать скот обычно труднее, да и не больно-то рвется к этому молодежь...

Происходило то, что должно было происходить, когда руководство общественного сектора не было заинтересовано в сохранении и развитии сектора личного: личное производство сокращалось, таяло на глазах. И это все мы крепко ощутили на своем столе, на полках магазинов.

Я не скажу, что сейчас положение в личном подсобном хозяйстве на селе совсем идеальное. И за процент кое-где еще заставляют косить, и с пастбищами туго, и по-прежнему нет никакой механизации на подворье. Подворье по-прежнему в организации производства, в статистике, в учете и контроле на десятом или на сотом месте. И все-таки держат свое хозяйство сегодня в деревне намного, неизмеримо легче, чем в 60-х годах. Тут самое главное изменилось: между двумя секторами проложены экономические мостки, налаживается взаимовыгодная кооперация. Колхоз или совхоз получили право покупать у личников излишки молока, мяса, картофеля. Колхозники и рабочие выращивают скот и птицу по договорам с колхозами. При таком условии разве что совсем уж глупый и недалекий руководитель будет делить буренок на наших и ихних. Все наши! «Хозяйство личное — забота общая» — этот лозунг не сходит со страниц местных газет.

Так что же? Кто старое помянет — тому глаз вон? Э нет! Старые ошибки исправляются, появляются новые, на той же социально-экономической почве, с теми же кор-

нями. Хочу рассказать здесь о семье, которая делает то, что надо делать горожанину, для которого Продовольственная программа не звук пустой и которая в любой момент может быть жестоко наказана за свои трудолюбие и инициативу.

В одной подмосковной области мне мельком рассказали о том, что в птицеводческом совхозе какая-то семья москвичей, приезжающая в отпуск, растит по договору с хозяйством сотню гусей. Меня это так заинтересовало, что я немедленно помчался в эту деревушку. Деревня маленькая, всего десять домиков, светлая речка, кругом леса — изумительно живописный уголок. Москвичи Шановы (муж — кандидат технических наук, начальник крупного КБ, жена-учительница и двое детей-подростков) попали сюда так. Они искали место, где в 1941 году воевал и погиб отец Светланы Николаевны. Очень им эта местность понравилась, и они с разрешения совхоза купили старый домик в деревне, откуда постоянные жители уехали на центральную усадьбу. Светлана Николаевна — у нее отпуск учительский, длинный — живет с ребятами в деревне все лето. Александр Мефодьевич приезжает на двадцать четыре дня. Весной приезжали на выходные, возделали огород — несколько соток, до того зараставших бурьяном, — небольшую тепличку поставили, полностью обеспечили себя картошкой, овощами, ягодами. А потом заехал сюда директор совхоза и предложил: «Не возьмете ли на доращивание совхозных гусей?» Они подумали и согласились. Светлана Николаевна со смехом вспоминает свою полную неграмотность в гусеводстве: «Идут они с пастбища, а я у соседской девочки спрашиваю: «Уж не заболели ли? Что-то шея раздулась?» Она хохочет: «Это зобы у них раздулись от корма...» Однако почитали литературу, поучились у местных — и дело пошло. Условия были такие: с 700 граммов раскормить до 3,6—3,8 килограмма, на каждую голову совхоз дает 5 килограммов зерна, остальной корм подножный и трава, которую сами накосят, в основном крапива. Александр Мефодьевич — истинный инженер — смастерил машину для резки травы, микротрактор для ее подвозки, оборудовал птичник, выгон для гусей. В 1981 году Шановы, потеряв всего одну голову птицы, сдали совхозу 100 гусей весом в 3,9 килограмма. В 1982 году они вырастили уже 150 голов, не потеряв ни одного гусенка. За отпуск заработали 190 рублей («Бензин себе окупиди»). Плюс в качестве натуроплаты получили 30 гусей — 10 съели, 20 сдали в кооперацию. В нынешнем году они собираются откормить уже 300 (!) голов (в 1983 году Светлана Николаевна болела, кооперация не состоялась, и она очень жалеет об этом: «Скучно без «гусей крикливых каравана...»). Причем ни один из членов семьи не жалеет о таком трудовом отпуске. На все время хватало: и на лес, и на речку, и на огород, и на гусей, — а ребята просто в восторге. Сын, студент технического вуза, даже заявил родителям: «Если бы меня раньше стали вывозить в деревню, я подал бы в Тимирязевку на факультет птицеводства».

Какой замечательный пример для десятков тысяч горожан, отдыхающих в деревнях! Кстати, среди них не меньше половины составляют ветераны, люди куда более свободные, живущие на лоне природы с мая по октябрь. Они не только гусей, но и овец или телят могут по договору растить. И хозяйству польза, и людям заработок, а натуроплата при нынешних трудностях с мясом будет для них ох какой не лишней.

Все бы хорошо, да боятся и Шановы и директор, который их приютил... По Земельному кодексу покупка дома лицом, не проживающим постоянно в деревне, не влечет за собой права пользования земельным участком. Земля под домом тоже входит в земельный участок. Следовательно, горожанин может купить деревенский дом только на вывоз, под снос. Большинство председателей и директоров к такой казуистике отнюдь не склонны: «Никому эти люди не мешают. Не дают запустеть мелким деревням, возделывают огороды, кормят себя, на просьбу помочь в чем-то хозяйству обычно откликаются. Зачем же все эти свирепости: снести, сломать, выселить? Неужто городской труженик вреднее для земли, чем бурьян или осинник?»

У нас уже сегодня в малых деревнях Нечерноземья живут летом, без преувеличения, сотни тысяч горожан. Некоторые деревни только по этой причине и продолжают существовать.

Как будто бы линия на уничтожение деревень всеми признана вредной, от сельских ветеранов, населяющих эти деревни, рьяные администраторы отвязались: не подталкивают их выселяться, не обрезают свет и не закрывают магазины. Нет, кое-кому «сносительский» зуд не дает покоя: принялись теперь за городских ветеранов, отдыхающих в деревнях! То и дело против них устраивают походы, вызывают в райисполком, в прокуратуру, требуют вернуть землю в «исходное состояние» («Крапивой, что

ли, зарастить? — спрашивает в своем письме В. Чиглинец, уральский токарь с сорокалетним стажем, один из таких «нарушителей». — Так где семена взять?»).

Статью Земельного кодекса жизнь, практика размывает со всех сторон. Раньше, бывало, и наследников деревенских усадеб гоняли и туркали. Теперь они на вполне законном основании по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР получают от 3 до 6 соток при доме. Рядом, на одной улице, живет горожанин «узаконенный» и точно такой же горожанин на птичьих правах. По постановлению правительства «гражданам, заключившим с хозяйствами договора на выращивание продукции животноводства», выделяются даже «дополнительные земельные участки». Выходит, и Шановы такое право имеют? А как же с землей «под домом»? «Литературная газета» провела целую дискуссию на эту тему, получила около 600 писем с разных концов страны, но преимущественно из крупных центров: Москвы, Ленинграда, Киева, Горького, Свердловска. Это не случайно. Области при этих городах густо населенные, с землей туго, участок в садовом кооперативе получить либо невозможно, либо дают очень уж далеко: в нескольких часах езды на электричке, на границе области. Заехать после работы на часок невозможно. Надо ночевать, жить на участке в уик-энд или во время отпуска. Значит, необходим дом, причем теплый, с печкой. Здесь это уже не блажь, как у многих дачников провинции, которые возводят виллы в двух километрах от квартиры. Здесь — необходимость. Но у многих ни времени, ни сил, ни средств не хватает для строительства такого дома. Вот они и кинулись по соседним областям в поисках готовых домов и огородов, возделанных старыми хозяевами. В основном эти «колонизаторы» — ветераны войны и труда. Они живут в деревне все лето, к ним приезжают дети и внуки.

Большинство читателей сошлись на том, что дома надо продавать горожанам, но — обязательно! — с разрешения колхоза, совхоза и сельсовета. Иначе горожане действительно могут стать помехой хозяйству. При доме колхоз может выделить небольшой участок, если он не используется колхозниками и не может быть включен в общественные земли. Но человек, которому дали участок, непременно должен в чем-то помогать колхозу. Очень большой интерес вызвала мысль о заключении договоров между колхозом и дачником, о выращивании скота, птицы, картофеля или свеклы по договорам. «Деревенские горожане» должны быть объединены в особую разновидность кооперативов (товарищество «Труд и отдых») — самостоятельных или под эгидой колхоза. В тот же кооператив могут войти и местные, сельские ветераны. Огромное большинство читателей считают, что при разумной организации труда и быта «сезонных крестьян» от их узаконения ничего, кроме пользы, не будет. Это и здоровый отдых горожан, и воспитание детей в труде, и дополнительные дружеские и деловые связи между городом и деревней.

И. Васильев, один из самых наблюдательных и авторитетных публицистов-аграрников, писал об этом: «Когда городской житель потек в деревню, в выморочные избы, мы усмотрели в этом нежелательное явление и тотчас вынесли вердикт: не пушат! Социальные явления бумагой не остановишь, какую запруду ни сооруди — размоют, снесут».

В печати был ряд сообщений: как решают эту проблему в братских странах, чей опыт партия рекомендует нам изучать. В частности, «Правда» рассказывала о том, как венгерская кооперация АФЕС объединяет деревенских горожан в группы, совместно занятые разведением кроликов, голубей, бройлеров, производством куриных яиц, шампиньонов, овощей и фруктов, меда: «Руководители потребкооперации показали на окраине города усадьбу пенсионера, в прошлом железнодорожника Йштвана Ифью. У него содержится на домашней ферме, построенной с помощью АФЕСа, 3 тысячи несушек. Пенсионер сдает около миллиона яиц в год... В подвале дома слесаря электромашиностроительного завода «Вилгеп» Бель Бардоша мне показали грибоводческую лабораторию: спорами шампиньонов отсюда снабжается 14 тысяч заказчиков».

В книге «Производство сельскохозяйственных продуктов в Венгрии», изданной в Будапеште на русском языке, приводится цифра: свыше 200 тысяч горожан объединены в так называемые спецгруппы — по договорам с колхозами, совхозами, потребкооперацией эти люди в свободное время производят продукты. 200 тысяч при населении в 10 миллионов!

Во многих статьях подчеркивается: в Венгрии, Болгарии, ГДР никто не мешает горожанину купить дом в деревне. Хочет — пусть только отдыхает там, держит садик-

огородик для удовольствия и личных нужд. Но большинство предпочитает на отдыхе в союзе с коллективами давать товарную продукцию. Не потому что заставляют — потому что это интересно и выгодно. Для себя, для семьи, для колхоза, для страны.

Как мы видели на примере семьи Шановых, и у нас такие люди найдутся. Если не рассматривать их как зловердных нарушителей и захватчиков земли, а видеть в них тех, кто они есть: честных советских тружеников, жаждущих отдыха и труда на земле и желающих помочь своей стране в решении трудной проблемы.

Я намеренно взял самый острый, самый нерешенный аспект проблемы «горожан на земле» — деревенских дачников. Оказывается, даже с этим «беззаконным» колючим человеком можно сварить хорошую кашу. А есть главный, массовый разряд горожан-земледельцев: члены садовых кооперативов. Может ли он серьезно пополнить рынок? Мы обычно говорим: садовый участок слишком мал, чтобы стать товарным, он только для отдыха и удовлетворения потребностей семьи. Решительно не согласен! Даже на моем скромном, маленьком, молодом участке бывают излишки клубники, помидоров, зелени, поднатужившись маленько, мы могли бы еще одну семью обеспечить. А уж в старых садах что делается! Прошлой осенью поехал по кооперативам Тулы. Сотни тонн яблок под деревьями гниют, на свалку вывозятся. В тот же день в той же Туле килограмм яблок на базаре — от 40 копеек до рубля. В Калуге в позапрошлом году был отличный урожай. В кооперативе «Финансист» видел яблоно, увешанную румяными плодами на фоне заснеженной земли. Садоводы рассказывали: закопали 200 килограммов яблок, 300, полтонны...

Почему же мы так бесхозяйственно обходимся с готовой продукцией? Почему не продаем ее? Потому что в массе своей мы питаем органическое отвращение к торговле на базаре, стыдимся ее. Почему? С этим стоит разобраться.

Ведь вроде бы у базара есть своя экономическая логика, своя справедливость. Вырастил — продай. Чем больше привоз, чем больше людей торгуют, тем ниже цены. Стало быть, молодец, кто торгует! Почему же мы смотрим на него искоса, стесняемся встать рядом с ними, своим отрицательным общественным мнением уменьшаем число возможных продавцов? Что это — только ли предрассудки, излишняя щепетильность и чистоплюйство? Мне кажется, нет. Подсознательно для нас точкой отсчета являются твердые, государственные цены. Они всегда ниже базарных, но, увы, по ним далеко не всегда можно купить нужный товар. Вот и выходит, что иной базарный торговец пользуется дефицитом, наживается на трудностях и горестях общества. Второе. Он с нас берет не столько за свой труд, сколько за хлопоты по доставке с юга на север. Но ведь не на себе же он принесет эти яблоки! Пользовался нашим, государственным транспортом, подкупал и развращал его работников, по сути, украл у нас те машины и вагоны, которые могли бы доставить сюда более дешевые колхозные и государственные фрукты. И последнее. Конечно, трудно вырастить ранние цветы или фрукты. А сталь варить легко? Рыбу ловить в полярном море? Кирпичи класть под дождем и ветром? Но ведь сталевар, рыбак или строитель чемодан денег домой не увезет! В критическом отношении к некоторым торгующим тоже есть своя логика.

Выход, видимо, надо искать не в предельных ценах на рынке — к этому многие склоняются, хотя практика не подтвердила рациональность этой меры. На рынок должны по-серьезному выйти колхозы и совхозы. Потребительская кооперация должна вступить в конкуренцию с базарными завсегдатаями. И ей в этом с удовольствием помогут миллионы садоводов и огородников. Любой сдаст излишки продукции прямо в саду и по приемлемым ценам. Цены эти, понятно, будут ниже базарных, продавать продукцию кооперация будет тоже дешевле, поэтому, кроме денег, садовод получит моральное удовлетворение: своим трудом я помог снизить цены, вышибить с рынка рвачей и хапуг.

Я мог бы здесь сказать о причинах, по которым наша кооперация этого не делает, в частности о системе оплаты труда ее заготовителей, продавцов и руководителей. Но когда я вижу груды гниющих яблок в коллективных садах, мне что-то не хочется подсказывать Центросоюзу лишние доводы в его оправдание. Плохая у вас система оплаты — сделайте лучше!

«Правда» писала недавно, рассказывая о венгерском опыте: «Побывали мы и в одном из садово-огородных секторов. АФЭС позаботился здесь о том, чтобы на участках была посажена, к примеру, вишня одного сорта. Тем самым было достигнуто «торговое» единообразие. Подвели водопровод. Хозяева участков обязаны продавать

избыток вишни только кооперативу. Земля между деревьями может использоваться по желанию пайщиков и под огородные культуры».

У нас, как я писал в начале очерка, на участках — сплошной универсам. Мы этим гордимся, видим в разнообразии сортов и культур пищу для творчества. Не станет ли скучнее работать на даче, если она с помощью кооперации станет частично товарной? Наверно, нет.

4

Попробуем подвести итоги. С одной стороны, миллионы городских семей делают большое, доброе дело. По своей воле, за свой счет преобразуют бросовую землю, после работы, в свободное время пополняют свой и народный стол дефицитными продуктами. Государство призывает уважать их, высоко поднять их моральный престиж.

С другой стороны... трудно получить клочок земли. Почему?

Сложно купить за трудовые рубли все что нужно для освоения этой земли. Почему?

Трудно получить право на возрождение неперспективной деревни, на спасение приусадебной земли, зарастающей бурьяном. Почему?

Трудно доказать некоторым, что большинство садоводов никакие не частники. Почему?

Занимаясь проблемой горожанина на земле, я не раз вынужден был вступать в спор с представителями различных ведомств, причастных к этой проблеме. Мучительные это были споры! Сидит перед тобой неглупый, высокообразованный человек, и никак, ни в какую не доходят до него очевидные, доступные любой деревенской бабке истины. Как в крыловской басне. Ты ему про слона, а он тебе: «Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки...» Ты ему цифры называешь: 8 миллионов городских семей, 32 миллиона человек обеспечивают себя картошкой, овощами, фруктами. Он тебе: «А вот недавно разоблачили одного частника. На своей даче построил сауну, гараж, комнаты красным деревом отделаны...»

Я сердился, я мысленно называл собеседника тупицей и дубом, пока не понял: дуб в этом разговоре скорее я, чем он. Ведь я исхожу из наивного предположения, что его рассуждения основаны на государственных интересах, пусть понятых ошибочно, узколюбо. А он представляет ведомство, у которого есть свой план, свои показатели, свои лимиты и фонды, и 32 миллиона моих «подзащитных» никакого касательства к истинным интересам этого ведомства не имеют, произведенная ими картошка ни в какие планы ведомства не входит, забота об этой картошке зарплату моему собеседнику ни на копейку не увеличит, а вот хлопот прибавится. Он мог бы, конечно, откровенно сказать мне об этом, но это будет отдавать цинизмом, тут и в газету можно попасть за узковедомственный подход. Куда безопаснее и приятнее выглядеть ортодоксом, защищающим «основы» даже в ущерб производству картошки...

В стране возник по существу третий сектор сельского хозяйства. И с ним повторяется то же, что многие годы творилось со вторым сектором — личным подсобным хозяйством на селе. К счастью, мы сейчас начинаем понимать роль этих, экономических, ведомственных интересов. Некоторые шаги по сближению общественного и личного сектора на селе уже делаются. А как же с третьим сектором? Кто учитывает произведенную продукцию, кто организует в целом по стране работу садовых и огороднических кооперативов? Какой главк, сектор, отдел?

Какие материальные ресурсы выделены специально для этого сектора? 8 миллионов садовых домов и пустые полки на многих лесоторговых базах!

Рядом в одинаковых условиях две области. Рыночные цены на овощи и фрукты там и тут — небо и земля. Никто не хвалит облизполком, добившийся низких цен для трудящихся (за счет широкого развития садового движения, вывода на рынки колхозов и совхозов, энергичной работы кооперации). И никто не ругает его соседа, которому на все это начихать. Они оба передовые (если выполнили план госпоставок). Или оба отстающие (если таковой план не выполнили).

В Болгарии, между прочим, как рассказывала наша печать, каждый округ, община отвечает перед государством за уровень «самообеспечения продовольствием». Не потому ли там отважились раздать 100 тысячам софийских семей по сотке земли недалеко от города. Не камней и не болот — прекрасной поливной земли...

Еще раз хочется повторить: третий сектор — неотъемлемая часть Продовольственной программы. Развивать эту часть надо так же, как другие разделы: в серьезном, плановом порядке, с лимитами, фондами, с учетом и контролем, с ответственными лицами и организациями. Пусть этот сектор пока невелик: 8 миллионов городских семей садоводов и огородников против 34,8 миллиона семей, имеющих личные подсобные хозяйства на селе: Сельское-то население уменьшается, а энергичный дачник за три года (с 1978-го по 1981-й) подрос на 900 тысяч семей. Очень может быть, что на каком-то этапе третий сектор догонит второй, скажем, по производству овощей и фруктов. Любое явление надо видеть в динамике, в развитии. Первый секретарь Московского обкома КПСС В. И. Конотоп на страницах «Нового мира» недавно писал: «Подсобные хозяйства мы будем теперь еще больше укреплять, поддерживать, давая возможность трудиться на земле горожанам, родственникам жителей деревни, пенсионерам. Более трех миллионов дачников выезжают на лето в Подмоскovie, снимают дома и комнаты».

А если учесть, что многие уже содержат кроликов и птицу, если помочь 11 миллионам городских семей, живущих в своих домах, восстановить «городское стадо», когда-то весьма солидное в малых городских и рабочих поселках, если скооперировать жителей этих городков, горожан-сезонников в деревнях с ближайшими совхозами и колхозами по выращиванию скота и птицы, то горожанин и в животноводстве может стать весьма заметной фигурой.

Когда «Литературная газета» вела дискуссию «горожанин на земле», в почте были и такие голоса: что это, мол, за призывы к кустарщине? неужто вы всерьез думаете заменить мощное, механизированное, общественное сельское хозяйство этими несчастными сотками, где вручную ковыряются после рабочего дня? пусть каждый занимается своим делом: крестьянин пашет, рабочий точит, служащий пишет; после работы отдыхать надо, а не тяпкой махать!

Что на это ответить? Во-первых, никто никому сотки не навязывает. Наоборот, как мы видели, получить их многие не могут. Обижаются, плачут, жалобы пишут. Мы, уже имеющие садовые участки, считаем работу на них самым настоящим отдыхом, раем для тела и души. Кому же больше нравится кормить комаров на рыбалке, пальбой из двухстволок загонять в Красную книгу зайцев и уток или торчать у телевизора, тот волен поступать как знает.

Во-вторых, никто и не предлагает общественное сельское хозяйство заменять сотками. А вот помочь ему, снять с него часть нелегкого бремени мы, горожане, можем и обязаны. И путем шефства над колхозами и совхозами, и созданием подсобных хозяйств при заводах, и личной инициативой на даче, на участке у деревенской родни, в своем деревенском огороде, и многими другими способами. Почему обязаны? Да потому что мы в долгу перед селом! Было как-то в газете: парторг проводит беседу в заводском общежитии. Недовольный девичий голосок: «До каких пор нас будут посылать на уборку? Мы зачем сюда приехали: самолеты строить или морковку копать?» Парторг попросил поднять руку тех, кто приехал на завод из деревни. Дальнейших разъяснений не потребовалось...

Думаю, и тогда, когда мы наладим наше общественное сельское хозяйство, когда на прилавках будет все от колбасы до петрушки, тяга горожан на землю не ослабеет. Разве не записано в нашей программе, что нашей целью является стирание граней между городом и деревней, умственным и физическим трудом? Движение горожан-земледельцев — один из способов этого стирания. Пусть не самый главный, но достаточно интересный и эффективный. Горожанин на земле — это всерьез и надолго. Это крупное общественное явление конца XX века.

АНДРЕЙ НИКИТИН

★

ИСПЫТАНИЕ «СЛОВОМ...»*

9

В 1054 году в Киеве умер великий князь Ярослав Владимирович Мудрый, оставив пятерых сыновей: Изяслава Ярославича, по старшинству получившего киевское княжение, Святослава Ярославича, которому достался в удел Чернигов с землями, и Всеволода Ярославича, получившего Переяславль; два других сына получили: Игорь — Владимир Галицкий, Вячеслав — Смоленск. Сначала умер Вячеслав, и Игорь перешел в Смоленск, по-видимому, как в более важный город; затем в 1060 году умер в Смоленске Игорь.

Умирая, Ярослав завещал сыновьям дружбу и взаимную поддержку. Совместные действия братьев, сохранивших завещанный отцом порядок, были успешными до 1068 года, когда их войска потерпели тяжелое поражение от незадолго до того появившихся половцев. После этого восставшие почему-то киевляне изгнали Изяслава, освободив из заключения Всеслава Брючиславича, князя полоцкого, которому и вручили судьбу Киева. События, описание которых сохранилось в летописи, ненамного понятнее, чем строки, посвященные Всеславу в «Слове...». Непонятна вражда Всеслава к сыновьям Ярослава; непонятно, по каким причинам, среди которых нет и не может быть территориальных притязаний, воюют русские князья, представляющие Русь южную, киево-чернигово-переяславскую, с князьями полоцкими, находящимися далеко на северо-западе. Непонятно требование киевлян у князей «коней и оружия», чтобы биться с половцами, а после отказа — почему бы? — освобождающих именно Всеслава из темницы. В самом деле, ну какая связь между половцами и полоцким князем, враждебным — по летописи — киевлянам? Между тем меры помогли, и больше ни о какой вражде киевлян с половцами в летописи и речи нет. Так, может быть, Всеслав князь не полоцкий, а половецкий? Поэтому он и «утаивается» от киевлян и «рыщет волком» в соответствии со своим половецким тотемом. Но это, так сказать, к слову...

После бегства из Киева Изяслав обратился за помощью к польскому королю Болеславу II, тогда как Святославу и Всеволоду предстояло самостоятельно отбиваться от половцев, обороняя свои княжества. Что предпринимал Всеволод, остается неизвестно, хотя именно на Переяславское княжество обычно обрушивался первый, и главный, удар степного набега.

В это время под стенами Чернигова произошло событие, которое на полтора с лишним столетия до появления монголов определило расстановку сил в русской земле. Половецкий хан Шарук (Шарукан), родоначальник Шаруканидов, сыгравших впоследствии немалую роль как в истории Руси, так и в истории Грузии и северокавказских княжеств, подошел к Чернигову с 12-тысячным войском. У Святослава Ярославича было всего три тысячи воинов, в четыре раза меньше. Однако сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды, как значится в родословии русских князей, выступил навстречу половцам, тогда еще не знавшим поражений, и не только одержал блистательную победу, но и захватил в плен самого Шарукана.

Если вспомнить, что половцы с тех пор неизменно выступают на стороне сыновей и потомков Святослава, а до конца его жизни ни одного половецкого набега на Русь не произошло, можно предположить, что отважный и умный черниговский князь воспользовался победой, побратался с Шаруканом и породнился с ним, взяв одну из его дочерей за сына.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 5, 6 с. г.

На следующий год при поддержке братьев Изяслав Ярославич, придя с польским войском, вернул себе Киев. Но братский триумvirат был уже непрочен. Через четыре года Святослав по каким-то причинам изгнал Изяслава не только из Киева, но вообще из русских пределов и сам сел на его место. Что произошло между братьями, вряд ли мы когда-нибудь сможем узнать.

Большинство исследователей считают, что именно с этих лет русские летописи неоднократно переписывались в угоду только одной, в дальнейшем господствующей ветви «Рюрикава дома» — Всеволода Ярославича и его потомков. Академик Б. А. Рыбаков с удивлением отмечал, что о княжении Святослава Ярославича почти нет известий, а те краткие заметки, которые мы находим, за исключением победы над Шаруканом, исполнены самой откровенной злобы.

Талантливый историк, тонкий исследователь летописей, к сожалению, рано умерший, М. Х. Алешковский высказал интересную мысль, которая объясняла приведенные выше и последующие факты, особенно важные для рассмотрения событий конца 70-х годов XI века. Алешковский предположил, что начиная со смерти Ярослава Владимировича записи об Изяславе и Святославе были не просто стертые и заменены рассказом об основании Печерского монастыря, о волхвах и знаменьях, но дополнены также вставками из «летописца Всеволода», поскольку записи неизменно обеляют этого князя и взваливают вину за все происходившее в первую очередь на Святослава и его сыновей. Между тем, по зрелом размышлении, виноваты совсем не они, а как раз противная сторона, Всеволод Ярославич с сыновьями. Больше того. В этих статьях приведены разговоры, сообщать о которых летописцу мог только сам Всеволод Ярославич, причем опять-таки эти беседы неизменно рисуют Всеволода исключительно с хорошей стороны.

И еще на один факт обратил внимание Алешковский. «Во время княжения Всеволода,— писал он,— произошло несколько насильственных смертей его соперников, удивительно выгодных этому князю. Смерти происходили при таинственных обстоятельствах: одного князя убили в его же войске ударом копья в спину, другого убили его собственные союзники половцы, третьего закололи, когда он ехал на телеге. И однако, летописец каждый раз находит слова для того, чтобы показать непричастность Всеволода к этим убийствам, хотя, например, половцы заключили мир с Всеволодом прежде, чем убить Романа (Святославича, брата Олега.— А. Н.), Ярополк ссорился с Всеволодом, хотя его убийца, по словам летописи, «дьяволом научен», а Всеволод устраивает своему сопернику пышные похороны...»

Согласился с этим и академик Б. А. Рыбаков, неизменно подчеркивавший свои симпатии к Всеволоду Ярославичу и его сыну Владимиру Мономаху — первому полугреку на российском великокняжеском троне, умному, хитрому, вероломному, добивавшемуся своих целей любыми способами, но при этом как никто знавшему цену писаному слову, документу, остающемуся в веках и утверждающему юридические и психологические права его потомков на чужие престолы и земли...

Между тем после Ярослава Мудрого единственной фигурой, отвечающей панегирической характеристике «Слова о полку Игореве», обращенной к Святославу Всеволодовичу — «грозный, великий, киевский», — был как раз Святослав Ярославич, прекращавший своим умом и силой дочери Святослава, возникавшие в братском триумvirате, победоносно отразивший под Черниговом натиск половцев, превосходивших его силы в четыре раза.

Об истинном величии и силе Святослава Ярославича можно было судить хотя бы по тому, что изгнанный из Киева Изяслав в течение всего трехлетнего княжения Святослава тщетно обивал пороги королевских дворов Европы. Со Святославом не хотел связываться никто — ни Болеслав II, будто бы женатый, как утверждают некоторые источники, на старшей дочери Святослава, ни германский император, ни сам папа римский, к которому обращался Изяслав с просьбой о помощи.

Вот почему о более чем трехлетнем великом княжении Святослава Ярославича любопытствующий найдет в «Повести временных лет» только малопонятный анекдот о послых германского императора да известие, что 27 декабря 1076 года Святослав умер от неудачной операции — при удалении какой-то опухоли («резанья желве»). С удивительным проворством — через три дня! — 1 января 1077 года на киевском престоле уже сидел младший Ярославич, муж «грекини», наложивший руку на все имущество Святослава, включая и те сокровища, которые совсем недавно видели послы императора и которые, по уклончивому замечанию летописца, «распысая разню».

Личная, «младшая» дружина Святослава была, по-видимому, Всеволодом или «посажена в поруб», или перешла к нему на службу.

Для детей Святослава Ярославича ситуация складывалась крайне тяжело. В момент смерти отца мы находим Глеба в Новгороде (каком — неизвестно), Олега — во Владимире Волынском, Романа — в Тмуторокане (каком — тоже неизвестно). Где находились остальные дети Святослава? Мы не знаем. Давид, умерший только в 1123 году, согласно версии С. М. Соловьева княжил в 70-х годах в Переяславле, что сомнительно, а согласно Новгородской Первой летописи с марта 1073 года по начало 1077 года — в Новгороде на Волхове; Ярослав, умерший в 1129 году в Муроме, был еще слишком мал, точно так же как Игорь и Святослав, о которых упоминают — о первом М. М. Щербатов, о втором В. Н. Татищев. Был еще Борис, о котором писал В. Н. Татищев как о князе вышгородском с 1073 года и о князе вщижском в 1078 году, но о нем позднее.

Все они теряли не только отца, собранные им сокровища, его дружину, но и собственные владения, в первую очередь Чернигов, который в отличие от Киева, главенствовавшего над русскими землями, был их «отчиной». Не случайно, взяв Киев, Святослав оставил Чернигов за собой, хотя в соответствии с прежней системой старшинства обязан был передать его Всеволоду. Теперь Святославичам противостояли дядья: один — занявший Киев, другой — стремившийся к нему. И тут же оказывалась многочисленная свора двоюродных братьев, каждый из которых стремился захватить себе лучшее второстепенное княжение, после того как главные будут поделены их отцами.

...Дни уходили за днями, а восстановить с достаточным вероятием последовательность событий, потрясших всю землю русскую настолько, что отзвуки их мы явственно слышим в «Слове о полку Игореве», не удавалось. Обложившись картами, историческими исследованиями и справочниками, сверяясь с примечаниями, кропотливо, слово за словом, строка за строкой я сравнивал тексты различных списков «Повести временных лет», повествующих о событиях конца 70-х годов XI века. И так же, как когда-то в списках «Правды Русской», находил несоответствия и расхождения.

Списки «Повести временных лет» расходились в датировках событий на год, а то и на два, но зато в них можно было найти дополнительные сведения, иногда — точные даты, называющие не только месяц и день, но и день недели, иногда — дополнительные имена и отчества, которые не проясняли, а лишь затемняли складывающуюся картину. Все это нужно было свести воедино, проверить друг другом. Немалым подспорьем в этих разысканиях послужило для меня знаменитое «Поучение» Владимира Мономаха, оказавшееся в Лаврентьевском списке «Повести временных лет», — та самая «Духовная...», которую вслед за «Правдой Русской» успели издать «любители отечественной истории», удивительным чутьем определившие первостепенную важность собственноручных свидетельств сына Всеволода Ярославича о событиях своей жизни и своих походах, последовательностью которых можно было поверять хронологию летописных статей.

В целом картина складывалась следующая.

Весною 1077 года Всеволод Ярославич, утвердившийся было на киевском престоле, получил известие, что его старший брат Изяслав двинулся на Русь во главе польского войска. Всеволод выступил ему навстречу. Братья сошлись на Волыни, помирились, и 15 июля Изяслав уже вступил в Киев. В это время, 4 мая, какой-то Борис сел на черниговский стол, но, прокняжив всего восемь дней, бежал в Тмуторокань к Роману Святославичу.

Я намеренно не останавливаюсь на предположениях, кто был этот Борис и почему он так поступил, чтобы дать представление о последовательности событий в летописи и об их освещении летописцами.

После примирения братьев мы находим Всеволода в Чернигове, где с ним оказывается и Олег Святославич.

Летописная статья следующего, 1078 года начинается с сообщения, что Олег бежал 10 апреля из Чернигова тоже в Тмуторокань. После этого сообщается, что 30 мая Глеб Святославич был убит в Заволочии, откуда его тело было привезено в Чернигов и погребено 23 июля «за Спасом», по-видимому, в родовой усыпальнице Святославичей. Теперь определились владения младших князей: Святополк Изяславич сел

в Новгороде на место Глеба, Владимир Всеволодович — в Смоленске, а Ярополк Изяславич — в Вышгороде, где до этого В. Н. Татищев помещал Бориса Святославича.

Дальше события развиваются сравнительно быстро, потому что в то же лето Олег и Борис приводят половцев на русскую землю и идут с ними на Всеволода. Встреча произошла 25 августа на Сожице, или, по другому прочтению, на Оржице. Всеволод был разбит. Летописец полагал, что битва была под Черниговом, куда, по его словам, пришли Олег и Борис, полагая, что «одолеи всех». Всеволод же отправился в Киев к Изяславу и просил помощи. Не помня зла, Изяслав, как пишет летописец, расплакался «и повеле собирати воя от мала до велика». Изяслав выступил сам с сыном Ярополком (вышгородским), а Всеволод — с сыном Владимиром Мономахом. В таком составе они и подступили к Чернигову. Но Олега и Бориса там почему-то не было, а черниговцы затворились и не хотели пускать князей в город. Вскоре пришло известие о подходе Олега и Бориса с войском. Владимир Всеволодович остался стеречь черниговцев и сжег «окольный город», а трое князей выступили навстречу дуумвирам.

По словам летописи, Олег предлагал Борису кончить с дядьями миром, но тот был непреклонен и готов был один идти против всех, предлагая Олегу не вступать в бой. Войска сошлись 3 октября у села Нежатина Нива. Первым согласно летописи убили «Бориса, сына Вячеслава, похвалившегося вельми». Олег бежал в Тмутарокань. Но убит был не один Борис. Изяслав, не принимавший участия в битве и стоявший, спешившись, в рядах своих войск, внезапно был поражен в спину копьем неизвестным всадником, который тут же бесследно скрылся. Ярополк привез тело отца своего в Киев и торжественно похоронил. Теперь Всеволод мог спокойно занять киевский престол, что он немедленно и сделал, посадив в Чернигове своего сына Владимира, а Ярополку Изяславичу отдал далекий Владимир Вольнский и Туров.

Следующий, 1079 год в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях был отмечен двумя одинаковыми заметками. Первая сообщала о приходе Романа с половцами на Русь, о том, что Всеволод у Переяслава заключил с половцами мир, те повернули в степь и 2 августа убили Романа. Вторая — о том, что некие «козары» схватили Олега Святославича и отправили в заключение за море, в Царьград.

1080 год был отмечен лишь тем, что войной на Русь почему-то пошли переяславские торки.

Так излагают события летописи. Не летописцы, а именно летописи. Если быть точным — летописные своды, исправлявшиеся, пополнявшиеся, терявшие одни статьи и заменявшие их другими.

Сообщения «Повести временных лет» в отличие от более поздних известий почти невозможно проверить: во всех списках они восходят к одному (или двум очень близким) источнику-оригиналу, сложившемуся в окончательном виде, вероятнее всего в самом конце XII века. К тому же известия о событиях второй половины XI века были изрядно «вычищены» потомками Всеволода Ярославича. Единственным источником, с помощью которого можно хоть как-то корректировать хронологию и последовательность событий, было «Поучение» Владимира Мономаха. И хотя, по-видимому, Владимир Мономах сам указывал, как именно править летопись, вряд ли ему могло прийти в голову, что перечень его походов может быть использован против него историками.

Но хронология «Поучения» в ряде случаев резко расходилась с хронологией летописи. И тут стали всплывать любопытные факты.

Олег был не сразу введен в Чернигов. В начале 1077 года Владимир ходил под Смоленск, весной был послан отцом «Глебу в помощь» в какой-то Новгород, летом, после замирения отца с Изяславом, вместе со Всеволодом ходил под Полоцк. Следующей зимой 1077/78 года Владимир со Святополком Изяславичем пожгли Полоцк, после чего сам он пошел с половцами на какой-то Одреск, а Святополк отправился в Новгород, где еще был Глеб Святославич. Владимир за это время побывал еще раз в Смоленске и пришел к отцу в Чернигов, куда был доставлен и арестованный Олег Святославич. По словам Владимира, он позвал к себе на Красный двор Всеволода и Олега на обед, который, по расчетам хронологов, состоялся на первый или второй день пасхи, 8 или 9 апреля 1078 года. О последующем бегстве Олега в Тмутарокань и об убийстве Глеба Владимир не вспоминает. Между тем получается, что все взаимосвязано и происходит в один год, даже в одну весну: Олег бежит 10 апреля, на следующий день после приема у Владимира, 30 мая убит Глеб (после того как к нему

отправился Святополк Изяславич), 23 июля Глеба погребают в Чернигове, а уже 25 августа с половцами приходят Олег и Борис. Куда? К Чернигову, как считают обычно, удивляясь, куда же потом исчезают дуумвиры, чтобы подойти к Чернигову снова.

Налицо была какая-то путаница. Зачем было уходить обоим братьям, когда следовало укреплять захваченный ими Чернигов? Но были ли они в нем между 25 августа и 3 октября? Судя по перечню походов Владимира, не были.

Владимир Всеволодович писал, не оставляя места сомнению, что в то лето он вернулся из Смоленска и прошел сквозь половцев, биясь с ними, до Переяславля, где и встретил отца, «вернувшегося с битвы». Значит, Всеволод был осажден в Переяславле, а не в Чернигове? Отсюда, из Переяславля, отец и сын отправились за помощью к Изяславу, потому что, как отметил Владимир Мономах, «снова ходили тем же летом с отцом и с Изяславом биться у Чернигова с Борисом и победили Бориса и Олега».

Любопытным дополнением к этому перечню событий оказались свидетельства новгородских летописей, по мнению М. Х. Алешковского, сохранивших первоначальные записи о событиях на юге. Так, по свидетельству Новгородской Первой летописи «старшего извода», Глеба убили в тот же год, что и Романа, то есть в 1079 году. А в Новгородской Первой летописи «младшего извода» в статье о новгородских князьях против имени Глеба добавлено, что убили его, «изгнав из города». Другими словами, смерть Глеба была отнюдь не случайной, а преднамеренной и связана со сменой княжений: Новгород должен был достаться Святополку Изяславичу.

События, изложенные в летописях, проверенные последовательностью и хронологией походов Мономаха, не противоречили друг другу. И все же меня не покидала уверенность, что их расстановка под разными годами ошибочна. В самом деле, как объяснить отсутствие Романа во время похода Олега и Бориса на Всеволода? Кто такой Борис, претендующий на Чернигов в мае 1077 года, а в дальнейшем — инициатор борьбы со Всеволодом и Изяславом? Именно он оказывается главным действующим лицом, а не Олег, потому что в «Почучении» Владимир пишет: «То и паки ходихом, том же лете, со отцемъ и со Изяславом биться Чернигову с Борисом, и победихом Бориса и Олга». Кто он, Борис? Борис Святославич, как считал В. Н. Татищев и как подтверждает весь круг фактов? Или же это сын Вячеслава Ярославича, князя смоленского, умершего в 1057 году, то есть за двадцать один год до битвы на Нежатиной Ниве, двоюродный брат Святославичей, за это время ни разу не упомянутый ни в одной летописи?

Непонятно было, почему на следующий год с половцами пришел один Роман, без Олега. И кто эти козаре, которые схватили Олега и отправили его в заточение в Царьград?

Проще обстояло дело с Борисом, который, так же как Олег, Глеб и Роман, назван в летописи без отчества, которое, по мнению летописца, само собой разумелось: для летописца он Святославич, старший брат Олега и Романа, первый претендент на Чернигов, действительно сидевший на княжении в Вышгороде, поскольку это место стало вакантным после его бегства сначала в Чернигов, а потом в Тьмутарокань и лишь после этого было занято Ярополком Изяславичем. Вышгород рядом с Киевом, поэтому когда князь Изяслав идет помогать Всеволоду, с ним отправляется не кто-нибудь, а именно Ярополк, который оказывается ближе всех. Откуда же утверждение, что Борис — Вячеславич?

Из двух источников. В летописных статьях Лаврентьевской и Ипатьевской летописей сказано, что «первым убили Бориса Вячеславича, сильно похвалявшегося». Когда? Перед кем? Комментаторы связали эту фразу с разговором Бориса и Олега перед битвой, когда Олег склонял своего спутника на переговоры с дядьями, а тот непримиримо ответил: дескать, если боишься — стой и смотри со стороны, а я с ними мириться не хочу («...аз им противен всем»). Отголосок летописного сообщения находим и в «Слове о полку Игореве»: «Бориса же Вячеславича слава на суд приведе... за обиду Олгову, храбра и млада князя». Получался порочный круг: летопись поверялась «Словом...», а известие «Слова...» — летописью.

Кто у кого заимствовал это известие, читающееся в новгородских древнейших летописях просто: «...бысть сеча у Чернигова и убиена бысть два князя: Изяслав и Борис», сейчас сказать трудно. Забегая вперед отмечу только, что здесь мне видится скорее влияние «Слова...» на летопись, чем наоборот. Ведь в словах Бориса, обращенных к Олегу, никакой похвалы нет. «Слово о полку Игореве» знает не «похвальбу»,

а «славу», что значительно ближе к истине, но там кем-то из редакторов Борису было присвоено чужое отчество, которое заставило очередного переписчика или редактора летописного рассказа сделать соответствующую вставку, согласующую летопись и «Слово...».

Можно было привести еще одно соображение в пользу отождествления Бориса с родным братом Олега Святославича. В отличие от своих братьев Святослав Ярославич глубоко чтит память первых русских святых князей Бориса и Глеба, приходившихся ему, кстати сказать, стрьями, то есть братьями отца. Это он, как показал М. Х. Алешковский, в большей степени, чем Изяслав и Всеволод, способствовал их канонизации и перенесению мощей в Вышгород. Нет ничего удивительного, что имена первых русских святых князей появляются у детей Святослава, как христианские — Роман (Борис) и Давид (Глеб), так и языческое — Глеб. В этом случае естественно ожидать и Бориса, поскольку сыновей у Святослава было немало число, но Бориса называет только В. Н. Татищев — того самого, который пришел с Олегом на Нежатицу Ниву.

Конечно, в этом случае возникал труднопреодолимый соблазн отождествить Глеба с Давидом (вопреки летописи), а Бориса — с Романом, что сняло бы сразу множество недоуменных вопросов, связанных с судьбой детей Святослава. Возможность этого была, но это уже совсем особая тема, которой лучше было пока не касаться...

Гораздо труднее оказалось распутать узел противоречий с неучастием Олега и Романа в походах друг друга. Беда заключалась и в том, что эти события русской истории не привлекали специального внимания исследователей. Возможно, произошло так потому, что источники оказались слишком скудны — не зря трудились потомки Всеволода и он сам! — и казались достаточно ясны. Не вызывало удивления даже такое сообщение, как поимка какими-то хазарами (козаре) русского князя Олега и отправка его в заточение не куда-нибудь, а в Царьград. На этот беспрецедентный факт обратил внимание в конце прошлого века, пожалуй, только Хр. Лопарев, обнаруживший в Ипатьевской летописи под 1130 и 1162 годами еще два подобных случая ссылки русских князей с их семьями в Царьград Мстиславом Владимировичем, сыном Владимира Мономаха, и писавший с удивлением: «Какое право имели Мстислав и хазары посылать именно в Византию князей?»

Признаться, я тоже не смог бы найти объяснения, если бы некоторое время спустя не прочел в комментарии нашего крупнейшего историка-византиниста Г. Г. Литаврина к так называемым «Советам и рассказам Кекавмена», что козаре ничего общего с настоящими хазарами не имеют. Это всего лишь специальный термин, означавший резидентов секретной службы Константинополя, задачей которых было захватывать и препровождать в Византию знатных пленников. Поэтому фраза «Олега ешме козаре, поточиша и за море Цесарюграду» совершенно точно отражала реальное положение вещей. Можно предположить, что шаг этот был предпринят константинопольским двором скорее всего по настоятельной просьбе Всеволода Ярославича, женатого на византийской принцессе и пользовавшегося родственными и политическими связями своей жены и ее греческого окружения.

Оставалось последнее — примирить разобщенность походов Олега и Романа. Проще всего было считать их «разнос» ошибкой летописцев, но после работ А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова и М. Х. Алешковского я был склонен в отношении дат больше доверять древним новгородским летописям, чем Лаврентьевскому и Ипатьевскому сводам, в которых основная часть перестановок и анахронизмов приходилась как раз на вторую половину XI века. Именно здесь оказывалось наибольшее количество сообщений с указанием подневных дат. Казалось бы, как заподозрить такую летопись в отсутствии точности и в ошибках? Однако сведения эти исходили от летописца Всеволода Ярославича, изъясвшего текст о княжении Изяслава и Святослава. Вот почему возникшее было окно оказалось заполнено развлекательным материалом: рассказами о чудесных знаменьях, о волхвах, их обманах, о «прельщениях бесовском», преставлении Феодосия, игумена печерского, а вместе с тем и о черноризцах Киево-Печерского монастыря. Сведения вставлялись в образовавшиеся пустоты, но материала, по-видимому, все равно не хватало. Особенно хорошо это видно по новгородским летописям, где пустые годы, без записей, свидетельствуют, что первоначальный текст не содержал погодной рубрикации и был расписан по годам значительно позднее. А это означало, что при обращении к этой части летописи мы можем доверять не внутривековым, а только внутригодовым датам.

Но вот что интересно: за исключением нескольких крупных отрывков, рассказы-

вающих о Всеволоде, остальные заметки с подневными датами оказываются очень лаконичны. Больше всего они напоминают надписи, открываемые на штукатурке древних церквей, подобные тем, что сопровождали запись о покупке «Бояновой земли». Ведь и этот юридический документ указывал только число и месяц события, но без года! Не исключено, что такими записями прихожан на стенах храмов пользовались продолжатели летописцев, вносящие — соответственно своей памяти — сведения о событиях под тот или иной год, но происходило это всегда много лет спустя после самого события. Отсюда расхождения в годах, но точность в числах и днях недели.

На растянутость хронологии летописи указывала хронология походов Мономаха. В окончательном варианте получалось, что следующий по смерти Святослава год для его сыновей был относительно благополучен. Олег по-прежнему оставался во Владимире Волынском, Борис, если то был он, — в Вышгороде, Глеб — в Новгороде, Роман — в Тмуторокане. Всеволод с Владимиром заняли Чернигов и, по-видимому, сохраняли за собой Переяславль, а Изяслав сидел в Киеве с сыновьями. Во всяком случае, следующей зимой Святополк Изяславич, бывший с отцом в изгнании и не получивший до этого никакого княжения, отправился с Владимиром Мономахом «жечь Полоцк». После этого все изменилось, как если бы решение было принято во время полоцкого похода.

Расставшись с Мономахом (по словам последнего), Святополк отправился не назад в Киев, а пошел в Новгород, после чего Глеб был изгнан из города и убит. По возвращении в Чернигов в первых числах апреля Мономах нашел там уже «выведенного» из Владимира Олега Святославича. Мономах устроил торжественный прием отцу и Олегу, на котором произошло что-то такое, после чего Олег бежал на следующий день из Чернигова в Тмуторокань, чтобы в августе вернуться с Борисом и половцами. Мне представляется, что попытка Бориса захватить Чернигов произошла в том же году после бегства Олега и отлучки из Чернигова Всеволода и Владимира — столько ярости, столько нетерпения в его ответе Олегу перед битвой, что вряд ли Борис смог ждать этой схватки те полтора года, которые показаны летописью между его бегством в Тмуторокань и приходом с половцами к Чернигову.

Вернее, сначала к Переяславу. К Чернигову уже потом.

3 октября 1078 года Борис был убит. Олег бежал, но вскоре был схвачен резидентами Византии, направленными, по-видимому, Всеволодом, потому что для самой Византии Олег не представлял никакого интереса.

Только после всего этого выступил «красный Роман Святославич», самый молодой из братьев, по-видимому впервые «вступивший в стрема». Его войско — друженые Святославичам половцы, подвластные Шаруканидам, ибо каких еще мог он нанять степняков, он, лишенный отцовского наследства? Поход молодого Романа против Всеволода, верховного правителя всей русской земли, чтобы отомстить за братьев, отвоевать свою и братнину долю отцовского наследства, — безумный, безнадежный, но какой прекрасный героический порыв! Роман был обречен на поражение. Всеволод даже не дал емуступить в бой, откупившись от половцев, которые повернули в степь, где Роман пал от рук «своих поганных», как называли потом на Руси степняков, связанных узами родства и дружбы с русскими князьями. Он пал от рук своих же союзников. Какой сюжет для поэта!

Боян не прошел мимо этого факта, воспев, как я полагаю, всю борьбу Святославичей за отцовское наследство, но центральной фигурой поэмы был безусловно Роман.

Это Роману предназначал Боян

Чрълень стяг, бела хорюговъ —
чрълена чолка, сребрено стружие —
храброму Святьславличю!

В поэме Бояна находилось все необходимое автору «Слова...», чтобы создать на материале высокого образца свое произведение: битвы, походы, плачи, споры, странствия степей и древнерусские города.

Но главное, что предопределило его выбор, — солнечное затмение.

10

Вопрос о солнечном затмении в «Слове...», даже двойном затмении — перед выходом и в походе, — был одним из камней преткновения для скептиков и пьедесталом торжества для защиты подлинности поэмы. В «Задонщине» затмения не

было. В то же время в «Задонщине» в самом начале в полном соответствии со «Словом...» можно было заметить «тень» от этого затмения — во фразе, сообщающей, что «Русская земля... тугою и печалию покрываша», соответствующей фразе «Слова...» о том, что Игорь увидел «тьмою вся своя воя прикрыты».

Исследователи останавливались перед солнечным затмением, которое произошло 5 мая 1185 года. Дальше, глубже, в «века Бояновы», никто серьезно не заглядывал. Ограничивались обычно извлечением летописных свидетельств, которые подтверждали уже известное. Ни о каком солнечном затмении в конце 70-х годов XI века никто из историков не знал, тем более в связи с походом Романа. Какое затмение? Откуда это взято? Сын Святослава никого не интересовал. В «Повести временных лет» в эти годы не отмечено вообще никаких экстраординарных небесных явлений. Но всякий раз, перечитывая строки о грозных предзнаменованиях, я чувствовал, что они вылились из-под пера Бояна, а не автора «Слова...», вылились как непосредственный отклик на трагическое стечение обстоятельств, среди которых на первом месте должно было стоять солнечное затмение, случившееся, как я полагал, в июле 1079 года.

О нем никто не знает? Его нет в летописях? Но в летописях нет не только затмения — в них нет многого из того, что когда-то, по-видимому, было или должно было быть. Выяснить возможность солнечного затмения для лета 1079 года оказалось сравнительно просто — надо было только воспользоваться каноном солнечных затмений М. А. Вильева, опубликованным в книге Д. Святского об астрономических явлениях в русских летописях.

Математические расчеты подтверждали догадку: 1 июля 1079 года в 4 часа 8 минут пополудни по широте Киева проходила тень частичного солнечного затмения. Это случилось за месяц до летописной даты гибели Романа — переездом или в самом начале предпринятого им похода. Все сходилось. Теперь можно было с большей уверенностью искать и вычленять наследие Бояна в тексте «Слова...».

Произведение Бояна как нельзя лучше подходило для целей автора «Слова...». Его герои были тоже Святославичами, к тому же еще и родственниками — дедами — героев «Слова...». Те и другие были связаны с половцами крепкими союзными и родственными узами, оба — Роман и Игорь — потерпели от них поражение. Поход, бой и поражение были канвой сюжетов обеих поэм. Даже возвращение из плена: ведь Олег Святославич бежал из Царьграда в 1083 году и вновь появился в Тьмутаракане! Это к нему относили «припевку Бояна», переделанную автором «Слова...» для Игоря: «Тяжко ти голове кроме плечю, зло ти телу кроме головы» Но главное, что сыграло решающую роль в выборе, благодаря чему заурядная пограничная вылазка Игоря, окончившаяся к тому же поражением, оказалась сюжетом не только поэмы, но и достаточно обширных летописных рассказов, — главным были солнечные затмения, предшествовавшие началу обоих походов. Одно из них произошло 1 июля 1079 года, благодаря чему мы знаем время выступления Романа, убитого 2 августа 1079 года, другое — 1 мая 1185 года, что подтверждает летописную дату похода Игоря Северского.

Согласно представлениям той эпохи героизм обоих князей заключался отнюдь не в опрометчивом выступлении с малыми силами против превосходящего по численности врага (у Романа был пример отца, победившего Шарукана), не в личной даже доблести, но в вызывающем пренебрежении небесным знаменем, недвусмысленно обрекавшим предпринятые походы на неудачу.

Вот почему можно было утверждать, что в новом тексте. тексте «Слова...», Игорь заменил Романа. Отсюда и объяснение, почему наибольшее количество заимствований из поэмы Бояна, выделяемых по своей ритмической организации, приходится как раз на первую часть «Слова...». Это были сборы в поход, когда

Комони ржут за Сулою,—
звонит слава в Кыеве;
трубы трубят в Новеграде —
стоят стязи в Путивле...

Это и неведомые нам кмети, ставшие курянами, которые

под трубами повити,
под шеломы възлелеяны,
конец копя въскормлени;
пути им ведоми,
яругы им знаеми;
луци у них напряжены,

тули (у них?) отворени,
сами скачут акы серыи волци в поле,
ищучи себе чти а князю славе.

К этому поэтическому комплексу относятся и великолепные картины затмения и знамений, которые лишь частично поддаются реконструкции, как то:

Солнце ему тьмою путь заступаше...
Вльцы грозу въсрожать по яругам,
Орли клетмъ на кости звери зовут,
лисицы брешут на чръленыя щиты...

Скорее всего к Роману относятся и строки, в которых даже сохранилось первоначальное единственное число третьего лица мужского рода, хотя по тексту требовался средний род:

...не был онъ обиде порожден(о)
ни сколу, ни кречету,
ни тебе чръный ворон, поганый половчине!

На пути раскрытия контаминации Роман — Игорь меня ждала еще одна удача. «Тьмутороканьский блъванъ» — пожалуй, одна из самых тревожащих загадок «Слова...», вызвавшая споры сразу же после выхода из печати «Слова о полку Игореве». У всех была еще в памяти полемика о тьмутороканском камне, о местоположении древнего Тьмутороканя, который Татищев и Болтин помещали в «пределах Рязанских», а А. И. Мусин-Пушкин вслед за Э. Байером — на Таманском полуострове. Но едва стихла полемика о камне с надписью князя Глеба, «мерившего море по леду» в 1068 году, как появился загадочный «блъванъ», естественно, прочитанный как «болванъ».

Логика у спорящих была одинаковой: кем бы ни был загадочный «див», он обладает голосом и, обращаясь к «Волзе, Поморию, Посулию, Сурожу и Корсуню», то есть к городам и странам, включает в этот ряд и «болвана». Так «блъванъ» оказывался языческим святилищем, столпом, истуканом, памятником Комосарии, волнами Керченского пролива, самим Керченским проливом, городом Тьмутороканем, каким-то половецким ханом, иранским словом «пэглеван», то есть «богатырь», каменной бабой и так далее. Ни одно из этих объяснений не удовлетворяло не только читателей, но и самих авторов гипотез. Как, впрочем, и прежние толкования «дива».

Наиболее правдоподобно объяснил «дива» С. В. Шервинский, наш старейший, самый тонкий и поэтичный переводчик и истолкователь «Слова о полку Игореве». Огромный опыт, большая эрудиция, особенно в области античной и средневековой восточной культуры, позволили ему взглянуть на многие места в «Слове...» именно с точки зрения традиций этих культур.

В «диве» видели филина; «дикого», то есть полувца; мифическое существо, враждебное русским дозорного на дубе; божество древних славян; Соловья-разбойника былии; сторожевой пост на кургане. Все это выпадало из системы поэтической образности «Слова...» и прямо противоречило указанию, что «див кличет верху древа». Шервинский обратил внимание на забытое наблюдение хорватского филолога Л. Гая, принятое Д. Дубенским. Вслед за Пушкинским списком «Правды русской» Дубенский издал в третьем томе «Русских достопамятностей» в 1844 году «Слово о полку Игореве» с подробным комментарием, где указал, что в славянских языках близкое название к слову «див» — «диеб», «диб» «дип» — носит птица угод. Эта пестрая, средних размеров птица с длинным клювом, увенчанная высоким гребешком из перьев, широко распространена по всему югу и лесостепи. Между тем в средневековой восточной поэзии, строго следовавшей определенным традициям при распределении ролей как между действующими лицами, так и в царстве животных, угод выполнял неизменно роль вестника, глашатая, герольда. Именно так вел себя «див» и в «Слове...».

Мне казалось возможным и еще одно истолкование «дива».

В одном из русских «Азбуковников» XVI века, тогдашнем словаре иностранных и древних слов, я обнаружил слово «зивь», означающее аиста или журавля, — слово редкое, но, по-видимому, употреблявшееся в домонгольское время, а к концу XIV века, когда создавалась «Задонщина», уже совсем забытое. Именно тогда, при возникновении одного из промежуточных списков «Слова...» начальное «з» легко могло быть прочитано как «д», «превращая, — как писал в «Текстологии» Д. С. Лихачев, — слово трудное и непонятное в понятное и знакомое».

Так «зивь» стал «дивом».

Е. В. Барсов в своем всеобъемлющем исследовании о «Слове...» привел описание «дива», бытовавшее, по его словам, среди крестьян Олонецкой губернии, описание, повлиявшее на ряд поколений ученых, пытавшихся объяснить это место «Слова...». «Див — птица-укальница, серая, как баран, — писал Барсов, — шерсть на ней, как войлок, глаза, как у кошки, ноги мохнатые, как у зверя; птица она вещая — села на шелом — ожидай беду. Сидит она на сухом дереве и кличет, свищет она по-змеиному; кричит она по-звериному; с носа искры падают, из ушей дым валит». Фантазия рассказчика, как можно видеть, воспламенялась от слова к слову. Начав с довольно реалистического описания полярной совы, Барсов заканчивал неким вариантом змея-горыныча — с носом и ушами, откуда искры падают и дым валит.

Однако вот что примечательно: подножием «дива» на русском Севере оказывается именно «сухое дерево», на котором только и гнездится в природе аист. С его высоты он озирает окрестности, кличет, щелкает и взмахивает крыльями пританцовывая, словно приветствуя путников. Городские башни, минареты, колокольни, крыши домов — все это варианты «сухого дерева», без листвы, которая может таить опасность снизу, и без струящихся в стволе соков, которые могут притянуть молнию...

«Див» и Роман помогли решить загадку «тмутороканского болвана».

Аист или удод — во всяком случае, это был еще один представитель царства пернатых, обитающих в «Слове...». Лебеди, соколы, галки, вороны, дятлы, соловьи, гуси, чайки, кукушки, утки, вообще «птицы под облаками» — какое богатство степного мира, какое разнообразие красок, звуков окружает героев поэмы! Птицы везде: в небе, в траве, по кустам речных пойм, по дубравам. Они сопровождают полки, вьются над местом битвы, «придевают» своими крыльями павших бойцов, встречают песнями встающее солнце, зовут клекотом зверя «на кости»...

Но не только для красоты и от щедрот душевных нужны были в средневековой поэзии эти пернатые. Каждая из птиц в поэтической образности «Слова о полку Игореве» выполняла свою, только ей предназначенную роль. Дятлы указывали путь к реке. Соловьи щекотом возвещали наступление дня. Вороны и галки олицетворяли половцев, тогда как соколы — всегда русских князей.

Как отмечала В. П. Адрианова-Перетц, посвятившая поэтике и стилистике древнерусской поэмы специальное исследование, в «Слове...» удивительно широко использована «соколиная образность». Уподобление героев поэмы соколам происходит на каждой странице, а некоторые тонкости соколиной охоты столь излюбленной тогда во всем средневековом мире, привели зоолога Н. В. Шарлеманя к парадоксальному заключению, что автор «Слова о полку Игореве» был охотником-ловцом-соколятником! Крайность, конечно, пригодная разве лишь для того, чтобы утверждать «народность» автора «Слова...», но именно эта крайность, видимо, и помешала исследователям текста связать «соколиность» не столько с автором «Слова...», сколько с Бояном, чьи пальцы тоже уподоблялись соколам.

Все грозные предзнаменования в «Слове...» первоначально были связаны с vystуплением Романа Святославича, которого природа предупреждала о гибели и в то же время славил его отвагу и неустрашимость. То же самое делал и «див» — удод или аист. Кто для него Роман? В первую очередь тмутороканский князь. Роман шел не в Тмуторокань, куда совершенно непонятно для исследователей отправлял Игоря с братьями автор «Слова...», а, наоборот, из Тмуторокана на Русь. В этом, первоначально, варианте обращение «дива» к окрестным землям заключало в себе не предупреждение, а славословие Романа. Да, конечно, аист — пусть будет так! — мог обратиться к Роману Святославичу, именуя его «тмутороканским богатырем», как переводили некоторые филологи «блѣвань» иранским «пзгеван» или «палван». Но слово «богатырь» выпадает из строя образности не только «Слова...», но и тех произведений Бояна, которые удалось нащупать в его ткани.

Сокол! Тмутороканский сокол! — только так мог обратиться аист («див») к Роману, приравнивая его этим к остальным князьям-соколам. Но почему «блѣвань»? Однако стоило обратиться к словарям и справочникам, как я сразу же наткнулся на слово «балобан» (древнее «блѣвань») — название одного из видов степных соколов, балобанов, в знаменитой соколиной охоте царя Алексея Михайловича именовавшихся подкрасными кречетами. Сам термин «балобан» был забыт уже к началу XVIII века. Он сохранился в распространенной фамилии Балобановых, известных с XVI века в России, соответствующей на Волыни и в Галиции роду Балобанов. Но самое древнее упоминание я нашел в польских кодексах, начала XII века в виде имени Балобанъ — то есть чуть позже того времени, когда писал Боян.

Прояснились еще два темных места в «Слове...», и, что очень важно, прояснились без напряжения, без исправления букв, без разрушения печатного текста 1800 года.

Все против Романа! Все пытаются его остановить: солнце, заступающее ему тьмою путь, ночь среди дня, клик «дива» (привычнее как-то иметь дело с ним, чем с прозаическим аистом или удодем), приветствующего и предостерегающего тьмуроканского сокола. Воют по балкам волки... Но вот наступает время битвы, и тщетны оказываются все попытки обнаружить следы молодого князя. Здесь чувствуется явное звучание голоса Бояна, выступают строки его стихов, но действуют уже другие характеры, другие судьбы открываются у героев. И я напрасно снова и снова возвращался к этим страницам, пока не понял, что ищу несуществующее «Тьмуроканскому соколу» и в жизни не довелось принять участие в битве: половцы были перекуплены Всеволодом и повернули назад, в степь, к смерти, которая ожидала молодого князя..

Здесь должны были лечь другие стихи Бояна, посвященные походу Бориса и Олега, их роковой битве на Нежатиной Ниве, на берегу сегодняшнего Остера, поэтической Каялы, реки плача и скорби, «проклятой», «окаянной» реки, как догадался еще в начале прошлого века Н. Ф. Грамматин и не так давно убедительно доказал А. А. Дмитриев. Именно здесь, на зеленых берегах Остера,

ту ся брата разлучиста...
ту кровавого вина не доста,
ту пир докончаста:
сваты попиоша а сами полегоста
на землю Рускую.
Ничить трава жалощами,
а древо с тугою к земле преклонилось.

Уже не веселая година встала,
уже пустыни силу прикрыла.
Встала обида в силах Дажьбожа внука,
вступила девою на землю Трояню,
всплескала лебедиными крылы на синем море...

В этих выписках я позволил себе дать текст, который мог читаться у Бояна, ибо он сохранил яркие черты именно его поэтики, двойственное число глагола («...ту ся брата разлучиста»), что позволило автору «Слова...» в почти неизменном виде отнестись к действию на счет Игоря и Всеволода. Правда, он не заметил другое: герои в измененном тексте оказываются убиты («...а сами полегоста»). Для Игоря и Всеволода такая ситуация невозможна, поскольку оба остались живы. В ситуации Бориса и Олега она могла играть роль поэтической гиперболы, имеющей тем не менее реальное основание: Борис был убит именно «на бреге Каялы», возле современного Нежина, на одном из двух традиционных путей «из половец» на Русь, как то в свое время показал В. Г. Ляскоронский.

Новые времена — новые песни. Другой сюжет — другие герои. За исключением Всеволода Святославича, храбро обороняющегося от наседающих половцев, в самой битве мы никого другого не видим. Размышляя над этим фактом, я не мог найти ему иного объяснения кроме того, что почти все описание битвы или отсутствовало по какой-то причине у автора «Слова...», или же позднее было потеряно. Последнее предположение казалось наиболее правдоподобным. Средневековая поэма о битве без описания битвы? Это нонсенс, чепуха, бессмыслица. Стоило взять любое «воинское» произведение той эпохи, все равно — русское, восточное или западноевропейское, чтобы увидеть, что подробнейшее описание боя с указанием, как и кто себя вел, занимает в нем преобладающее место. В «Слове...» же автор отделяется несколькими общими фразами, упоминает, что Игорю стало жаль «мила брата Всеволода», и... все. Героем оказывается совсем не Игорь, а Всеволод, о котором, кстати, больше нет ни одного упоминания!

Почему так? Не было образца для подражания? А Всеволод? Кого он мог заметить? Судя по тому, что информация о нем оказывается заложенной в строфику Бояна —

стоиши на борони,
прыщещи на вон стрелами,
гремлещи о шеломы мечи харалужными,—

а разрубает («поскепаны») он не только половцев, но и «шеломы аварские» (откуда они?), можно было предположить, что он заместил здесь своего тезку Всеволода Ярославича из битвы 1078 года. Кстати, именно Всеволод Ярославич, а никак не Всеволод Святославич имел право называть черниговский престол отчим.

Но что это давало? Ровным счетом ничего. Продолжать дальше казалось столь же бесперспективным, как пытаться восстановить отдельные отрывки текста «Слова...» по тому, что из него сделано было в «Задонщине». Все, что рассказывалось дальше, было кратким и маловразумительным пересказом последствий битвы, вроде фразы о Святополке, который в это время должен был находиться в далеком Новгороде, а если бы даже и присутствовал инкогнито, то тело его отца Изяслава было отправлено в Киев водою, но никак не «между угорскими иноходцами»!

Чтобы идти дальше, нужно было еще раз внимательно перечитать «Слова...» и попытаться найти очередное противоречие между текстом и действительностью, в котором могла открыться переработка образов Бояна, тех его героев, которые участвовали в событиях 60—70-х годов XI века.

И первой здесь встала пресловутая «загадка Святослава».

11

Фигура великого киевского князя, старейшего среди Ольговичей, Святослава III Всеволодовича, выступающего в «Слове...» олицетворением мудрости русской земли, неизменно вызывала как у скептиков, так и у защитников «Слова...» много недоуменных вопросов. «Великий грозный Святослав «Слова о полку Игореве» и соправитель великого князя Рюрика, то отступающий от «ряда», то оправдывающийся киевский князь летописи — это как бы два разных человека, настолько различны точки зрения обоих авторов,— писал когда-то о Святославе Всеволодовиче академик Б. А. Рыбаков и тут же пытался примирить такое заключение следующим соображением: — И ни одного из них нельзя упрекнуть в полной фальсификации — каждый из них выбирал по своему вкусу факты из жизни Святослава, каждый из них писал портрет теми красками, которые нравились ему».

Что ж, допустим. Другой академик, Д. С. Лихачев, считал, что в тексте древнерусской поэмы отразилось не реальное, а идеальное представление о великом князе киевском. На самом деле Святослав таким не был. Будучи номинальным великим князем, он обладал только Киевом, а русской землей владел его соправитель Рюрик Ростиславич. Так что Святослав в действительности «один из слабейших князей, когда-либо княживших в Киеве».

Две оценки, два взгляда, две попытки компромиссного решения загадки. **Только** вот может ли она быть решена так?

В самом разногласии ничего удивительного не было. Летописи писались, редактировались и переписывались в угоду тому или другому заказчику. Еще более свободной могла быть трактовка факта в поэтическом произведении. Лучший пример — само «Слова...», где под пером талантливого автора, преследовавшего высокие патристические цели, бесславный провал заурядного набега южнорусского князька на половецкие кочевья превратился в подвиг защиты родной земли. Однако перелицовка в этом же произведении образа Святослава Всеволодовича, которого князь прекрасно знали, притом далеко не с лучшей стороны, ставила автора в глупейшее положение и обрекала на провал весь его благородный замысел.

Святослав Всеволодович был исключительной в русской истории фигурой. Он обладал Киевом, «матерью городов русских», и номинальным авторитетом, но не властью. Он был в меру способным, при случае мог неплохо распорядиться в военной обстановке, обладал достаточным умом, огромной жадностью власти, но за всем тем не имел от рождения той удачи, которая могла бы сделать его действительно великим князем всей русской земли второй половины XII века. Может быть, автору «Слова...» именно поэтому казалось уместным вложить в его уста «златое слово», порицающее сепаратное выступление Игоря и Всеволода, за которым следовал призыв к князьям «загородить Полю ворота»? Но этот призыв, как согласились современные исследователи, исходил от автора, потому что именно в нем содержится униженная просьба даже не к Рюрику Ростиславичу, соправителю Святослава, а к далекому суздальскому князю Всеволоду Юрьевичу «прилететь издалече», чтобы «поблюсти отчий златой стол киевский». Тут же возникает другой вопрос. Если «Слова...» написано

явным поклонником Святослава Всеволодовича, который для него «грозный, великий, киевский», то почему он приглашает в Киев Всеволода, который, кстати сказать, только этого и ждал? Значит, по его мнению, сам Святослав совершенно беспомощен?

Сколько ни предлагалось вариантов толкований, клубок неразрешимых противоречий только увеличивался. Со Святославом «Слова...» все обстояло неладно. Непонятно, почему ему приписано пленение Кобяка, причем не где-нибудь, а в Лукоморье, хотя нам — и его современникам тоже — было известно, что Кобяка захватил в плен летом 1184 года Владимир Глебович переяславский «на месте, нарицаемым Ерель, его же Русь зовет Угол», то есть между Днестром и Орелью. Столь же непонятным оказывалось место в панегирике Святославу, где сообщалось, что Игорь утопил («погрузил») какой-то «жир» и насыпал на дно половецкой реки Каялы русское золото. По-видимому, все это было заимствовано тоже из Бояна, поскольку весь панегирик оказывался пронизан четкой бояновской строфикой. Но о чем здесь шла речь?

Загадки оказывались в тексте и дальше. Сон Святослава был действительно мутен. Сколько ни бились исследователи, объяснение получалось неубедительным. И уж совсем загадочным было толкование этого сна боярами Святослава. Здесь на месте одних загадок возникали новые, а вместе с ними опять пробивались строфы Бояна, в которых возникали снова «див», «готские красные девы», «время бусово» и... «отмщение Шаруканю».

За Шарукана я зацепился, перечитывая эту часть «Слова...» уже неведомо в который раз. Я видел это имя, скользил по нему взглядом, но никаких ассоциаций оно не вызывало, пока я не сообразил, что это и есть тот самый «хвост лисицы», который давно и настойчиво ищу. Шарукан устанавливал прямую связь между этим текстом и своим временем, XI веком, тем более что находился он в неразрушенных строфах Бояна. Ну в самом деле, как можно верить, что пленение Игоря через сто двенадцать лет после пленения Шарукана может быть каким-то «отмщением»? Столько за это время было битв, столько раз бывали пленены русские князья значением и рангом куда выше Игоря!

Но если строфы Бояна совершенно определенно возвращали во время, когда был жив Шарукан, то месть за его поражение могла пасть исключительно на виновника, Святослава II Ярославича, великого князя киевского, следы которого я тщетно искал в тексте «Слова...». А тот был действительно великим и грозным!

Начинать анализ, по-видимому, следовало с вещего сна.

Среди разнообразнейших сюжетов древнерусской литературы знаменитый сон Святослава занимает такое же исключительное место, как «Слова...» среди других произведений. Может быть, еще более исключительное. Об этом как-то мало писали. Внимание было сконцентрировано на толковании загадок сна. И если для фразеологии, ритмики, дидактики и поэтики «Слова о полку Игореве» найдены достаточно многочисленные параллели в других литературных и исторических произведениях домонгольской поры и всего XIII века, то с вещими снами положение совсем иное.

Единственной параллелью сна Святослава в нашей древней литературе оказывается сон древлянского князя Мала, который сохранился в одном только списке «Повести временных лет» — в так называемом «Летописце Переяславля-Суздальского», составленном, как полагают, в XIII веке, дошедшем до нас в рукописи XV века, а изданном в середине прошлого.

После общего для всех списков «Повести...» под 945 годом рассказа о казни, придуманной княгиней Ольгой для древлянских послов, сватавших ее за своего князя после смерти Игоря Рюриковича, которых несли в «лодьях» и заживо погребли в яме на княжеском дворе (любопытно было бы обнаружить их останки!), редактор сохранил следующие строки о древлянском князе Мале (по-видимому, одном из готских Амалов): «Князю же веселие гворящу к браку и сон часто зряще Мал князь: се бо пришед Олга дааше емоу порты многоценыи червени вси жемчужом иссаждены и одеяла черны с зелеными оузоры и лодьи, в них же несеным быти, смолны».

Этот вещий сон не скрывал в себе никаких загадок. Следуя за рассказом о трагической гибели послов, он раскрывал читателю всю свою нехитрую символику: жемчуг — к слезам, черные одеяла — погребальные покровы, смолные лады — погребальные костры. Сон предвещал древлянскому князю различные огорчения еще и в будущем, что сбывалось буквально через несколько строк. Символика и реальность — убийство послов в реальных «лодьях», которые стали погребальными ладьями

сна,— столь переплетаются между собой, что теперь, после многих редактур и сокращений текста, невозможно представить первоначальную композицию новеллы. Во всяком случае, о сне Мала больше не упоминается, месть Ольги совершается своим порядком, а в остальных списках «Повести временных лет» сон оказался выброшен при переписках.

Сон Святослава значительно сложнее. Вот как он выглядит в тексте «Слова...»: «Си ночь с вечера одевхуть мя, рече, чръною паполомоу на кровати тисове: чръпахуть ми синее вино с трудомъ смешено: сыпахуть ми тъщими тулами поганых тльковин великий женчюгъ на лоно и негуют мя. Уже дьскы без кнеса в моем тереме златовръсем. Всю ночь с вечера бусови врани възгряяху. У Плесньска на болони беша дебрски сани и несошася к синему морю».

В объяснительном переводе «Слова...», выполненном еще в 1950 году, Д. С. Лихачев так переводил этот отрывок: «В эту ночь, с вечера, одевают меня,— говорит (он),— черным погребальным покрывалом на кровати тисовой: черпают мне синее вино, с горем смешанное; сыплют мне пустыми (опорожненными от стрел) колчанами поганых иноземцев крупный жемчуг на грудь и нежат меня. Уже доски без князька в моем тереме златоверхом (как при покойнике, когда умершего выносят из дома через разобранную крышу). Всю ночь с вечера серые вороны граяли (предвещая несчастье) у Плесньска (под Киевом), в предградье стоял киевский лес, и понеслись (они — вороны) к синему морю (на юг, к местам печальных событий)».

Конечно, с одной стороны, такой перевод что-то прояснял, а с другой... Я прикидывал и так и эдак, и мне становилось понятно, почему скептики именно этот сон, именно такие объяснения считали лучшим аргументом в пользу позднего происхождения «Слова...». Как, скажем, понять образ «синего» вина, к тому же еще почему-то смешанного с «горем»? С горечью — понятно, но с горем? Или что это за «поганые иноземцы»? Половцы? «Свой поганые»? Сколько я ни искал в этнографической литературе, так и не нашел примера, чтобы покойников выносили через крышу, да еще из терема, имевшего как минимум два этажа... Нет, что-то здесь было не так!

Необъяснимо было само содержание сна. Все в нем свидетельствовало, что Святослав видел собственную смерть и собственные похороны. С любой точки зрения — с точки зрения вещего сна или литературного этикета той эпохи — подобный сон был совершенно невозможен в приложении к Святославу Всеволодовичу, который благополучно прокняжил на том же киевском столе еще девять лет после указанных событий. Тогда уже надо принимать доводы критиков всерьез и считать, что в отношении Святослава Всеволодовича не может и речи идти о действительном его воскрешении. Образ его, выходит, представлен в самом что ни есть карикатурном виде «живого мертвеца». В таком случае становилась понятной и ключевая фраза, раскрывающая намерение автора: «...о малом — се великое! — молвити...»

Но все это относится уже к собственно проблемам «Слова...» и его жизни на Руси после 1185 года, тогда как меня захватила и влекла надежда хоть несколько прояснить загадки XI века, которые, быть может, удастся разгадать с помощью сохранившегося текста поэмы.

Общее со сном князя Мала было, пожалуй, только то, что оба автора использовали сходную символику сновидений, дожившую в народе до наших дней (жемчуг — к слезам, черный цвет — к скорби), оба занимали одинаковое место в рассказе, не предвещая, а как бы подытоживая события. Но дальше, дальше-то что?

Сравнивать было не с чем Церковь, цензуровавшая литературу, вместе с языческими суевериями всячески искореняла веру в «сонное мечтание». В многочисленных сборниках, многократно переписываемых и распространяемых в течение столетий монахами и мирянами, сохранились обличения веры в сны, почерпнутые из греческих святоотеческих сочинений. «Сон.. от природы, от еды, от бесов или еще от сильных и неукротенных желаний» — говорится в «Лествице» Иоанна Синайского; сны — «блудящая подобия и мечтания лукавых бесов на прельщение наше», вторит ему святой Антиох. «Если кто сонным мечтаниям верит, даже и без единого греха будет, все равно с дьяволом осужден будет как его слуга», — подтверждает «Слово о снах ночных». Насколько серьезно относилась к этому церковь, можно видеть хотя бы по тому, что только случайность спасла единственный список сна Мала, изъятый не просто из очередной летописной статьи, а из повествования о великой княгине Ольге, причисленной официальной церковью к лику святых.

Изучение с этой стороны древнерусской литературы домонгольского периода убеждало меня в ее «мистическом рационализме». Чудеса, пророчества, видения, по мнению людей той эпохи, могли совершаться исключительно по духовному ведомству — с соизволения официально признанных святых, богоматери и угодников, являвшихся только духовным или монашеским лицам, но никак не мирянам. Всякий самозванный претендент на обладание сокровенным знанием о будущем подвергался более серьезной опасности, чем только насмешкам и глумлению. Тут, по-видимому, церковь оказывалась неумолимой, вступая в борьбу с народным язычеством, получая полную поддержку со стороны княжеской власти. Пример с белозерскими волхвами, которых смирял Ян Вышатич, достаточно красноречив. Летопись рассказывает под 1071 годом о появлении в Киеве некоего волхва, «прельщенного бесом», который предрекал, что через четыре года Днепр потечет вспять, а русская земля и греческая поменяются местами. Невежи слушали его, а умные предупреждали, говоря: «Бес тобой играет на твою погибель!» Так оно и было, заключает летописец, «в едину бо ночь исчез без вести...».

Можно ли после этого считать, что отсутствие вещей снов было специфической особенностью древнерусской литературы? Только потому, что она оказалась потом в определенной зависимости от литературы византийской? Ведь сны-то были! И два из них, как видим, чудом сохранились. Пусть в единственном экземпляре каждый, но именно этим они и доказывали свою распространенность в прошлом. А это, в свою очередь, позволяло думать, что древнейшая русская письменность, возникшая гораздо раньше сакральной даты крещения Руси (вспомним договоры Игоря с греками!), питалась образцами не византийскими и южнобалканскими, а тем мощным духовным потоком с берегов Балтики, следы которого мы с удивлением и восхищением обнаруживаем на резных капителях древних черниговских храмов.

Надо было вернуться туда — на берега холодных и бурных северных морей, к бесчисленным островам и фиордам, где жили суровые, жестокие, но удивительно ясно смотревшие на жизнь и на окружающий мир люди. Они умели ценить доблесть врага, крепкий удар меча и точное слово поэта — единственное, что, по их мнению, обеспечивало человеку бессмертие.

12

Легко идти по знакомым тропинкам слов, встречаться с давным-давно умершими людьми, которые продолжают бороздить моря, меряться силой друг с другом, предпочитают смерть подчинению и слагают о своих друзьях и врагах песни, напоминающие о минувших битвах и призывающие к новым.

Соленый и влажный ветер словно бы опять омывал мое лицо и раздувал легкие, как это было во время прежних странствий в высоких широтах. Переносясь воображением через века и пространства, я снова сидел у очагов, в которых ярко горели поленья и куски высушенного за лето торфа, и слушал саги о людях, отправлявшихся «по восточному пути», чтобы потом вернуться домой с добычей или остаться лежать под одним из невысоких курганов на берегах Волги, Белоозера, Мсты, а спустя века воскреснуть под лопатами археологов, свидетельствуя о величии своего времени и своих дел.

Я устал распутывать клубки противоречий в летописях, подозревать в каждом списке сознательную подтасовку фактов, считать, сколько раз и когда тот или другой князь нарушал «ряд», преступая свою клятву. Здесь было если не проще, то просторнее. У человека была судьба и могла быть удача. Судьба открывалась ему в вещих снах, и если он не мог их вовремя понять и истолковать, то виноват в этом был он один. Уйти от судьбы он не мог: как бы далеко он ни уходил, рано или поздно он сам возвращался, чтобы сполна получить по жребию...

Исследователи «Слова...» давно поглядывали на древнюю скандинавскую литературу, подозревая ее влияние на древнерусскую поэму. Одни искали здесь сам дух скальдической поэзии, другие — заимствованные слова, третьи в таких великолепных аллитерациях «Слова...», как «съ зарания въ пятькъ потопташа поганяя плъкы Половцкыя...», поражающих даже наш искусственный слух, искали следы дротткетта. О том, что Боян подражал скальдам и сам был им, писали и говорили еще первые читатели «Слова...» — Е. Р. Державин, Г. Р. Державин, а следом за ними многие другие. Более обоснованно утверждали это Ф. Буслаев, Н. К. Гудзий и В. Ф. Ржига. Послед-

ний посвятил этому вопросу небольшую работу, в которой указал, что знаменитое «дерево», по которому Боян во время творчества «растекался мыслию», то есть белкой, взлетал «орлом под облакы», а по земле рыскал «серым волком», должно быть знаменитым «мировым деревом» Иггдрасиль скандинавской мифологии.

Согласно представлениям древних скандинавов Иггдрасиль — гигантский ясень, олицетворяющий мироздание. Ветви его протянуты в верхний мир, где гнездится орел, обладающий мудростью, ствол — наш, средний мир, а в нижнем, подземном, скрывается дракон Нидхёгг. Символом нижнего мира служит волк. По стволу ясеня вверх и вниз, перенося вести, беспрестанно снует белка («мышь») Рататоск (Грызозуб).

Совсем недавно ленинградский скандинавист Д. М. Шарыпкин снова вернулся к этому вопросу, подтвердив предположения прежних исследователей, что в тексте «Слова...» рассыпаны отголоски скальдической поэзии. Некоторые выражения, вроде «копья поют», он считал простыми кеннингами, равноценными выражению «идет бой». Казалось бы, мелочь. Однако высказанное печатно и не вызвавшее протеста специалистов, такое утверждение открывало возможность подходить к тексту с еще одним аршином, во всяком случае, иметь его в запасе для толкований.

Шарыпкин подтвердил и образ «мирового дерева», связанного с памятью о Бояне, указав при этом другое место в тексте «Слова...», где Боян уподобляется «соловью, скачущему по мысленну дереву». Соответствие такому образу он находил в словах исландского скальда Эгиля Скалагримссона, ходившего в набеги на берега Балтийского моря и оставившего после себя большое литературное наследие. «Из храма слов вырастает у меня древо песен, покрытое листвою славы», — приводил Шарыпкин в качестве примера слова Эгиля и заключал, что «в хвалебных песнях Бояна скальдические приемы и образы составляли прочную стилистическую основу».

Конечно, то был не вывод, а постулат. Основательно в изучение «Слова...» Д. М. Шарыпкин не вдавался, тем более не пытался вычленил из него тексты Бояна. Вряд ли он глубоко интересовался исторической действительностью Руси XI века, иначе, подтверждая свои предположения и примеры, не преминул бы заметить возможности прямого скандинавского влияния при дворе Ярослава Мудрого. Ведь, следуя скандинавским источникам, с которыми согласны советские историки, Ярослав Мудрый был женат на шведской принцессе Ингигерд, дочери Олава Святого, которой посвящено немало страниц в «Круге Земном» Снорри Стурлусона.

По сведениям Снорри Стурлусона, у Ярицлейва и Ингигерд было только три сына, которых звали Вальдамар, Виссивальд и Хольти Смелый. Вальдамар обычно отождествляется с Владимиром Ярославичем, княжившим в Новгороде с 1037 по 1052 год. Виссивальд — с Всеволодом Ярославичем, отцом Владимира Мономаха. По-видимому, под Хольти Смелым следует понимать Святослава Ярославича, выделявшегося среди братьев именно личной храбростью. В таком случае указание на его скандинавское имя заставляет думать, что именно Святослав унаследовал скандинавские традиции родительской семьи, повлиявшие не только на рисунок капителей черниговских храмов, но и на творчество Бояна.

А отсюда — отсюда был уже прямой путь в литературу. Отсюда могли идти, как подозревали некоторые исследователи, истоки скандинавского «осмысления» призвания варягов, выделенная в русском летописании А. А. Шахматовым «родовая сага» Яна Вышатича, и, уж конечно же, знаменитая история о вещем Олеге — вещем, как и Боян, — в которой слиты воедино чисто русские события с событиями широко известной в скандинавском мире «Орвароддсаги», повествующей об «Одде со стрелами». Героям саг снились сны, они их толковали впрямь и вкось, и эту незыблемую веру «волхвов», а по существу, кельтских жрецов-друидов, они принесли с собой, по-видимому, и на Русь.

То, что мы называем вещим сном, этими людьми считалось проявлением судьбы, неизбежной, неумолимой, но по каким-то неясным причинам открывающей человеку знание о будущем.

Как правило, человек их видит в критических ситуациях, перед принятием какого-либо важного решения. Они могут предупреждать и предвещать, быть «ино на добро, ино на зло», как писали по поводу небесных знамений русские летописцы. Вещим может быть явление во сне какого-то человека, сообщающего о своей смерти, обстоятельствах, при которых она произошла, иногда — о грядущих последствиях, часто — с просьбой об отмщении убийце.

Таков сон Иллуги Черного, когда он увидел своего сына Гуннлауга, который

сообщил, что его убил Хравн, сын Анунда. Иллуги потребовал возмещения за сына от Анунда, но тот тоже видел сон, в котором Хравн рассказал ему о схватках и о своих ранах. С этого момента началась вражда между ними и месть Иллуги родственникам Анунда.

Но это скорее видение, чем сон. Настоящие вещие сны в противоположность видениям глубоко символичны. Проекция реальных событий в будущее — а настоящие вещие сны всегда говорят не о прошлом, уже известном, а о будущем,— соткана из символов, которые способен растолковать и объяснить далеко не каждый. Они редко касаются судьбы одного человека, повествуя о судьбе рода или нескольких родов.

В королевских сагах вещие сны как одна из возможностей заглянуть в будущее повествуют о судьбах королевских династий и государств. Один из самых ярких примеров подобного вещего сна и его толкования содержится в «Саге об Инглингах». Вот как излагает Снорри Стурлусон вещий сон, приснившийся Рагнхильд, жене конунга Хальвдана Черного:

«Рагнхильд снились вещие сны, ибо она была женщиной мудрой. Однажды ей снилось, будто она стоит в своем городе и вынимает иглу из своего платья. И игла эта у нее в руках выросла так, что стала большим побегом. Один конец его спустился к земле и сразу же пустил корни, другой же конец его поднялся высоко в воздух. Дерево чудилось ей таким большим, что она едва могла охватить его взглядом. Оно было удивительно мощным. Нижняя его часть была красной, как кровь, выше ствол его был красивого зеленого цвета, а ветви были белы, как снег. На дереве было много больших ветвей, как вверху, так и внизу. Ветви дерева были так велики, что распространялись, как ей казалось, над всей Норвегией и даже еще шире».

Как узнает читатель в конце саги, вещий сон Рагнхильд относился к ее тогда еще не родившемуся сыну Харальду Прекрасноволосому. Красный цвет нижней части «мысленна древа» предрекал, что в юности он будет очень воинственным. Зеленый цвет ствола знаменовал расцвет его государства, а белый цвет верхушки дерева указывал, что Харальд доживет до преклонного возраста. Многочисленные могучие ветви простиравшиеся над Норвегией, символизировали распространение его потомства и утверждение его власти по всей стране.

Очень любопытным оказалось видение, которое узрел исландец Хильдиглум. Однажды ночью он вышел из дома и услышал сильный грохот. Тряслись земля и небо. Когда он в испуге осмотрелся, то увидел приближающегося с запада всадника на серой лошади. Он пронесся мимо Хильдиглума, прокричав стихи, из которых можно было понять, что козни некоего Флоси — огонь на ветру. После этого он бросил свой факел на восток, в горы, и там вспыхнул такой пожар, что не стало ничего видно. Всадник поскакал в огонь и в нем исчез.

Как выясняется из последующих глав саги, люди с запада действительно развязали на востоке, в горах многолетнюю вражду между исландцами из-за многосторонней кровной мести. Любопытно, что здесь оказался использован тот же образ сеятеля раздоров, что и в «Слове о полку Игореве», где в результате похода Игоря и его поражения «кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людем мычучи в пламяне розе».

Итак, если подытожить впечатления от места и роли вещих снов в древней скандинавской литературе, окажется, что, входя составной частью в систему саги, они сами образуют достаточно жесткую систему, где каждый элемент связан и обусловлен двойной связью: с остальными элементами сна и с их проекцией, если можно так выразиться, на макросистему всего произведения, в котором происходит их реализация. В этом заключен и секрет эффекта такого сна. Он прерывает действие внезапно, как вторжение роковой, неподвластной человеку силы, с которой тот ничего не может поделать, и определяет дальнейшее развитие сюжета уже как бы в новом направлении.

В сне Святослава, казалось бы, то же самое: вот смерть, вот какие-то события, вызванные этой смертью, что-то начинает происходить, но связанное повествование тут же обрывается одним из самых темных мест с «бусовыми вранами» и «синем морем», после чего следует толкование сна боярами, еще более запутанное, чем сам сон. В таком виде центральная часть «Слова...» воспринимается лишь в роли усилителя общей тревоги и смуты. Думаю, что так же воспринимали ее читатели конца XII — начала XIII века, поскольку даже самое первое и самое важное событие, возведенное во сне — смерть Святослава Всеволодовича, — никоим образом не исполнилось

после поражения Игоря, а его действительная смерть в 1194 году не повлекла за собой никаких экстраординарных событий в русской истории.

Вот почему следовало окончательно распрощаться с незадачливым Святославом Всеволодовичем, вернуться в XI век и посмотреть, насколько приметы сна соответствуют Святославу Ярославичу, тому действительно грозному и сильному киевскому владыке, при жизни которого изгнанный Изяслав тщетно обивал пороги европейских королевских дворов и припадал к папскому престолу в поисках помощи против брата, впервые объединившего в союзе Русь и Степь.

Но сначала несколько пояснений.

За время, прошедшее с момента опубликования «Слова о полку Игореве», истолкованию подверглась большая часть предметов, поименованных в сне, хотя порой это было весьма трудно сделать. Меньше всего сомнений вызывала, пожалуй, «черная паполома», обозначающая саван или погребальное покрывало. Уже «тисовая кровать» вызывала сомнение — тисовая она, то есть изготовленная из драгоценной древесины гиса, или же тесовая, сделанная из теса, что могло быть синонимом гроба или стола, на котором лежит тесовый покойник. Более вероятным мне представлялись здесь специальные носилки типа стола с ручками — «краббатос», — которые употреблялись для этой цели в Византии, так что иносказанием вполне мог быть «стол» или «гроб». Но больше всего споров и объяснений вызвали загадочные «толковины» и их имущество.

Выражение «поганые толковины» первые издатели «Слова...» перевели как «нечистые раковины», из которых, дескать, и сыплется на грудь Святославу крупный жемчуг. Перевод этот никого не удовлетворил.

Вскоре было обнаружено, что в летописном рассказе о походе Олега на Царьград в числе участвовавших в походе народов названы тиверцы, причем добавлено, что они — толковины. Зная общеупотребительное выражение «протолковать речь», что означает перевести ее, некоторые исследователи приняли это за указание, что все племя тиверцев традиционно использовалось русскими князьями в качестве переводчиков при переговорах с греками. Получалось, таким образом, что и в сне Святослава действуют какие-то «поганые», то есть языческие, переводчики. Для одних такое свидетельство летописи служило доказательством древности текста, другие указывали на явную нелепицу, которая только подтверждала мысль, что «Слово...» написано в конце XVIII века, а его создатель не понимал значения терминов, выбранных им из древних памятников.

Недоумение разрешилось не скоро, лишь когда обратились к живым славянским языкам. Тогда выяснилось, что слово «толковины» не имеет ничего общего с «толмачем», а образовано от слова «толока», что означает помощь. Толковины — помощники или союзники. И эпитет их — «поганые» — отнюдь не оскорбление, а всего лишь констатация факта, что союзники эти не христиане, а язычники, «паганус», как звучит исходное латинское слово. вошедшее в русский обиход с двойным значением, вероисповедным и бранным, кстати, одинаково использованным в «Слове...». Фраза «А погании съ всех странъ приходяду съ победами на землю Рускую» означает всего лишь нашествие иноверных народов, тогда как в отношении Кончака, названного «поганым кощею», или в реплике о «поганых головах половецких» использовано именно второе значение.

Перевод «толковин» как «союзников» открывал возможность нового объяснения поэтического образа. Жемчуг, просыпающийся на грудь великого князя после его смерти из опустошенных колчанов — «тулы» — языческих союзников, стал указанием горя, которое принесет их грядущая измена.

Сложности оказались и в истолковании «синего вина», смешанного с каким-то «трудом». Может быть, с «рудьмъ», то есть с кровью? В. Н. Перетц полагал, что в тексте использована евангельская парафраза: «Даша ему пити оцъ с зълъцю смешен». «Трудъ» переводили как горе; в Псалтири слово это означало гной. И хотя объяснение Перетца не нашло поддержки, мне казалось, что он подошел близко к истине. Бедь «синее вино» — это виноградный уксус, прокисшее красное вино. Только «трудъ» — не желчь, не горе, а губка. Вся же фраза означает обмывание покойника уксусом с помощью губки откуда и дальнейшее «негуют мя», то есть обтирают.

Теперь можно посмотреть на начало вещего сна в пояснительном переводе. Вот что видел Святослав и о чем рассказывал боярам:

«Этой ночью, с вечера, меня покрывали погребальной пеленей (паполома) на смертном одре (кровать тесовая); омывали меня уксусом, черпая его губкой; из

опустевших колчанов неверных (языческих и изменивших) союзников сыпался мне на грудь крупный жемчуг, предвещая мне и по смерти горе, и убирали меня...»

Не знаю, насколько подобное толкование убедительно, но единственное, что мне приходит в голову в связи с этой картиной, — неудачная операция над опухолью Святослава Ярославича («резания желъве»), от которой он и умер. Смерть Святослава Боян никак не мог обойти! Больше того, именно она должна была стать тем узловым моментом поэмы, от которого расходились судьбы сыновей великого князя, воспетых поэтом XI века. Именно Святослав должен был увидеть перед смертью признаки бед и сказать свое «золотое слово» о наступающих для русской земли годах усобиц и «котор». Однако не будем забывать, что эти строки — всего лишь начало сна.

Зная законы построения вещей снов в северных сагах, их внутреннюю логику, можно ожидать, что в дальнейших строках сна Святослава будут упомянуты события, связанные с судьбой семьи и наследников великого князя. Действительно, уже следующая фраза сна вводит нас в златоверхий великокняжеский терем, однако находим мы там не людей, как ожидали, а какие-то «доски», причем еще «без кнеса».

«Какие же «доски» оказываются «без кнеса», причем не «на», а «в» тереме златоверхом?» — в тоскливом недоумении спрашивал своих читателей и коллег знаток древнерусского языка и его лексики П. Я. Черных. «Зачем эти доски вообще в пророческом сне? — всегда хотелось добавить мне к этому. — Да и есть ли они, эти доски, на самом деле?»

Кстати сказать, мне кажется, на «доски» обратил внимание только П. Я. Черных. Остальным слово представлялось безупречным. А вот что касается «кнеса», то тут при всем единодушии его толкований как князек, охлупень, конек оставалась какая-то ощутимая неловкость. Вроде бы все так, а подтверждения нет! Где доски? Конечно же, на крыше. Почему они без «князька-конька»? Потому что князь умер, крышу поднимали... Крышу? Ну да, чтобы вынести покойника. Сами знаете, если человек трудно умирает или он колдун, у избы надо обязательно матицу приподнять, чтобы душа легче с телом рассталась. А с князьями этого просто ритуал требовал. Вот, например, когда умер Владимир I Святой, чтобы вынести его тело из помещения, «между двема клетми» разобрали «помост». И покойника спустили в сани сверху «на ужах»...

Верно. Так все и было. Только тело Владимира Святого опускали вниз, а не поднимали вверх, на крышу!

В «Саге об Эгиле» похороны отца героя Скаллагрима очень похожи на похороны Владимира. Скаллагрим спрятал куда-то свои сокровища и к полуночи вернулся домой. Он вошел в свою каморку и лег на постель, а наутро, когда встали домашние, сидел мертвый, прислонясь к центральному столбу, и так закоченел, что его не могли разогнуть. Об этом сообщили Эгилю, который тотчас же оделся, взял оружие и поехал в Борг. Он разогнул труп отца, положил его на скамью и сделал все, что полагалось, — закрыл глаза и ноздри. Потом он приказал ломом проломить южную стену дома. После этого, взяв Скаллагрима за руки и за ноги, Эгиль с людьми вынес его через пролом в стене. Не останавливаясь они несли его до моря и там на ночь разбили над ним шатер. На следующее утро в прилив Скаллагрима внесли на корабль и отплыли к мысу Дигранес. Там насыпали могильный холм, в который положили Скаллагрима, его оружие, коня и кузнечные орудия.

Рассказ этот в какой-то мере позволяет понять описание похорон Владимира I, но ничего похожего в сне Святослава мы не находим.

Чем больше я размышлял по этому поводу, тем все более трудными для объяснения представлялись пресловутые «доски», оказавшиеся внутри терема, крыша которого крыта золочеными листами меди и, судя по всему, в полной сохранности. Да и в плотницком деле, если уж на то пошло, досками называется лишь тот пиломатериал, который идет на обшивку стен, на потолок, переборки, лавки, полаты и прочие столярные поделки. Уже на пол идут не доски, а «половицы», часто обработанные только с одной стороны, ровно как на деревянную крышу — тесницы. А что такое «кнес»?

Фундаментальное исследование академика М. П. Алексеева, посвященное сну Святослава и специально слову «кнес» с рассмотрением всех имеющихся доказательств отождествления этого самого «кнеса» с князьком-коньком крестьянских построек, привело его к грустному заключению, что, во-первых, поиски слова «кнес» в древнерусской письменности не увенчались успехом, а во-вторых, даже по привлече-

нии всего этнографического материала нельзя удостовериться в тождестве «кнеса» и князька-княлька...

Воспринимали ли это место читатели XII века так же, как в XX веке его исследователи? Не знаю. Скорее всего нет. И главная тому причина, что в этой фразе недвусмысленно указывается на положение досок именно внутри дома, а не вне его! Если же принять слово «кнес» за сербскую форму слова «князь», как то предлагал еще В. Н. Перетц, хотя бы потому, что именно в этой части «Слова...» много сербизмов, то решение задачи не вызывает особых затруднений.

В самом деле, кто может остаться без князя в случае его смерти? Государство? Правитель всегда найдется. Дом? Место умершего заступит его наследник. Семья? Для нее он не князь, а отец, муж, сын или дед. И только в одном случае потеря оказывается действительно невозможной, столь тесно связанной именно с княжеским дворцом и бытом того времени, что умирающий имел право выразиться именно так, а не иначе. Этот исключительный случай касается личной, «младшей», княжеской дружины, с которой в те времена — в XI, а не в XII веке — князь переходил с одного княжения на другое. В древней Руси эта дружина носила собирательное имя «детьскы», то есть «младшая» в отличие от «старшей» дружины, состоявшей из бояр данной земли и города, «государственных мужей», которые представляли интересы коренного населения в княжеском совете.

«Кнес» оказался «князем». А как «детьскы» стали «досками»?

«Детьскы» писалось через «ять». На изменение орфографии этого термина в тексте «Слова...» повлияли три обстоятельства: потеря перекладки у ятя с превращением его в «ь», утрата второго «ь» как естественный результат сербского влияния, отмеченного филологами для всей фразы; последующая потеря при переписке выносного «т», писавшегося над строкой. Так в издании 1800 года оказалось слово «дьскы», истолкованное как «доски» живого русского языка.

Ничего особенного в таких изменениях не было. В древнерусских текстах подобные искажения встречаются повсеместно. Здесь действует комплекс причин: дефектность экземпляра, с которого переписывается текст, затертость букв у края листа, разрыв листа, пятна, наконец, специфика работы писцов в так называемых скрипториях, где размножались книги, и в первую очередь произведения светской литературы, пользовавшиеся большим спросом. В последнем случае текст копировался сразу несколькими писцами, и не с листа оригинала, а с голоса чтеца. Таким образом, каждый из возникающих списков приобретал новые ошибки, как общие, зависевшие от чтеца, от его внимательности и произношения, так и индивидуальные, определяемые внимательностью и грамотностью переписчика. Подобные искажения и привели некогда ясную фразу «Уже дружина осталась без князя в моем златоверхом тереме» в нечто совершенно невозможное, закрыв путь к пониманию смысла и текста сна.

А дальнейшее его содержание было чрезвычайно важно.

13

После вступительной части, описывающей смерть князя, идет изложение последующих событий. В них вводят нас фразы с начальным «уже...»: князь умер и вот «уже детьскы без кнеса...».

Дружина осиротела. Немолкнувшее воронье достаточно выразительно предвещает битвы, «каторы», кровопролития, а их полет к «синему морю» указывает, по-видимому, не на само море, а лишь на ориентир, равноценный понятию «юг», откуда грозит какая-то беда дому Святослава и где, кстати, расположен Переяславль, оплот Всеволода Ярославича с сыновьями.

Конечно, все это не более как одно из возможных толкований испорченного в древности текста. Но текст этот связывал когда-то отправную точку сна с последующими событиями, представшими перед Святославом в образах и символах, объяснения которых вроде бы и нет в «Слове...». Проще всего было признать, что за шесть веков своего существования «Слово...» успело растерять многие свои части, тем более отрывки произведений Бояна, в том числе и продолжение вещего сна. А если все-таки попытаться найти в «Слове...» отголоски сна? К тому же мы знаем, что произошло после смерти Святослава Ярославича и как это отразилось на судьбе его сыновей.

Так, можно было утверждать, что в вещем сне Святослава Ярославича нашла свое отражение битва на Нежатиной Ниве, ее печальный итог и последствия развязанных междоусобиц, которые теперь будут полыхать пожарами на русской земле долгие десятилетия.

Похоже, что продолжение сна уже было использовано в так называемом ответе бояр. Померкшие солнца, погасшие «багряные столпы» и «молодые месяцы» загадочного ответа никак не вписывались в реальность событий 1185 года. Самым странным было упоминание в конце имени Шарукана, возвращающего нас опять в XI век, к Святославу Ярославичу. Наконец, стоило обратить внимание, что за фразой «И ркоша бояре князю», отмечающей вроде бы начало речи бояр, следует знакомая конструкция с начальным «уже...», как бы продолжающая начатое перечисление:

...уже доски без кнеса...
уже туга ум полонила...

В свою очередь, по конструкции и ритмике эти фразы соответствуют дальнейшим строфам:

...уже снесся хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю,
уже връжесе дивъ на землю...

Так что же отвечают бояре?

«И ркоша бояре князю: «Уже, княже, туга умъ полонила, се бо два сокола слетеста с отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомъ Дону. Уже соколома крыльца припешали поганых саблями, а самаю опуташа в путины железны. Темно бо бе в 3 день: два солнца померкоста, оба багряная стльпа погасоста и с нима молодая месяца, Олег и Святослав, тьмою ся поволокоста и в море погрузиста, и великое буйство подаста хинови. На реце на Каяле тьма свет покрыла: по Руской земли прострошася половци акы пардуже гнездо. Уже снесся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже връжесе дивъ на землю. Се бо готскыя красныя девы въспеша на брезе синему морю: звоня рускым златом поют время бусово, лелеют месть Шароканю. А мы уже, дружина, жадни веселия».

Тьмуторокань! Вот один из ключей к разгадке А второй — тот самый «отчий стол златой», который никак не мог быть у Всеволода и Игоря Святославичей, занимавших собственные, а не отцовские княжения. Вот откуда появилось в «Слове...» и странное желание его героев «поискати града Тьмутороканя», хотя на самом деле ни о чем подобном, конечно же, они и не мечтали! Завоевать далекий Тьмуторокань — на Тамани? — с помощью быстрого и кратковременного набега мог надеяться разве только человек, для которого за географическими именами не стояла географическая реальность. Вот почему в «Слове...» всплывает Тьмуторокань, к концу XII века напроць забытая русскими летописями, а Переяславль южный оказывается не на Грубеже, где он всегда стоял, а на Суле, на полтораста километров южнее, на той самой Суле, где обычно происходили битвы с половцами, где стоял Лукомль, возле которого был пленен в 1184 году Кобяк вместе с другими семнадцатью ханами.

Таким образом, «соколы» могли «слететь» только «из града Тьмутороканя» затем, чтобы «поискать» отцовский престол, как то и происходило на самом деле. Автор «Слова...» поменял местами две половины фразы Бояна. Но почему «два сокола»? Впрочем, если опять внимательно взглядеться в текст, то уже в следующей фразе оказывается, что соколов не два, а три, как и должно быть, поскольку двое («соколома» — двойственное число) убиты (их «припешали»), а третий, определенный загадочным словом «самаю», связан железными путами, то есть оказывается в оковах, чего с реальными охотничьими птицами никогда не делали. Три сокола, три князя «не худа гнезда», выступавшие в поход на Русь с половецкими войсками, терпят поражение, которое представляется Святославу в следующем виде: «...два солнца померкоста, оба багряная стльпа погасоста, и с ними молодая месяца...» Число получается не совсем понятное, тем более что дальше стоит фраза «Олежь и Святославъ тьмою ся поволокоста».

Переделки? Путаница? Порча текста переписчиками и толкователями? Но происходит все это «в третий день», что можно понять как намек, прозрачный для современника Бояна, знающего, что битва на Нежатиной Ниве произошла именно 3 октября. Год тогда был не важен, отсчет в быту шел от событий, а не по календарю, поэтому обращали внимание только на внутригодовую дату.

В битве на Нежатиной Ниве, как мы знаем теперь, участвовали четыре князя, два из них были убиты — Изяслав и Борис. В окончательном итоге всех событий погибли еще два сына Святослава — Глеб в Заволочии и Роман под Переяславом, всего четыре князя. А кто тогда «молодая месяца»? Олег Святославич, самый молодой из действующих лиц? Тогда какие «Олегъ и Святославъ» окутаны тьмой и «въ море погрузиста», как указывает разорванная вставкой вторая половина фразы? Если бы речь шла только об одном Олеге Святославиче, как я думал сначала, подобный образ истолковывался бы заточением Олега за море в Царьград. Однако глагол, стоящий в прошедшем времени совершенного вида, указывал на двух потерпевших!

Какой же Святослав мог разделить участь Олега?

Количество детей того или другого древнерусского князя, их судьбы, время рождения по большей части остаются загадкой для историка. Скрупулезное исследование Изборника Святослава 1073 года реставраторами показало, что выходная миниатюра, изображающая семью Святослава, не только не была создана для этой книги, но вообще вырезана из рукописи другого формата, после чего на ней появилась соответствующая надпись, перечисляющая по именам изображенных. Естественно, это исключило возможность использовать для наших целей этот «документ», на который еще недавно опирались историки. Собирая крохи, рассыпанные по летописям и внелетописным источникам, мне удалось составить приблизительный список семьи Святослава Ярославича. Его сыновьями были Глеб, убитый 30 мая (1078 года?), Роман, убитый 2 августа 1079 года, Давид, умерший в 1123 году в Чернигове, Всеслав, о котором как о князе тмутороканском пишет только В. Н. Татищев, да и то без указания годов, Олег, умерший 1 августа 1115 года, Ярослав, умерший в Муроме на княжении в 1129 году, уже упоминавшийся Борис, признаваемый Татищевым Святославичем вместо Вячеславича, и Святослав, упоминаемый тем же Татищевым в Тмуторокане в 1096 году. Известны и дочери Святослава — Вышеслава, выданная замуж за Болеслава II, умершая вдовой в 1116 году на Руси, и Предслава, умершая в том же 1116 году монахиней. Впрочем, возможно, это или одно лицо, или ошибка в дате.

Их матерью, о которой нет ровным счетом никаких упоминаний в русских летописях, по утверждениям некоторых генеалогов, была дочь графа Этлера Дитмархенского, брак с которой, по тем же данным, был заключен Святославом в 1050 году. Жива ли была она в момент смерти Святослава, на много ли пережила его, какова ее дальнейшая судьба — решительно ничего не известно.

С сыновьями Святослава тоже многое оставалось неясным. Относительно уверенно я мог говорить только о шести сыновьях. Игорь и Всеслав, по-видимому, были плодом каких-то недоразумений. Что касается Святослава Святославича, дело было сложнее. Упоминание его вместе с Олегом в «Слове...», казалось бы, подтверждало его существование. Однако Святослав Святославич был решительно не известен никому из историков, кроме Татищева, упомянувшего его один раз в Тмуторокане под 1096 годом. Поэтому можно было предположить, что ссылка Олега разделил его сын, тоже Святослав, который умер в Чернигове в 1164 году. Прецедент таких ссылок в летописи отмечен: в XII веке Мстислав, внук Всеволода Ярославича, отправлял в ссылку в Византию русских князей с их сыновьями. Правда, подозрение вызывала слишком долгая жизнь этого князя. Может быть, с Олегом был другой, неизвестный нам его старший сын, тоже Святослав, умерший в молодости?

Но тут я обратил внимание на летописный текст под 1083 годом, где рассказывалось о возвращении Олега «из грек» в Тмуторокань и о том, что он казнил козар, бывших сообщников в покушении на жизнь его и его брата. Раньше я думал, что речь идет о Ромэне. Но как могли тмутороканские козары быть виновниками смерти Романа, убитого половцами неподалеку от Переяславля?

Стало быть, у Олега действительно был какой-то брат, который разделил с ним ссылку: во время отсутствия Олега в Тмуторокане сначала правил Ратибор, человек Всеволода, а потом схватившие его Давид Игоревич и Володарь Ростиславич, двоюродные братья Олега.

Был ли спутником Олега Святослав, упомянутый под 1096 годом?

Но где он был до этой даты и куда исчез потом? Где находились остальные братья Олега, о которых нам с достоверностью известно, что они были, — Давид и Ярослав?

Чем больше я размышлял над этим, тем вероятнее казалось, что здесь еще одна ошибка, возникшая при переработке текста Бояна соответственно семейной ситуации Игоря Северского, известной по более поздним источникам. Не Святослав, которого

никогда, по-видимому, не было, а Ярослав Святославич, самый младший брат, «младая месяца», разделил заточение Олега в Византии! Вернувшись вместе с Олегом в Тьмуторокань в 1083 году, он, как и другие Святославичи, оставшиеся в живых, появился на страницах летописи, только получив свой первый удел, — в том самом 1096 году, под которым В. Н. Татищев указал Святослава...

Что ж, все сходилось, хотя кое-какие недоумения оставались. Так, я не мог отделаться от мысли, что Роман выступил в один год с Борисом и Олегом. В противном случае нельзя было понять, почему Олег, бежавший в Тьмуторокань к Роману после битвы на Нежатиной Ниве, не выступил вместе с ним в июле 1079 года? Потому что был схвачен козарами? Но тогда был бы схвачен вместе с ним и Роман. А Олега схватили уже после гибели Романа. Летопись особо подчеркивает, что именно в результате ареста Олега Всеволод посадил в Тьмуторокань своего посадника Ратибора, чьи печати хорошо известны археологам.

С другой стороны, если предположить, что Роман выступил первым с задачей взять Переяславль в отсутствие Всеволода, то остается совершенно непонятным, как, где и почему произошла битва на Сожице (она же Оржица) 25 августа 1078 года, когда Всеволод понес поражение от Бориса и Олега. Но тут уж я не видел никакого объяснения. Проще было верить каждой букве летописи, поскольку оказывалось невозможным проверить ни дату смерти Святослава, ни остальные события, от которых можно было вести отсчет годам...

Единственное, что я мог еще добавить в расшифровку сна Святослава, — свое толкование выражения «время бусово», оказавшееся в одной из строф Бояна.

Начиная с 1876 года, когда во Львове вышло обширное исследование профессора О. Огоновского о «Слове...», постепенно утвердилось мнение, что «бусово время» — «время Боза, или Боса, короля антов». Согласно сообщению готского историка Йордана во второй половине IV века нашей эры остроготы под руководством их короля Амала Винитария вторглись в земли антов-славян и распяли короля их Божа (Бооза) с сыновьями и семьюдесятью старейшинами. А. А. Шахматов поддержал мнение Огоновского; окончательно утвердил его в науке академик Б. А. Рыбаков. Получалось, что готские девы в песнях своих поминали имена не своих славных королей, того же Амала Винитария, а имя антского короля, которого вряд ли знали и по поводу которого филологи утверждали, что мнимое собственное имя Бож — всего лишь искаженное славянское «вождь», ибо никаких королей у антов в то время, естественно, не было. Но даже если Бож существовал, вряд ли о нем пели готы. Это все равно как если бы болгары в своих героических песнях воспевали не национальных героев, а тех турок, которые их покорили, на Руси пели бы «время Батыево», а немецкие псы-рыцари воспевали бы «время Александра Невского».

Несчастный Бож переходил из одной работы в другую, и конца этому не было видно. Игорь шел к Тьмутороканю, а готы-тетракситы жили на южном берегу Крыма, они «звенели русским золотом», потому что половцы именно им продавали драгоценности, награбленные на Руси, — и так далее и тому подобное. Оссу громоздили на Пелион, и никто почему-то не вспомнил о готах, живших в южном Подунавье, куда в набеги на болгар и Византию постоянно ходили половцы. Никто не вспомнил и о том, что некогда готы были морским народом, а буса — название определенного типа военного судна, распространенного с древности вплоть до XVIII века.

В сочетании «время бусово» заключался один из тех типичных кеннингов скандинавской поэзии, на возможность нахождения которых в тексте «Слова...» указывал Д. М. Шарыпкин.

«Время бусово» означало всего лишь «время вигов», эпоху морских набегов, когда морские пираты-готы грабили черноморские берега Подунавье и совершали набеги на Русь. Об этих славных временах, временах побед, а не поражений, временах героев и королей, пели готские девы, звеня «русским золотом», вероятно усматривая в смерти Романа, Изяслава и Бориса своеобразное отмщение за былое поражение Шарукана.

Объяснение было логичным, но очень уж неожиданным, тем более что подобный же кеннинг я видел и в «бусовых вранах», тех самых, которые «неслись к синему морю» в сне Святослава. «Ворон бусы» означал всего-навсего война, то есть викинга, поскольку складывался он из образа «мужа битвы», война, синонимом которого был ворон, и корабля — бусы. Все это объясняет, почему я так обрадовался, прочитав несколько лет спустя великолепную по свежести мысли заметку М. А. Салминой в оче-

редном томе «Трудов Отдела древнерусской литературы». Исследовательница давала точно такое же толкование кеннингу «время бусово» и приводила достаточное количество примеров, почерпнутых ею в новгородских летописях и документах XV—XVI веков. Разница была лишь в том, что она связывала термин «буса» с балтийскими готами, издревле торговавшими с Новгородом на Волхове, а не с южными.

«Русское золото» в руках «готских красных дев» натолкнуло меня на решение еще одной загадки, еще одного темного места, прямо примыкающего к сну Святослава в его панегирике.

С панегирика, как я уже писал, начинались все споры о «загадке Святослава». Вокруг панегирика ломались бумажные копы (современный кеннинг!), грохотали громы и сверкали молнии, испепелявшие научные репутации скептиков. А ведь если приглядеться, весь панегирик являл собой почти не разрушенные строфы Бояна!

Певец, возвеличивая Святослава, указывал, что тот кого-то «притрепал своими сильными плъкы и харалужными мечи: наступи на землю половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути реки и озера, иссуши потоки и болота. А поганого Кобяка из луку моря от железных великих плъков половецких, яко вихр, выторже: и падеся Кобяк в граде Киеве, в гриднице Святъславли. Ту немци и венедици, ту греци и морава поют славу Святъславлю, кають князя Игоря, иже погрузи жир во дне Каялы реки половецкыя, рускаго злата насыпаша».

И там и тут было «русское золото». В чем дело? Проходной образ? Своего рода идиома? Неясно. Разобраться с Кобяком было гораздо проще, поскольку он занял место Шарукана в гриднице Святослава — только не в Чернигове, а «в граде Киеве». Автор «Слова...» заменил Чернигов Киевом, но, по-видимому, не считал нужным уточнять, кто в действительности пленил Кобяка, поскольку поход 1184 года проходил под общим руководством Святослава Всеволодовича.

Расставить все по своим первоначальным местам трудности особой не составляло. Загадка заключалась в том, кого же «немцы и венедици, греки и морава» (очень любопытный перечень народов, если учесть время и то, что «венедици» совсем не венецианцы, а венды — западные славяне) «кают» (проклинают) за то, что он «утопил жир» на дне Каялы, которая оказывается еще и «половецкой рекой». И не только утопил «жир» — еще и насыпал туда «русское золото»!

Опираясь на конструкцию и последовательность сна (а мне всегда казалось, что последовательность в этом отрывке от начала панегирика до конца ответа бояр в общих чертах сохранена), можно было думать, что указанное золото оказалось прямо в руках готских дев. Но такому толкованию мешало многое: признание Каялы мифической рекой скорби, стало быть, никак не принадлежащей половцам; грамматически невероятным был оборот «в дне Каялы», поскольку речное дно требует совсем иного предлога не только в современном, но и в древнем русском языке; столь же грамматически невероятна была конструкция фразы («во дне Каялы, реки половецкыя».

Если придерживаться событий 70-х годов XI века, можно полагать, что в интересующих нас словах заключен определенный намек на обстоятельства смерти Романа Святославича. В этом случае антиподом Святославу, смирившему половцев, пленившему Шарукана, установившему мир в русской земле, с неизбежностью должен был стать Всеволод Ярославич, все это разрушивший. Он лишил Святославичей не только «отня стола злата», но и очередности княжений; он инспирировал убийство Глеба, заключил под стражу Олега, подвинул половцев на измену Роману и его последующее убийство. Наконец, начав семейные усобицы, он «открыл Полю ворота»...

Догадку требовалось подтвердить грамматикой и палеографией: только так можно было выяснить, как выглядел отрывок, который автор «Слова...» смог использовать для своего ряда образов, а последующие переписчики заменой всего лишь нескольких букв исказили до неузнаваемости. И вот к чему я пришел.

Переписчикам проще всего было спутать букву «м» с буквой «ж» в полууставе, превратив «мир» в «жир». Оборот «во дне Каялы» остался без изменений, потому что начал «в день Каялы», то есть в день битвы на Каяле. «Мир» оказывался не «потоплен», а уничтожен, нарушен; он исчез, погиб. В результате каких действий? На это следовал ответ, замаскированный автором «Слова...» (или одним из переписчиков) изменением всего лишь одной буквы. Первоначально читалось «рукы», а не «рекы». Некая личность, которую проклинали сопредельные дружественные Святославу народы, в день Каялы погубила мир в русской земле, насыпав в половецкие руки русское золото.

Такая личность историкам была известна. Это был Всеволод Ярославич, единственный, кто оказался в безусловном выигрыше, подкупив половцев, убивших... только ли Романа? А неизвестный всадник, ударивший Изяслава копьем в спину? Но если все это оказывается связанным с «днем Каялы» — «днем Икс» современных военных детективов,— то не здесь ли подтверждение моим догадкам, что битва на Нежатиной Ниве и поход Романа Святославича произошли в один год, а именно в 1079-й? Год, когда Всеволод решил отделаться от всех своих племянников со стороны среднего брата, а заодно и от старшего брата тоже...

Вот как представился мне теперь возрожденный отрывок из поэмы Бояна. Святослав Ярославич «грозный, великий, киевский»

притопта холмы и яруги,
взмути реки и озера,
иссуши потоки и болота...
...и паде Шарукань в гриднице Святослава!
Ту немцы и венецици.
ту греци и морава
поют славу Святославу, кают князя Всеволода,
иже погрузи мир во дне Каялы,
руки половецкие русским златом осыпаша.
Уньша бо градам забрали
а веселие пониче!

А Святослав мутен сон видел в Киеве на горах, и рече:
одевахъте мя чръною паполомоу на кровати тесовой,
чръпахуть ми синее вино трудом мешено,
сыпахуть ми тощими тулами поганых толковин
великий женчог на лоно и негуют мя!
Уже детьскы без князя в тереме златоверхом,
уже

Темно бо бе в 3-й день: два солнца померкоста,
оба багряная столпа погасоста,
Олег и Ярослав тьмою ся поволокоста
и в море погрузиста.
великое буйство подаста хинови!

Уже снесесе хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю,
уже вержесе зивь на землю!
За ним кликну Карна и Жля поскочи по Русской земле,
смагу мычючи в пламяни розе.
Уже не веселая година вьстала,
уже пустыни силу прикрыла!
Встала обида в силах Даждьбожа внука,
вступила девою на землю Трояню,
всплескала лебедиными крылы на синем море
плещучи, упуди мирни времена.

Се бо готские красные девы воспеша на брезе синему морю
звоня русским златом:
поют время бусово,
лелеют мечь Шурукано!
А восстона Киев тугою, а Чернигов напастьми,
тоска разлиися по Русской земле...

Подобная реконструкция, конечно, несовершенна. Она может иметь лишь отдаленное сходство с когда-то написанными строками Бояна, а потому и не претендует на то, чтобы стать литературным или историческим документом. Поэтому везде, где это можно было сделать без ущерба для размера, я облегчил орфографию текста. Мне важно было другое — показать тот рисунок пути, которым я шел, надеясь проникнуть в загадочные глубины «Слова...»...

Кем был тот, кто первым ощутил магию дошедшего к нему из веков написанного слова?

Привыкнув спускаться в глубины тысячелетий, бродить по звериным тропам в лесах каменного века, ловить рыбу рядом с заколами, оставленными на ручьях и речках первобытными охотниками, разводить огонь на покянутых ими кострищах,

я полагал, что Время и Прошлое хранят не так уж много тайн, способных заставить быстрее забиться сердце историка.

Но за эти годы что-то произошло во мне самом, что-то сдвинулось в понимании не только прошлого, но и современности, от которой никто из нас не может уйти даже в самую дальнюю даль. Шаг за шагом я спускался все глубже в прошлое, чтобы вынести и рассмотреть в свете сегодняшнего солнца то, что было мной найдено среди опавшей листвы времен...

Настоящий, полнокровный, живой мир, тот, где происходили какие-то события с предками героев «Слова...», захватил меня с первых же шагов своей яркостью, силой характеров, страстей. Этот мир, отраженный в строфах Бояна, был полон молодости и силы, дерзости и страсти.

Я прислушивался к словам Бояна, учился узнавать его интонации, угадывать возможный поворот его мысли. И, знакомясь, сближаясь с его героями, начиная все лучше понимать их, я проникся все большей симпатией к Олегу Святославичу.

Возможно, вначале он был не так смел и дерзок, как его братья. По-видимому, Олег все же был моложе Бориса. Безусловно, старшим был Глеб, но кто следовал за ним? Борис, Роман или Давид? Летопись сообщает, что перед битвой на Нежатиной Ниве Олег убеждал Бориса помириться с дядьями — Изяславом и Всеволодом. Так это было или нет, мы никогда не узнаем, но одному из братьев должны принадлежать слова, автором «Слова...» вложенные в уста Игорю перед походом: «Братие и дружина! Луце ж бы потяту быти, неже полонену быти!..» Может быть, так сказал Борис, обращаясь к Олегу, может быть, то были слова Олега, обращенные к Борису и дружине. Не знаю. Знаю только, что вся последующая жизнь Олега подтвердила его верность этому девизу.

Силы Бориса и Олега по сравнению с полками Изяслава и Всеволода были ничтожны: пехи полки великого князя вообще не вступали в бой.

После разгрома Олегу удалось бежать в Тьмуторокань. Где располагался этот город? На Таманском полуострове, где был найден камень с надписью? Мне казалось, что подобно Переяславлям, Новгородам, Киевам, Черниговам, Белгородам Тьмутороканей тоже было несколько. Чтобы не быть голословным, напомним о Переяславле южном, Переяславле рязанском, Переяславле-Залесском, Великом Переяславле в Болгарии и Переяславле на Дунае. Еще больше Новгородов — Новгород на Волхове, Новгород-Северский, Новгородок на Остере и множество Новгородов (Новиодунов, Ногардов, Нейштатов, Уйварошей) от Черного моря до Балтийского. Болгарский филолог Н. Ковачев обнаружил на территории Восточной Европы начиная с X века более шестидесяти поселений с названием Киев. То же самое относится и к Чернигову, Белгороду, Смоленску. Уже сейчас можно указать с достоверностью два Тьмуторокана: один находившийся, по-видимому, на Таманском полуострове, а другой на Дунае, где он сохранил свое древнее имя в несколько ином написании — Тутракан. И надо сказать, что эта форма гораздо ближе к исходной — Тьмуторокань, чем Матраха или Матрика византийских источников.

Пытаясь проследить судьбу Олега, я все время чувствовал, что не знаменитый камень с надписью Глеба, а таманский город Тьмуторокань оказывается для меня камнем преткновения. Уж очень далек он был от Чернигова! То, что представляется простым и близким на крупномасштабной карте, в реальности оборачивается огромными пространствами степей, изрезанных речными поймами, бесчисленными балками и лощинами, грядами холмов — всем тем, что делает невозможным прямой путь и растягивает его на недели, обставляя множеством трудностей. А ведь надо было еще огибать Азовское море! Бежать в таманский Тьмуторокань было можно, но вот выбираться оттуда... Невероятность похода сыновей Святослава из таманского Тьмуторокана становилась особенно наглядной, если сопоставить такой маршрут с маршрутом обычных набегов половцев на южную Русь и с ответными операциями русских князей.

Между тем, если верить летописям, Тьмуторокань всегда тянул к Чернигову. В 1064—1065 годах, когда в Тьмуторокане княжил Глеб Святославич, этот город захватил его двоюродный брат Ростислав Владимирович, приведший новгородцев. Позднее один из них, Порей, погиб в 1078 году во время битвы на Сожице. Святослав тогда отправился в Тьмуторокань и снова посадил Глеба, в то время как Ростислав «отступил из города, не желая воевать со своим дядей». Но когда Святослав ушел, он снова выгнал Глеба, и тот вернулся к отцу в Чернигов. Другими словами, город этот оказывается в относительной близости от Чернигова, а его название можно понять как «го-

род десяти тысяч торков», или «город хана десяти тысяч торков», расположенный где-то в бассейне Дона, может быть — в верховьях Донца, на границе степи и лесостепи, где обычно помещают этимологически схожий с ним «город Шаруканя».

Была еще одна возможность попытаться определить местоположение Тьмутороканя.

В летописи сразу же за указанием, что козары увезли Олега в заточение в Царьград, а Всеволод посадил в Тьмуторокане своего посадника Ратибора, следует фраза: «Заратишася торцы переяславский на Русь». Какие торки? Те самые, что дали имя этому загадочному городу, ставшему последним оплотом для сыновей Святослава? Во всяком случае, то были торки, восставшие против Всеволода, почему усмирять их он послал не кого-либо из сыновей покойного Изяслава, а своего сына Владимира Мономаха. Если исходить из принципа расселения торков, берендеев и прочих «черных клобуков» по пограничным городам для обороны от кочевников, искать переяславских торков следует на стыке восточных границ Черниговского и Переяславского княжеств. И это не все.

Такой же загадкой, как «тьмутороканский блъванъ», для исследователей «Слова...» оставались хины. Их искали среди прибалтийских язычников, находили в остатках гуннов на Дунае, среди неведомых народов, появлявшихся с востока, из степей. Л. Н. Гумилев утверждал, что «хиновская стрелка» — стрелы чжурчженей, а само название «хины» — название Китая, перешедшее на монголов...

Но теперь оказывалось, что хины упомянуты в одном из отрывков Бояна, другими словами, идут из большей древности, чем конец XII века.

Хины — гунны?

Разгадку, достаточно обоснованную, нашел Н. Г. Добродомов, один из немногих филологов-ориенталистов, активно изучающий «Слово...». Специально проведенное исследование позволило ему выступить с утверждением, что хинами называли исключительно восточных половцев, занимавших степи Подонья и находившихся под властью Шаруканидов, потомков того самого Шарукана, которого пленил в свое время Святослав Ярославич. Определение востоковеда относилось к ситуации второй половины XII века. Если вспомнить, что после пленения Святославом Шарукана вплоть до 1078 или 1079 года половцы не воевали с Русью, то столь прочный мир, как я уже говорил, может быть объяснен только крепкими родственными и дружескими связями. Для половцев-хинов Шарукана и его сыновей владения Святослава и его сыновей были, по-видимому, неприкосновенны. Вот почему смерть Романа от рук их собратьев и последующее заточение Олега должны были вызвать «буйство хинов».

Половцы возмутились. Теперь они считали себя свободными от обязательств перед русскими князьями, если их побратимы убиты или арестованы.

Впрочем, гораздо больше, чем местоположение Тьмутороканя, меня интересовала судьба Олега.

Олег вернулся из Византии в 1083 году, пробыв там четыре года. Где именно он был, что с ним происходило — летопись не сообщала. Игумен Даниил, ходивший из Руси в Святую землю с 1106 по 1108 год, «во княжение русское великого князя Святослава Изяславича, внука Ярослава Владимировича Киевского», как полагают, уроженец Черниговского княжества, поскольку сравнивал в своих записках Иордан с рекою Сновь, в заметке об острове Родос писал: «В том бо острове был Олег, князь русский, два лета и две зимы». Когда? Какой Олег? Олегов, русских князей, было много.

И все же есть ряд косвенных данных, позволяющих думать, что Даниил писал именно об Олеге Святославиче. Для него он был не просто русский князь, а свой, земляк, записанный Даниилом наряду с именами других князей в помянник лавры святого Саввы под двойным — христианским и языческим — именем Михайло-Олег.

Два года на Родосе. А где еще два года? Между летом 1079 и 1083 годом, когда летопись отмечает возвращение Олега, прошло как минимум три с половиной года. Опять ошибка? Время заточения Олега определяется датой похода Романа, которая подтверждается солнечным затмением 1 июля 1079 года. Олега схватили во время правления византийского императора Никифора Вотаниата. Время для Византии было крайне беспокойное. С востока ее теснили турки-сельджуки, доходившие чуть ли не до стен Константинополя. С севера, от Дуная, Византии постоянно угрожали кочевники — печенег, давно уже поселившиеся на территории империи, узы и западные половцы, к которым для совместных набегов ежегодно присоединялись половцы вос-

точные, «хинова». Но главной опасностью для империи и всего Балканского полуострова был король Сицилии, норманнский герцог Роберт Гвискар со своими норманнами.

Указание Даниила, что Олег находился на Родосе две зимы и два лета, а в 1083 году, как мы знаем, уже вернулся в Тьмуторокань, хорошо согласуется с течением событий византийской истории. 4 апреля 1081 года, низвергнув Никифора, венчался императорским венцом Алексей Комнин. Последующие два года вплоть до осени 1083 года все свои силы Алексей Комнин отдал борьбе с норманнами, и остров Родос в качестве базы византийского флота стал аванпостом военных действий. Очень возможно, что при воцарении Алексея Олег Святославич сумел использовать благоприятный момент и не только оказался на свободе, но и принял участие в дальнейших событиях на средиземноморском театре военных действий. Осенью 1083 года внешнеполитическая ситуация резко изменилась в пользу Византии: на помощь грекам пришла венецианская эскадра и большой отряд норманнов перешел на сторону Алексея Комнина. Теперь Олег мог подумать о себе и своем возвращении на родину.

Был ли он женат на Феофании Музалон, «архонтиссе Росии», как значится на свинцовой печати, известной уже в двух экземплярах, но найденной за пределами Руси, я не знаю. Специалисты по сфрагистике, изучавшие этот вопрос, считают такое утверждение бесспорным, поскольку в так называемом черниговском синодикe, где перечисляются древние черниговские князья, указан «великий князь Михаил черниговский и княгиня его Феофания». Поскольку же паломник Даниил называл Олега Михаилом, то отсюда возникает якобы тождество, не требующее других доказательств.

В справедливости подобного отождествления я сомневаюсь. Когда-нибудь этот вопрос, так же как вопрос о Тьмуторокане, будет решен. И если я его затронул, то лишь потому, что в тексте «Слова о полку Игореве» мое внимание было привлечено еще одним местом, воспроизводящим своей ритмикой зачин Бояна о трубящих трубах в Новеграде, о стягах в Путивле и славе, звенящей в Киеве. Строки эти следуют за знаменитым плачем-заклинанием Ярославны, открывая нам картину бегства Игоря из плена:

Прысну море полунощи,
идут сморцы мглами...

При чем здесь море, если дальше говорится, что это «Игореву князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Рускую, к огню злату столу»?

Море в «Слове...» — очередная загадка. В поэме, действие которой происходит в степи, за сотни километров от морских берегов, море оказывается упомянутым... тринадцать раз!

К морю стремятся князья-соколы, с моря идут тучи, с моря веют стрелами ветры, лебедиными крылами плещет на синем море Дева-Обида; на берегу синего моря поют готские девы, Ярославна просит вернуть ей ладу, «а бы бых не слала к нему слез на море рано», через море до Киева доносятся голоса девиц, покоющих на Дунае... К морю стремят свой полет «бусовы враны», но даже несчастного Кобыяка и того исторгают в гридницу Святослава «из луку моря», хотя известно, что пленен он у южного Лукомля. Случайно ли это?

Но море морю рознь. Из перечисленных тринадцати случаев шесть указывают на море как на сторону света (юг), три можно истолковать как поэтический образ («восплескала лебедиными крылами на синем море», «делечючи корабли на сине море», «вьются голоси через море до Киева»), одно — явной опиской («луку моря» вместо «Лукомля»), и только три оставшихся связаны по своему содержанию с морем как с обстоятельством или местом действия («и в море погрузиста», «на брезу синему морю», «прысну море полунощи...»).

Последние три примера приходятся не просто на текст Бояна. Они оказываются связанными непосредственно с судьбой Олега, по меньшей мере два первых, соответствующих факту подкупа и отправке его за море. А третий, последний?

Сколько я в него ни всматривался, я не мог найти в нем ни смыслового, ни ритмического соответствия продолжению, повествующему о бегстве Игоря из плена. Если бог и «кажет» путь на землю русскую, то не Игорю, тем более «к огню злату столу», которого у него не было. И это не все. Заимствование текста Бояна и переработка второй части строфы привели автора «Слова...» к фактической ошибке, которую не смогли объяснить натуралисты. Суть ее в том, что при традиционном толковании текста «идут смерчи в туманах» или «в облаках» приходится выбирать одно из двух: или

«мгла» — не туман, или «сморци» — не смерчи, поскольку подобного сочетания в природе быть не может. Автор «Слова...», далекий от моря, этого не знал.

Между тем Боян, как мне казалось, вложил в эти стихи совсем иной смысл, отнюдь не противоречивший явлениям природы и ее законам.

Я не настаиваю на безусловности предлагаемого мной толкования. Это всего лишь предположение, но оно представляется мне правдоподобным, тем более что здесь в тексте не надо ни заменять буквы, ни менять что-либо местами.

Дело в том, что наряду со словом «сморчъ» (смерч), отмеченным в древнерусской письменности, существует схожее слово «смречъ» — кедр. Если вспомнить, что в низовьях рек Северного Причерноморья до сих пор бьтгует судно, именуемое дубок — память о тех долбленых челнах, чайках запорожских казаков, на которых древние русы ходили под стены Царьграда, — то по аналогии можно предположить существование древнерусского термина «сморци» или «смерци», обозначавшего парусно-весельные суда, на которых Олег Святославич мог возвратиться из Византии. Указание морского «пути на землю Русскую» в подобной ситуации могло относиться только к нему.

Загадочную фразу, таким образом, можно с достаточным вероятием перевести так: «Разыгралось к полуночи море, идут во тьме (в тумане) суда». Подобное истолкование отвечает и смыслу и метрике отрывка, в котором цезура следует за словом «полуночи», а не предшествует ему.

Наконец, эта «туманная» осенняя ситуация хорошо согласуется с переломом внешнеполитической обстановки на Средиземном море для Византии как раз осенью 1083 года. Ну а если Олег Святославич и впрямь был женат на Феофании Музалон, то проход через проливы был ему облегчен, даже если он и бежал из Византии.

И тут я неожиданно для себя понял, что догадка дает мне возможность сделать еще один шаг — попытаться определить время, когда Бояном была написана поэма о борьбе Святославичей за отцовское наследство. Для этого следовало представить ее содержание, а главное — завершение. Наиболее достоверными строками Бояна, указывающими на заключительную часть его поэмы, мне представлялись строки о «сморцах», идущих по морю на Русь. Изложение событий, таким образом, заканчивалось не поражением Святославичей, как того можно было ожидать, не ссылкой Олега в Царьград, а его возвращением на землю русскую в конце 1083 года, почему и были «страны рады, грады веселье».

Но — Ярославна? Но — Путивль? Как обойти эту жемчужину жемчужин древней русской поэзии, как объяснить ее, кому отдать ее авторство и какую Ярославну здесь видеть? Или, может быть, Путивль и есть тот ближайший Тьмуторокань, отчина Святославичей? А Ярославна, в плаче которой так много архаизмов, пришедших из эпохи Бояна, — жена Олега, дождавшаяся его на своей Итаке, наша древнерусская Пенелопа? Не знаю и до сих пор боюсь коснуться этой святой святых нашей поэзии, хотя и хочется приподнять покров тайны, чтобы услышать чистый, не искаженный временем голос...

Пенелопа дождалась своего Одиссея. Ярославна — своего Игоря. Дождался ли кто-нибудь Олега Святославича, снова взявшего под свою руку Тьмуторокань? Или, женившись на греческой аристократке, возведенный императором в сан «архонта Матрахи, Зихии и всей Хазарии», умудренный опытом жизни, сражениями, укрепивший свои позиции в Византии, даже — а почему бы и нет? — облеченный какими-то полномочиями, он вскоре по возвращении отправился в Киев, чтобы урегулировать свои отношения с великим киевским князем Всеволодом Ярославичем? Насколько переговоры были успешны, можно видеть из того, что при жизни Всеволода, в течение десяти лет, никто не покушается на Тьмуторокань, в свою очередь и Олег не пытается отвоевать Чернигов. Под стенами этого города он появляется с половцами только на следующий год после смерти Всеволода Ярославича — и изгоняет Владимира Мономаха в Переяславль.

Поскольку никаких других фактов биографии Олега сохранившиеся в «Слове...» тексты Бояна не содержат, можно думать, что окончательное завершение его поэмы приходится на конец 1084 — начало 1085 года, после вероятного приезда Олега в Киев и безусловного примирения с Всеволодом. Да и сам жанр героической поэмы допускает лишь два исхода — либо гибель героя, либо благополучное завершение его одиссеи. Если гибель Романа могла соответствовать первому варианту концовки, то воз-

вращение Олега на родину неминуемо должно было вызвать к жизни ее второй вариант.

Таким образом, 1085 год может с достаточным основанием считаться датой рождения древнейшего из достоверно известных нам художественных произведений светской литературы древней Руси. Имя его автора — Бояна — не вызывает сомнений, а сам текст сохранился в достаточно больших отрывках, чтобы дать представление не только о содержании целого, но и о стилистике, метрике, поэтической образности, строфике и всем прочем, в том числе и о времени написания — девятьсот лет назад.

От Бояна, от его поэм должны мы вести отсчет своих литературных юбилеев!

15

...В сухие, солнечные, уже холодеющие последние дни сентября я бродил по детинцу древнего Чернигова.

В ржавом золоте стояли деревья. Под ногами шуршали листья, легкий ветерок шевелил их на дорожках. Лопались с легким треском шипастые оболочки каштанов, и по земле катились коричневые маслянисто-глянцевые плоды. Сверху — с петровских редутов, с крутого берега и оплывших, едва заметных теперь древних валов — открывалась осенняя лента Десны с катерами, лодками, речными трамвайчиками, городским пляжем и песчаными отмелями, с рощами, лугами и стогами на широкой пойме.

Прямая, проложенная словно по линейке, уходила в туманную даль под раскидистыми двухсотлетними ветлами дорога на Киев. Другая дорога изгибалась, ныряла вниз возле Елецкого монастыря, взбиралась на Болдины горы с их знаменитыми курганами, Троицким монастырем, пещерами схимников, начало которым в подражание Киево-Печерскому монастырю и его основателю Антонию положил один из сыновей Олега Святославича, и пропадала среди холмов.

Воздух по утрам был пронзительно свеж. Налетая из-за реки в город, пробегая по скверам и паркам, вырываясь на новые прямые улицы, он тянул за собой струйки едких дымов от тлеющих куч палых листьев, словно бы напоминая, что почти девятьсот лет назад в такие же осенние дни горел черниговский посад, «окольный город», подоженный Владимиром Мономахом, а за дальними синеющими лесами неумолимо сближались войска Ярославичей и Святославичей...

Сколько раз я собирался сюда попасть, походить по этой русской земле, увидеть Чернигов, Киев, Новгород-Северский, прикоснуться к остаткам южной, изначальной Руси — Руси домонгольской, представление о которой до этого было только умозрительным.

Привыкнув к тесным, темноватым, приземистым храмам среднерусской полосы, к массивным, тяжелым и громоздким столпам, подпирающим узкие арки сводов, глаз оказывался поражен огромным, пронизанным светом пространством, которое обнимала громада храма, изяществом тонких колонн, несущих на себе галереи хоров, остатками удивительной резьбы по камню, где в бесконечном кружеве линий, чудовищ, человеческих лиц, птиц и зверей были скрыты христианские символы. То была память о еще большей древности, память о Восточной и Северной языческой Европе, шедшей некогда своим путем развития, к своим идеалам, к своей культуре, не подозревая о яростных спорах схоластов о двойственной или тройственной природе божества, о духе и плоти, которых следовало разделять, о боязни человеческого тела и о многом другом, что оказалось тяжелее камня и губительнее, чем сталь... Здесь была родина героев «Слова...» — родина Святослава Ярославича и его сыновей, а вместе с тем и земля Бояна, единственного известного нам по имени поэта XI века...

Время для меня как бы обращалось вспять в эти дни. Сами они были словно пронизаны свистящим ветром степей, и, всматриваясь в далекие синие горизонты с высокой крутизны Новгорода-Северского, я будто слышал, как из дали времен до меня доносится ржание коней — там, далеко, за пограничной когда-то Сулой... Вокруг вставало и оживало все то, что я пытался когда-то представить над пергаменными листами Остромирова Евангелия, Святослава Изборника, Лаврентьевской и Радзивилловской летописей, «Слова о полку Игореве»: реки, небо, просторы полей, перегороженные «червленными циты», стены и башни городов — величие и красота русской

земли, о которой когда-то вздохнул один из прекрасных и безымянных поэтов далеких времен: «О светло светлая и украсно украшенная земля Русская!»

И все же ощутить все это разом, в совокупности, почувствовать себя как бы в фокусе огромного параболического зеркала, проецирующего на тебя — внутрь тебя — весь этот мир, я смог, лишь переступив порог Софии киевской: неподвижным центром скользящих сфер и плоскостей времени для меня оказалась софийская Оранта.

Я не знаю другого произведения древнерусского искусства столь известного, воспроизведенного такое множество раз и все же не передающего в репродукциях практически ничего, кроме внешних очертаний, как центральная мозаика Софии. Сейчас я понимаю, что ее можно знать наизусть в деталях, в каждом кусочке драгоценной золотой византийской смальты. Но все фотографии, все копии, как бы точны и хороши они ни были, не могут передать то сокровенное, что заложено в ней. Они даже не могут подготовить к тому шоку, который испытываешь, оставшись один на один с этим огромным чудом, парящим над тобой в таинственном, одновременно ослепительном и неярком, исходящем из самого себя золотистом свете...

И рядом со мной был Боян, связавший собою тогда и сейчас.

Ступая по следам Бояна на каменные плиты Софии, я вместе с ним рассматривал бега на ипподроме, пляски мимов под игру трубачей и органиста, сцены кулачного боя и борьбы со зверем на арене — красочную летопись праздничной жизни и зрелищ, развернутую на стенах крутых башенных лестниц, ведущих на хоры собора. Вместе с Бояном я разбирал имена его героев и современников, процарапанные писалами или ножами — вот они, «засапожники!» — прихожан прямо на фресках собора. Вместе с ним я разглядывал портреты детей Ярослава Мудрого на хорах. На одной стороне его дочерей, будущих королев: норвежской — Елизаветы, французской — Анны, венгерской — Анастасии. На противоположной — сыновей, где словно с умыслом, пощаженные временем, остались портреты Святослава и Всеволода: старшего, еще нескладного, худого рыжего подростка с длинными волосами, в котором уже закипает неукротимый боевой дух, и тихого «младшенького», чей расчет и поступки на много веков вперед определяют судьбу русской земли...

Воспевая «устроителей» Руси, ее собирателей и охранителей, уже при жизни своей поэт мог видеть, как рыцарская доблесть обращается в ничто подкупам и предательством, как белое объявляется черным, как встает «хула на хвалу» и ничтожество превозносят, словно великое... Какова была его собственная судьба? Где он похоронен? Когда и почему все-таки купила «княгиня Всеволожаа» ту территорию, что именовалась «землею Бояна»? Кем он был здесь, в Киеве, — боярином или отпрыском древнего княжеского рода, чьи родители бежали из Болгарии на Русь после гибели Первого Болгарского царства?

В конце концов, не так это важно. Главное, что Боян был Поэтом.

Среди поэтов того века — скальдов, трубадуров — были воины, бароны, епископы, короли. Но свой поэтический дар, свое звание поэта все они ценили гораздо дороже духовного сана, титулов, бенефиций и сокровищ. Поэт всегда был вне рангов, сословий и установлений. Не случайно один из самых знаменитых трубадуров, знакомства с которым домогались короли и императоры, сходявшие ему навстречу с тронов, «король поэтов» Бернарт де Вентадорн, как свидетельствуют его биографы, был всего лишь сыном истопника какого-то замка. А Русь XI века вряд ли намного отличалась от современной ей Франции, если Анна Ярославна после Парижа и Сенлиса, как повествуют летописи, все же вернулась в родной Киев, чтобы постричься в Андреевском монастыре над Боричевым взвозом.

...На востоке Крыма, в степях под Керчью, среди трав, цветущих по весне и остро пахнущих уже к середине лета, из чернозема, соломенно-желтого лёсса и красноцветных меотских глин неожиданно поднимаются серые, покрытые золотом и красными брызгами лишайников известняковые холмы. Странно видеть их серо-белые, поднятые над степью головы, увенчанные курганом или руинами древних крепостей. Но еще удивительнее их собственная история. Это мшанковые рифы, поднявшиеся со дна моря, пересохшего много миллионов лет назад. Их заносило илом, песком, навало на них лёсс; на них давили тяжелые слои красноцветных глин, захлестывали волны других морей. О них никто не подозревал. Но настало время — и, свидетели других эпох, они подняли над степью свои древние округлые головы, чтобы напомнить о себе и дать подножие для крепостей скифов, греков, меотов, наконец, тех са-

мых готов-тетрактисов, которых застали в Крыму средневековые европейские путешественники.

Не так ли произошло и со стихами Бояна, хранившимися в тексте «Слова...», чтобы, поднявшись из его глубин, прорвав пласты незнания, предвзятости, быть однажды замеченными не в чистоте первоизданности, а в заплатах поправок, изъянах толкований, в пестрых пятнах догадок?

...Я начинал свои занятия «Словом...», в общем-то, от любопытства, которое раззадорили споры и «которы́» в современной науке. Вначале меня занимали не люди, а проблемы. И все же путь, которым я шел в науке, всякий раз оказывался «восхождением к человеку». Наложение системы исторических фактов XI века на систему поэтических иносказаний сна Святослава выявило их тождественность, но когда я к этому пришел, меня уже гораздо больше, чем этот результат, занимали судьбы живших некогда людей — Святослава Ярославича, его сыновей, первых издателей и толкователей «Слова...» и, конечно же, Бояна, который стал моим Вергилием на кругах нашей древней истории.

Тьмуторокань, загадка Святослава, его сон, «блѣвнѣ», «время бусово», день Каялы, затмение 1 июля 1079 года, предшествовавшее смерти Романа, слитое потом с затмением 5 мая 1185 года, загадочное «море» в степи... В Чернигове у меня было время бродить, смотреть, сравнивать — и думать. Много представало теперь в новом свете.

Вспоминая ступени своих разысканий, я с удивлением замечал, что они всякий раз совпадали с тем или иным местом, вызывавшим нарекания скептиков, с фактами, которые они использовали, чтобы возбудить сомнение в подлинности «Слова...». Видит бог, занимаясь своей работой, я меньше всего думал о скептиках! Но так уж случилось: даже самый их серьезный постулат — взаимоотношение «Слова...» и летописи, использование автором «Слова...» в своей работе тех или иных летописных сводов — оказалось возможным легко опровергнуть, показав обратное влияние «Слова...» на летопись. Спор был изначально бесплоден, поскольку нельзя приравнять поэта к писцу-компилятору, подобно пчеле собирающему по слову, по фразе из разных текстов, чтобы создать «свое» произведение.

В самом деле, откуда же тогда обреталось то вдохновение, которым так восхищаются читатели «Слова...» без малого уже двести лет?! Влияние всегда шло одним путем — из поэзии в историческую литературу. Во времена Бояна и автора «Слова...» фраза поэта считалась достовернее свидетельства хрониста. Песни скальдов полагали самым надежным источником информации.

«То, что говорится в этих песнях, исполнявшихся перед самими правителями или их сыновьями, — писал во вступлении к «Кругу Земному» Снорри Стурлусон, — мы признаем за вполне достоверные свидетельства. Мы признаем за правду все, что говорится в этих песнях об их походах или битвах. Ибо, хотя у скальдов в обычае всего больше хвалить того правителя, перед лицом которого они находятся, ни один скальд не решился бы приписать ему такие деяния, о которых все, кто слушает, да и сам правитель знают, что это явная ложь и небылицы. Это было бы насмешкой, а не хвалой».

Что ж, если я был прав, рушились все построения скептиков — без споров с ними, обычно бесплодных, без подтягивания доказательств и аргументов, требующих собственной защиты, всегда весьма ненадежной. Все это становилось теперь ненужным, потому что не оказывалось самого предмета спора...

Перерабатывая поэму Бояна, автор «Слова...» вряд ли сознавал, что совершает подвиг — спасает от забвения имя и творение своего предшественника. И уж никак не мог он предвидеть, что именно Боян выступит за него ходатаем перед потомками, отметет нападки скептиков, подтвердит древность и даже время написания «Слова...».

Спор о том, когда именно было написано «Слово...», подогревался расхождением текста с исторической реальностью эпохи похода Игоря и характеристиками действующих лиц. Чтобы нейтрализовать нападки скептиков, защитники «Слова...» вынуждены были эту дату отодвигать все дальше от 1185 года — сначала в конец XII века, потом в начало XIII и даже еще позднее, когда в литературе Московской Руси появляются сочинения с исторической ретроспекцией, вызванные интересом россиян к своему прошлому. Противоречия сглаживались, но росло недоумение: почему много времени спустя возник интерес к неудачной вылазке третьестепенного князя? Обычные ссылки на «Песнь о Роланде» не помогали: **смерть Роланда в Ронсевальском ущелье позво-**

лила Карлу восторжествовать над маврами, смысл песни сводился к прославлению христианского рыцарства.

Теперь с помощью Бояна историю возникновения знакомого нам текста «Слова о полку Игореве» можно представить себе яснее. Поэма рождалась как отзвук еще не затихших боев, в огне пожаров лета 1185 года, когда требовалось подвигнуть князей на совместные действия, чтобы «закреть Полю ворота». Первым родился призыв к князьям; чуть позже к нему были присоединены описания похода и битвы Игоря, сон Святослава и плач Ярославны: князья оказались в плену и, несмотря на их вину, надо было вызвать у их «братии» сочувствие к пленникам. И только позднее, осенью, было приписано бегство из плена и апофеоз.

Трудно сказать, кем был автор «Слова...». Да и так ли уж это важно? Главное, что это был писатель — сам князь или отпрыск княжеского рода, первым понявший горестную судьбу русской земли, раздираемой междоусобицами. Отсюда и этот настойчивый призыв забыть распри и счеты.

Ну а если бы сначала была открыта «Задонщина», а «Слово...» много позднее, лет сто спустя? — думала я. «Задонщину» было с чем сравнивать, происхождение ее темных мест было видно невооруженным глазом, их смысл раскрывался через «Слово...». Вот почему в «Задонщине» сразу же увидели сплав знакомого и незнакомого. «Слово...» сравнивать было не с чем. Наука о литературной наследственности еще не была создана, а когда она появилась, различные обстоятельства и более чем вековая традиция уже создали вокруг «Слова...» барьер, исключавший возможность появления сколько-нибудь новых точек зрения...

Чтобы разорвать заколдованный круг, надо было не искать неизвестного нам и вряд ли определяемого сколько-нибудь точно автора «Слова...», а вернуться к его бытовому прародителю — Бояну.

Между Бояном и автором «Слова...» не может быть выбора: или — или. Они — рядом, вместе, передающие из рук в руки, как священную чашу Грааля, драгоценный, только еще распускающийся цветок русской поэзии. Сама поэзия эта похожа на Оранту Софии, плавающую в волнах золотого света, перед лицом которой встречались русин, чех, скандинав, поморский славянин, грек, половец, болгарин, торок, хазарин, гот, печенег, а может быть, и арабский купец, которому заветы пророка не запрещали посещения христианского храма. И на великое торжище возле Софии на крутых берегах Днепра, куда сходились пути со всех четырех сторон света, каждый из них приносил что-то свое — товар, мысль, язык, сюжет, аромат, музыку, слово, — чтобы поделиться с другими и, в свою очередь, почерпнуть что-то для себя из общей сокровищницы времен и народов.

Их давно уже нет на свете. Мы никогда не узнаем их имен и судеб. Но вклад каждого из них, кто жил в то время — я верю! — необходимой крупницей вошел в творчество Бояна, а через него в «Слово...», чтобы позднее перейти в «Задонщину» и в апокрифы, в «Сказание о Мамаевом побоище» и в повесть о битве 1512 года под Оршей, стать припиской к псковскому Апостолу под пером писца Диомида, вызвать к жизни фантастическое сообщение «Степенной книги» о походе Всеволода Юрьевича суздальского на помощь Игорю — и так до 1800 года, чтобы по-новому войти в нашу сегодняшнюю жизнь, породив споры, догадки, рожденные возникшим интересом к изначальному вопросу сознания: кто мы? что мы? откуда и куда идем?

НИКОЛАЙ ПАКЛИН



ВНУЧКА ТОЛСТОГО ВСПОМИНАЕТ...

По деревянной, чуть поскрипывающей лестнице поднимаюсь из прихожей на второй этаж квартиры. Впечатление такое, будто зашел в старинный московский особняк. Но стоит посмотреть в окно — и перед глазами предстает типично римский пейзаж: массивная крепостная стена из плоского красного кирпича, которой император Аврелиан в 272 году велел обнести античный Рим, чтобы защитить его от варваров, за ней вечнозеленые холмы парка виллы Боргезе с кипарисами и зонтикообразными пиниями, среди которых разбросаны в кажущемся беспорядке постройки в стиле барокко.

Перед входом в просторную гостиную у стенки стоит маленький столик с бюстом Льва Николаевича Толстого превосходной работы П. П. Трубецкого: взор писателя сосредоточен, из-под косматых бровей обращен куда-то вниз. Скульптор приезжал к Льву Николаевичу в Ясную Поляну и там рисовал его и Софью Андреевну.

По салону развешаны картины итальянских художников прошлого, в том числе две работы выдающегося венецианского мастера кисти Дж. Тьеполо. Но взгляд прежде всего останавливается на трех фотографиях: Лев Николаевич Толстой, а рядом с ним одна и та же девочка. На одной, снятой в комнате, девочка внимательно смотрит на писателя, а он осторожно держит ее за ручонку. На другой он смотрит ласково на девочку. Третья снята в заснеженном парке. Девочка в шубке и меховой шапочке остановилась на тропинке, расчищенной от снега, и подняла личико к Льву Николаевичу, а он склонился к ней, будто что-то спрашивает...

В салон входит женщина с элегантной прической и веселой, располагающей улыбкой. В ней трудно, конечно, узнать ту маленькую девочку, которая свыше семи десятилетий назад фотографировалась со Львом Николаевичем. Однако Татьяна Михайловна Альбертини (по мужу) и есть та самая Таня, Танюшка, Танечка — любимая внучка Льва Николаевича и Софьи Андреевны.

Кто читал дневники С. А. Толстой, тот не раз встречал это имя Бабушка души не чаяла в девочке, а в своем письме-завещании Софья Андреевна обратилась к ней с такими идущими от сердца словами: «Совсем особенно отношусь к тебе, моя дорогая, горячо любимая, милая внучка, моя Танюшка. Ты сделала жизнь мою особенно радостной и счастливой. Прощай, моя голубушка! Будь счастлива, благодарю тебя за твою любовь и ласку. Не забывай любящую тебя бабушку С. Толстую».

С Татьяной Михайловной я познакомился три года назад у известного итальянского художника, уроженца Ростова-на-Дону, Г. И. Шилтяна. С тех пор часто бываю в ее доме, исписал несколько блокнотов ее рассказами о себе и близких, по ее просьбе приводил к ней русских писателей и художников, приезжавших в Рим. Своих коллег-журналистов. Как-то я спросил Татьяну Михайловну, почему именно на ней сосредоточилась любовь ее великого деда и бабушки, у которых было столько внуков. Она улыбнулась: «Сердцу не прикажешь, но были, думается, и свои особые на то причины. Моя мать Татьяна Львовна, старшая дочь Льва Николаевича, горячо его любила и была близка ему по духу. У нее вышла сложная личная жизнь. Она полюбила женатого человека, отца шестерых детей, который был намного старше ее.— М. С. Сухотина. Они поженились, когда он овдовел. Долго у них не было общих детей, и мама уже совсем отчаялась. Мне рассказывали, что когда я родилась, в семье это восприняли как чудо. А свет я увидела на том кожаном диване, на котором родился мой дед и все его дети, кроме, конечно, тех, что родились в Москве. Из внуков этой чести удостоилась, насколько я знаю, только я. Этот диван стоит и поныне в кабинете Льва Николаевича в Ясной Поляне».

С журналистским пристрастием расспрашивал я Татьяну Михайловну, как помнит она своего деда.

«Воспоминания, конечно, туманные. Ведь когда он умер, мне было пять лет. Кар-

тины раннего детства причудливо переплетаются с тем, что я позже слышала о дедушке, прежде всего от мамы и бабушки, читала о нем. Теперь трудно отличить воспоминания подлинные от мнимых, тем более что к нам в Кочеты дедушка и бабушка приезжали много раз, да и меня частенько возили в Ясную Поляну. А вот бабушку я помню отчетливо. После смерти моего отца мы с мамой переехали осенью 1914 года из Кочетов в Ясную Поляну, где бабушка жила в одиночестве. С ней я была неразлучна до самой ее смерти 4 ноября 1919 года. Помню, умирала бабушка тихо, со всеми прощалась, у всех просила прощения. Маме она сказала перед смертью: «Знаешь, я во многом виновата перед Левушкой. Я его не всегда понимала. Но я его очень любила, и только его одного...» Бабушка умерла от воспаления легких. Она мыла окна в кабинете Льва Николаевича, хотя нужды в этом особой не было, и простудилась».

Татьяна Михайловна много рассказывала мне о Софье Андреевне. Интерес к ее личности до сих пор велик. Объясняется это сложностью взаимоотношений со Львом Николаевичем, особенно в последние годы его жизни, а также теми подчас диаметрально противоположными суждениями о ее роли в его жизни, которые были высказаны людьми, близко знавшими семью Толстых, и литературными критиками.

«Любовь бабушки к Льву Николаевичу с годами не убывала. Редко какой день за все годы, что я провела с ней в Ясной Поляне, мы не ходили на его могилу. Она гордилась им. Ей доставляло огромное удовлетворение всем желающим показывать, где жил Лев Николаевич, рассказывать о нем и о его работе. Не забывала она упоминать и о той помощи, которую оказывала ему в его тяжелом писательском труде. После Октябрьской революции посетителей в Ясной Поляне не убавилось, а, наоборот, стало больше. Часто приходили группами молоденькие красноармейцы и их командиры перед отправкой на фронт. Бабушка искренне радовалась их приходу, видела в них людей новой России. Приезжали к нам рабочие, студенты, как-то был М. И. Калинин, с которым мы все пили чай на террасе. Вообще к Октябрьской революции Софья Андреевна отнеслась положительно. Не надо забывать, что семья Толстых всегда была настроена решительно против царизма. Что касается большевиков, то новая власть с уважением и, я бы даже сказала, с почтением относилась к бабушке и всем родственникам Л. Н. Толстого. Хотя времена были военные, трудные, но по мере возможности нас снабжали продовольствием, за что бабушка была особенно благодарна: она была буквально одержима страхом умереть от голода. Об ее отношении к большевикам свидетельствуют записи в дневнике: «Слухи, что идет с войском Деникин бить большевиков, но будет ли лучше — бог знает! Нам большевики все дают и нас ничем не обижают» (19 июля 1919 года). Или вот запись от 14 августа: «Слухи о погибающем владычестве большевиков. Все радуются, а я им благодарна за постоянные услуги и помощь». Известно, что, когда осенью 1919 года фронт подошел к Ясной Поляне, воинские части, которые там разместились для отражения наступления белой армии на Тулу и Москву, Советское правительство решило вывести из села. В ставку Деникина об этом послало сообщение. Тем самым угроза разрушения Ясной Поляны была устранена. Вскоре положение на фронте изменилось, Красная Армия перешла в наступление...»

О всенародной любви к Л. Н. Толстому Татьяна Михайловна рассказывала вот еще какой характерный эпизод, свидетелем которого ей довелось стать:

«Летом — осенью 1917 года, в период непродолжительного правления Временного правительства, по Тульской губернии прокатилась волна крестьянских бунтов. Изголодавшиеся по земле крестьяне громили и жгли помещичьи усадьбы. Крестьяне Ясной Поляны пришли к моей матери и сказали, что они, конечно, вреда «своим» Толстым не причинят, а вот за крестьян из других деревень поручиться не могут. Обеспокоенная, мама послала на имя Керенского телеграмму. В ней она просила срочно принять меры для охраны Ясной Поляны. Керенский распорядился прислать солдат. К великой радости деревенских девушек, солдат прислали, однако вскоре они куда-то исчезли. Но Ясная Поляна не осталась беззащитной. Как мы потом узнали, каждый вечер ее приходили охранять тульские рабочие чугунолитейного завода с Косой Горы. Делали они это по велению сердца и настолько деликатно, что мы долго ничего не знали. Хочу особо отметить, что бабушка относилась к Ясной Поляне не как к своей собственности, а как к памятнику-музею, который является достоянием всей России. Она неизменно повторяла: «Ясная Поляна должна принадлежать русскому народу». Дело доходило до ссор с родными сыновьями, когда те, испытывая затруднения в деньгах, настаивали на продаже Ясной Поляны. Об этом она и слышать не хотела.

По рассказам я знаю, что Софья Андреевна была нервная, измученная многочис-

ленными заботами женщина. Она родила тринадцать детей, похоронила из них семейных. Вся ее жизнь со Львом Николаевичем была на виду у множества знакомых, малознакомых, а то и совсем не знакомых людей. Каждый ее шаг и жест, каждое ее слово становились достоянием гласности, ее обсуждали со всех сторон, зачастую с пристрастием. Для меня же она была с младенчества доброй, ласковой бабушкой. Она учила меня французскому и немецкому языкам, игре на фортепьяно, но главное — прививала любовь к природе, литературе, красоте. Мы ходили с ней собирать полевые цветы и в лес по грибы, кормили кур и собак, слушали пение птиц. Она передала мне свою глубокую привязанность к Ясной Поляне. Бесспорно, она была незаурядным человеком: умна, образованна, красива, говорила на нескольких языках, писала рассказы, рисовала... У нее был отточенный художественный вкус, и подлинный талант, и терпение старинного фотографа. Я не помню, чтобы она когда-нибудь не была занята делом. Бабушка шила, вышивала, вязала, а то и брала в руки косу. Когда она умирала, ее пальцы бессознательно двигались, будто она шила. На ее плечах лежали заботы о большом хозяйстве и многочисленной семье, о гостях, которые не переводились в Ясной Поляне. Она помогала Льву Николаевичу в его литературных трудах, переписывала его произведения и письма, нередко вступала в бой с царской цензурой, добиваясь публикации запрещенных произведений. Лев Николаевич прислушивался к ее советам и, случалось, перерабатывал те места, которые ей не нравились. Она отнюдь не была корыстна, как это иногда пытаются представить ее недоброжелатели. «Получаю плату за покос, и мужички деньги руки жгут», — отмечала она в своем дневнике. Кстати сказать, свой дневник она вела почти до самой смерти. Мне представляется, что недопонимание между нею и Львом Николаевичем в немалой степени объясняется позицией самого писателя. Он проповедовал простую жизнь, а сам жил в относительной роскоши. Софья Андреевна его часто спрашивала: «Скажи, почему ты проповедуешь одно, а сам живешь по-другому?» Насколько я знаю, он так никогда и не мог дать ей разумительного ответа на этот вопрос. Среди недостатков у бабушки был такой, как полное отсутствие юмора. Она признавалась, что «не умеет смеяться». Бабушка свято берегла память Льва Николаевича, всегда сама убирала его комнаты, никому не разрешала прикасаться к его вещам. Все годы жизни без мужа она сожалела о том, что между ней и ним было много недопонимания. Когда мы с ней гуляли по Ясной Поляне, она часто плакала...»

Интересны воспоминания Татьяны Михайловны о жизни в Ясной Поляне в канун Октябрьской революции и в первые годы советской власти, когда повсеместно в стране еще бушевала гражданская война:

«Бабушка тяжело переживала первую мировую войну, называла ее проклятой. Она не питала доверия к Керенскому и высказывалась, что Керенский всего-навсего «душевнобольная мания величия», а его Временное правительство «ничего России не дало». Глубоко возмутилась она расстрелом мирной демонстрации в Петрограде в начале июля 1917 года. «И эти разбойники — наше начальство!» — записала она в дневнике. Ее тревожило ухудшившееся положение с продовольствием. Вскоре не стало самого необходимого: соли, сахара, керосина. В лампу мы заливали какую-то вонючую смесь, и фитиль горел тусклым мерцающим огнем. Читать при таком свете не было никакой возможности. Зимними вечерами мы собирались за круглым столом, зажигали этот светильник и подолгу беседовали, а то пели песни. Времена были отчаянно трудные, но мы веселились. Уму непостижимо! Часто вели «философский» диспут: что хуже — голод или холод. Яснополянские крестьяне нам помогали чем могли. Помню, как приходили крестьянки на кухню к моей матери и доставали из бесчисленных складок своих юбок несколько яиц или кусок хлеба — бесценные по тем временам дары. «Возьми, кума, для деток», — говорили они, протягивая их. Дело в том, что моя мать крестила многих крестьянских детей в Ясной Поляне. В самой Ясной Поляне мы ничего не меняли — крестьяне не взяли бы, — а в другие села ездили и возвращались довольные, когда удавалось поменять отрез бархата на творог, десяток яиц или каравай хлеба. Мама ездила менять бабушкины балльные платья на базар в Тулу, где они имели спрос. Несмотря на нехватку буквально всего, жизнь в Ясной Поляне внешне как будто не изменилась. В обеденный час бабушка входила своим быстрым шагом в столовую и садилась на свое обычное место возле самовара. Следом за ней вокруг стола усаживались все остальные, начинался обед. Я не могу вспомнить без смеха, как наш лакей в белых перчатках подавал на стол день за днем одну и ту же... вареную кормовую свеклу. Чай мы заваривали из сушеных листьев земляники, а кофе — из жареных желу-

дей. Потом мы сами стали выращивать картошку, овощи, зелень. Цветочные клумбы мы перекопали в грядки. У каждого был свой «надел». Была и у меня своя грядка. С какой гордостью я угощала наших обедом, сваренным из «моих» овощей!»

Вскоре после того как Софья Андреевна умерла, Татьяна Михайловна с матерью уехала в Москву: надо было работать, учиться. Но каждое лето они приезжали в Ясную Поляну. В Москве в бывшем доме Сологуба, а вернее в пристройке к нему, им выделили две комнатухи. Татьяна Михайловна училась в школе, потом поступила в Литературно-художественный институт, которым руководил В. Я. Брюсов. Однако учиться ей не довелось: она заболела туберкулезом. Ее мать Татьяна Львовна стала директором Государственного музея Л. Н. Толстого.

«По делам музея мама часто бывала у А. В. Луначарского, и тот как-то спросил ее, почему у нее грустный вид,— вспоминает Татьяна Михайловна.— Мама расплакалась и рассказала, что я серьезно больна от недоедания. Луначарский тотчас же отправил нас в санаторий для артистов и писателей под Ялтой в доме Паниной «Гаспра» — в том самом доме, где Лев Николаевич лечился в 1902 году. Тогда моя мама ухаживала за больным отцом, теперь ей пришлось ухаживать за больной дочерью. Воспоминания о пребывании там у меня остались самые приятные. Вместе с артистами мы ставили пьесы, веселились. Молодость побеждала все невзгоды, я быстро поправилась. Когда мы вернулись в Москву, нам дали огромную комнату, в которой мы установили неизменную тогда буржуйку. Я пошла работать машинисткой в музей к маме».

Как случилось, что Татьяна Михайловна покинула родину? Вот что я записал с ее слов об этом:

«— В 1925 году я вновь заболела. Мама очень беспокоилась о моем здоровье. А тут как раз ее пригласили выступить с лекциями о Л. Н. Толстом в Англии и Франции. Прислал приглашение приехать погостить в Прагу и президент Чехословакии Масарик, друг Льва Николаевича. Нам выдали заграничные паспорта. Я обливалась слезами, не хотела уезжать: у меня был в то время роман. Но тот, кого я полюбила, был женат. Думаю, что мама решила уехать не в последнюю очередь для того, чтобы положить конец нашим отношениям. Она обещала мне вернуться в Москву через шесть месяцев. Месяцы растянулись на годы, годы — на десятилетия. За рубежом мы долго бедствовали, денег не было: ведь Лев Николаевич отказался от всех авторских прав. Как-то мы решили пойти в Париже в кино. На экраны только что вышла «Анна Каренина» с Гретой Гарбо в заглавной роли, и нам очень хотелось посмотреть эту ленту. Вместе с нами пошла и моя двоюродная сестра — тоже из семьи Толстых. Каково же было наше разочарование, когда оказалось, что билеты стоили для нас слишком дорого! Мы возвращались домой поникшие, в подавленном состоянии духа. Заработки наши были более чем скромные. Мама зарабатывала на жизнь тем, что иногда читала лекции о Льве Николаевиче. Я поначалу делала искусственные цветы в крохотной мастерской, затем окончила курсы стенографисток и пошла работать секретаршей в банк.

— Татьяна Михайловна, а как вы стали синьорой Альбертини?

— В то время я подалась в артистки, начала выступать на сцене в Париже. Театр я всегда обожала и считала сцену своим призванием. С труппой мы приехали в Италию, где я и познакомилась с моим будущим мужем. Мы поженились, пошли дети. В общем, обычная история. Хотя если бы мне пришлось повторить жизнь, я вряд ли вновь вышла замуж за иностранца. Знаете, чем больше проходят годы, тем больше я чувствую себя исконно русской...»

Муж Татьяны Михайловны Леонардо Альбертини был сыном известного итальянского журналиста, основателя крупнейшей в стране газеты «Коррьере делла сера». Когда к власти в Италии пришли фашисты, старшему Альбертини пришлось покинуть редакцию. Хозяева газеты, как заведено в Италии, заплатили ему отступные, причем немалые. На них он купил имение недалеко от Рима и занялся сельским хозяйством. Теперь по стопам своего итальянского деда пошел сын Татьяны Михайловны Луиджи. У него современная ферма молочных коров, которой он очень гордится. Луиджи с удовольствием знакомит с ней гостей из Советского Союза, обменивается, так сказать, опытом.

В беседах с Татьяной Михайловной у нее в кабинете, уставленном шкафами с книгами Л. Н. Толстого на многих языках мира, мы, случается, касаемся и «щекотливых» тем.

Татьяна Михайловна рассказывала мне, как тяжело переживала она со своей матерью нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и участие в этой войне Италии — страны, в которой они пустили глубокие корни.

«После войны мы собрались поехать на родину, но заболела мама,— говорит Татьяна Михайловна.— Она умерла в 1950 году в возрасте восьмидесяти шести лет, прожив, как она писала, «невероятно, незаслуженно счастливую и интересную жизнь». С четырнадцати лет она вела свой интимный дневник. В Москве он был опубликован полностью в 1979 году. Я хорошо помню, как мама закапывала его в землю в железной коробке в яснополянском саду, когда стали жечь помещичьи усадьбы. К сожалению, коробка оказалась неплотно закрытой, в нее просочилась вода. На некоторых страницах чернила так расплылись, что прочитывать их было невозможно. Маме пришлось их переписать заново. История публикации ее дневника любопытна. Мама послала в Москву его машинописную копию одному из родственников. Н. Н. Гусев взял из дневника кое-какие выдержки и включил их в свою биографию Л. Н. Толстого. Отрывки из дневника были опубликованы и в «Новом мире» (1973, № 12). Затем, когда я приехала в Москву, дневником заинтересовались исследователи творчества Льва Николаевича, в частности К. Н. Ломунов. По их просьбе я послала в музей находившийся у меня оригинал дневника — двадцать четыре тетради. Три тетради хранились в архиве музея с 1925 года — со времени нашего отъезда с мамой за границу. Я искренне благодарна Татьяне Николаевне Волковой за ту громадную работу, которую она проделала при подготовке дневника к печати. Постепенно я переслала в музей и переписку моей матери — около трех тысяч писем. Эти письма, которые она получила с 1925 по 1950 год от своих родственников, друзей, знакомых, в том числе видных французских писателей. На мой взгляд, особенно интересна ее переписка с Сергеем Львовичем, старшим сыном Льва Николаевича, который до своей смерти жил в Москве. В письмах мой дядя делится воспоминаниями об отце, высказывает любопытные мысли о дневниках Софьи Андреевны. Теперь в Государственном музее Л. Н. Толстого эта переписка имеется полностью».

Мне было известно, что Татьяна Михайловна вновь приехала в Москву лишь в 1975 году, то есть пятьдесят лет спустя после своего отъезда оттуда. И я никак не мог взять в толк, что ей мешало совершить такую поездку много раньше. Недавно я спросил ее об этом.

«Может показаться смешным, но я просто трусила ехать на родину, боялась, что в Ясной Поляне не справлюсь с переживаниями и волнениями. Спасибо одному советскому дипломату — он помог мне собраться с силами и преодолеть тот страх. В Москве меня встретили сердечно. Я побывала в дорогой моему сердцу Ясной Поляне и нашла все, как было в те далекие годы, когда я жила там с бабушкой и мамой. Я убедилась, что завет Софьи Андреевны сбылся: Ясная Поляна принадлежит русскому народу. Случился и забавный казус. В Ясной Поляне я встретила подружку из деревни, с которой когда-то вместе бегали в школу. Я ей сказала, что умирать пренуду непременно в Ясную Поляну. «Ой, Танечка, презжай скорее! Мы тебя будем ждать!» — в сердцах воскликнула она. Затем я еще несколько раз приезжала в Москву. С пустыми руками я не люблю ездить и всегда что-нибудь везу из семейного архива в подарок музею Л. Н. Толстого. В 1979 году я подарила музею самую дорогую для нашей семьи толстовскую реликвию — золотое кольцо с двумя бриллиантами и рубином. Это кольцо известно под названием «Анна Каренина», так как его подарил моей бабушке Лев Николаевич за ее помощь при написании «Анны Карениной», которую бабушка переписывала много раз. Это кольцо изображено на бабушкином пальце на ее портрете, который теперь висит в Ясной Поляне. В моей памяти сохранился летний день 1919 года, когда бабушка позвала маму и меня к себе и стала разбирать при нас те немногие драгоценности, которые у нее были. Нам она подарила лучшие из них — маме это кольцо, а мне свои золотые часы с цепочкой, также подаренные ей Львом Николаевичем. Куда подевались эти часы, я уж не помню. Думаю, что мы променяли их на хлеб в трудные годы на базаре в Туле. Ну а с чем я ездила в последний раз в Москву, вы сами знаете...»

Сборы в очередную поездку Татьяны Михайловны на родину летом 1982 года проходили при мне. Помнится, я как-то спросил ее в разговоре, бывала ли она в Ленинграде. Она ответила, что нет, не бывала. Ленинград — мой родной город. Я искренне изумился ее ответу и полусхотел стал укорять Татьяну Михайловну. Она также полусхотела оправдывалась, ссылаясь на то, что совершенно невозможно вырваться из объ-

ятий своих многочисленных московских родственников и друзей. Так родилась мысль побывать в Ленинграде. Об этом, кстати, у меня был разговор и с Федором Абрамовым, с которым мне довелось провести чудесный незабываемый вечер в Риме. Узнав, что я знаком с Татьяной Михайловной, он попросил передать ей его личное приглашение приехать в Ленинград.

Как-то незадолго до поездки я зашел к Татьяне Михайловне. С заговорщицким видом она провела меня в одну из комнат, сдвинула в сторону на полке книги и достала небольшую коробочку. Ничего не говоря, она открыла ее. В электрическом свете блеснул браслет. «Этот браслет я решила подарить толстовскому музею,— сказала Татьяна Михайловна,— он из платины. Сколько ему лет — не знаю. Мало что известно и о его истории. Его хранила моя мать как редкостную родовую реликвию. Ей он достался от Софьи Андреевны, которая, мы полагаем, в свою очередь унаследовала его от матери Льва Николаевича — Марии Николаевны Волконской, умершей еще в 1830 году. Когда мы с мамой пытались определить его родословную, то сошлись во мнении, что его, вероятно, подарил Марии Николаевне ее жених — Николай Ильич Толстой, отец Льва Николаевича. Почему мы так считали? На браслете выгравирована голова собаки и под ней графская корона. А Мария Николаевна была княжна. Следовательно, браслет принадлежал не ей, а был из дома графов Толстых. Если бы он появился в нашей семье позже, то кому-то из нас о его происхождении было бы известно хотя бы в общих чертах. Может быть, литературоведам удастся воссоздать достоверную историю этого браслета?»

Осмотрев браслет, я не удержался и спросил:

«— Татьяна Михайловна, а почему вы его храните не в сейфе, а за книгами?»

— Так безопаснее,— рассмеялась она.— Воры почему-то всегда находят сейфы с драгоценностями, даже если они незаметно вделаны в стену и прикрыты картинами. А вот найти вещь за книгами в доме, где их много, труднее...»

Из этой поездки с двумя взрослыми внуками в нашу страну Татьяна Михайловна вернулась радостная, даже помолодевшая. Ленинград произвел на нее огромное впечатление. Эрмитаж ей показывал академик Пиотровский, по городу ее сопровождал художник Верейский, затем приславший ей в Рим только что изданную «Анжу Каренину» со своими новыми иллюстрациями. Встречалась она и с ленинградскими артистами. Вот только Федора Абрамова не застала: его в то время в городе не оказалось. В наших беседах она много раз возвращалась к этой поездке, рассказывала о старых и новых знакомых, с удовольствием упомянула о приглашении вновь приехать в Москву, полученном от общества «Родина». По секрету она мне показала еще один подарок, который решила передать Государственному музею Л. Н. Толстого. Но что это за подарок, я обещал ей пока не писать.

По мере сил Татьяна Михайловна помогает зарубежным издательствам выпускать в свет материалы о Льве Николаевиче Толстом, выступает со своими воспоминаниями на страницах газет и по радио. В 1980 году во Франции в переводе с русского языка были изданы отдельной книгой «Дневники» Софьи Андреевны. К ним Татьяна Михайловна написала пространное предисловие и снабдила публикацию редкими фотографиями из семейного архива. И к «Дневнику» своей матери она написала послесловие, также изданному во Франции. «Но особенно я довольна, что внесла свою лепту, пусть крохотную, в пополнение фондов толстовского музея в Москве,— говорит Татьяна Михайловна.— Все, что связано с жизнью и деятельностью Льва Николаевича, должно находиться на родине, которую он беззаветно любил».

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ—50

В. КАВЕРИН



ЗАМЕТКИ О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Я был избран делегатом на Первый съезд писателей вопреки тому, что незадолго до этого события написал книгу «Пролог», которую критика (рапповская) встретила резко отрицательными статьями. Статьи назывались «Литературный гомункулос», «Эпигон формализма» и т. д. Статей было много, но положительной ни одной. Авторы доказывали, что картина совхозной жизни (я ездил по только что организованным совхозам) искажена, потому что я показал ее с классово чуждой точки зрения. Мне было предложено покаяться, я не согласился. К сожалению, это предложение принадлежало моему другу, впрочем никогда не интересовавшемуся непосредственным наблюдением как основной жизненного опыта. Разговор продолжался шесть часов. Он поразил меня — мой друг, несомненно, говорил одно, а думал другое. И поскольку эта трещина была непривычна для уха, я услышал ее так же ясно, как если бы постукал пальцем по треснувшей чашке. Но притом что трещина эта была ничтожна, она уже стремилась укрыться от света дня, она требовала к себе известного отношения. И мой друг выбрал это отношение — легкости, почти беспечности, смотрениа сквозь пальцы, что он посоветовал

и мне совершенно искренне, потому что я был ему дорог. Он доказывал, что ничего не стоит написать десять строк о том, что недостатки книги «Пролог» непреднамеренны и произошли лишь от моего незнания жизни. Перечитывая «Пролог» в наши дни, я убеждаюсь в том, что написал его со всей искренностью, на которую был способен.

Доказать, что я прав,— это была одна мысль, с которой я намеревался выступить на съезде писателей. Другая касалась позиции автора, о чем я много думал, работая над написанным вскоре после «Пролога» романом «Художник неизвестен». После ликвидации РАППа в 1932 году мне казалось крайне важным определить эту позицию, искаженную напостовцами идеей воинствующего утилитаризма. Я понимал, что призвание писателя обязывает в наше время и в нашей литературе, как никогда, и что за малейший допуск в пригонке деталей нравственности он расплавляется тоже как никогда. Неполнота правды деформирует искусство, а так как писатель есть то, что он создает, деформирует и сознание. Ложный шаг надо оправдать прежде всего перед самим собой — и находятя доводы, придумываются оправдания,— потом перед женой, детьми и друзьями. Удает-

ся и это. Так начинается лепка двойника, создание второй, литературной, личности, которая уже, в сущности, почти отделилась от первой, хотя и настаивает подчас на безусловном тождестве и единстве. Работа сложная, деликатная, с каждым годом требующая все больше сил, времени и внимания! Не художество, не самоотдача, не воспроизведение жизни, а воспроизведение самого себя во все возрастающих размерах. Тысячи обусловленностей врываются в жизнь, и самая важная из них — положение. В книгах, если они еще появляются, нет голоса, и они отзываются лишь если кому-то придет в голову щелкнуть по пустой оболочке.

С надеждой высказать эти соображения я приехал на съезд. Первое чувство, которое я испытал, было чувство неожиданной радости, охватившее меня, когда я увидел у Дома союзов молодые серьезные лица студентов — множество студентов собрались, чтобы увидеть писателей. нас. Я сразу же понял, что все происходящее на съезде будет иметь огромное значение не только для людей литературного труда, но и для людей любого труда, для всей страны.

Трудно рассказать о содержании съезда. Он продолжался две недели, количество вопросов, которых он коснулся, необозримо и свести их в какие бы то ни было формулы невозможно. Пожалуй, можно представить наш Первый съезд, воспользовавшись геометрическими понятиями, скажем представить его в горизонтальном и вертикальном разрезах, одни выступления были посвящены литературе как искусству, другие — делу писателя, его позиции в литературе.

В большом докладе Горького, открывшего съезд, эти темы объединились. Доклад общезнаменит. Напомню лишь, что Горький говорил о значении фольклора, о мешанстве, в котором он видел нравственную основу вождизма. Он не ждал, подобно рапповцам, появления Шекспира. «...не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. Будем мечтать о 50. А чтобы не обманываться — наметим 5 гениальных и 45 очень галантливых. Я думаю, что для начала хватит и этого количества. В остатке мы получим людей, которые все еще недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и небрежно обрабатывают его». Социалистический реализм он определил как многостороннюю форму жизнеутверждения, отметив среди других задач необходимость «разнообразия направлений».

Сотни писателей, слушавших речь Горь-

кого, были связаны с ним прямо или отраженно, и не только передо мной вырисовывался смысловой контур этих отношений.

Нельзя не отметить, что надо было много сил, чтобы подготовить и произнести (едва ли не в течение трех часов) эту речь. Незадолго до съезда я был у Горького и нашел его в плохом настроении, отнюдь не располагавшем к подобной работе.

Не помню, кто выступал после перерыва, но помню, что по поводу одной высокопарной и пустопорожней речи Шкловский, который сидел рядом, сказал: «Жить он будет, но петь — никогда».

Неосторожная шутка Горького «5 гениальных и 45 очень талантливых» нашла отражение в речах нескольких писателей. Михаил Кольцов сообщил, что кто-то уже спрашивал, как и где забронировать местечко если не в пятерке, то хотя бы в сорочке пяти. Он же шутливо предложил проект формы для членов Союза: красный кант для прозы, синий для поэзии, а черный для критики. И значки: для прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критиков — небольшую дубинку. «Идет по улице критик с четырьмя дубинками в петлице»...

Знал ли Кольцов, что И. Ф. Богданович, автор «Душеньки», предлагал Екатерине учредить «Департамент российских писателей»? Проект не был утвержден, и Богданович один заменил целый департамент, сочиняя пьесы, поэмы, повести в стихах, занимаясь переводами с французского и редактируя «Санкт-Петербургские ведомости».

Но вернемся к съезду. Кто же из мастеров выступил с речами значительными, отразившими позицию писателя или состояние литературы? Мне запомнилась речь Тихонова, сказавшего, что «молодые поэты должны искать и жить рискуя, а не прибиваясь». Настоятельно требуя опытов над стихотворным словом, он призывал учиться у Пастернака искусству богатой образности, стремительной искренности, непрерывного дыхания. Поэтические портреты Маяковского, Есенина, Багрицкого, Бориса Корнилова были уверенной рукой очерчены в его выступлении.

Тициан Табидзе и Егнше Чаренц, не повторяя уже вполне отстоявшуюся к тому времени формулу о братстве народов, говорили о братстве открытий, поисков, открытий.

Фадеев высказал опасение, что плоское понимание социалистического реализма может привести к сусальной литературе.

Эренбург говорил о том, что неудачу художника нельзя рассматривать как пре-

ступенне, а удачу как реабилитацию. Цифры в искусстве не равнозначны цифрам в индустрии: «Для статистики «Война и мир» — всего-навсего одна единица».

Доклад А. Толстого напомнил лекцию Тынянова, прочитанную на моем семинаре в Институте истории искусств. Толстой говорил о жесте как основе художественного языка, доказывая свою мысль с изобразительной силой: «Нельзя до конца прочувствовать старинную колыбельную песню, не зная, не видя черной избы, крестьянки, сидящей у лучины, вертящей веретено и ногой покачивающей люльку. Вьюга над разметанной крышей, тараканы покусывают младенца. Левая рука прядет волну, правая крутит веретено, и свет жизни только в огоньке лучины, угольками спадающей в корытце. Отсюда — все внутренние жесты колыбельной песни».

Мне понравилась речь Андре Мальро, выступившего от имени писателей Запада. Он говорил, что сила доверия создала новую женщину, свободную от тысячелетней косности быта, и превратила беспризорников в пионеров. Доверие к писателю и поэтические открытия — вот две силы, которые способны высоко поднять значение советской литературы.

Всех глубоко тронуло выступление Бориса Пастернака: «Двенадцать дней я из-за стола президиума вместе с моими товарищами вел со всеми вами безмолвный разговор. Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, объяснялись знаками и перекидывались цветами. Двенадцать дней объединяло нас ошеломляющее счастье того факта, что этот высокий поэтический язык сам собою рождается в беседе с нашей современностью, современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого».

Долго думал я, выступать мне или нет. Речь Олеси решила этот вопрос в отрицательном смысле. Сомнения, от которых я почти избавился, вновь вспыхнули, когда я услышал эту болезненно острую речь. То, о чем я робко и неуверенно думал, прозвучало в этой речи с неожиданной силой. Он не искал выхода для решения вопроса, стоит ли пожертвовать хотя бы долей правды для того, чтобы писать книги, которые не пострадают от этой неполноты. Он вообразил себя давно бросившим перо и зарабатывающим на жизнь подаванием. Эта речь была рассказом о преследовавшем его образе нищего, в котором он увидел себя и который невольно рисовался передо мной. Он упрекал критиков, заставивших его усом-

ниться в собственном даровании. И слушая его, я невольно вспомнил наш последний разговор, когда он спросил меня: «Каверин, зачем вам писать? Ведь вы уже научились». Прощаясь, мы тогда заговорили о «Зависти», и он грустно сказал: «Так вы думаете, что «Зависть» — это начало? Это конец». Поразившая меня неуверенность в себе болезненно отозвалась в моем сознании, потому что и я всегда не был уверен в себе, с чем мне пришлось впоследствии бороться всю жизнь.

В работу съезда врывалось Время, оно говорило о мировых катаклизмах. Человек в черной маске, наглухо закрывавшей лицо, не назвавший ни своего имени, ни страны, откуда он приехал, вдруг появился на кафедре и сказал, что он участник политической борьбы, которая при свете нашей страны только разгорается, несмотря на неисчислимы жертвы.

Академик О. Ю. Шмидт рассказал о жизни зимовщиков на льдине и поделился психологическими наблюдениями, поразительным влиянием знакомства с немногими книгами, случайно попавшими в их руки. Книг было всего четыре. Среди них Пушкин, читавший вслух и, как ни странно, как бы приказывавший работать энергичнее и быстрее. В умной речи Шмидта было многое. Он говорил о впервые осознанном, обязывающем понятии героизма, заставляющего задуматься над знаком равенства между его работой и работой тех, кто был рядом, так же как в любом коллективе. Он говорил о значении чувства любви, объединившем миллионы людей, о людях обыкновенных, простых и впервые задумавшихся о значении понятия героизма? Он говорил о том, что это явление в истории человечества небывалое. Речь была разносторонняя, хотя напрямую не относилась к литературе, она как бы вписалась в летопись нашего съезда, придавала ему черты исторического явления.

Я не пересказал и сотой доли этой встречи. Многое было лишь намечено, перечислено, названо

Я не сомневаюсь, что мой «геометрический разрез» все-таки не позволил мне нарисовать законченную картину съезда. Хотелся еще рассказать о том, как размеренный, официальный характер его переломился во второй половине. Этот перелом был замечен и подхвачен, точно все только и ждали, когда же кончатся доклады и приветствия. Доклады по необходимости носили слишком общий характер — кому было под силу в течение часа рассказать о настоящем и заглянуть в будущее украинской,

грузинской, белорусской, узбекской литературы? Приветствия были воплощением трогательной надежды на нашу литературу, но им было отдано слишком много времени и внимания.

Помнится, поэты были застрельщиками перелома. Кирсанов, защищая необходимость изучения стиховых форм, доказывал, что преодоление инерции в поэзии невозможно без борьбы направлений. Тициан Табидзе сказал, что рядом с Маяковским, имя которого часто произносится на съезде, должен быть поставлен Александр Блок. Леонид Первомайский связал поиски новой поэтической формы с судьбой своего поколения — поколения двадцатисемилетних. Мало сделано: в этом возрасте погибли Лермонтов и Петефи. Не изысканная рифма, не волшебная музыка слова, а молнии духа, пробегающие между ними, — вот истинная стихия поэзии.

Борис Пастернак попытался дать ее определение: «Что такое поэзия, товарищ, если таково на наших глазах ее рождение? Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т. е. факта с живыми последствиями. И конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна в зависимости от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или умудрится испортить».

Когда съезд приветствовали метростроевцы, Пастернак кинулся из-за стола президиума, чтобы снять с плеча одной из работниц отбойный молоток. Она не позволила — молоток входил в картину приветствия, — и он, смущенный, вернулся на свое место. Это происшествие отразилось в его речи: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, но который оттягивал книзу ее плечи, мог ли знать то-

варищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку». Он закончил свою речь предостережением: «При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подалее от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям».

Если сравнивать современное положение литературы с положением 30-х годов, то можно заметить, что перемены не только неизбежны, но и необратимы. К сожалению, годы и неустанная работа заслонили от меня многие явления, характерные для современной литературы. Но для меня ясно, например, что среди молодых много талантов. Что широта и глубина историко-литературных исследований заметно возросли. Что наряду с «писаревщиной», против которой так горячо возражал Блок, у нас много хороших критиков и они с не меньшей, а может быть, и с большей глубиной задумываются над роковым вопросом «как писать?». Что в нашей литературе, к сожалению, есть однообразные слои, что некоторые писатели, сами того не замечая, повторяют друг друга. И это касается в том числе русского литературного языка, который безвкусные литераторы пытаются украсить, хотя он по своей природе чужд украшениям. Литературные направления часто определены лишь тематическими признаками, а без направлений нет внутренних споров, с державинских времен оплодотворявших литературу.

Но будем надеяться. Художественная литература как была, так и осталась одним из важнейших факторов общественной жизни. Мы уйдем, одни скоро, другие не очень скоро, а литература бессмертна.

И. ЭВЕНТОВ



В ТЕ ДНИ

Я хорошо помню литературные баталии 20—30-х годов, протекавшие в Ленинграде на разных площадках (писательского клуба в городе тогда не было): в Доме печати на Фонтанке, в бывшем великокняжеском дворце на набережной 9-го Января (теперь Дворцовой), где помещалось Ленинградское отделение Коммунистической академии (ЛОКА)... Диспут, который запомнился больше других, происходил в клубе на улице Рубинштейна (ныне там Театр народного творчества). Из Москвы приехал А. Фадеев. В. Вишневский и Ю. Либединский жили тогда в Ленинграде, кроме них в дебатах участвовали М. Чумандрин, Д. Лаврухин, В. Саянов, Е. Добин...

Спор шел о рапповском лозунге «живого человека» в литературе. Образцом такого человека пытались представить главного персонажа повести Ю. Либединского «Рождение героя». В. Вишневский горячо протестовал, обвиняя рапповцев в «психоложестве» и усматривая в самом лозунге пропаганду «раздвоения личности». Кое-кто робко подсказывал, что на таком слабом литературном материале вообще нельзя ставить вопрос об изображении человека в художественной литературе. Споры накалялись, о примирении не могло быть и речи, отголоски диспута долго еще звучали в кулуарах разных собраний. В горячих перепалках не всегда рождалась конкретная истина, но неизменно всплывало чувство общей неудовлетворенности существующей литературной ситуацией. Все вздохнули свободно, когда было обнародовано постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций.

События того времени вспомнились мне при чтении только что вышедшей в Ленинградском отделении «Советского писателя» книги Дм. Молдавского «В начале тридцатых». Автор книги не мог быть участником описываемых событий — он был еще слишком молод, — и диспут о «живом человеке» не фигурирует в его книге. Но как историк

литературы он живо воссоздает ту атмосферу литературной борьбы, которая привела в конце концов к ликвидации РАППа, к созыву Первого всесоюзного съезда писателей и к объединению всех здоровых сил советской литературы в единый писательский союз.

Время, изображаемое автором, символически воплощается для него в заголовках литературных произведений разных лет — «Путь энтузиастов», «Весна республики», «Солнечные кларнеты». Это время Магнитостроя, «Чапаева», челюскинской эпопеи — время трудных побед, страстных поисков, тяжких лишений, время взлетов, горения, энтузиазма, навсегда оставшееся в нашей истории. Контрасты и причуды эпохи ярко отразились в литературных баталиях, которым посвящена первая часть этой книги (одна из глав ее так и названа — «Поиски и догмы»), во множестве художественных произведений, созданных в 30-е годы. О них-то и говорится в основных главах книги — о «Жизни Клима Самгина» и шолоховских героях, об Н. Островском и П. Тычине, о Е. Чаренце и Н. Ушакове, о Н. Тихонове, Л. Славине, Л. Кассиле, А. Прокофьеве, М. Зощенко и других.

Центральным событием литературной жизни того времени явился Первый съезд писателей. Это был праздник дружеского единения мастеров всех литературных жанров, представителей многих национальностей. Раздробленные ранее по мелким или крупным враждующим между собой литературным группировкам, работавшие в далеких краях и республиках, не часто встречавшиеся друг с другом и нашими зарубежными друзьями, писатели Советской страны впервые выступили единой семьей горцов литературы, посвятивших свой труд живому делу воспитания нового человека, созидания нового мира.

Мне довелось быть на всех заседаниях съезда (будучи кандидатом в члены Союза писателей, я присутствовал на нем в каче-

стве корреспондента) и выслушать свыше 200 ораторов. Тогда впервые посчастливилось увидеть и услышать многих советских и иностранных писателей, вошедших позднее в литературную классику. Для меня это были дни первых личных встреч и бесед с Д. Бедным, М. Кольцовым, И. Эренбургом, К. Трениным, Л. Арагоном, А. Гидашем, Б. Ясенским и другими, о которых пришлось впоследствии немало писать. Примечательно, что съезд, в котором участвовало столько ветеранов и корифеев, известных еще с дореволюционных времен — М. Горький, В. Вересаев, А. Серафимович, А. Толстой, Скиталец, А. Чапыгин, С. Сергеев-Щенский, В. Шишков, С. Айни, Я. Колас, Я. Купала, Я. Виртанен, П. Тычина, М. Рылский, Т. Табидзе, Д. Демирчян (среди иностранных писателей обращал на себя внимание М. Андерсен-Нексе, который был всего на год моложе Горького, а среди гостей — восьмидесятивосьмилетний участник Парижской коммуны Гюстав Инар) — в преобладающей своей части был завидно молодым. М. Шолохову тогда едва исполнилось двадцать девять лет, А. Гайдару было тридцать, Е. Петрову — тридцать один, А. Фадееву — тридцать три. Самый юный ленинградский делегат, избранный на съезд с правом совещательного голоса, — двадцатичетырехлетний Ю. Герман печатал уже третий по счету роман. Возраст большинства писателей, присутствовавших на съезде, не превышал сорока лет.

В книге Дм. Молдавского нет общей картины съезда, но в ней приводятся материалы, которые в целом достаточно выразительно отражают значение перемен, привнесенных съездом в художественную жизнь нашей страны — литературу, музыку, театр, кинематограф.

Надо отметить, что автор, будучи человеком многогранных художественных интересов, значительную часть своей книги посвятил судьбам искусств, тому, как они сложились в 30-е годы. Мы найдем здесь обстоятельный рассказ о том, как под влиянием Маяковского — уже после его смерти — развивалось советское кино, о творческих поисках выдающихся мастеров — С. Эйзенштейна, А. Довженко, Дзиги Вертова, Л. Кулешова, Н. Шенгелая. В специальном очерке говорится об одном из крупных явлений кинематографа тех лет — фильме «Встречный». Найдем мы здесь страницы, раскрывающие сложные перипетии музыкальной жизни 30-х годов. Отдельный этюд посвящен работам художников Кукрыниксов, обширный очерк — живописи М. Сарьяна.

Литературные баталии не были уделом лишь предсъездовского периода. Споры вспыхивали и на самом съезде (вспомним хотя бы дискуссию о поэзии, в ходе которой А. Сурков, А. Безыменский, В. Инбер, С. Кирсанов, Н. Асеев дружно выступили против снобистско-эстетского подхода к поэтическому искусству, или полемические речи М. Кольцова, Н. Тихонова, Л. Сейфуллиной, И. Бабеля, М. Шагинян), они продолжались в 30-х годах. Но самый уровень полемики был совершенно иной, чем в 20-е и в начале 30-х годов. Она задержалась на твердой идейно-творческой основе и была свободна (если не считать отдельных рецидивов) от тех приемов администрирования, запугивания, наклеивания ярлыков, которые процветали в рапповские времена.

Ряд глав книги Дм. Молдавского посвящен творческой биографии, охватывающей несколько десятилетий, таких писателей, как М. Зошенко, Н. Тихонов, А. Прокофьев, Н. Ушаков, Л. Славин, группы поэтов, объединенных именем «Ленинградцы» (В. Саянов, А. Гитович, А. Решетов, А. Чуркин).

30-е годы служат для автора точкой притяжения художественных явлений, относящихся к разным периодам нашей истории. Эти годы были переломными, общезначимыми для судеб художественной культуры в Советской стране. Вершинные творения Маяковского относятся к 20-м годам, но без них нельзя понять многих явлений художественного развития всех последующих лет. Ибо — цитирую — «самый строй поэзии Маяковского и его, как говорил С. Эйзенштейн, «развернутый упор на установку и общественную целеустремленность»... воспринимались как поиск единственного (или, во всяком случае, самого продуктивного) пути к искусству будущего».

Может быть, автор идеализирует время 30-х и некоторые страницы его книги можно прочесть как ностальгические воспоминания о прожитых тогда детских годах — суровых, аскетических, но по-своему прекрасных? Такие страницы в книге действительно есть, но они идут как бы по касательной к зрелым и четким характеристикам эпохи, которые исходят уже не от восторженного подростка, а от трезвого исследователя художественного процесса.

«Люди тридцатых годов, — пишет автор, — строили будущее, имея перед собой надежные проекты и надежные решения. Но будущее казалось им, увы, ближе, чем оно было, — строителей коммунизма ждали впереди неслыханные трагедии, неслыханные войны, неслыханные грозы».

Автор книги как бы не доверяет ни чужим, ни собственным концепциям, стараясь нагнать как можно больше фактов в подтверждение своих выводов и в доказательство истинности создаваемой общей картины. В этом он противостоит любителям глубокомысленных рассуждений, которые нанизывают один тезис на другой, связывают один довод с другим, противопоставляют одно теоретическое построение другому, нимало не заботясь о живом токе жизни, искусства, литературы, без которого нельзя решать ни одного вопроса теории или критики. Фактический материал в этой книге свеж, убедителен и интересен. Он почерпнут из колоритных документов эпохи — газетных репортажей, журнальной полемики, произведений искусства, воспоминаний современников, наконец из личных архивов.

Когда Молдавский пишет об А. Прокофьеве, он вооружается не только десятками книг поэта и отзывами критики о нем — он отыскивает с помощью дочери покойного целый портфель с его ранними стихами и вводит в свое повествование неизвестные читателю тексты. В архиве Г. Козинцева он находит фрагменты стихов Прокофьева, которые должны были войти в одну из кинолент 30-х годов.

Когда Молдавский пишет о Н. Асееве и Н. Ушакове, он приводит записи своих бесед с ними и отрывки из их писем. В статье о М. Зощенко он щедро цитирует рукописные авторские материалы, относящиеся к повести «Перед восходом солнца». С Н. Тихоновым он говорит о творческой судьбе «серапионов», о теме Востока в работах писателя, о ленинградских поэтах — и вводит записи этих разговоров в свою книгу.

Манера письма у Молдавского своеобразна. В ней кое-что фрагментарно, поспешно. Нет плавности повествования, в отдельных местах видны недосказанности, чересчур быстры переходы. Можно отнести это к недостаткам его стиля, можно — к особенностям письма. Но одно является бесспорным преимуществом автора: он всегда эмоционален, ему совершенно чуждо академическое бесстрашие, иногда он даже патетичен, иногда публицистичен, и все это при хорошем профессиональном выполнении своих исследовательских задач.

В общем, книгу «В начале тридцатых» читатель одолеет без скуки (это очень важно!) и с очевидной пользой для себя и для нашей литературы.

Ленинград.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ



РОВЕСНИК ПЕРВОГО СЪЕЗДА

Ровесник — это Литературный институт имени А. М. Горького. Недавно он справил свой пятидесятилетний юбилей.

...После демобилизации в 1946 году я, еще в офицерской форме, вошел в Дом Герцена, испытывая робость, мало соответствующую этой форме. Меня встретили бывшие соратники в выцветших гимнастерках, с которых уже были спороты погоны. Все были возбуждены и по старым, проверенным законам дружбы, еще не зная, что и как я написал, подали руку помощи, повели, подталкивая в спину, по узеньким коридорчикам в учебную часть...

Годы учебы пролетели быстро. Мне уже приходилось писать о том, что главным в те далекие времена было у нас желание работать, жажда знаний, уважительное от-

ношение к именам крупных писателей, которые были нашими воспитателями. Может быть, потому, что имели мы дело с большими талантами, на всю жизнь задали сами себе высокие ориентиры, требовательность к себе возвели в ранг закона.

Я помню Ю. Бондарева и Г. Бакланова, В. Тендрякова и Ю. Трифонова, Е. Винокурова и К. Ваншенкина молодыми, худыми, горячими спорщиками. С Расулом Гамзатовым и Андреем Турковым мы учились на одном курсе. Читая сегодня их книги, я словно присутствую при становлении целой генерации советской литературы, находясь не вне ее, а внутри. Помня начало. Не раз и не два доводилось слышать: а можно ли выучить на писателя? Иными словами: а нужен ли Литинститут? Вопрос не такой уж

простой, как кажется. Конечно, нетрудно опровергнуть сомнения, пояснив, что тут и не учат «на писателя», а дают развитие и общую культуру тем, кто уже писатель. Однако знаем мы и то, что писателем в конечном счете становятся, им не рождаются, а значит, и прием молодого дарования в Литинститут есть, по сути, акция и некоторого доверия и известной лотереи... Бывает, что за бортом остается талант подлинный, а окончивший Литинститут ничего, кроме горечи и ссадин на самолюбии, оттуда не выносит.

Когда Горький рассказывал Ленину о своей мечте создать вуз для писателей, Владимир Ильич прервал его полусутоливым контрвопросом: «Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а?» И тут же заметил, что все дело в том, кто будет преподавать.

Об этом думал и сам Горький. В письме А. Шербакову (1936) он писал, предостерегая против «кустарной» деятельности, при которой «будет увеличено количество бездарных и малограмотных людей, «прикосновенных» литературе. Их уже так много, — продолжал он, — что мне кажется совершенно необходимым пересмотреть списки членов Союза писателей и освободить Союз от излишнего и вредного балласта». Он не хотел, чтобы Союз писателей воспринимался как «тепленькое место, где можно жить удобно и равнодушно».

Имеет смысл перечитать одно место из постановления ЦИК СССР, подписанного М. И. Калининым: «В учебной работе вновь организуемого Института применять метод обучения, учитывающий особенности каждого работающего в Институте писателя, его творческие навыки и приемы». Литинститут (а он сразу — с 1933 года — создавался как творческий вуз) должен был стать местом, где большие художники передают молодым талантам накопленные достижения прошлой культуры во всей широте научно-философской программы, сочетая этот процесс с гибкостью метода — индивидуального в подходе к учителю и ученику, — творческого, профессионального воспитания.

Забота об уровне, качестве, критериях — вот главное, что волновало людей, так или иначе участвовавших в судьбах Литинститута. Прежде всего об этом свидетельствует своими многочисленными материалами недавно вышедшая книга «Воспоминания о Литинституте («Советский писатель». 1983). Книга, которую нельзя читать без волнения. «Когда меня спрашивают, с кем я училась, отвечаю без тени юмора: со всей со-

ветской литературой...» — это пишет Лидия Обухова. И она права. Дух неудовлетворенности полуудачами и полурешениями был у нас в крови, когда мы называли себя литинститутцами. У Михаила Кульчицкого есть строки: «Мы запретим декретом Совнаркома кропать о Родине бездарные стихи!» А Яшин с фронта: «После этой войны писать плохо — не позволим!»

Да разве могли они, мои товарищи, позволить себе малые дела и малые задачи, если было такое: девушка плакала — ее высмеяли, что она с кожурой варит картошку в супе, друзья потом просили прощения — они забыли, что девушка пережила блокаду... Разве могли бы они учиться «неизвестно у кого и неизвестно чему», если в их воспоминаниях хранятся образы учителей — Гладкова, Леонова, Федина, Паустовского, Сельвинского, Асеева, Луговского, Антокольского, Светлова... Если читали им курсы лекций лучшие умы советской филологической науки! И одно перечисление их имен могло бы занять половину моих заметок «Главной удачей, пожалуй, стало то, что нашими наставниками оказались люди яркие...», «Сегодня убеждена, что общение с теми удивительными людьми, которым наградил нас герценовский дом, сделало для нашего внутреннего становления никак не меньше, чем все прочитанные нами книги». Эти и многие такие же высказывания бывших студентов в «Воспоминаниях» красноречивы. В них ответ на вопрос о пользе Литературного института, о том, нужен или не нужен он молодым дарованиям...

Хочется отметить и такую закономерность: цепную реакцию нравственных и творчески-организационных принципов, передаваемых из тех далеких лет пребывания в стенах нашей alma mater. Сразу же по окончании института стал я преподавателем на кафедре творчества, а затем на Высших литературных курсах, где вместе с Я. Смеляковым, М. Лукониным, С. Наровчатовым, А. Яшиным вел семинары поэтов, в 70-е годы возглавил литературную студию «Зеленая лампа», где продолжал работу по воспитанию молодых литераторов рука об руку с В. Шкловским, В. Каверным, И. Андрониковым, Б. Полевым — писателями старшего поколения и с Ч. Айтматовым, Р. Гамзатовым, А. Битовым, Ю. Трифоновым, Б. Слуцким, Ф. Искандером, Е. Винокуровым — писателями моего поколения. И вот оказалось, ничто не забыто из того опыта 40—50-х, ничто ценное не пропало, все повторилось.

Литературный институт с момента осно-

вания был школой международного единения писательской молодежи. Г. Джагаров, Д. Методиев, Б. Димитрова, Л. Стефанова из Болгарии, товарищи из Румынии, Польши, Кореи — все дорогие, памятные имена.

В широких масштабах велось воспитание интернационализмом творческой молодежи нашей страны. Одаренные люди многих национальностей, разноязычные дети единой Страны Советов переполняли аудитории Литинститута. Я, например, учил бурята Дамдинова, латыша Зиедониса, русского Викулова, чеченца Мамакаева, подружился под кровом Дома Герцена с киргизом Айтматовым, армянином Эмином, балкарцем Кулиевым, калмыком Кугультиновым...

Рядом со мной Яков Козловский, Наум Гребнев, Елена Николаевская начинали переводить своих товарищей. «Не по Гегелю» учил Маяковский диалектику. Не по учебникам учились и мы интернационализму. Он был и остается у нас в сердце.

Есть писатели, не обделенные дарованием, но пустившие его по ветру именно потому, что жизнь-то и обогнала их — мало учились, мало знали, не развивали себя нравственно, интеллектуально. Хорошо сказал в воспоминаниях своих Макс Бременер, один из студентов послевоенного набора: «Наши преподаватели на примерах показывали, что наука, культура развивались во все века в борьбе с невежеством. Они конкретизировали представление о воинствующем невежестве, помогали увидеть его опасность». Литинститут ценен не только творческим общением, творческим весом преподавателей-писателей (без этого он просто не нужен), он ценен и тем общекультурным багажом, который приобретает студент за годы учебы.

В сборнике воспоминаний не раз приво-

дятся цифровые выкладки: сколько человек стали членами СП, сколько удостоены тех или иных наград, сколько разных преподавателей работали с молодежью. Есть и еще один список: погибших смертью храбрых на великой войне... Тех, кто недолюбил, недопел. Хорошо, благородно, что в сборнике нашлось много места им, перед кем мы, бывшие студенты Литинститута, будем вечно чувствовать себя в долгу...

Учреждение Литературного института — проявление заботы о подготовке литературных кадров страны, одно из звеньев общей культурной политики государства. Так это и было воспринято общественностью. Сегодня, спустя полвека, мы видим плоды этой работы по целенаправленной «селекции» талантов. На разных этапах успехи в такой работе могут быть разными, но суть, принципы остаются прежними. Воспитание есть усилие, направленное на совершенствование и самоузнавание таланта. Одним чутьем и интуицией, остротой переживания молодой писатель еще не может охватить всей сложности связей, жизненных закономерностей, противоречий, которые составляют народную жизнь, жизнь общества, момент истории, а писатель тогда и осуществится, когда выразит всю эту сложность в ясных формах художественного сознания. Значит, задача воспитания писателя-гражданина — это прежде всего воспитание личности. Его кругозора, мира его нравственных принципов, общественной позиции. Литературный институт как искомая модель подготовки писательских кадров недаром стал прообразом других подобных учебных заведений в странах социализма — в ГДР, во Вьетнаме. Ровесник Первого съезда писателей СССР, Литературный институт верен его основополагающим принципам.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ



УЧИТЕЛЯ И ТОВАРИЩИ

Союз писателей — это учителя и ученики, это школа взаимного обучения. Многие вспоминают добрым словом старших товарищей, поддержавших нас, чему-то научивших...

I

Помню первые послевоенные годы. Ощущение праздника. Счастливые время. Все мы были полны какими-то заманчивыми

ожиданиями, ожиданиями чего-то необыкновенного. Позади война, санпропускники, продпункты... Карпаты, Польша, а потом Западная Украина, госпиталь.

Я демобилизовался осенью 1946 года и еще в офицерской форме шел как-то раз по Арбату. На книжном развале у букинистического магазина я остановился и с интересом стал рассматривать выложенные книги. Почти четыре года я ничего, кроме фронтовых газет, не читал. А мне тогда был без нескольких дней двадцать один год. На первой же взятой с лотка книге стояло имя: Павел Антокольский. Я эту фамилию слышал в детстве, до войны, ибо учился в одной школе с Володей Антокольским. Володя был старше меня на два года, в определенном возрасте это значительная разница. В 1941 году я окончил лишь восьмой класс, мне было пятнадцать с половиной, а Володя был уже призывником, окончившим девять классов.

Мальчишки нашего двора, учившиеся в одном классе с Володей, помню, говорили, что отец Володьки поэт.

До войны и во время войны я ни строки Павла Антокольского не читал.

Итак, я купил книгу Антокольского, пришел домой и начал читать. Книга меня потрясла — да это же обо мне: «Во время войн, царивших в мире, на страшных пиришествах земли меня не досыта кормили, меня не дочерна сожгли».

Конечно, у меня было свежее восприятие, я не был начитан вообще, а в частности, в поэзии, стихи П. Антокольского упали действительно на девственную почву. Я прочитал книгу с начала до конца несколько раз и на последней странице увидел, что среди выходных данных стоит фамилия редактора — Е. Ф. Книпович.

А в нашем дворе в маленьком флигельке старинного дома с мезонином и колоннами жила Евгения Федоровна Книпович, о которой я знал, что она литературный критик. К ней-то я и направился и попросил ее меня познакомить с Павлом Григорьевичем Антокольским. Книпович позвонила, и через несколько дней я уже был у Антокольского с тошечной тетрадкой собственных стихов. До этого момента я ни одного поэта не видел и стихов никому не показывал.

Прочитав стихи, он вскинул голову и отрывисто спросил: «Книгу хотите?» И хотя до книги было еще далеко — она вышла только через пять лет, — сам этот вопрос заставил меня поверить и в свою поэтическую судьбу и в возможность своей книги.

Вскоре я был принят в Литинститут, а затем туда пришел и Антокольский в качестве руководителя поэтического семинара.

Конечно же, я записался именно в этот семинар.

Антокольский был верен брюсовской системе воспитания. «Почему, — он восклицал, — музыканту нужна сухая беглость пальцев, а художнику — тренировка в рисунке человека с натуры? Поэт должен быть мастером! Он должен знать ремесло, он должен тренировать себя, он тоже должен иметь «сухую беглость пальцев!»...»

Павел Григорьевич вскидывал голову характерным движением — резким, задористым, — пыхтел гневно трубкой.

«Поэт должен владеть формой стиха, должен владеть нашим ремеслом». Пушкин был для него труженик. «Это сильный, привыкший к труду человек...»

Казалось, Антокольский полемизирует с невидимым оппонентом, сторонником некоей артистической лени и наитья. «Надо работать, надо быть тружеником, а не ждать, когда синий огонек вдохновенья вспыхнет сам собою над вашей головой!»

И однажды наш руководитель заявил нам: «К черту лени! Я даю вам девять тем — извольте на каждую из них написать сонет!»

За лучший сонет обещалась премия. К следующему семинару я принес девять строгих сонетов, написанных на все заданные темы. Больше никто из участников семинара не написал ни одного. Нет, кажется, один сонет написал Саша Ревич.

Антокольский был, видимо, обескуражен. Когда же я прочитал все девять сонетов, он резко обозвал меня первым учеником. Что-то хмыкнул, пыхнул несколько раз трубкой, вскинул голову: «Вот вам всем новая тема: «Хлестаков!» — выкрикнул он.

На следующий семинар я опять-таки один принес сонет о Хлестакове. Тут уж Павел Григорьевич сказал: «Сдаюсь!» И подарил мне книгу Державина с надписью: «Евгению Винокурову за лучший сонет о Хлестакове на семинаре». Я сейчас вдруг вспомнил этот сонет:

Средь шумной и трусливой суеты
За ревизора принятый пройдоха
Берег небрежно взятку и плуты
Сдержат не в силах радостного вздоха.

Все обошлось, они теперь чисты
От грязных дел, да и ему неплохо:
Он здесь со всеми чуть ли не на ты,
Ведь то не город, то его эпоха.

Он здесь как свой — набил карман тугой
И в путь. Но прибыл ревизор другой.
Что ждет плутов? Отставка, суд, позор?

Они застыли перед страхом новым...
Напрасно! Настоящий ревизор
Окажется таким же Хлестаковым!

Позднее этот опыт мне пригодился, чувство жесткой конструкции мне помогло написать книгу «Слово», в которую вошли стихи сжатые, где мысль вмещалась в строгую форму.

Да, известные навыки, техническое умение нужны, но не это главное. А главное, Антокольский знал сам, — это быть честным.

...«Нет. Жизнь не скроена и молодость не сшита. Я вырежу опять на палке из самшита два сердца и стрелу — как в детстве. И пока в стакане ледяном хоть полглотка осталось — не существует смерть, не существует старость — все пена, все прибой на отмели песка...»

Эти строки Павла Антокольского я не уставал повторять в тот год, когда появился в Москве после возвращения с войны. Никакие другие стихи так не соответствовали моему тогдашнему приподнятому настроению.

Кто-то из мыслителей выразился однажды: «Физическая сила ума». Я верю в «физическую силу строки». Строки Антокольского как бы обладали этой самой силой физической. Я не уставал их повторять, шагая по улице, они придавали мне бодрость, подымали душу. Я ожидал от жизни чего-то, жизнь была еще «не скроена», все еще было впереди, и я как заклинание твердил эти напористые строки, от которых веяло ощущением такого заманчивого и тревожного будущего.

«Друзья! Мы живем на зеленой земле, пируем в ночах. Истлеваем в золе. Неситесь, планеты, неситесь, неситесь! Ничем не насытятся, мы сгинем во мгле. Но будем легки на подъем и честны...»

Мне было созвучно это напряженное, ликующее, хотя подчас и не без сладостной горечи ощущение быстро летящей жизни.

Жадность до всего: до пиршественного стола, до путешествий, до дружеских общений, а главное, до накопленных человечеством за тысячелетия знаний — вот основное в раннем Антокольском.

«Я трогал черепа страшилищ в обломках допотопных скал. Я уники книгохранилищ глазами жадными ласкал». Неистовая, «безжалостная», выражаясь его словами, «жажда к существованию» сжигала поэта.

«Колдовские ли флейты поют, голосят по-

езда ли... О, скорей! О, спеш! Не печалься! Вокзал недалек. Я не помню — куда, но мы все-таки не опоздали...»

Вечная боязнь опоздать, чего-то не заметить, не успеть. Подросшему сыну, впервые приведенному им в грузинский ресторан, он за бутылкой вина говорит: «Пей. В молодости человек не жаден. Потом, над перевальной крутизной, поймешь ты, что в любой из виноградин нацезен тыщелетний пьяный зной. И где-нибудь в тени чинар, в духане, в шмелином звоне старческой зурны почувствуешь священное дыханье тысячелетий».

О своей эпохе поэт заявил: «Она придет, как женщина и голод, все, чем ты жил, нещадно истребя. Она возьмет одной рукою голой, одною жаждой жить возьмет тебя».

Неистовая страсть заставила поэта колесить по стране «и видеть, видеть, видеть», потому что «вот так, и только так, рождаются стихи». Эта же страсть бросала его к столу, перу, бумаге, к ночной работе: «Опять я здоров. И опять я в бреду. И в топку потухшую дую. Один, наконец-то один проведу ночь, мрачную и молодую». Для него эта творческая ночь, как ночь, проведенная с женщиной, полна напряженной и большой радости.

А как он умел сказать о женщине. Вот его строки об актрисе. «Я люблю тебя — черной от света, прямо бьющего в скулы и в лоб. Не в Москве — так когда-то и где-то все равно это сбываться могло б... Я тебя забуду за то, что есть на свете театры, дожди, память, музыка, дальняя почта... И за все. Что еще. Впереди».

Стихи Антокольского иногда называют холодными. Но кто бы мог яростней и неистовей сказать, вернее выкрикнуть в ревности, чем он: «Этот час не похож на другие часы. Горячась от блистанья близкой красы, я готов! Но и ты мне, конечно, ответишь за ошибки годов и за всю эту ветошь. За горячку в крови, догоревшей дотла, — ты ответишь, хоть скатерть сорви со стола!..»

Антокольскому в ощущении всей полноты сегодняшней минуты помогает его обостренное чувство истории. Очень высок тот «наблюдательный пункт», с которого поэт смотрит на быстротекущую действительность. Историзм дает ему те критерии, которыми он пользуется в оценке самых злободневных вещей.

«Действующие лица» — так назвал Антокольский один из разделов своей книги. Поэт чувствует себя современником исторических персонажей и персонажей литературных. Да, действительно эти лица действуют и поныне, хотя одни из них жили

давно, а другие являются лишь плодом воображения старинных писателей.

«Не я в тебе гошу, а ты во мне — как дома», — справедливо заявил поэт о давно минувшей эпохе. Каждое историческое стихотворение — это итог многих раздумий, это не иллюстрация к учебнику истории, это всегда итог личного понимания события в связи с общей мыслью о мире.

И не беда, что его исторические персонажи выступают подчас как бы на подмостках. Даже конквистадор, сильная, любимая автором личность, сам понимает, что немного позирует: «А океан хохочет, и трубит, и руганью швыряет... И я как первый ваш комедиант лицом к нему стою на этих досках пловучей и качающейся сцены, с раскрытой грудью, с полосатым шарфом, помавритански скрученным, с пистолью, заткнутой за пояс...»

Антокольский любит театральность, любит патетику, часто риторическую, декламационную. Поэт любит театр, кулисы, грим, бутафорию. Но как это все живет, как это все напряжено, жизненно, пронизано страстью и горечью: «Лондонский ветер срывает мокрый брезент балагана. Низкая сцена. Плоски. Холст размалеван, как мир. Лорды, матросы и дети видят: во мгле урагана гонит за гибелью в небо пьяных актеров Шекспир».

Режиссер вахтанговского театра, он когда-то в молодости писал: «Если буду поэтом — так не пропаду!» Став поэтом, он остался в своих стихах и театральным режиссером. Поэт и режиссер в нем нераздельны, его театральное видение мира, его режиссерское ощущение стихотворения как сцены, как действия неразрывны, едины.

Шекспировская мысль «Мир — театр, люди — актеры» была воспринята Антокольским глубоко органически. И даже стихи, где нет и тени упоминания о театре, все равно ощущаются как торжественная режиссерская постановка, полная патетики и условности.

В стихах о Европе мы видим хотя и не шпенглеровский «Закат Европы», но все же некую драматическую постановку, напоминающую античные трагедии, с хором, твердящим о роке, предостерегающим, глухо встревоженным. Поэт прибегает к символам: «Оттого, что пустынно на каменной площади Рока, окруженной шагами глухих гренадеров его».

Павел Антокольский, если прибегать к ярлыкам, неоклассик. Он любит строгие формы, точные и полновесные рифмы, часто прибегает к образам мифологическим. Стих его сбит крепко, надежно, он, как го-

ворится, звенит при чтении, торжественный, риторический, тон поэзии Антокольского как бы создан для декламации — его стихи чаще всего монологи, произносимые с подмостков.

Начинал Антокольский в тот период нашей литературы, когда шла ломка стиха — ломка размеров, уличная бытовая лексика хлынула в поэзию, для стихов не осталось запретных слов, речь поэтическая ничем не отличалась от речи разговорной, — и лишь Антокольский выдерживал «высокий стиль» классицизма, его лексика была торжественна и приподнята. Но если уж он вводил современное «низкое», даже вульгарное слово в свой высокий драматический контекст, то это слово звучало как-то особенно остро. Вот в своем монологе, откровенно сценическом монологе, Гамлет декламирует: «И триста лет меня любила юность за фальшь афиш, за лунный сон кулис. Мы целовались там, где негде сплунуть, где нечем жить — мы жизнию клялись». Вот это самое «негде сплунуть» в контексте высокой риторики придает особую силу и горечь гамлетовской речи.

Творчество Антокольского сконцентрировано как бы у двух полюсов: история и быт. У него словно нет середины. Я люблю его исторические стихи, ему было дано ощущать мировую историю, но ему было дано ощущать и противоположное — быт. Даже не могу сказать, что я люблю в нем больше. Может быть, мне ближе не те драмы, что происходят на подмостках нашей истории, а те трагедии, которые происходят на подмостках маленькой человеческой каморки. Я часто себе повторяю его слова: «Неприбранное будничное горе — единственная стоящая вещь». Как доверительно он умеет сказать: «Я тебе расскажу о моих одиноких ночах, о ночах, когда я был моложе, и лучше, и суше... Трагедия «каморки», будней, одиночества, когда «ни лампы в комнате, ни воздуха в груди. И только молодость качалась, как каюта...».

Ему было дано чувствовать и пафос всемирной истории, и грустное настроение будничного мига, его грусть, усталость.

Вот он пишет, обращаясь к граверу:

«Таким и остался ты: нищим, ничьим. Судьба твоя очень близка мне. Ты мастер по части кривых чертовщин, травленных на цинке и камне». Вот это «по части кривых чертовщин», такое неожиданное, как бы шутивно-пренебрежительное, придает какую-то отчаянность и горечь образу незадачливого, но одаренного художника, затерявшегося в городах предвоенной Европы.

Как бы застегнутый на все пуговицы, затянутый в державинский мундир, перенасыщающий свою речь историческими и мифологическими именами, Антокольский не фамильярничаёт со своим собеседником, не пытается снизить до уровня дешевой понятности, общедоступности, которая, на мой взгляд, только унижает настоящего читателя, взыскующего высокого. Стихи Антокольского не изовещь душевными в расхожем смысле. Холодом высот веет от многих его безукоризненно выгравированных стихотворений. Многие звенят бронзой.

Говорят, что стихи Антокольского холод-

ны... Его современник и друг поэт Георгий Шенгели, тоже причисляемый критиками к неоклассикам, писал в свое время:

Ты помнишь день: замерзла ртуть;
и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отяжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, упредивши нашу пулю,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал
И пальцем по клинку провел и вскрикнул:
На сизой стали заалела кожа,
Отхваченная ледяным ожогом...

Так вот и холод Павла Антокольского обжигает.

II

Я думаю, что основное в Маршаке было — любовь к порядку, четкости. Это касается и его почерка — почерк очень ясен и точен, каждая буква отдельна. Это и в его переводах и в собственных стихах, каждое слово отдельно — принцип, чтоб не сливались слова, не слипались, как леденцы в кулке. «Слова в стихе должны быть, как рисинки в хорошем плове,— говорил он,— каждая отдельно от другой». Это касается и его принципа отношений с людьми. Он часто говорил: «Между людьми должен быть буфер, как между железнодорожными вагонами,— чтоб не было крушения». При всей любви к людям он панибратства не терпел.

Это касается и его памяти: в ней все лежало на своих местах, все детали и подробности необычайно рельефны, выпуклы и точны. Он помнит цвет обоев в детской, помнит все имена и фамилии.

«К рукам ничто не должно прилипать» — любимое его выражение.

Он никогда не рассказывал о чем-нибудь приблизительно, вообще всегда с цифрами, фактами, именами (отчествами), географическими названиями, адресами. Весь мир он видел подробно, обстоятельно, как будто сквозь увеличительное стекло.

Впервые я пришел к нему по его приглашению в 1951 году, во время совещания молодых писателей «Вы ищете формы жизни»,— сказал Самуил Яковлевич, прочитав мои стихи еще в машинописном виде, позднее вышедшие в «Советском писателе» под названием «Стихи о долге». Я был удивлен. Самуил Яковлевич сформулировал то, что я смутно ощущал и хотел передать, он поставил диагноз точно.

Но «поиски форм жизни» — это внутренняя задача творчества и самого Маршака.

Хаос, бесформенное, туманное, расплывчатое — вот что было противоположно ему

как человеку и как художнику. Четкость контура, четкость форм — вот что характерно для Маршака.

Все творчество Самуила Яковлевича, такое разнообразное, представляет собой строго организованное целое. В творчестве Маршака, как в стовратные Фивы, можно проникнуть с любой стороны, есть в его творчестве центр и есть периферия. Можно начать с детской поэзии, с Бёрнса, с Шекспира и т. д. Я говорил Самуилу Яковлевичу, что в центре его сложного архитектурного построения — Блейк. Блейк был тем радиоактивным веществом, от которого шло излучение вокруг. В Блейке — самом причудливом, самом глубоком и, может быть, самом «закрытом» поэте, в которого перевоплощался, переводя, Маршак, — было нечто очень близкое ему самому, было то же, как ни парадоксально, восприятие мира. Особая любовь к Блейку объясняется прозрачностью «хрустального чертога» Блейка. Той прозрачностью, когда мир вдруг сжимается до размера микрокосмоса:

Была там маленькая ночь
с чудесной маленькой луной.

Мудрость Маршака и мудрость Блейка были одной природы.

Маршак никогда не говорил о пустяках. Как я только появился на пороге, он уже вместо приветствия произносил фразу: «А помнится...» И вслед за этим шла цитата, которая служила началом для разговора о вещах всегда очень значительных.

Я не помню, чтобы мы беседовали о чем-то бытовом — только литература, искусство, история занимали его. Ничего будничного.

Разговор он сразу начинал с середины, с места, без всяких вступлений он начинал говорить о литературе, так как он всегда находился внутри области искусства, и человек, попавший к нему с улицы, а улица

эта была Садовое кольцо, сразу оказывался в центре постоянных размышлений о природе стиха. Обычно я опускался в большое кожаное кресло около письменного стола, закидывал ногу на ногу и подхватывал на лету фразу, подхватывал ассоциацию, возникшую за минуту до моего прихода.

Маршак сказал мне как-то:

«Знаете, мне в свое время Алексей Максимович Горький заметил: Самуил Яковлевич, что вы держитесь, точно вас в плен взяли?.. Дело в том, что в тридцатые годы я один был как бы штатский в армии нашей литературы. Ну, скажем, как Пьер Безухов в армии Кутузова», — посмеиваясь, добавил Маршак.

Действительно, Маршак был уж очень гражданской фигурой — и умело еще и подыгрывал: подслеповато щурился сквозь очки, как-то старомодно, по-интеллигентски произносил «голубчик», обращаясь к собеседнику.

Он был каким-то приватным человеком, частным лицом.

Он был сам по себе среди борьбы группировок, направлений, школ.

Но это было вначале. Уже с первых дней Отечественной войны Маршак твердо взял в руки перо Маяковского, и как Маяковский в окна РОСТА, Маршак — в окна ТАССа.

Маршак говорил: «И в ресторанах сильнее всех других наперечно бывает блюдо с тушкой». Он не любил нездоровую, фальшивую остроту, ядовитую, болезненную яркость некоторых поэтических блюд. Он любил честность, хорошую языковую честность, честность простую, человеческую, честность фактическую. Недаром Твардовский так высоко ценил Маршака, не уставая превозносить его в своих реках.

Бесовский шабаш, закруживший немало поэтов в начале века, имел в лице Маршака своего непримиримого врага. Я часто не во всем был с ним согласен. Иногда мне казалось, что он принимает за поэзию чисто и честно написанные, но пресноватые, не впечатляющие вещи. Однако одно несомненно: Маршак стоял на страже чистоты традиции, на страже вкуса, на страже благородства мысли и языка. Служба охраны вкуса и языка — вот его дело. От Стасова

до наших дней Маршак бесценно стоял на посту. История отвела ему эту роль, и он с честью выстоял. Переводы его блещут хрустальной хрупкостью и прозрачностью. Норма, мера, гармония — такие позабытые в начале XX века вещи он защищал.

Он говорил о творчестве некоторых знаменитых в те годы поэтов, что их стихи «похожи на мутную воду в ведерке, в котором художники моют свои кисти».

Маршак любил приводить пример с часами. У часов, говорил он, есть две стрелки: часовая и секундная. Так и поэт — он должен иметь свою часовую стрелку, отмеряющую задачи вечности, и секундную, отмеряющую задачи сегодняшнего дня, повседневности.

«Только соразмеряя вечное и сегодняшнее, может жить и действовать поэт», — любил повторять Маршак. Жить одновременно в двух временных измерениях он сам умел как никто. Это и давало его творчеству устойчивость, ту неторопливую, спокойную уверенность, которая была свойственна Маршаку.

Маршак часто говорил: «У Потапенко, третьеразрядного беллетриста девятнадцатого века, поп — только поп, у Чехова поп — еще и человек, у Шекспира поп — еще и представитель мира животного, а у Еврипида — еще и материальное тело».

Маршак был умен, остер, он вовсе не был таким добрым дедушкой, каким хотел казаться, внутри его жила какая-то свирепость, я бы даже сказал, хищность...

Он говорил о некоторых: «Пиджачные люди». Он имел в виду людей городских, сугубо городских, интеллигентов. В этом определении было нечто чушь-чуть пренебрежительное, ироничное.

Будучи сам интеллигентом, городским человеком, Маршак постоянно подчеркивал свое уважение к жителям сельским, близким земле.

Маршак перед смертью не раз говорил мне: «Крестьянам, имеющим все время, всю жизнь дело с землей, легче уйти из избы в эту же привычную, знакомую им землю, чем нам, людям города. Трудно уйти в землю из кабинета, из городского дома». И все же Маршак ушел легко, как мудрец, сохраняя ясность и спокойствие духа.

III

Как-то мы целый месяц провели с Симоновым на Северном Кавказе. Днем он писал, а после обеда мы уходили с ним в горы, шли мы в темпе, походным солдатским маршем, а подчас делали и марш-бросок, как он говорил. Он чувствовал в себе

силу, хотел размяться, а я старался не отставать. Это было трудновато, хотя я и был моложе на десять лет.

Меня поражали его железная воля в работе и упорство в горных прогулках, он, казалось, был заряжен на сто лет жизни.

До обеда он сидел не отрываясь — готовил к печати свои фронтовые записки, выдержки из дневников и записных книжек.

Я читаю сейчас его записные книжки, и вихрь ассоциаций закруживает меня. Свидетельства, свидетельства по горячим следам, точность деталей, которые могли бы исчезнуть, утонуть во мраке забвения!

Симонов мне говорил: «Вспоминайте! Записывайте! Еще не поздно. Ваш опыт личный, индивидуальный ничем нельзя заменить. Ей-богу! Для меня ничего нет выше, чем поданный факт, чем живая фотграфия. Это моя жизнь!»

На книжке военных записок «Каждый день длинный» он мне написал: «Женя! Хочу на полях этой книги выпить фронтовые сто грамм за Вашу будущую военную прозу от души и с верой. Ваш Симонов. 16.V.66».

Мы были людьми разных поколений, но одной эпохи.

Рушился мир, мы были внутри его.

В наших жилах протекала история.

Я говорил Симонову, что жалею, что не вел дневников. Война началась, когда мне было пятнадцать, я не думал о своей литературной судьбе, мне и в голову не приходило удерживать на бумаге драгоценные подробности того времени. А Симонов все записывал, ему было тогда двадцать пять, он уже был литератор, журналист, поэт.

Поэт тот, чья жизнь символ, писал где-то Томас Манн. Жизнь Симонова была символом, символом эпохи. Он был ее ярчайшим представителем, выразителем, я бы сказал, эмблемой.

«Парень из нашего города» — его alter ego, его двойник, кристаллизовавшийся в себе это время, его суть, его облик.

Еще до войны Симонов был человеком именно этой войны, а никакой другой. Он был знаменитым писателем в войну, был любим народом даже с некой долей фамильярности, объяснимой его нашумевшей, всех поразившей книгой «С тобой и без тебя», посвященной известной актрисе, популярной еще до войны кинозвезде. Это были неслыханно смелые по понятиям того времени, да и по теперешним, пожалуй, стихи на очень интимную тему. Оголенность признанья обожгла читателя. По сей день эти строки, задевают не столько, может

быть, поэтической, сколько человеческой откровенностью. Многие поэтому считали Симонова как бы своим близким знакомым, называя его любовно Костя. Это несколько облегчало его репутацию мужественного и серьезного, необычайно положительного и трудолюбивого писателя, уже становившегося общественным и государственным деятелем.

И хотя война была далеко, шел 1966 год, когда мы ужинали в ресторане, со всех столиков нам присылали бутылки сухого вина, шампанского. Мы не поворачивали головы и уходили, не прикоснувшись к бутылкам, хотя я и намекал Константину Михайловичу, что неплохо бы отведать по бокалу сухого.

Симонов грассировал. Курил трубку, и мне кажется, что трубка было последнее, что осталось от пижонства его молодости, от тех времен, когда он «был в образе» героя любимых им книг Хемингуэя.

Симонов был блистательный переводчик. Два его перевода из Киплинга, на мой взгляд, — шедевры переводческой работы. Стихотворение Киплинга «Дурак» было, по видимому, настолько его личным, большим стихотворением, что и опубликовал он его где-то в конце жизни, хотя перевел, кажется, еще до войны. В этом переводе произошло чудо слияния талантов Киплинга и Симонова, слияния настолько тесного, что переводчик как бы боялся выносить на народ это «чужое» стихотворение, написанное, естественно, по «чужому» поводу. Оно до сих пор малоизвестно, а ведь, может быть, этот перевод — одно из лучших симоновских стихотворений, в котором он предельно откровенен, парадоксален и самообнажен.

Совпадение двух поэтов — точка их пересечения — дает новый шедевр, который в равной мере принадлежит обоим.

Я очень люблю симоновский перевод стихотворения Самеда Вургуна. Особенно пластична строфа:

Все в звездах небо, с моря дует ветер.

Мы встретим со стаканами зарю.

Не говорю: забудем все на свете!

— Согреемся немного, — говорю.

И в этом выразился сам Симонов с его интонацией, с его солидной сдержанностью.

Ю. СУРОВЦЕВ



ЛЮДИ И ВРЕМЯ

О современной исторической романистике

Статья первая

...**К**аким бы шрифтом ни был набран заголовок этой статьи, слово «время» в нем я прошу читателя представлять себе так — Время. Чтоб с заглавной буквы оно мыслилось. Потому что имеется в виду историческое время. История как насыщенный человеческими действиями, разнообразнейшими «самопроявлениями» общественного человека, человеческого процесс.

Бывают моменты, когда ход исторического времени ощущим особенно явственно, когда его постигаешь не только разумом, но и душой. Таков — я думаю, для многих и многих литераторов, и не для них одних, — момент осознания и переживания полувекового юбилея Первого Всесоюзного писательского нашего съезда (август — сентябрь 1934 года), осознания и переживания рубежа, начиная с которого вот уже пятьдесят лет существует и действует Союз писателей СССР — «организация всесоюзной литературы как целого», по определению Горького, данному им в заключительной речи на съезде¹. Съезд стимулирующе воздействовал и на развитие литературы о прошлом, на нашу историческую романистику. К I съезду писатели исторической темы пришли с существенными новаторскими достижениями; после съезда в их работе наступил новый подъем.

«Последние годы, — говорил в докладе на VII Всесоюзном писательском съезде в 1981 году Георгий Марков, — отмечены огромным интересом писателей, да и читателей, к отечественной истории — близкой и дальней. Судьба наших народов, судьба родного отечества все больше привлекает творческое внимание писателей. Действительно, мы ведь не иваны, не помнящие родства, и мы не

только критики прошлого, но и прилежные ученики прошлого, его наследники и продолжатели»². Предлагаемая статья — о нынешней исторической романистике, о новом ее взлете, именно сегодняшнем.

«...ВЕКА — В НАС», ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ ПИШУТСЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

Любое литературное направление, а тем паче такое, как социалистический реализм, укрепляется, сильно и фундаментально, тогда, когда вырабатывает свои способы художественного анализа не только актуального и злободневного, но и прошлого, когда оно, прямо по Белинскому, рассматривает настоящее как результат прошедшего и указание на будущее. С Белинским тут перекликается Горький, учивший писателей, которые хотят «создать необходимое нам новое направление — социалистический реализм», развивать в себе умение смотреть на прошлое «с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего». Выборочно? Узкоизбирательно? О нет! «...Социалистический реализм... само собою разумеется — может быть создан только на фактах социалистического опыта»³. Но в этих фактах пересекаются «три действительности», о которых Горький говорил не раз: чтобы раскрыть социалистический труд как организатора нового человека, как организатора социалистического труда, «следует... считаться с тремя действительностями: с прошлым, откуда идут все посылки, с настоящим, которое борется против прошлого, и будущим, которое уже видно в общих

² «Седьмой съезд писателей СССР. Стенографический отчет». М. 1983. стр. 13.

³ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, стр. 12—13.

¹ См.: М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. М. 1953, т. 27, стр. 352.

очертаниях»⁴. Горький не только призывал знать прошлое, когда пишешь о настоящем, он приветствовал такое изображение прошлого, по которому можно ощутить, что настоящее борется против прошлого. Горький знал, что прошлое — это не только «каторжное», «проклятое» прошлое, он ни на минуту не допускал мысли о том, будто в прошлом есть одно только социально враждебное настоящему, действительности социалистического строительства, и будущему, контуры которого уже видятся нам (именно оно, это будущее для тех лет, назовут позднее развитым социализмом). Но преодоление плохого, антигуманного в прошлом, плохого прошлого — многообразно враждебного трудящемуся человеку, трудящемуся народу — есть постоянный мотив у Горького-художника, Горького-публициста, если угодно, Горького-моралиста. «...Не могу я, — писал Горький С. Т. Григорьеву в 1926 году, — отрицать за человеком его права сопротивляться владычным велениям прошлого»⁵. И потому, радостно отмечая, поддерживал «подлинный и высокохудожественный исторический роман», его новый реализм, опирающийся на опыт революционных лет: «Все это поучительные, искусно написанные картины прошлого и решительная переоценка его (разрядка мая. — Ю. С.)»⁶.

В. Оскоцкий в своей книге «Роман и история» (М. 1980), обобщая опыт исторического романа в 60-е и 70-е годы и остающейся по сей день наиболее широкой и удачной попыткой такого обобщения, внимательно изучил, в частности, и факты, которые свидетельствуют о постоянном — скажу так — опекунстве Горького над молодым советским историческим романом. Однако именно «переоценочного» мотива в приведенном суждении Горького почему-то не выявил.

Первая и вторая главы названного исследования затрагивают проблему изменения тематики и пафоса художественно-исторической литературы под воздействием потребностей того или иного периода нашего меняющегося настоящего. но делается это как-то робко и скороговоркой. В самом деле — правильно, конечно, считать, что становление исторического романа есть «составная часть единого процесса становления и развития многонациональной советской литературы. Как и роман в целом, ис-

торический роман был также рожден общей потребностью полнее осознать, глубже постигнуть масштабы победившей революции...». Но в 20-е и первой половине 30-х годов эта общая «установка» вела к обостренному вниманию писателей к собственному революционному историческому материалу, это во-первых, и, во-вторых, к позиции сурового, навязанного как раз страстью и масштабами нашей революции суда над прошлым, к интонациям социально оправданного обвинительного акта ему. Это подчеркивает Горький. Этот труд, реалистически осуществляемый, нравился Горькому; «Разин Степан», «Одежды камнем», «Кюхля», «Повесть о Болотникове» — вот что поддерживал Горький, то есть книги о тех, кто боролся против царизма, против «проклятого» прошлого, «каторжного» прошлого, против его «владычных велений». И «Петр Первый» А. Толстого воспринимался в этом ряду...

«Иной содержательной стороной, — пишет В. Оскоцкий, — повернулись исследовательские и воспитательные задачи исторического романа на рубеже предвоенных лет и Великой Отечественной войны». Собственно, героико-патриотическими темами, и о них в книге В. Оскоцкого много фактологически свежего и методологически важного, и все же общая характеристика требований времени военных и послевоенных лет к исторической романистике оказалась в большой по объему работе тоже недопроясненной.

Прямо сказать, общие характеристики периодов — наиболее слабое место в интересной книге В. Оскоцкого. О конкретном критик и говорит конкретно; о более широком, выходящем за пределы произведений и совокупностей произведений, — слишком общо. И о сегодняшнем периоде тоже.

Чтобы нам понять особенности сегодняшней исторической романистики, ее материала и даже, если угодно, ее поэтики, следует выйти за пределы собственно-литературных соображений. Надо обратиться прежде всего к человековедческой проблеме ватике нынешней эпохи. Настоящее внимательнее, в чем-то «снисходительней», без «прокурорской» остроты, но принципиально классово (не иначе!) вглядывается в прошлое, судит о нем. Естественно, полнее и шире, чем в 20-е годы, а еще, я бы сказал, судит о нем больше, чем судит его. «...Мы не только критики прошлого, но и прилежные ученики прошлого...» — оборот речи в докладе Г. Маркова не случаен, он содержателен.

Что значит «ушедшее»? Разве оно просто «исчезло»?

⁴ Там же, стр. 429.

⁵ «Литературное наследство». М. 1963, т. 70, стр. 139.

⁶ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, стр. 254.

Уместно вспомнить очень точную формулу Ольги Форш (из ее письма, написанного в 1926 году А. М. Горькому, после того как тот похвалил «Одеты камнем»). «Я счастлива, что вы причисляете меня к зачинателям нового исторического романа... — писала Ольга Форш, несколько иначе, нежели Горький, раскрывая далее эту новизну. — ...думаю, правильнее укрепившись на сегодня, взорвать все пограничные столбы, проставленные временем, так, чтобы в сегодня проступило вчера. Живое все ведь забирается и живет. И хоть мы только сейчас, но века — в нас (а не сами по себе, как полагалось раньше)»⁷.

«...Мы только сейчас, но века — в нас...» — это значит, что в нашем сейчас напластовалась, отложились предшествующая история, и понимание этой стороны диалектической связи прошлое — настоящее чрезвычайно важно для выработки историзма общественного, в том числе художественно-эстетического, сознания.

Историзм в искусстве полнее всего осуществляет себя реалистическими средствами, в реализме как методе и направлении.

Я сильно сомневаюсь в том, что классицистские трагедии или раннеромантические романы из средневековой жизни воспринимались в эпохи своего создания вроде некоего маскарада, переодевания современников в исторические костюмы, — нет, я думаю, что именно таким и было историческое чувство современников. Людей XVII и XVIII веков, так они воспринимали прошлое, диалектику «сегодня» и «вчера». У них, правда, «вчера» достаточно ясно отделялось, отрубалось от «сегодня», нарочито переносилось в прошлое. Опыт романтической констатации противоречивости истории (под воздействием Французской революции более всего), и особенно опыт реалистического анализа реальных отношений, изменил понимание связи «настоящее — прошлое», «сегодня — вчера», сделал ее куда

более, чем прежде, диалектически содержательной. Уже и Вальтер Скотт, которого теперь читают больше в целях развлекательно-информативных, дает очень многое для размышления о том, как же это происходит, что века в нас откладываются.

Но пример Вальтера Скотта и последующих исторических романистов (Бальзака, Пушкина и других) важен нам, когда мы и с другой стороны подойдем к тезису «мы только сейчас, но века — в нас». «Века — в нас» — это верно еще и в том смысле, что в нашем сознании они сами присутствуют как постоянный предмет интереса. Как бы самодовлеющий предмет.

Говорят, что мифологическое сознание — это такое, где не различают «начала» и «конца», «вчера», «сегодня» и «завтра». Пусть это и так — *cum grano salis*. Но как только мифологическое сознание теряет свое господство в духовном мире, появляется общественная память — память человечества как «родового существа», и эта память проникает в дифференцирующиеся отдельные области сознания (в том числе даже и религиозную, хотя в ней нет собственно историзма) и сама составляет постепенно все более дифференцирующуюся область собственно-исторического чувства и мысли (власть предания, обычая, первой «записи» и т. д.). Художественное творчество (и литература, ставящая художественно-воспитательные цели, может быть, особенно) значительно способствовало его выработке. Литература и искусство приняли самое деятельное участие в том, чтобы сделать сферу общественной памяти, исторического чувства и сознания ценностной сферой. А раз так, то и необходимой предметной сферой художественного внимания. Прав, я думаю, А. Гулыга: «К изучению прошлого человека влечет чувство исторического интереса... Это своего рода категорический императив, заставляющий ученого, писателя и просто любителя восстанавливать историческую правду». И этот интерес окрашен в тона положительной ценностной эмоции, он доставляет радость, приносит наслаждение: «Радость истории — знание правды»⁸.

Правда — это, можно сказать, извечный, если не считать эпохи первобытной мифологии, аргумент сознания, и открытие правды есть своего рода *conditio sine qua non*, необходимое условие духовной деятельности общественного человека. К правде апеллировали и средневековые летописцы, хронисты. Искусство классицизма тоже да-

⁷ «Литературное наследство», т. 70, стр. 588. Сходно шла мысль у Алексея Толстого, когда он работал над «Петром Первым» и думал, помимо прочего, о современности: «Сегодняшний день — в его законченной характеристике — понятен только тогда, когда он становится звеном сложного исторического процесса». Сходную мысль высказал Юрий Давыдов, когда на вопрос: «Помогает ли вам современность и ее представители что-то уяснить и понять в помыслах и поступках персонажей ваших книг?» — ответил «...я иду не от кроны к корням, а от корней к кроне. Не нынешние люди бросают ответ на вчерашних, а те, вчерашние, помогают мне порой понять сегодняшние характеры и коллизии. А еще точнее: я полагаю, что тут идет встречный диффузионный процесс («Вопросы литературы», 1980, № 8).

⁸ А. В. Гулыга, «История как наука» («Философские проблемы исторической науки». М. 1969).

вало художественную правду — разумеется, не о социальных обстоятельствах, понятие о которых выработалось позднее, но о человеческих типах и конфликтах, чье убеждающее этой своей правдой воздействие на читателей, зрителей пережило время классицизма. Исторические трагедии классицизма, а после него исторические романы и драмы романтиков вовсе не были от рождения внесторичны, но стали казаться таковыми при установлении «господства» реалистического искусства и реалистического художественного вкуса, а особенно после этого установления, когда сложились, окрепли, были переданы по наследству устойчивые реалистические традиции.

Мы по праву уважительно говорим о роли позитивных традиций в жизни общества, в развитии культуры. Но, во-первых, и традиции, как известно, бывают разные, и, во-вторых, в самой охранительной, «конституирующей» роли традиций есть (может проявиться) та сторона, которую имел в виду Маркс, сказав. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». Я вспоминаю эти известные слова не без умысла, потому что они относятся к нашему предмету — к вопросу о «родовой» общественной памяти, об историческом чувстве и сознании человечества. За приведенным выше известным афоризмом у Маркса следует: «И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории»⁹.

Пролетарская, социалистическая революция, как мы знаем, и в этом отношении самая бесстрашная. Это революция, которая вполне осознает свое историческое новаторство. Но, очевидно, открытый Марксом культурно-психологический закон имеет всеобщий характер. И дело здесь не столько в том, что и пролетарская революция безбоязненно и осознанно использовала некоторый образный ореол освободительных движений прошлого (революции 1789—1793 годов, античности...), но в том, что опыт веков в нас, опыт прошлого становится важной проблемой, входящей в круг собственно-революционной проблема-

тики. Обновление настоящего захватывает и сферу понимания прошедшего. И тут одинаково вредны для дела революционного созидания и нигилистический разрыв со всем прошлым, и консервативно боязливое (по отношению к новому) утверждение незбылемости традиций «мертвых поколений».

Сказанное имеет непосредственное отношение к вопросу о том, почему пишутся исторические романы, что движет — в самом широком смысле понимания причин — их авторами. Одинаково плохо будет, если мы поспешно обвиним в нежизненности, усталости опыт исторической романистики XIX века и если мы окажемся невнимательными к громадному, противоречивому опыту исторической романистики XX века, а более всего к непрерывно развивающемуся опыту художественного анализа прошлого искусством социалистического реализма. Множество определений, множество моделей построено литературоведами на почве изучения советского исторического романа, работа проделана большая, в целом, безусловно, полезная — и все же от ощущения умозрительности и узости многих определений и моделей трудно отделиться.

Нам нужно такое понимание специфичности историко-художественной романистики, которое вбирает, способно вобрать в себя широту свободных поисков (а их демонстрирует, их нам, литературоведам, извините, «тычет под нос» художественная практика, особенно сегодняшняя), а не отсекает те или иные ценности в силу узости нашего собственного взгляда. То сведение исторического романа к некоему особому жанру (правда, не выясненному в этой особенности), то преувеличение для исторического романа проблемы факта (документа) и вымысла (воображения) как якобы особой, специфичной для него именно, та обязательность реальных исторических лиц и событий, а также дистанцированного, исследовательского отношения автора к материалу — все эти и подобные мнимо улавливающие специфичность постулаты литературоведения суть привычки, чаще всего дурные, нелюбопытством к новому опыту, ленью мысли продиктованные.

И еще: привычки мнимого глубокомыслия. Ведь не писал же, предположим, Фурманов «Чапаева» как роман исторический, да и затруднительно было бы ему — Клычкову — дистанцированность эту обеспечить. Что с того? Через одно — два поколения этот роман стал историческим. Ста! Но, значит, в нем было то, что проявилось как историческое, не так ли?

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 119.

Художественно-историческая Лениниана считается по праву чрезвычайно существенной областью новаторской советской исторической прозы. Так почему мы должны считать историческими только романы о Ленине и его соратниках, например сибирские романы («Точка опоры» А. Коптелова, «А ты гори, звезда» С. Сартакова), но не должны считать таковым эпопейный роман «Сибирь» Г. Маркова, где среди действующих лиц есть историко-реальные фигуры? Образы большевиков здесь художественно воображены — и что же? Это может мешать нам честь «Сибирь» также и историческим романом?

Бывает, очень хотят провести какие-то временные границы внутри романистики, внутри литературы о прошлом. Про времена Киевской Руси или царя Петра — это, мол, безусловно исторические произведения, а вот про гражданскую войну — это историко-революционный роман. Ну а о войне Великой Отечественной или о коллективизации? Нет, тут-де нельзя говорить про исторические романы. А почему, собственно? Для большинства населения нашей страны, даже для читающего историка, это тоже история, то, что было до них и что должно быть осознано путем их приобщения к «родовой», общественной исторической памяти, а иначе сказать, путем выработки ими собственного глубинного исторического сознания. «Надо полагать, когда писатель погружается в глубины истории, он ищет там нечто важное для современников, решает проблемы живые. Вообще я очень не люблю, когда разрывают единую цепь: произведения исторические противопоставляют книгам, написанным на так называемую злободневную тему». Так говорит Михаил Алексеев¹⁰. И он прав. И для меня (а уж тем более для тех, кто моложе меня) его «Драчуны» — историческая проза современного звучания. Пусть не такая, как, скажем, «Детство», «В людях», «Мои университеты» или «Детство Никиты», или «Детские годы Багрова-внука» или какие-либо другие немержущие книги о детстве, но проза о прошлом, стало быть, в известном смысле историческая проза.

Так что же, спросят меня ревнители «специфики», для вас, мол, всякая проза о прошлом есть историческая? Я отвечаю: в определенном смысле да, всякая. Вот критик, литературовед (и журналист) Л. Лазарев, беседуя с Константином Симоновым (он не раз это делал), затрагивает «коварные» вопросы о трансформации самого жизнен-

ного материала симоновских романов, который «переходил — во всяком случае, в восприятии все большего и большего числа читателей — из разряда еще не остывшей современности в разряд истории», — как, мол, вы этот переход ощущали? Константин Михайлович ответил очень показательно не только для себя, но и для нынешнего уровня исторического сознания, вообще для нынешнего типа осознания диалектической связи между «вчера» и «сегодня», «прошедшим» и «настоящим»: «Конечно, и писателем и читателем учитываются новые знания, накопленные исторической наукой, открывшиеся новые аспекты прошлого, возникающие новые объекты интереса, рост или падение общественного внимания к тем или иным историческим эпохам, событиям, деятелям. Все это оказывает свое действие. Но самое главное для писателя — сознательное решение судить по справедливости и само ушедшее время, и людей прошлого, видеть то, что составляло их силу и в чем были их слабости, их ограниченность. Не надо под видом исторического романа сколачивать на скорую руку времянку для сегодняшнего дня на потребу быстро проходящим критико-литературным интересам. А современное звучание книг, посвященных прошлому, в данном случае войне, зависит от того, проник ли автор в суть событий и обстоятельств, верно ли понял и раскрыл характеры людей»¹¹.

Говоря о предмете исторического романа, мы имеем в виду то прошлое, которое и для писателя прошлое. Давнее или недавнее — другой вопрос. Прошлое. Такое, где он, писатель, не может опираться на живое, сиюминутное наблюдение. Где его изображение не прямо претворяет наблюдение над современной жизнью, над современниками (а оно необходимо литератору, даже если он взялся за изображение античных времен) в характеры персонажей. Вот тут существенна мысль Симонова о сознательном решении «судить по справедливости и само ушедшее время, и людей прошлого...».

Исторический роман — это роман о прошлом; и это такой роман, персонажи, конфликты, сюжетные линии которого осознаются как результат, или воплощение, или «представительство» именно того, прошедшего для нас отрезка истории. Вот в чем, если угодно, категорический императив художественно-исторического творчества.

Кем осознаются? Чаще всего самим авто-

¹⁰ В беседе с корреспондентом Н. Лошкаревой («Советская культура», 22 февраля 1983 года).

¹¹ «Вопросы литературы», 1978, № 12.

ром, конечно. Нередко людьми иных, последующих поколений, что превращает, помимо намерения автора, его роман о своих современниках в роман исторический для нас, а это, в свою очередь, не меняя жанра, меняет ракурс видения произведения, отчасти его место в литературном процессе и форму воздействия его на читательское сознание¹².

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОМАНИСТИКА — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР!

Историческая романистика представляет собою сегодня целый литературный континент, целый мир.

Яан Кросс в беседе в журнале «Вопросы литературы» отметил законное наличие в исторической романистике такого творческого ответвления, которое по своей цели, своей воспитательной функции «ставит себе задачей совершенствовать общее образование читателя, исторические книги типа юношеской литературы (немцы называют их «профессорскими романами»), где главное значение имеет правильность факта, хронологии, роли описываемых событий в истории страны и мира, где историческая информация передана в более или менее художественных образах»¹³. Не будем называть эту отрасль литературы «профессорской» (хотя и профессиональные ученые у нас нередко берутся за перо романистов — например, этнограф Д. Балашов, ставший одним

из первостатейных наших исторических романистов сегодня, историк В. Каргалов, историки литературы и критики Р. Ходинадзе, О. Михайлов и другие) — назовем ее лучше художественно-информативной. И это определение не умалит ее. Потому что жажда быть информированным (в человековедческом аспекте) — это благородная жажда; у развитого читателя она непременно входит в структуру его более сложных требований к книге, а у менее развитого (или юного, только приобщающегося к словесному искусству) читателя она может быть и главенствующей или даже единственной, и все равно не поспешим его осудить, ибо путь от простого к сложному не дается сразу. И вот тут-то очень важно, чтобы художественно-информативная проза (по главной цели) была добротна. Не сухой, скучной (одна крайность) и не просто развлекательной (крайность другая). Таких удачных книг, художественно, увлекательно рассказывающих о прошлом, приобщающих читателей (и юных и взрослых) к его колориту, социальным и нравственным проблемам, — таких полезных книг у нас много. Прежде всего, может быть, в литературе для детей (например, ясную, точную, увлекательную прозу пишет Камил Икрамов). Но и не только для детей.

Смею утверждать, что вообще число хороших, знающих, упорно и честно работающих исторических писателей у нас гораздо больше, чем их видит критика. В Вологде живет и плодотворно работает, например, В. С. Железняк, художник, писатель, краевед; я процитирую В. Оботурова, критика, внимательного к объективным достоинствам произведений: «Свободно и уверенно В. Железняк чувствует себя в жанре исторической повести. В ней писатель находит живое дыхание истории, сживается с характерами людей, умело — в немногих деталях — воспроизводит быт...» Я бы сказал то же самое. И не только о Железнике. И о романе дальневосточника И. Ботвинника «Скиф» (своеобразная параллель к роману В. Полупуднева «Митридат»). И о большой повести минчанина Эрнеста Ялугина «Мстиславцев посох», второе издание которой предполагает более широкую аудиторию, чем первое (повесть теперь не просто о детстве первопечатника Петра Мстиславца — ее сюжетика гораздо шире, и лексическо-языковые и стилистические поиски автора служат уже эпико-панорамной задаче). Можно упомянуть и сжатую, концентрированную повесть свердловчанина Андрея Ромашова «Диофантовы уравнения» — повесть о гуманистке Гипатии, павшей жертвой мракобесов-

¹² Любопытно рассуждает Б. И. Бурсов в беседе с литературоведом В. Дмитриевым об «историческом времени» и «текущем времени»: «...«На Иртыше» — не совсем исторический роман. Залыгин — свидетель событий, о которых повествует. Так или иначе они ему памяты (тут речь о личном, биографической памяти.— Ю. С.). В их изображении присутствует личный опыт романиста... В известном смысле «На Иртыше» — это роман-воспоминание. Тут совсем другое дело, нежели в «Поднятой целине», особенно в первой части, написанной по горячим следам. Удельный вес исторического времени в романе Залыгина много больше, чем у Шолохова, но не столь высок, как в «Канунах» Василия Белова. Для Белова повествование о коллективизации — вполне исторический роман» («Вопросы литературы», 1978, № 12). Все так. Но в восприятии сегодняшних молодых поколений все три романа исторические. И это не только потому, что читатели моложе сорока — пятидесяти не пережили коллективизацию сами, но еще и потому, что во всех трех романах изображенное дано как звено исторического процесса, люди — как живые кванты Времени. (Не говорю сейчас о глубине и силе художественного анализа, а также о степени его социальной истинности в этих произведениях. В этом смысле «Кануны», как раз роман «чисто» исторический для автора, проигрывают предшествующим, писавшимся вроде бы и не как исторические...)

¹³ «Вопросы литературы», 1980, № 8.

христиан, повести глубокой и с настоящим мастерством выдержанной в форме «дневника души» некоего воображенного (и удачно!) Олимпия, который постепенно и неуклонно идет к тому, чтобы предать Гипатию. Я бы отважился назвать эту повесть философской, во всяком случае в ее содержательной структуре отчетливо звучит мотив-«элемент»: что может человек, его ответственность перед собой и другими людьми, пределы свободы выбора им пути, свободы его воли... Как увидим впоследствии, этот мотив разрастается и достигает подлинных высот в тех ответвлениях романистики, которые мы будем характеризовать как философско-нравственные, культурно-философские. Но и в тех книгах, что не дотягивают, как говорится, до такой сознательно доминирующей, всеорганизующей тотальности произведения установки, и в них сегодня этот мотив звучит чередко, вплетаясь даже и в художественно-информативную установку, углубляя, идеологизируя ее.

Узбекский литературовед Ш. Шамухамедов хвалит писателя Явдата Ильясова за то, что тот в романе об Омаре Хайяме (роман, кстати, со многими обострениями сюжета) «очень умело, иногда одним штрихом, показывает целые течения, проблемы эпохи. От этого книга становится очень познавательной и приобретает, я бы сказал, двойную глубину, одну — для массового читателя, другую — для просвещенного в этих вопросах читателя или специалиста — историка, филолога, востоковеда». Не знаю, насколько эти слова могут считаться похвалой писателю, но подмечена такая «двойная глубина» верно. Сюжетная острота и замысловатость, которая интересна как бы и сама по себе, но при внимательном взглядывании в нее открывает нечто большее, чем она сама, свойственна немалому числу романов и других авторов — например ярославца Эдуарда Зорина, воссоздающего жизнь Руси XII века, алмаатинца М. Симашко и москвича Г. Гуля — неустойчивых путешественников по великим историческим пространствам и временам от древнего мира до XIX века, сошедшихся, кстати, и в интересе к Омару Хайяму; «двойная глубина» существует и в романах П. Загребельного «Евпраксия» и «Роксолана» — романах о необычайных для средневековья авантюрных женских судьбах, романах, которым отнюдь не чужд элемент сюжетной обостренности, идущий, как я думаю, еще от романтико-реалистических произведений Вальтера Скотта, во всяком случае не побоюсь назвать его вальтер-скоттовским.

Среди текущей нашей исторической романистики вообще немало произведений, так сказать, необычных по жизненному материалу, поднятому писателем. Заметно желание писателей открыть для художественного освоения особые этнографическо- и географическо-исторические зоны, уникальные исторические факты, биографии и т. п. Я, конечно, имею в виду не сенсационно-развлекательный, или «клубничный», угол зрения, который избрал для себя В. Пиккуль в предсловом, якобы разоблачающем распутищину и самодержавие романе-хронике «У последней черты», а совсем иного рода уникальность исторического материала, иные позиции в его осмыслении. Читателю будет ясно, о какой специфике материала и о какой позиции идет речь, если я назову романы А. Кравцова о знаменитом русском востоковеде, монахе-протестанте Иакинфе Бичурине; или если я упомяну роман А. Боршаговского о русском воине, герое войны Севера с Югом в Америке Иване Турчине (роман «Где поселится кузнец»); или если я напомним о романах Николая Задорнова, посвященных началу русско-японских отношений («Цунами», «Симода», «Хэда», «Гонконг»). Николай Задорнов в романе «Амур-батьюшка», можно сказать, открыл в свое время новую для нашей исторической прозы тему — освоение русскими людьми Дальнего Востока. Многообразие этого освоения — с социальной, бытовой, межнациональной точек зрения — продолжает волновать писателей; у нас есть серьезные удачи в этом отношении, например широкое бытописательское полотно — роман Виктора Сергеева «Унтовое войско» и более стереоскопический, комплексно раскрывающий материал роман Николая Наволочкина «Амурские версты».

Конечно, в потоке исторического Времени все по-своему уникально, необычно. Тем не менее есть на этой исторической шкале зоны повышенной, что ли, необычности (во многом, может быть, из-за недостаточной осведомленности нашей), и вот когда взгляд писателя падает на эту зону, событие, судьбу, когда сердце его загорается желанием воссоздать (и во многом, может быть, вообразить, домыслить) все это, появляется произведение, где редкость самого материала начинает играть словно бы самостоятельную художественную роль, по крайней мере пробуждать особый к себе интерес, как пробуждается он, например, при чтении повести Джемала Карчхадзе «Иги» (см. «Литературная Грузия», 1979, № 5). Он явственно ощущается при знакомстве с прозаическими произведениями писателей численно неболь-

ших народов нашей страны о своем национальном прошлом. У нас созданы целые национальные библиотеки художественно-исторической литературы — от обработки легенд до эпических полотен, сюжет которых необязательно строится вокруг какого-либо реального исторического события, но является собою эпос национальной судьбы в ее нравственно-бытовом воплощении («Ханидо и Халерха» С. Курилова, юкагирского писателя, — чем это не исторический роман?). Что же касается эпоса, базирующегося на документальной основе, то такая историческая романистика у башкир, карелов, бурятов, якутов, удмуртов, народов Северного Кавказа и Дагестана, народов Поволжья растет, что называется, не по дням, а по часам. Мог бы для примера сослаться на отличный исторический роман адыгейского поэта и прозаика Исхака Машбаша «Раскаты далекого грома», широко, разноохватно представившего жизнь крестьян и дворян Адыгеи, международные связи этого крохотного, в общем-то, кусочка причерноморской земли, на котором как итог народного восстания в конце XVIII века возникла уникальная, хотя и не единственная, конечно, в истории, крестьянская «республика».

Иногда автор оказывается как бы пленником избранного им «уникального» материала. Такое впечатление сложилось у меня при чтении романа «Мирослав, князь Дреговичский» (Минск. 1979), принадлежащего перу безусловно талантливого и многознающего писателя Эдуарда Скобелева. Задавшись целью как бы исправить историческую несправедливость (древнерусские летописи умалчивают о дреговичах, их пути к единению в пределах Киевской Руси), автор создает своеобразное летописание о дреговичах и их князе, но без нужды настолько переусложняет композицию книги и ее язык (не древне и не современно русский), что порой хочется сказать словами княгини Ольги (почему не Ольги?) из романа: «Трудно понять язык ваш. Блещут слова, яко камени чужого ожерелья, слышу, но далека разумения». Думается, роман, написанный под летописный документ, все же должен быть романом, а не старательной стилизацией под документ, летописный или какой-либо иной.

Кстати, собственно документальная художественная проза и в исторической романистике занимает сегодня заметное место. Это настолько ясно, что вместе с Валентином Ерашовым, автором интересной статьи «Концепция. Факт. Деталь. Заметки об историко-документальной художественной

прозе», я посчитаю: здесь «нет необходимости говорить о том, насколько вырос за последние годы интерес читателей к художественно-документальным произведениям, и рассуждать о причинах этого явления: о том уже довольно сказано»¹⁴. Достаточно назвать серию «Пламенные революционеры», выходящую в Политиздате, чтобы это понять, — многие книги этой серии представляют собою, по существу, историко-документальные романы-биографии. Наша критика не раз уже писала о том, что нынешняя тяга к документальности породила стремление иных писателей работать под документ, использовать документальные или как бы документальные эмоционально-стилевые средства воздействия на читателей. Любопытно было бы в этом плане сопоставить подчеркнуто документализированный эссенстский роман Л. Салдадзе «Авиценна» и новый роман об Авиценне узбекского писателя А. Якубова «Этот старый, старый мир...» (вышли в прошлом году в Ташкенте): в обоих, и у каждого на свой лад, вальтер-скоттовской сюжетности, затейности хоть отбавляй...

Художественно-документальное обоснование так или иначе свойственно бывает, конечно, всякому художественно-историческому произведению, даже не прозе, — поэтические драмы Мустая Карима и Юстинаса Марцинкявичюса, поэма-драма Аркадия Кулешова о Кастусе Калиновском, «роман в стихах» Лины Костенко о легендарной народной поэтессе «Маруся Чурай», поэмы дерзкого замысла, «посягавшие» на то, чтобы рассказать об Авиценне, Мумина Каноата и Льва Ошанина и т. д. и т. д. тоже на свой лад документализированы, больше в стиле, а не только архивистском смысле. Ну а уж в исторической романистике... Может быть, такой документализации («под документ») даже больше там, где нет твердой опоры на обильный архив подлинных документов, сохранных временем, — тогда возникает, может возникнуть стилизация высокохудожественного порядка, приносящая большую творческую удачу там, где она выражает глубокое гуманистическое содержание, — таков блестящий роман тонкого украинского писателя Валерия Шевчука «На поле смиренного, или же Новый Синаксар Киевский, писанный грешным Семенов-затворником, монахом Печерского святого монастыря» (роман этот еще не переведен на русский язык). Особая напряженность повествования, дополнительная увлекательность, получающая эстетический

¹⁴ «Литературное обозрение», 1982, № 1.

смысл, возникает и при продуманном «монтажном» сцеплении подлинных документов (как это произошло, например, в романе-хронике В. Ардаматского «Последний год»), и при достаточно свободном комментировании документов на манер лирико-публицистический — такое комментирование составляет важный слой содержания (и принцип композиции) таких оригинальных книг, как известный роман-эссе В. Чивилихина «Память» или «Исторические хроники Грузии» Вахтанга Челидзе...

Итак, по своей проблематике, хронологической привязке предметов своего анализа, по жанрово-стилевым формам, ракурсам видения и композиционным структурам, то есть по многим параметрам, художественно-историческая проза наша сегодня более чем когда-либо громадный материк. Истинно необозримый. Наиболее реальная «специфика» его поэтому — «века — в нас», указание на прошлое как почву соответствующего человековедения художественного.

Размышляя над темами «Человек и народ»; «Народ — в человеке», мы не отождествляем понятия «народ» и «национальность». Народ как явление, динамически развивающееся в истории, есть социально-историческое явление. При этом мы вполне понимаем, что проблема национальной судьбы, «национального самосознания», своеобразия культуры национальной, ее вклада в культуру общечеловеческую, «родовую» и т. п. разрешается только с позиций классовых, с позиций социалистического интернационализма. Поэтому:

СУДЬБА НАЦИОНАЛЬНАЯ — В СУДЬБАХ НАРОДА

...Народа в том социально-историческом смысле, о котором только что говорилось.

В нынешней исторической романистике нашей массив произведений, художественно, человековедчески трактующих тему судьбы национальной, огромен, и это вполне естественно для многонациональной страны развитого социализма. К чести нашего многонационального исторического романа, его роль — это роль учителя, воспитателя чувств советского патриотизма и социалистического интернационализма, социалистической гуманности и цивилизованности и в сфере межнационального общения.

Именно социалистическое национальное самосознание стало повсеместным стимулятором художественно-исторической литературы, и все чаще в той или иной литературе появляются произведения, становящиеся фактом и фактором всесоюзного инте-

реса и значения. Какая многозвучная и общепонятная снота исторической романистики сложена в сегодняшней украинской прозе усилиями П. Загребельного, Р. Федорова, Р. Иванчука, В. Канивца, В. Шевчука, Н. Сиротюка, М. Малиновской, Р. Чумака, А. Чепижного и многих других писателей, в литературе, относящейся к таким, где издавна сильны традиции исторического романа. Но вот туркменская проза... Еще в 1959 году в докладе на IV съезде писателей были названы, в сущности, лишь два исторических (историко-революционных по существующей терминологии) романа, а за 60-е и 70-е годы едва ли не все туркменские прозаики поработали на ниве исторической тематики: Х. Дерьяев, К. Кулиев, К. Курбансахатов, Б. Худайназаров, А. Атаджанов, Т. Джумагельдыев, Р. Эсеннов, Я. Мамедиев, А. Хаидов, В. Рыбин, А. Таган...

В каждой, почти в каждой национальной литературе есть сегодня произведения художественно-исторической романистики и почти в каждой среди них произведения о «национальной судьбе», организуемые — вспомним крылатое выражение Льва Толстого — «мыслью народной». Это романы, обширные по охвату исторического материала, взятого в самых разных ракурсах (военные столкновения, внутренняя и внешняя политика, социальные и бытовые отношения и пр.), по обилию и значимости событий, оказывающих воздействие на судьбы людские (групп социальных, этнических, целых народов нередко), на самый вектор исторического движения; это — обычно — произведения со множеством персонажей разных планов, сложным сплетением сюжетных русел в одно общее, широкое, но бурное, противоречивое; ритм таких произведений — это как бы шаги самой истории, ее последовательное движение.

Словом, здесь-то и произнести — эпопея, эпическое полотно, роман-эпопея, эпопеиность.

Важно заметить, что тяга к эпопейности рождается «мыслью народной» даже и в тех романах, где народные массы не выходят на сюжетную авансцену или где действие локализовано в стенах дворцов, в границах «очагов культуры». «Мнение народное», то есть социально-историческая точка зрения масс, движение которых и есть движение национальной истории, в любом случае должно быть обязательной предпосылкой для художника социалистического реализма.

Этого добивается, например, Григорий Абашидзе в своей трилогии «Лашарела», «Долгая ночь», «Цотнэ, или Падение и возвыше-

ние грузин». На протяжении всей трилогии мы остаемся по преимуществу в домах знати или попадаем на поля битв, где на первом плане тоже военачальники. Конечно, мелькают здесь и рядовые воины, не случайны портреты крестьян (даже целая «партизанская» дружина поминается...), священнослужителей (пастырь Ивлан воспитывает княжича Цотнэ Даднани в духе сострадания к беднякам), художников, купцов, но все это социально-характерное даже не фон и не часть фона в огромной трилогии. Тем не менее опрочетливо было бы на этом основании зачислить трилогию в ряд, так сказать, политико-дворцовой исторической беллетристики (типа цикла «Проклятые короли» Мориса Дрюона), где конфликты, которыми сопровождаются процессы формирования централизованного государства, или беды, происходящие от ослабления такой централизованной власти (собственно-историческая тема «Лашарелы»), рассматриваются только на «верхних этажах».

Григола Абашидзе интересует самоотверженность, проявленная тем или иным лицом (в трилогии прежде всего Цотнэ, но не им одним) как сознательным представителем нации — ее факелом, пророком и мучеником. Цотнэ — князь, но он интересует автора более всего как героический грузин. Цотнэ и подобные ему в о з в ы ш а ю т грузин, воплощая идеал героя, жертвующего собой ради родины. В скрытом виде здесь в понимании национального входит весь последующий — по отношению к описываемой исторической поре, по отношению в данном случае к Грузии несчастного для нее XIII века — н а р о д н ы й опыт.

Григол Абашидзе создал нечто вроде современного исторического дастана, соединенного со стилизацией в духе летописного повествования. Но именно потому, что не «мысль народная» больше всего, а скорее «мысль моральная» вела руку писателя, возводившего здание «грузинской хроники XIII века», трилогия эта не стала романом-эпопеей. Впрочем, зачем говорить «не стала»? Она и по авторскому замыслу вовсе не роман-эпопея.

Воссоздание национальной судьбы может быть осуществлено в различных эпических формах. И если я назвал эту главку «Судьба национальная — в судьбах народа», то с целью подчеркнуть, что вторая часть формулы объясняет первую, что, не осознав (необязательно показав) судьбу народных масс, противоречия и направление прогрессивного развития народа в тех или иных исторических условиях, художник-реалист, художник социалистического реализма тем па-

че, не сможет ни осознать верно, ни показать убеждающе национальную судьбу. А если он соединит эти два плана в своем творческом (и собственно-историческом, разумеемся) сознании, эпопейность в его произведении непременно скажется. Необязательно как жанр романа-эпопеи. Но как особое, существенное стилевое качество.

Таким качеством эпопейности обладают, например, книги Дмитрия Балашова, образующие большой романый цикл «Государи московские». Первый в серии роман «Младший сын» — о сыновьях Александра Невского, о послебатьевых временах, когда, по справедливому суждению самого Д. Балашова-и с т о р и к а, медленно, но верно происходил «новый национальный подъем на Руси, связанный с образованием восточно-европейской народности (точнее сказать, конечно, русской, собственно «велижорусской». — Ю. С.), и происходил в основном в области Волго-Окского междуречья, мощно выразившись битвой на Куликовом поле в 1380 году». Доведена серия пока до середины XIV века: в конце прошлого года журнал «Север» познакомил нас с сильным романом Балашова «Симеон Гордый».

У Д. Балашова в этой серии есть свои художественно-исследовательские цели, а также исторически-исследовательские. О взглядах Д. Балашова-историка на роль случайности в конкретном историческом процессе («Послесловие» к роману «Великий стол» так и кончается — утверждением, что «в стране уже неодолимо начали расти объединительные тенденции, волею исторического случая выдвинувшие вместо Твери иной государственный центр — Москву»), на проблеме «выбора» данным историческим лицом той или иной возможности что-то решать и на что-либо решаться, а особенно о взглядах его на вопрос о возможных, иных, чем были, перспективах отношений между послебатьевой Русью и Золотой Ордой — обо всем этом писали и спорили немало.

Но, кажется, не было (или пока не пришло время?) попыток уяснить, что же создает Д. Балашов-художник. А создает он подлинно эпическое повествование, да что там хитрить с терминами... отважусь сказать: именно роман-эпопею. Судьба национальная здесь взята на переломе, и показана она — с великолепным реализмом — как судьба «всех», всего состава «восточнорусской», меж Волгой и Окой растущей народности. «Все» втянуто сюда, в поток исторического движения Руси, приходящей в себя и о б н о в л я ю щ е й с я после Батыева грома и в условиях ордынского ига. И поднят глубокий социально-почвенный слой на-

растающих национально-освободительных тенденций, пробивающихся сквозь хитроумные расчеты личные, династическо-семейные и прочие, так что невольно вспоминаешь глубоко диалектический образ реки и пены у Ленина в «Философских тетрадах». Многослойность исторического потока показана автором в живых образах, складывающихся в объемную картину. Правда, порой (а в «Великом столе» нередко) автор и сам берет слово, разъясняет, приводит справки и прочее — не отрицаю самого приема, но не могу не сказать, что эпическую силу Д. Балашова-художника эти включения подчас ослабляют.

А вот к счастливым находкам автора-художника я отношу параллельное движение сюжетных линий — скажем, князя Даниила Московского, Федора и Прохора, крестьян и ратников, митрополита Кирилла; эти сюжеты социальные, историчны, типологичны и в то же время индивидуально колоритны, ибо это характеры оригинальные. И конфликты здесь новые в романистике нашей о феодализме, в которой и оправданно и, случается, неоправданно большое место занимают конфликты междоусобиц и проблема централизованной власти, будто она-то и есть единственная политическая проблема средневековья.

Д. Балашов приближает к нам полностью далекой, бесконечно далекой жизни XIII—XIV веков, и очень существенно, что народная основа у него не на периферии изображения, не в подчинении проблематике собирания княжеств тем или иным князем, нет, она подпирает такого рода сюжеты, составляет их основу. Глубокая социальная правда и национальная точка зрения, особенно резко выявленные в беседе Прохора с Федором уже в «Младшем сыне», не переданы как особое или исключительное право какому-либо «человеку из народа» или «прогрессивному князю» — они составляют внутреннее напряжение и особый аромат всего повествования. Ясным, в меру архаизированным языком, словно мягкой кистью, живописует Д. Балашов и битвы, до коих столь охочи исторические романисты, и северо-восточную русскую природу, и сельские работы, и иной труд (например, строительство нового дома для Федора), и тяжбы властителей, свершающиеся в тесных термах или сумрачных храмах, которые могут быть в иное время — время массовых действий — и празднично-великолепными. В эту живопись вплетены и рассуждения автора, и сведения по международной политике умело и в целом гармонично...

Эпос требует внимания к **подробностям**

не одного быта, но именно исторического потока времени. В символическом зачине романа «Младший сын», где на холме, суровый, будто прямо по коринскому изображению, восседает Александр Невский и думает о судьбе русской земли, параллельно думает и автор: «Ручеек протесек каменный склон и стремится вниз с резвой белопенной радостью рождения. Тут и камня хватит, завала, лопаты земли, чтобы задержать, запрудить, поворотить течение назад, быть может, перекинуть на другую сторону горного хребта... Но вот ручей ширится, вбирая ручьи и реки, обрастает горюдами, несет челны, поит земли, и уже подумать нельзя, чтобы не здесь, не в этих берегах и не к этому морю стремился мощный поток, тот поток, что когда-то упавший камень, оползень или заступ землекопа могли обратить вспять, и росли 'бы другие города, и уже иные народы поили иные стада из этой реки, и в иные моря уходили ее струи... И уже стали бы думать — почему? Искать неизбежности, доказывать, что именно так, не иначе, должна была, не могла не потечь река-история, будто история существует сама по себе, без людей, без лиц. Будут говорить о ее непреложных законах, ибо видна река, но не камень, повернувший течение ручья».

Видеть этот «камень» должен исторический романист, подлинный эпик.

Но и реку из виду не упускать!

Соединение исторически характерной детализации и выявленных социально-исторической мыслью (эмоцией!) автора глубинных закономерностей народной жизни и национальной судьбы — задача творчески из самых сложных.

Казахскому писателю Ильяссу Есенберлину в трилогии «Кочевники» удалось осуществить идейно-смысловое единство своего в течение многих лет создававшегося, складывавшегося эпического произведения, провести классовый анализ бесконечно пестрого материала (жизненно-бытового, политического, межнационального и внутринационального, легендарного...), выявить народную точку зрения на деяния исторической личности и затем последовательно придерживаясь ее. Были в журнальном варианте ситуации и эпизоды, диссонировавшие с этой «народной точкой зрения», — их нет в книге «Кочевники», итоге «плодотворного не только в изначальном замысле («восполнить пробелы в биографии народа», дать ее художественно. — Ю. С.), но и в конечных результатах». Впрочем, не буду повторять В. Оскоцкого: его анализ трилогии И. Есенберлина — одно из лучших мест в книге

«Роман и история». К этому анализу я и отсылаю читателя.

Добавить же можно и нужно вот что. В. Оскоцкий справедливо отмечает стилистический разноречивый в трилогии. Откуда он происходит у автора, безусловно талантливого и опытного? Я предлагаю ответ двоякий: от громадности, новизны, неразработанности материала, в котором надо было еще разбраться автору и как художнику и как историку (трудность, подобная той, что была у Д. Балашова), и еще от непроявленности жанровой природы создаваемого цикла, от недостаточной учтенной И. Есенберлиным-художником объективной, заложенной в материале эпичности его. II роман «Заговоренный меч», и роман «Отчаяние», и роман «Хан Кене» (перевод М. Симашко) внутренне организованы каждый одинаково. Эта структура трех параллельных друг другу повествовательных «этажей» — картинное, живописное, драматическо-сценическое, я бы сказал, изображение: историко-публицистический авторский комментарий (он даже выделен в издании «Советского писателя» курсивом) и рассказ от автора о событиях летописного ряда (хотя в степи не велось летописей), из которых нижется нить историко-сюжетная. Характеры на этом «этаже» в лучшем случае появляются, но не проявляются — для их проявления существует первый «этаж». Ясно, что второй и третий «этажи», вполне в принципе сочетаемые с первым, собственно-художественным, «человековедческим», содержат и потенциальную опасность. Ежели эти две стилистики забьют первую, то будет иллюстрированная история, а не жанрово целостная композиция.

Автор «Кочевников» в целом преодолевает эти опасности, но все же внутри повествовательного потока не хватает кульминационных взлетов народно-эпического характера. А в новом историческом романе Ильса Есенберлина «Золотая орда», печатаемом кусками в журнале «Простор» на протяжении двух последних лет, второй и третий «этажи» как раз значительно потеснили, придавили первый, и, видимо, чувствуя это, опытный автор счел нужным вплести в общий сюжет авантюрно-романтические нити, «прямые» сцены быта и прочий «оживляж» однообразно ведущегося и несколько скучноватого (не для любителей «чистой» истории) рассказывания.

Да, искусство эпической полноты, искусство решения эпической задачи — это многосложное искусство.

Такую задачу удалось разрешить Т. Каипбергенову, который свой замысел отлил в

органичную эпическо-романную форму — в трилогию «Дастан о каракалпаках». Показательно при этом движение творческой мысли и художественной формы внутри трилогии. политический роман с густым бытовым колоритом — «Сказание о Маман-бие»; эпический роман о национальной судьбе каракалпаков и трагедия ложной ориентации у их вождя Айдоса — «Неприкаянные»; социально-эпический роман «Непонятные», где в изображении народного движения и его вождей, прежде всего племянника Айдоса-бия Ерназара, ощутимы мотивы пугачевского уже гипа. В целом же сложилась у каракалпацкого прозаика именно эпическая «национальная судьба», эпическая о родном для писателя народе, очень древнем (предки его — одно из ответвлений печенежского союза племен. «черные клобуки» древнерусских, киевских летописей), народе героическом и героическом, прошедшем в буквальном смысле тысячи и тысячи верст по Евразии, и прошедшем, фигурально говоря, сквозь все неблагоприятные перипетии своей исторической судьбы, сквозь все опасности, грозившие ему гибелью, сквозь ужасы социального угнетения со стороны чужих и своих поработителей, сквозь голод и разорения, многократно им испытывавшиеся.

Автор назвал свое обширное произведение дастаном, то есть сказанием восточным. И композиционно-стилевые элементы дастных повествований тут чувствуются заметно и сильно. сцены собраний героев, их пиров, разговоров и похвалы, как в былинных традициях, состязаний, загадывания загадок (сюжетных в том числе) и их отгадывания, ситуации, казалось бы, неминуемой гибели персонажей, в последний момент, однако, выкручивающихся (на языке пословиц «неприкаянных» это означает отправить в царство Азраила, но остановить у порога). Но все эти фольклорные мотивы вплетены автором в иную общую гармонию — современного реалистического эпоса, да и сами они, все эти тогда живые племенные формулы рассуждения и поведения, модели обычаев и прочее. мотивированы автором реалистически. Он, автор, достоверен, он знает, и видит, и показывает полуживые, живые и уже отмирающие обычаи и детали, но он знает, видит и показывает, что уже не ими главным образом руководствуются действующие лица трилогии, что социальной общности уже и в XVIII веке нет среди каракалпаков. Родо-племенное еще довлеет — всего более в быту, но национальная судьба складывается уже по социально-антагонистическим законам.

Так возникает современная эпопея, которая воодушевляется опытом Льва Толстого, Алексея Толстого, Шолохова — Каипбергенов прямо называет себя их «скромным учеником», как сказал он мне однажды, лукаво добавив: «Мы, каракалпаки, вообще народ скромный». Это было, когда мы обсуждали статью Т. Каипбергенова об Алексее Толстом, там есть такие знаменательные слова: «Народ не склонен ни обелять, ни очернять своих предков. Не склонен он при помощи истории ни льстить себе, ни заниматься самоуничтожением. Он представляет минувшее во всей сложности, потому что любое упрощение, выпрямление — это в конце концов примитивизация, а примитивной судьба любого народа быть не может»¹⁵.

Дать реалистически полноту социально-исторической правды о национальной и народной судьбе — эту задачу разрешил белорусский писатель Владимир Короткевич в романе «Колосья под серпом твоим», произведении, я думаю, еще недооцененном всеобщим (роман в русском переводе В. Щедриной вышел в 1979 году). Да, автору удался здесь тот самый романно-эпический синтез, которого взыскует наша критика. Это, во-первых, подлинный «роман личности»: подробно и глубоко мотивированно прослеживается здесь идейно-нравственная эволюция Алеся Загорского, сына крупного помещика, ставшего другом Кастуся Калиновского. Алесь — человек рыцарского склада; он испытал на себе воздействие не столько шляхетско-дворянской, сколько крестьянской традиции — традиции человеколюбия и антикрепостничества, традиции народного трудового опыта, народной этики и эстетики. «Колосья под серпом твоим» — роман социальный, анализирующий, как созревали гроздь гнева народного, что привело и как привело крестьянские массы, разночинцев, мелкую, демократически настроенную шляхту к национально-освободительному и народному восстанию 1863 года. Перед нами, помимо прочего, идеологический роман. Он вводит нас в накаленную идейную атмосферу общероссийских и общеевропейских «шестидесятых годов». «Национальный вопрос» («польский» — для европейской либеральной, радикальной, демократической мысли, а для нас и «белорусский», антипанский и антицаристский одновременно) есть часть этой социально пестрой, идейно разнообразной

(и скажем так — художественно выигрышной!) «диорамы». В жанровом отношении книга В. Короткевича не является эпопеей: композиционная структура произведения скреплена не темой национальной судьбы или социального протеста масс (хотя, повторяю, и то и другое сильно звучит в произведении), а темой судьбы индивидуальной, но это поистине тема «человека в потоке Времени», человека, слушающего и слышащего его прогрессивно-исторические веления.

Образ реки жизни человеческой и народной — старый и неувыдающий образ. Он есть и в книге В. Короткевича, в том числе в прямых авторских лирических отступлениях. Честно говоря, они не показались мне нужными, внутренне вращенными в стилевое многозвучие романа (а вот некоторые вальтер-скоттовские сцены, увиденные глазами детей, вполне органичны). Как бы там ни было, река жизни в одном из авторских отступлений прямо сопоставляется с судьбой Алеся Загорского:

«Я лежу на горячем морщинистом камне и думаю, не достаточно ли мне водить без дороги тонкую, детскую струйку жизни дорогого мне мальчика. Впереди, конечно, еще скалы, в которых надо прорыть себе дорогу, пески, в которых надо не высохнуть, изящные, как девушки, вербы, корни которых надо напоить, и поля сеч, с которых надо милосердно смыть кровь.

Но пускай он хоть бы издал, хоть бы дождевой каплей на листике днепровского явора, каплей, которая через мгновение упадет в криницу, увидит далекое-далекое море, к которому лежит его путь. Так ему будет легче. И нестерпимо тяжело. Потому что, увидев море, человек перестает быть ребенком, человек становится человеком.

Не надо отговаривать Время. Пусть быстрее течет вода. Достаточно медлительности. Иначе долго, слишком долго доведется течь.

А море ждет.

И ритм романа убыстрается. И ширина его сюжетного потока увеличивается все более и более. И мы тоже видим море — море взволновавшейся народной жизни, куда уже сознательно держит свой путь Алесь.

Роман «Колосья под серпом твоим» и закончен и незакончен. Закончен роман души, роман личности в ее поисках прочного берега, верного направления дальнейшей жизни. Ну а буря на море, народная буря — еще впереди...

¹⁵ «Вопросы литературы», 1983, № 1.

ИГОРЬ ДЕДКОВ

★

ПРОДЛЕННЫЙ СВЕТ

Герои Валентина Распутина спрашивают, допытываются, парят мыслью в поднебесье, но не от скуки, не для услады праздного ума; они вынуждены спрашивать — складно, плохо ли, наивно, по-всякому, — самой жизнью своей вынуждены, всей судьбой и всей своей человеческой сутью, ищущей не столько полного, сколько главного знания о человеке, его предназначении и участии, о его правах и пределах прав, о его ответственности перед чем-то, что выше его, если это высшее, превосходящее его личный, эгонистический интерес, существует. Почему-то героям Распутина кажется, что это знание не может быть равнодушным к человеку или направленным против него. Когда ответов нет, это еще не так страшно; можно подождать, вдруг они когда-нибудь донесутся; а может быть, просто нужно лучше спрашивать? Старые люди у Распутина верят, что жили-работали-радовались-страдали не напрасно, они хотят услышать, что смысл был, и оправдываться им — не в чем.

Так чего же они ищут? Утешения или всей правды?

Вечные вопросы — вечная отвлеченность; они взмывают над нами, а мы остаемся внизу: на наших подошвах — налипшая глина наших дней, в наших руках и умах — тяжесть повседневных забот и труда.

Когда вечных вопросов чересчур много, веет духом риторики и «всемирной» печали, но и без тех вопросов — люди ли мы?

«Интересно, куда денется ее жизнь? — думала старуха Анна из «Последнего срока». — Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась?»

Старая Дарья из «Прощания с Матёрой» спрашивала себя и не могла ответить: «И

кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение?»

Бедная Настена («Живи и помни»), решаясь на страшный шаг, тоже спрашивала себя, нас ли, целый свет — и тоже не находила ответа: «Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а лётom убежать от беды?»

Молодой писатель из очерка «Вниз и вверх по течению», наслаждаясь красотой «позднего летнего вечера у реки», сокрушался и недоумевал: «Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином и так редко поднимаем глаза вокруг себя и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?» Он спрашивал и «не мог ничего ответить».

Нигде, никогда Распутин не опровергнет надежды: то, к чему рожден, призван человек, не может быть хомутом, вечным толканием тачки, чьей-то «забавой», манипуляцией, игрой; жизнь «задумана» хорошо. И это чувствуют любимые герои писателя. Не знают, не убеждены, а именно чувствуют — старуха ли Анна, вспоминая себя в детстве, или мальчик Саня из рассказа «Век живи — век люби». Ну а потом? Разве не та же Анна — о жизни на пределе сил, про «скручивалась в веревку»? про «любой груз»? про то, как проводила на войну мужа с сыновьями, а вернулись — бумажные листки?..

Если жизнь «задумана» хорошо, то отчего она была такой тяжелой? В чем и кому тут «польза»?

Наверное, никакая вечность на некоторые вопросы такого рода не ответит, если не ответим мы сами.

Распутин знает это: прежде чем нашими делами займется вечность, он пытается сказать и про «пользу» и про «высший смысл».

Вся жизнь старухи Анны — святая материнская самоотверженность, полная трата всех отпущенных сил (не во имя ли высшего?) ради детей своих, семьи, родного дома, земли, где родилась и прожила жизнь, ради чего-то еще трудно выражимого, но несомненного и дорогого... Может быть, ради народа, родины, человечества? Но распутинским старухам таких слов, пожалуй, не выговорить; в них есть какая-то чрезмерность, будто через те слова можно взять на себя лишку, что-то самонадеянно прибавить к своему простому и обыкновенному смыслу.

Ощущение высшего как нравственного закона, должного соединить всех, витает в «утопических» снах Кузмы («Деньги для Марии»). Там, в трогательных ночных видениях, Марию спасают от беды всем сказочно дружным сельским миром, и только там деньги теряют свою власть над всеми душами, отступая перед глубинным человеческим родством и союзом.

И если нелегко старухе Анне понять, какой «высшей правдой» живы ее дети, то потому лишь, что для них такой правды словно бы нет вовсе, а есть только эта минута, ее неприятности и ее удовольствия, ее беглый смысл или ее пустота, и нечем Михаилу с Ильей, сыновьям Анны, загородиться от той пустоты — разве ящиком водки...

Писатель не позволит ни топоту суеты, ни звону бутылок заглушить живые голоса старой Анны или Дарьи Пинигиной. Кому — старческая блажь, брошенные на ветер жалобные слова, а для него — еще одна возможность приблизиться к правде.

Когда в вечных вопросах вечное слишком намеренно и «красуется», то они малопривлекательны. Они насущны и необходимы, когда время и художник задают их по-своему на основе нового опыта человечества, народа и отдельного человека, и если мы слышим, как взволнован этот спрашивающий голос, мы понимаем, как стар вопрос в своей сути — не к Иову ли из земли Уц восходит? — и как бесконечно ново это волнение. И если слышим боль, сомнение, надежду, то догадываемся об источниках боли, сомнения и надежды.

Чтобы художник мог задавать свои вопросы, старые или новые, он, наверное, должен знать о современном человеке, его состоянии и судьбе, что-то главное и решающее.

Можно рассказать всего-навсего о том, как мелкий петербургский чиновник сшил себе шинель, был ограблен и, потрясенный, никем не защищенный, умер, но поколение за поколением русских людей будут слышать, как в его «проникающих» словах: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — звонят другие: «Я брат твой»; и эта неисповедимым путем источаемая боль окажется для многих душ стойкой прививкой против «бесчеловечья» и «свирепой грубости»... А можно громоздить значительное и сверхзначительное, демонстрировать свои познания в том и в этом, живописать «тайны» любви и производства, пытаться ошеломить масштабностью, современностью, откровенностью, обласкать «маленького человека», похлопать по плечу «супермена» и при этом что-то непоправимо упустить... Что-то из того, что издавна называют «действительными потребностями» жизни, ее действительными настроениями, ее живыми самостоятельными голосами. Или это бывает связано с какой-то пониженной художнической чувствительностью и отзывчивостью? С тем, что представления о могуществе своей творческой воли преувеличены? С тем, что сосредоточенность на себе больше, чем на других? И до того порою велика, что происходящее с другими как бы не вполне в счет. То есть, конечно, в счет, но в общей и приблизительной форме, при которой за «главное», «насущное» может быть выдано что угодно, а шукшинское или, скажем, абрамовское — не говорю гоголевское, толстовское — проникновение в человека и российскую жизнь становится невозможным.

Повести Распутина — это попытка «достать» самое существенное в современном человеке, в его самочувствии и умонастроении. Индивидуальное, единичное, казалось бы, случайное обнаруживает свою связанность с «целым», с «народным», с «закономерным», но место для вопроса: а какова «закономерность»? — оставлено. Распутин ведет желание сказать о необходимом, о назревшем, чтобы оно вошло в создание общества и, может быть, что-то сместило и обострило в нем, как это делала старая русская литература и как это умеют делать сегодня книги Ф. Абрамова, В. Быкова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, говоря о жизни «после бури», о «канунах», «знаке беды», «последнем поклоне», о «доме», «ладе», «братьях и сестрах».

Так о чем же Валентин Распутин уже сказал?

Сказал о смерти («Последний срок»). О любви и об измене долгу («Живы и пом-

ни»). О прощании со старой русской деревней («Прощание с Матёрой»). О милосердии и доброте («Уроки французского», «Век живи — век люби» и т. д.).

О смерти, любви, доброте? Всего-то?

Что ж, поистине это решающее и вечное. Ну а как же налипшая глина на наших ногах, тяжесть сегодняшних забот, неотпускающая сила земного, исторического притяжения? К тому же столько написано о прощании со старой деревней, о мудрых стариках и старухах, о болезнях и смертях — что же тут особенного и примечательного?

Можно было бы сослаться на даты, стоящие под повестями Распутина, — шестьдесят седьмой, семидесятый, семьдесят четвертый, семьдесят шестой годы, что означает: многие из написавших про деревенских старух, про черствых городских детей, про прощанье-расставанье с родными избами шли следом, по его пятам. Но существеннее, пожалуй, другое. Часто говорят: любовь к старой русской деревне, народные ценности и святыни, народная мудрость, народная доброта, — и хотя все тут по-русски, понимать можно по-разному и любовь и ценности, и мудрость. Такие различия естественны; есть — не спутаешь — особенные оттенки во взгляде на жизнь, скажем, Ф. Абрамова и В. Белова, В. Шукшина и В. Солоухина, В. Астафьева и В. Лихоносова. Есть не менее определенный, всегда узнаваемый взгляд Распутина, его понимание народной жизни, ее идеалов, ее реальности и возможностей. Кажется, никто не называл Распутина поэтом деревни и крестьянского сословия; почему-то это никому не приходило в голову, хотя было ли в его книгах что-нибудь, кроме деревни? Кроме деревенских старух и стариков? Кроме Матёры, уходящей под воду? И все-таки не называли и вряд ли назовут. Может быть, потому, что, как художник истинно гуманного склада, он держит сторону не сословия, как бы ни было оно ему дорого, а человека.

Такая святая «односторонность» — кажется, единственная из «односторонностей» — не чревата упрощением жизни, ее строения, или, как теперь говорят, структуры. Не хочу сказать, что это свойство одного Распутина и никого больше, но он едва ли не всегда знал, что стоит чуть продлить взгляд — и, миновав все внешнее, этнографическое, сословное, национальное, выйдешь к тому, что соединяет, роднит, а не сталкивает и разделяет людей. Через Матёру, через старуху Дарью или Настену Валентин Распутин выводит нас к общенародному и общечеловеческому. Его беспокойство за судьбу русской деревни и сельского

жителя перерастает в беспокойство за всех нас, за человека наших дней, за единый народ. Асфальт ли под ногами или полевая тропа, земля все равно для всех — городских и сельских — одна: земля родины. Всякое упрощение, превозносящее «своих» и умаляющее «чужих», сталкивающее «нравственную деревню» и «безнравственный город»; противостоит сложности, слитности и многообразию жизни как бесперспективная, неплодотворная сила. Деревенский мир Распутина сохраняет свою неоднородность и противоречивость; он не сводим ни к чему одному: к праведному и благостному или к темному и злему; он существует такой, какой есть, каким исторически сложился; он под стать окружающему, как окружающее под стать ему, он продолжается городом, как город продолжается им.

Впрочем, так ли? Совершенно ли так? Очень трудно воспринимать мир таким, каков он есть; наши представления и пристрастия встают между ним и нами; место сомнения: а таков ли этот мир? — остается всегда.

Думаю, что Распутина близки давние (1870) слова Л. Толстого: «...мои доводы строятся не на том, что бы мне желательно было, а на том, что есть и всегда было... Я только смотрю на то, что есть, стараюсь понять, для чего оно есть»... Эти слова предостерегают от домыслов, от чрезмерного настаивания на «желательном» и «должном». Одновременно они укрепляют надежду, что так смотреть на вещи возможно; во всяком случае, к этому стоит стремиться.

Сергей Залыгин писал, что повести Распутина отличаются особой «художественной законченностью» — «законченностью и завершенностью сложности». Будь то характеры и отношения героев, будь то события вроде затопления Матёры — все от начала до конца сохраняет свою сложность и не сменяется логической и эмоциональной простотой каких-то окончательных выводов и объяснений. Смерть Настены завершает ее драму, но ничего не упрощает, и вечный вопрос «кто виноват?», столь волнующий читателей, не получает однозначного, как в судопроизводстве, ответа. Как бы взамен нами осознается невозможность такого ответа; мы догадываемся, что все идущие на ум ответы недостаточны, неудовлетворительны; они ничем не облегчат тяжести несчастья, ничего не поправят, ничего не предотвратят; мы так и остаемся лицом к лицу с тем, что случилось, с этой страшной несправедливостью, и все наше существо восстает против нее...

Да что толку, хочется мне сказать, **что**

толку в этом протесте души, но в нем-то и толк: в этой пережитой нами трагической минуте, вырвавшей нас из нашего быта и времени, в самой несогласии принять эту смерть и в том, что приходится принимать, приходит...

После книг Распутина наши представления о жизни становятся яснее, но не проще. Хотя бы некоторые из схем, которыми так хорошо оснащено наше сознание, в соприкосновении с этой художественно преображенной действительностью обнаруживают свою приблизительность или несостоятельность. Сложное у Распутина остается сложным и завершается сложно, но ничего нарочитого, искусственного в этом нет. В сущности, Распутин говорит о том, что всегда занимало людей, о том, что есть и было всегда и с течением лет не освободило от себя человека. Вся новизна — в новизне наших обстоятельств и нашего живого дыхания.

Итак, «Деньги для Марии» — это и в самом деле мучение из-за денег, испытание людей деньгами; «Последний срок» — это и в самом деле ожидание смерти и смерть, испытание любви смертью; «Живи и помни» — это на самом деле измена, низость, человеческое падение, испытание любви этим ударом; «Прощание с Матёрой» — это действительно исчезновение, смерть Матёры-острова, Матёры-деревни, испытание памяти, старых привязанностей, любви этим прощанием, утратой, уходом под воду целого материка Прошлого.

Испытание любви, памяти — отвлеченность? Что-то вроде с трудом подысканного «общего знаменателя», указывающего на отдаленное родство избранных величин?

Такая ли отвлеченность, если люди выпутываются из нагрянувшей беды, пытаются привыкнуть к потере близкого, дорогого человека, вынуждены покидать обжитую землю, сжигать дома отцов?

Нет, это не испытание человека («по Быкову», не восхождение на Голгофу новых мучеников за человечество, не пограничные ситуации в экзистенциалистском духе — это неизменно обыденная жизнь, пусть резко нарушенная (весть о недостатке, о затоплении, о дезертирстве Гуськова, тяжелая болезнь Анны), но остающаяся прежней по своей обстоятельности, полноте, размеренности и быстро обывательствующая, подчиняющая себе самые резкие факты и неудобные, неприятные события. Никто из героев писателя не осознает, что он чем-то испытывается, что ему предстоит делать выбор и т. д. Все живут и заняты повседневным, житейским; что бы ни стряслось, жизнь продолжается, и если верно, что она идет полоса-

ми, то это ее темные полосы, ну а за ними непременно будет что-нибудь посветлее и т. д. Да и вообще у Распутина нет мрачной сосредоточенности на чем-то одном: на конце ли Матёры, на преступлении Гуськова, на отчаянии Марии... И прощальные дни Анны, и последняя осень Матёры, и тайные встречи Настены с Андреем, и даже хлопоты Кузьмы о деньгах для Марии озарены по временам мягким и теплым светом жизни; где только можно, он пробивается, словно и среди людей действует природный закон, не позволяющий несчастью зависнуть над нашими головами навсегда. Лишь Настену жизнь не милует, лишь ее мучения непосильны, но это еще вопрос, кто не выдерживает испытания: Настена или ближний к ней, окрестный, людской мир, чьего «приговора» она страшится больше, чем смерти.

Виноват ли в чем этот окрестный мир — почти теоретическая проблема. Какая вина, если общее состояние жизни предопределено войной, ее писаными и неписаными законами, всей скопившейся за долгие годы суровостью и категоричностью? Но как бы хорошо мы это ни понимали, жалость к Настене нарастает. Недостает, как воздуха, какой-то несбыточной, невозможной, спасительной доброты, сосредоточенной на главном — на сбережении человеческих жизней... Более того, наперекор всему несбыточное и невозможное начинает казаться возможным и осуществимым. Пусть недолго так кажется, и спасение не придет, но мысленно-то мы уже воззвали к этой затаявшейся доброте! Может быть, так образуется, скапливается в нас запас гуманности — на будущее? И разве не отрадно, что на лицо Настены не падает густая, непроглядная тень вины ее мужа и мы наделяемся способностью видеть это молодое взволнованное лицо в его собственном значении и правоте?

Затерянная в глубине народной жизни женская драма извлечена писателем на свет и отныне входит в общий опыт; она испытывает нас всей своей психологической и нравственной сложностью, разрушая шаблонное мышление и приводя к мысли, что Настена — жертва войны. Еще одна жертва. И неродившийся ее ребенок — тоже жертва войны. И если кто-то убежден, что Настена сама кругом виновата (как можно любить такого? не к нему нужно бежать, а от него, бежать, сообщать, звать народ и т. д.), то, значит, не замечено, не прочувствовано, что при всей немеркнувшей ясности должного поступки и переживания Настены приобретают все более неопровержимый нравст-

венно оправданный, хотя и трагически противоречивый характер. Будь она женщиной более «разумной», все происходило бы куда «правильнее», но в Настене железное «следовало бы» боролось с невозможностью «следовать», а универсальному «должному» противостояли единственные в своем роде обстоятельства ее судьбы, особенности ее души. Она любила и жалела своего Андрея сколько могла, а когда стыд за него, за себя, страх людского суда стали сильнее любви, когда все «выгорело, а пепел не молодят», она шагнула за борт лодки посреди Ангары, меж двух берегов — берегом мужа и берегом всех...

Это ли не испытание человека? Это ли не еще один конец затянувшейся, далеко достоящей войны?

Настена жила сердцем. Основные герои Распутина вообще чаще живут сердцем, а не умом. И выбор сердца иной и происходит иначе, чем выбор ума. Он плохо поддается логическому обоснованию, словно что-то срабатывает в человеке — и все тут. Распутин не любит изображать, воспроизводить длинных доводов рассудка, внутренней умственной борьбы; момент выбора, столь важный для определения человека, им как бы смазывается, поглощается течением жизни, и человека несет и несет дальше, и не понять сразу, как и когда он собою правит, да и правит ли, да и сам ли?

Иногда спохватится человек и подивится, как старая Дарья с Матёры: «Нет... я про себя, прости господи, не возьмусь сказать, что это я жила... Сильно много со мной ле сходится...»

Как же так вышло, что не сходится? Почему? Сама же она эту жизнь выбирала — сердцем, умом ли, но выбирала когда-то, или забыто все и кажется ей, что за нее выбрано, а ей осталось жить да работать?

Спрашивай не спрашивай — ответа в повести нет. Можно только догадываться, о чем сожалеет старая Дарья. Если не сходится, то кого упрекать? Или вправду так: отдашься течению — и понесет оно тебя, и после не узнать будет, ты ли это да и того ли хотел?

Во всей повести о Матёре есть тревожная неловкость оттого, что люди как бы недостаточно осознанно или не в полной мере распоряжаются собственной судьбой, и им от этого беспокойно, словно они как люди чего-то недоделывают, какого-то своего важнейшего предназначения не исполняют.

В «Последнем сроке» Распутин предоставил своим героям возможность быть самими собой. Привычное течение их жизни прервано. Остановка. Но взрыв чувств — сле-

телись, повидали мать, всплакнули, руками всплеснули, погоревали, — как всякий взрыв, короток. Полегчало матери, отпустило, вроде бы улеглось все, успокоилось — и разбежались, разлетелись по домам, по конторам, поспешили, укатили...

Никого из детей Анны писатель не обидел, не обделил ни совестью, ни стыдом, ни любовью к матери, ни другими добрыми чувствами, никого резко не осудил, ни над кем не посмеялся. Нам же сказал: смотрите, присутствуйте, вот мать, дети, корень, отростки... Хотите — сравнивайте. Судите, рядите... Но сам рук при этом не умыл, не прикинулся все допускающим, все принимающим, а дал нам почувствовать странную истощенность, разгаданность происходящей жизни, будто все уже произошло и все наперед известно и осталось лишь не выбиться из глубокой накатанной колеи, да и зачем, куда? Все вроде бы неплохо — и Варвара, и Люся, и Михаил, и Илья, — вполне приличные люди, а если слишком безропотна Варвара, скучно-многоопытен Илья, надоедливо правильна Люся, а простота Михаила не всегда в радость, то за что осуждать их, обличать — за что? Как воспитаны — такие и есть, не хуже и не лучше прочих. А что водку пили, вместо того чтобы с матерью побыть, так ведь не от равнодушия — от радости: мать-то ожила, полегчало ей, глядишь, еще поживет!

Когда-то говорили: надо жить так, будто кто на нас смотрит и все видит — ну там ангел, надеялись, или еще кто получше, повыше, поглазастей. Даже зная, что никто не смотрит — в XX веке-то? некому! — воображать, фантазировать, что тебя кто-то видит, так ли уж абсурдно и бессмысленно? Когда живут убежденно, что никто ничего не видит, то кажется, что сойдет все...

Дети Анны ходят по дому, разговаривают, ссорятся — жизнь как жизнь, а им уже предъявлен, уже действует какой-то высший нравственный счет, потому что по обычному счету они вполне приличные люди, вполне... Их видит художник, этого достаточно; это он распределяет свет и тени так, что поэзия жизни, ее чистота и надежда — в Анне, в ее видениях и воспоминаниях, в отпущенном ей последнем сроке прощания, во всем ее тающем облике. Даже тяжелое и мучительное, а его позади вдосталь, освещено светом любви, то есть полной самоотдачей детям, работе. Что же оставлено тем, кому была отдана эта любовь? Лишь проблески того света, давних, померкших молодых надежд и желаний; во

всем остальном — вялость, срединность, поглощенность собой, усталость.

Писатель полон сочувствия ко всем и каждому, он знает силу обстоятельств и влекущего, неспрашивающего течения жизни; он готов прощать, но есть предел и прощению. Последняя просьба Анны не удерживает детей, и они с бодрыми напутствиями оставляют ее умирать без них. Беда в том, что они не чувствуют того, что могли бы чувствовать. Их чувства заглушаются каким-то внутренним, инерционным, «машинным» шумом. Распутин знает, что «недочувствие» (Ю. Трифонов) буднично и малозаметно: ничего не разглядеть, все пристойно, все, кажется, в норме; но тогда-то он считает долгом вмешаться и обнаружить свое художническое присутствие в жизни, которой мнится, что ее никто не видит и все ей сойдет с рук...

Если у Распутина изображается злое и низкое, то оно чаще стыдливое, неявное, маскирующееся под добро и должное, обытовленное и обжитое и почти никогда — открытое, откровенное, громогласное. Собственно, и в повседневном мире первого зла больше, чем второго. Но Распутин — добрый писатель, склонный скорее прощать человека, чем осуждать, тем более беспощадно. Потому-то редко кому из своих героев он не оставляет шансов на обуздание или «исправление». Андрей Гуськов недаром стоит особняком: может быть, он дался писателю легко, не знаю, но весь он — запечатленная трудность; желание понять случившееся с человеком и необходимость беспощадности образуют едва ли разрешимое противоречие, и это тут же снижает свойственный Распутину высокий уровень сложности.

Лишь иногда герои писателя сталкиваются с явлениями и людьми, которые для них в прямом смысле непереносимы; это что-то такое, что объяснять, понимать автору не хочется, нет на это душевных сил, а есть только глубокое и резкое неприятие...

Тогда-то мы мгновенно чувствуем, каким гневным и непримиримым может быть этот писатель. Верный себе, он и в таких случаях остается художником, но художнического своего пристрастия и решительного выбора не скрывает, не хочет скрывать.

Вспомним, как разрушают кладбище Матёры, как спешат старухи и старики с ребятами оборонять родные могилы, какой взвивается над островом крик и плач в камиках чужаками-пришельцами смотрят разорители — по-медвежьи здоровенные му-

жики, готовые за бутылку водки сокрушить все что угодно...

Да, да, «санитарная очистка» территории, поплывут иностранные туристы по речной глади, а на волнах качается кладбищенская рухлядь — неудобство и неприятность; это-то материнцам понятно, но как бы объяснить раз и навсегда далеким «проектировщикам»: что бы ни затевали ваши ученые головы, делать-то надо по-людски, не резать по живому, у хозяев этой сибирской земли спрашивать, наконец, надо...

Или вспомним, как отчаявшийся, сломленный человек, пьянь горемычная из рассказа «Не могу-у» вдруг «звучно, со сладью» кинул в лицо непрошеному воспитателю неотразимое, убийственное: «Порож-няк!» Будто не одного его, а всю породу таких припечатал.

Или вспомним еще, как в «Деньгах для Марии» колхозный бригадир Кузьма в кирзовых сапогах и фуфайке угодил в мягкий вагон, и какие вальяжные попутчики ему попались, и что из этого вышло... И какой тихой болью и горечью насыщены дорожные приключения Кузьмы.

Валентин Распутин знает и это: почти невзначай, походя униженное достоинство трудового человека, уверенное громыхание «порожняка». Не отсюда ли тревожное ощущение, что основное, главное порою теснится второстепенным, подсобным и как бы нарушается порядок вещей?

Он вообще оказался зорким писателем. Нравственно и социально зорким. При стыдливом молчании литературы о деньгах как двигателе жизни он сказал ясно, что деньги не утратили своего опасного могущества и могут подчинять, искажать человека.

Распутин одним из первых заставил снова задуматься над тем, что же она такое, смерть, для уходящего и для тех, кто остается жить. Вслед за А. Довженко («Поэма о море») он по-своему и в новом историческом свете представил нам последствия великих преобразований природы для современного человека, его морали и его будущего. Он попытался даже о войне и ее жертвах сказать необычным образом — через судьбу молодой женщины, чей муж оказался «бегляком», дезертиром.

И все же Валентин Распутин не был бы тем Валентином Распутиным, которого знает и ценит читатель, если бы вся эта драматическая обыденность наших и прошлых дней, ее реальное, сложное содержание не были бы включены им в целостное поэтическое миропонимание, в его высокий и светлый строй, поддерживающий, утешаю-

щий и возвышающий человека... Алесь Адамович назвал это миропонимание светносным...

Что из того, что люди безалаберные, замороченные, вроде материнского Петрухи, или вполне пристойные, вроде Люси, неспособны к зрению, одушевляющему, поэтизирующему мир? Это вообще редкое зрение, и человек переживает счастливые минуты, когда оно в нем открывается; беда в том, что в Петрухе и Люсе оно уже, кажется, не откроется никогда; разве что мелькнет о нем воспоминание и, смягчив душу, погаснет... Поэтическое зрение существует обычно помимо таких персонажей; оно принадлежит автору, им щедро наделены лишь центральные герои — Анна и Дарья, Настена и Кузьма. Такое зрение тем сильнее обнаруживает себя, чем настойчивее притязания бесцветности, безличности, практицизма, нравственной неразборчивости.

Дети Анны не в состоянии увидеть свою мать так, как видит ее автор, то есть им оставлено их зрение и ничего сверх того, и это справедливо.

Впрочем, автора ли это земные повседневные глаза, когда видим старуху Анну и то, чем жива и что доживает? Или это то самое истинно художественное зрение, что, кажется, растворяет в себе личность художника и, принадлежа ему, принадлежит всем — лучшему, что есть в нас, ставясь поистине «чистым оком человечества» (П. Флоренский)?

Дети видят: мать, из-за которой «пришлось напрасно приехать», «еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть — ну совсем как здоровый человек».

А можно видеть так: «Она (Анна.— И. Д.) походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна».

Поэтический образ меркнувшей человеческой жизни и боли за нее (на крыльчке при ярком свете дня — как свечка!) — и застрявший в самом начале восприятия практицизм обычного, «реального» сознания («приспособила себя сидеть», слава богу, почти здорова, можно уезжать!).

Два мира сосуществуют: материально-четкий, фактический, доступный всем и каждому (и не захочешь — наткнешься) — и другой, поэтический, неосязаемый, полный неожиданного смысла, почти мираж, игра воображения...

Два мира существуют рядом и вместе, без границы, и второй мир иногда прорывается в первый как отблеск истины, как недостающее тепло... Вдруг скажет Михаил о ма-

тери: «Вроде загоразивала нас, можно было не бояться...» Или еще так скажет: «И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают».

Вот оно что! — она их, таких больших, давно заматеревших детей своих, от смерти загоразивала! И день, что дали ей, тоже не утлым, пошлым смыслом помечен, а какой-то явной справедливостью, на которую тот же Михаил в глубине души все-таки надеется.

Старуха Анна видит, что сыновья заняты пьянством, «возятся в нем, как мухи в отраве», но не этой старой бедой, не ссорами детей полна ее голова, другое ей открыто, другая близь и даль... Ее ли это Илья стоит у кровати — сколько «нового мяса наросло на нем», сколько чужих людей ходило с ним бок о бок! — он ли это, или «ее Илью, как малую рыбежку, заглотила рыба на побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле»? Она ли это сама среди детей своих, как всегда, как обычно, или вправду ее «на руках будто кто держит», и ничего под нею «твердого нету», и это почему-то совсем не страшно, словно «так и надо»? И что за худая старуха с протянутой рукой мерещится ей, и почему, «не владея собой», она ответно протягивает ей руку, здороваётся и чувствует, что «рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой, приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело»? Но гут звонят колокола, наступает опять «живое утро», и она снова и снова думает о бесчисленных ушедших днях, где было много работы и много утрат и все вместе «было то радостью, то мучением — мучительной радостью». Ей представляется, что жила она «как дерево в лесу» — безотлучно, как жила ее мать... «Своя жизнь — своя краса»...

Зачем так долго блуждать в сумерках усталого, затихающего сознания? Столь «бесконтрольно» и гипотетично? Не затем ли, чтобы через художественную эту гипотезу приоткрыть внутренний мир старой русской крестьянки, попытавшись понять, чем он полон, какой мыслью, какой памятью? И воспроизвести таким образом «таинственную» жизнь души, упрямую работу сознания, желающего сознавать, мечтать, искать правду — до конца...

Духовный мир Анны становится средоточием нашей надежды на неизбежное и вечное торжество душевной чистоты, трудолюбия, самоотверженности.

По Николаю Заболоцкому: «...и только души их, как свечи, струят последнее тепло»...

Изображая мир Анны, а позднее — Дарьи Пинигиной, Распутин верит: духовный потенциал человека очень высок. Не всегда, не повсюду, не во всех, но высок, и именно с этим следует считаться. Причем не в отдельных личностях, чем-либо примечательных, а вообще высок — в трудящемся, создающем свое достоинство человеку, в народе. Он верит, что память, совесть, любовь — вечно живое пламя.

В «Прощании с Матёрой», у Залыгина в «Комиссии» люди много говорят, словно намолчались. В проповедничестве Дарьи, в накале и безбоязненности ее речей есть что-то от духа раскольничьих скитов, от непокорной горячей крови героев сибирских писателей А. Новоселова и Г. Гребенщикова. В Дарьином говорении слышится и другое, восходящее не для нее — для автора и для нас — к знакомому: «Смирись, гордый человек...»! Но, думаю, даже тогда, когда Дарья настаивает на малости человека («...как были маленькие, так и остались»), отвергает его притязания на небывалую роль («Мы не лутчей других, кто до нас жил»), страшится победы «жалеза» и машин, она не столько смирения хочет, от которого сама, возможно, немало потеряла, сколько естественности, здравого смысла, простого и ясного понимания, что жизнь всяким поколением подхватывается, а не начинается сызнова и что жить нужно «своим ходом», то есть своим, а не чим-то разумением и опытом.

Вам Матёру «старшие поручили,— говорит она внуку,— чтобы вы жисть прожили и младшим передали... Старших не боитесь — младшие спросят...». Дарья пытается напомнить о связи всех — отживших, ушедших и живущих. И тех, кто придет после.

От Дарьиных переживаний за умерших близких как за живых, окликающих ее, укоряющих, боящихся идти «под воду», веет поэзией растроженного воображения и сильного сострадающего чувства. Кажется, никаким доводам рационализма те чувства и воображение не унять, нё остудить; они дороги писателю, и он находит для их воплощения слова возвышенного, почти торжественного лада, как бы годные для подъема сквозь плотную пелену видимого и явного в «запределье»...

В романе Р. П. Уоррена «Потоп» провинциальный городок Фидлерсборо, как и Матёра, ждет Большой воды: он тоже в зоне затопления. Здесь иные переживания и свои проблемы. Тут горечь и тоска по жизни, которая, может быть, и нуждалась в «потопе» как очищении от скверны, но, вполне может статься, еще покажется когда-нибудь

«благодатью»... Но вот чего в этом романе нет совсем: прощания с миром, уходящим под воду, как с живым, наделенным душой, памятью, неотторжимым смыслом.

Символически многозначные образы несокрушимого «лиственя» и загадочного Хозяина острова придают Матёре какую-то природную независимость, словно у нее и в самом деле была своя жизнь и свое предназначение. Высшая точка прощания с Матёрой — обряжение Дарьей своей избы; будто это проводы человека, будто без «чистой рубахи» никак нельзя. Найдено, кажется, самое полное выражение окончательности, бесповоротности этого расставания; Дарья простилась и готова теперь ехать, плыть, жить по-новому...

Внутренний мир Дарьи рядом со своим внешним воплощением — густым, грубоватым ее просторечием — воспринимается как нечто заповедное, почти отдельное, как «белая горница» души. Можно предположить, что многое оставлено за порогом той горницы, выметено. Но писатель думает, что душа Дарьи, оставаясь наедине с собой, в лучшие свои минуты должна быть именно такой, способной «бесшумно и плавно» скользить над землей, «чутко внимая всему...». И душа Дарьи «скользит», воспаряет — последняя ее отрада.

В конце повести тоскливо воеет Хозяин, туман висит над водами и землями. Будто сбывлись предчувствия старух, и они затерялись в мире: почти потоп, конец света.

Разумеется, ничего страшного; туман рассеется, придет катер и т. д. Но точка поставлена на тумане, на ожидании и тревоге, и теперь долгие годы распутинским старухам в той утренней сырой непроглядности перекликаться и перекликаться...

Неоспоримое право писателя — передать свою тревогу; наше дело — в какой мере разделять ее и принимать ли всерьез. Многочисленные отклики на повесть показали, что тревога Распутина не напрасна и, наверное, еще долго не будет напрасной. Писатель предостерегает против дерзкого обращения с природой, против самоуверенного вмешательства в заведенный ею порядок с целью оперативного улучшения-упрощения. Но еще важнее, что писатель говорит о необходимости осторожного обращения с самим человеком, его судьбой и укладом жизни. Может быть, небрежение природой связано с небрежением человеком? Такая связь не всегда видна, но, кажется, существует? Не потому ли истинный художник начинает свою защиту любых ценностей живого мира и культуры с человека?

Старая Матѣра исчезает; ее больше нет; в этом своя неизбежность. Если ничего в мире не трогать, не менять, не строить — сидели бы при лучине; это понятно. Печаль в том, что за образом Матѣры — материк прежней крестьянской жизни, а ее, как соху или прялку, в музее не сбережешь, не выставишь; это человеческая даль и глубина, свой опыт, своя культура, и какой бы добросовестной ни была наша память, сбережет ли она все лучшее, упомнит ли, передаст ли дальше не как реликвию, а как живой обычай, как трудовую и нравственную традицию?..

Валентин Распутин знает, как писать просто и строго, рассказывая то, что было, и ничего сверх, никаких «воспарений» души. И никаких прорывов в «запределье». Лучшее у него в этом роде, как мне кажется, — рассказ «Уроки французского». Нигде потом он не был таким сдержанным; слезы рвались — не давал воли слезам; мальчик из голодного военного детства должен был навсегда остаться таким, каким был; он не смел жалеть и щадить его больше, чем жалела и щадила жизнь, если у нее это получалось; в рассказе-воспоминании от первого лица это трудно, но он сумел в самом способе, стиле рассказывания воплотить мальчишеский характер — замкнутый, самоуглубленный, одинокий, воспитанный в суровых правилах сибирского крестьянского дома: не жалуйся, не проси, не жди, не принимай помощи от людей, терпи и иди своей дорогой. В доброте Лидии Михайловны, учительницы французского, было опровержение «правил»: ты не один, кому-то ты виден в толпе со своими садинами и хмурыми глазами, ты виден, и тебе помогут... Отчего так — при всей сдержанности слога, не пускающего в душу мальчика, все сильнее чувствуешь, как она болит, растеряна, как медленно отогревается... Или секрет в том, что обстоятельства и подробности той бедствующей жизни, исторически точные и неизменно важные, сами по себе выдают, сколь велика сосредоточенность мальчика на самих основах своего существования-выживания, притом достойного, из последних сил разумного и достойного: так воспитан! И что творится в этой детской душе, неожиданно обласканной и согретой, тоже становится доступным нашему воображению и глубокому сопереживанию.

Может быть, Распутин всегда был чуточку «мистическим» писателем. Но поспешно пугаться этого слова, тем более забранного в *кавычки*, не стоит. Жизнь для Распутина по сей день сохраняет некоторую таинственность, неопознанность; что-то в ней не

поддается твердым логическим объяснениям. Учительница французского тоже не вполне поддавалась логике; она так и уехала, оставшись неразгаданной, — добрая фея, игравшая в пристенок со своим учеником... Ну а припомним «Дни для Марии», где много снов, предчувствий, душевной зависимости от ветра и снега. Или «последний срок» Анны, дарованный ей за безгрешную жизнь. Или Хозяина, провидящего будущее Матѣры. Да и в очерке «Вниз и вверх по течению» его герой — молодой писатель — старался сохранить в себе детское ощущение «чистого и ветхого духа тайны», витавшего над речным простором, и враждебно думал об унылом восприятии мира как чего-то простого и ясного, вроде сколоченного собственными руками ящика. Наконец, явились рассказы «Век живи — век люби», «Что передать вороне?» и «Наташа», где в разной форме и в разных вариантах присутствует чувство, что человек — это еще не все, что он о себе знает, что дух его несовместим с придуманными «ящиками» и что жизнь без «тайны», жизнь «разгаданная», скучна и бедна. В «Наташе» Распутин пишет: «...все разгадать нельзя, да и не надо; разгаданное скоро становится ненужным и умирает, погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и несколько этим не обогатившись; мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко». Нравится нам или нет, но такое настроение живет в писателе; в новых рассказах оно заметнее, чем прежде.

Пятнадцатилетний Саня («Век живи — век люби») вдруг чувствует в таежном пространстве могучее дыхание, волю и притяжение природного мира, может быть, космоса, смутно слышит в себе движение какой-то давней, словно бы не совсем своей, глубокой памяти, и ему становится трудно предать, что не эти властные силы природы, а всего лишь «ветер обстоятельств» будет управлять его жизнью и примется гнать по дороге, как какое-нибудь пережати-поле...

Саня наделен сложной мыслью, но выражена она в форме, думаю, излишне завершенной, гладкой и взрослой, словно бы она от рождения такая и облеяна в слова ей просто и легко. Какие-то словечки, фразы («вся жизнь от начала и до конца изначально», «всякая жизнь — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути», «слишком вышен и всеславлен был он, этот день» и т. п.) ясно говорят, что авторское соучастие в мыслях и чувствах юного героя огромно и не скрывается. Утрачена не-

посредственность? Пусть! — может сказать автор. Это литература, условность неизбежна, таковы правила игры. Я волен назвать то, что не мог назвать мальчик, волен дать имена всему, что он пережил! Я — в нем, я — около него, и я здесь, в сегодняшнем своем дне, и отсюда смотрю на него...

Все верно, все так или почти так, но разве художественная сила в рассказе — от «вышнего» и «всеславного», от добавочной этой «духовности»? А не оттого, что реалистически точно написана сама Саняна жизнь: нежданная каникулярная самостоятельность, явление Митяя за трешкой, поход с ним и с неким дядей Володей в тайгу, разговоры взрослых, узнавание взрослых? И конечно же, переживание Саней тайги, ее величия, красоты, могущества, своей малости и затерянности. И — осквернение этой поэзии, чистоты, доверия. Внезапное, как удар исподтишка.

Отныне Саня знает, что осквернение, предательство — тоже жизнь. И с этим знанием ему жить дальше.

Во сне Саня слышит, как «шли из него» и «звучали в нем разные голоса». Они были узнаваемы, они были его голосами. «И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть». Саня проснулся «в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?».

А вот взялось, отозвалось, повторилось. Вторглось, не пощадило. Уже освоено его сознанием, языком, слухом...

Давно ли он сидел у костра таежной ночью и спрашивал себя: а не для того ли эта тьма, чтобы «можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить?». Не потому ли он не спит, что что-то должно ему «открыться»? И ему казалось, что «что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это». Потом он вдруг понял, что его не рассматривают, а «это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения». Дважды «широким вздохом вздохнула печально тьма, и на Саню «дохнуло звучанием исполински глубокой затаенной тоски; и почувдилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, невесть как донесшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи». На несколько мгновений Саня «по-

терял себя» и не понимал, то ли остался тут, то ли «отлетел куда-то», но «скоро все встало на свои места», сделалось легче и захотелось спать.

Приключения души; что вошло и что вышло, каков обмен — неясно, но «сообщение» установилось. Что ж, потрясение, испытанное мальчиком посреди ночной тайги, можно выразить и такими словами. Почему нет? Мало ли что нам воображается и мерещится! Предположим, что за теми туманными, загадочными словами — острейшее ощущение своей принадлежности природе и неразрывной с ней связи. Будем считать, что это поэтическое и пантеистическое восприятие мира, и если в нем сквозит что-то «мистическое», то лишь оттого, что в природе и в самом деле еще много скрытого и непонятого. И все же «возвеченный зов» и все слова того же стилистического и образного ряда — не из художественно безупречных; они кажутся распутинскими и только распутинскими, но, в сущности, они, может быть, данники веяния? И «зов» и «всеславный» день с его «огромной неизъяснимостью», с «загадочной» «неопределенностью», как пишет Распутин, не поддаются никакому «умственному извлечению из себя», и в этой неподвластности уму, в непознаваемости тоже есть что-то знакомое и даже популярное. Правда, к явлениям, которые плохо поддаются «умственным извлечениям», в какой-то мере относится поэзия. Не потому ли все таинственно-запредельное живет в рассказе на правах поэзии, хотя и несколько риторической? «Мистическое» настроение постепенно оттесняется жизнью, а грохот отброшенного оцинкованного Саняного ведра — в таких ягоды не держат! — заглушает его, кажется, окончательно. Никто, впрочем, не отбрасывал ведро; ягоду вымахнули под откос, и было слышно, как она «зашелестела, скатываясь». А кажется почему-то, что был грохот — ведра умеют греметь...

Итак, был праздник — нет праздника, была поэзия — нет ее, остается человек, который видел, знал, приберегал, приберег, обьявил, восторжествовал: «Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить».

Не знаю, что «вошло-вышло» из космоса и что это сулит Сане, но вот «грязные и грубые слова» уже здесь, уже в нем и ужасают его, и никакой космос, никакие «неизъяснимые» силы не помогут ему преодолеть эту грязь и жестокость. Остается полагаться на себя. На кого еще полагаться человеку? От кого ждать помощи? Остается полагаться на человека и от человека ждать помощи. Больше неоткуда.

А пример «веяния» пожалуйста. В повести Г. Семенова «Городской пейзаж» есть авторское рассуждение насчет того, что предпочтительнее рассказывать об «образе жизни» людей, а не об их «делах». Хотя бы потому, что «порядочный специалист может быть человеком непорядочным». (К слову сказать, пускаясь в эти отвлеченности, можно было бы спросить и так: а непорядочный специалист может ли быть порядочным человеком? Ну тот, например, столер, чья табуретка под вами развалилась? И еще можно было бы вспомнить слова одного французского писателя XX века: «Человек — это то, что он делает».) Но самое главное дальше: «Говоря отвлеченно, наш мозг — инструмент, способный изощренными способами приобретать те или иные материальные ценности, облегчая тем самым жизнь. Но если мозг приобретает, то, рассуждая опять-таки отвлеченно, душа наша ничего не приобретает, а лишь отдает. Ею никак нельзя пользоваться наподобие какого-нибудь инструмента...» Потому-то лучше всего наблюдать за людьми «в те периоды времени, когда душам их предоставлено обширное поле деятельности. Только тогда и можно судить о них и говорить всерьез об их образе жизни».

Примечательное рассуждение: «дело» отлучено от «образа жизни», «мозг» от «души», «дело» в союзе с «мозгом», «душа» — с «образом жизни». Мозг «приобретает», душа «тратит», щедро отдает, и потому следует изображать «поле деятельности» души.

Предлагается как бы некое расчленение человека. По завершении операции душа гуляет по чистой палубе, а мозг — ум, разум, сознание — стыдливо запрятан в машинном отделении.

Легонькое такое умаление человеческого разума в наши дни, в начале 80-х, входит в моду. Кому отрада — экстрасенсы, кому — ясновидение и столоверчение, кому — «Учителя Индии», владыки Шамбалы, кому — игрища и забавы «инстинктов»... Ну и, разумеется, «душа», «душою», «о душе»... И не замечаем, что душа без дела жизни, без мысли, без земных забот, без боли за земное — праздная душа. И «духовность», рьяно восстающая против «бездуховности» — без земного сильного исторического и социального прикрепления — то и дело со скальзывает в малосодержательную риторику ненового образца...

В отличие от Распутина я не верю в «детскую непосредственность» этих пусть разных, но близких настроений и намерений. Наверное, эта непосредственность и соучаствует, особенно в тех случаях, когда вера

в чудо — последнее наше прибежище, но чаще почему-то бросаются в глаза искушенность и пресыщенность, а иногда — интеллектуальная растерянность и несамостоятельность.

Так стоит ли подаваться в ту сторону? И «ввысь» ли эта дорога? Да и заметно ли, чтобы она выводила куда? Светлее ли на ней?

И если новые рассказы Распутина «светоносны», то не оттого ли, что в них есть и побеждает свет не «запредельный», не из «вышних» сфер, а здешний, земной, но продленный, пробивающийся хоть немного, но дальше прежнего, свет истины? Истины, необходимой для жизни и дела, для творчества, для любви к детям, к человеку, для их защиты, для мужества и самоотверженности.

«Деспотизм и тирания чистого духовного парения» (И. Золотусский) в рассказе «Что передать вороне?» уличены в своей недостаточной внутренней правде, в своей непомерной эгоистической сосредоточенности. Весть о болезни дочери разом обрывает одинокое томление героя, возвращая к реальности. Эта весть так же внезапна и бережлива к концу рассказа, как «удар», доставшийся Сане. У нас нет оснований сказать, что это вторгается какая-то докучливая реальность, мешающая духовной свободе человека. Наоборот, эта реальность наполняет свободу смыслом. Она говорит, что «духовность» и «духовная свобода» ничего не стоят, если некого любить, некого оберегать и нечего защищать.

Возможно, Распутин напомнил нам и о том, что чрезмерно занятый собой, «воспаряющий» человек словно бы нарушает какой-то внутренний закон жизни, невольно, не ведая о том, разрывает какие-то незримые связи, ослабляя защищенность близких и родных существ, и расплата не заставляет себя долго ждать.

Больше всего «чудесного» в «Наташе»: «девушка из сна», воспоминание о сне, в котором вместе летали над Ангарой и Байкалом, встреча наяву, взаимное узнавание, исчезновение девушки. Паря над землей, герой чувствует себя «способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь». Вот-вот тайна «осенит» его, и «в познании горького ее груза» он ступит «на ближнюю тропинку». Но девушка говорит, что заходит солнце и уже пора. Они приземляются, и герой спрашивает: «А дальше?.. Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу еще. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного».

Для И. Золотусского в этих словах важнее всего, что герой хочет «остаться в небе» («Я хочу еще. Я дальше хочу»). «Это хотение самого В. Распутина, — пишет критик. — Ему мало набранной высоты, он жаждет ощутить вольность полета в свободном пространстве — там, где писатель получает полные права на полную правду о человеке».

О герое рассказа забыто; в образную систему «небо — взлет — свободное пространство» включен сам писатель с его «тягой ввысь». Чуть дальше, оставляя в пределах полубившегося образа, критик напишет, что для познания феномена души нужны «полет духа и полет слова», «напряженные высшего порядка». Иначе не постигнуть, как душа «в какие-то мгновения» «способна облететь» безграничный простор.

Но вернемся к герою рассказа, лежащему в больничной палате до и после операции, к его чудесному сну, к медсестре, в которой он узнал «девушку из сна».

В картине и переживании сна нет ничего о «полных правах». И о том, что «вольность полета» и «свободное пространство» якобы дают эти права, тоже ничего нет. Герой Распутина хочет еще побыть в небе, потому что «оставалось совсем немного» (цитируя, И. Золотусский эти слова опускает). Ему оставалось — так он чувствует — «совсем немного» для озарения, для постижения той самой «тайны», в которой «от начала и до конца сошлась жизнь». Он ждет, что откроется какое-то немислимое, конечное, всеисчерпывающее, всеразрешающее знание о жизни. Но странно — вот странно! — отчето в счастливом своем парении над землей он так ясно предугадывает, что груз знания будет горек? Отчего такую он чувствует «тоску и печаль», словно «только теперь» «узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски»? Или все-таки эти горечь и печаль не столько от «высоты», от близкого «осенения» «тайной», сколько от пробивающегося сквозь поэтические видения, неустранимого, абсолютно земного самосознания человека? Может быть, весь этот рассказ со всем его образным строем, «вещим смыслом» и «тайнами» — художественно запечатленное состояние пограничья, когда все существо и сознание человека

обостренно чувствуют свою близость к краю, когда душа поистине зависает меж небом и землей и все это замирание сердца находит вдруг взволнованное поэтическое выражение, поэтическое утешение и надежду?

Так как же быть с вечными вопросами?

Есть такая точка зрения, что всякий законченный текст, исторический, художественный и т. д., есть ответ на вопрос или группу вопросов.

Чтобы «прочитать» текст, нужно понять, на какие вопросы он пытается отвечать.

Может быть, вечные вопросы старухи Анны или Настены — это то, из чего родились повести Распутина, его ответы? И остальное — тоже его ответы мальчику Сане, старой Дарье, самому себе?

Это только кажется, что старуха Анна ждет, что кто-то ей ответит, для чего она «скручивалась в веревку».

Герои Распутина живут, и в их жизни мы вслед за писателем находим все то, на что нужно ответить.

Наверное, время что-нибудь уточнит, и к нам донесется что-то в ответ сверх того, что знаем и поняли. Но, может быть, нужно и в самом деле лучше спрашивать, то есть чуть конкретнее? И с большим доверием к силе, к полету человеческой мысли? И тогда еще убедительнее будут ответы? Жизненно необходимое для человека и его дела?

Валентин Распутин всем, что он написал, убеждает нас, что в человеке есть свет и погасить его трудно, какие бы ни случились обстоятельства, хотя и можно. В его героях и в нем самом есть поэтическое чувство жизни, противостоящее низменному и натуралистическому ее восприятию. Старый «листвен», крепивший Матёру к дну реки, к земле, что-нибудь да значит; думаю, он не отпустит «дух» надолго в «вольный», «запредельный» полет; у наших прав и наших правд — земные корни, и на вечные вопросы никто, кроме человека, кроме художника, не ответит. Это только кажется, что они «уносятся ввысь», все они здесь, с нами, и нам на них в меру сил и дел своих — отвечать.

Кострома.

ЖИВУТ НА СВЕТЕ ТРУДОЛЮБОВЫ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Евгений Осетров. Живут на свете Трудолюбовы.— Татьяна Иванова. Раз-
рази меня децибел!

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Казаков. Осознание подвига.— Ю. Азаров. Этнография детства.

Литература и искусство

ЖИВУТ НА СВЕТЕ ТРУДОЛЮБОВЫ

Юрий Грибов. Контеевские вечера. М. «Советская Россия». 1982. 304 стр.

Юрий Грибов. Когда встает солнце. М. «Современник». 1983. 384 стр.

Журнализм, как известно, не вчера стал явлением литературы. Читатели старшего поколения прекрасно помнят, к примеру, новеллы-очерки Алексея Колосова, десятилетиями печатавшегося на страницах «Правды». Написанные с кровно-родственной сопричастностью к литературным героям, часто имевшим вполне определенные фамилии и адреса, эти очерки заинтересованно и живо повествовали о деревенской жизни, о людях, связанных в единую семью работой на земле. Произведения Алексея Колосова, еще не оцененные до сих пор по достоинству литературной критикой, вызвали к себе некогда сочувственное внимание Константина Федина, Соколова-Микитова, Ивана Бунина... Колосовская манера письма в 60-е годы плодотворно отзывалась и получила развитие в «Липягах» Сергея Крутилина, одной из лучших книг тех лет, посвященных деревне. Иссякла ли в наши дни традиция Алексея Колосова, возведшего газетную зарисовку в ранг художественной литературы?

Ныне наиболее выразительным представителем «малой деревенской прозы», неотрывной от страниц массовой периодики, литератором, чья фамилия постоянно — годами — не сходит с полос «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Литературной России», является, на мой взгляд, Юрий Грибов. Теперь, когда вышли в свет его сборники «Контеевские вечера» и «Когда

встает солнце», есть насущная необходимость еще раз обозреть сделанное писателем.

Мы по-разному воспринимаем одно и то же, опубликованное в газете и напечатанное в книге. Далеко не все, отвечающее злобе дня, выдерживает испытание на долговременную прочность. Книгам Юрия Грибова это, думается, не грозит. Привлекательно уже само авторское отношение к заданной себе теме. В «Контеевских вечерах» автор определил его так: «Меня всегда интересовал в первую очередь сам человек, его отношение к земле, к работе своей, к народным традициям, к его нравственным и духовным основам... Стараюсь всегда при поездках в село встретиться с хорошим человеком, душа которого светится, как лучи восходящего солнца». Доверительно сказано. В этом ключ к разножанровым журналистским пометам на полях народной жизни, перенесенным из путевой записной книжки на страницы литературных опусов.

Если мы обратимся к очерковой литературе недавнего прошлого, то увидим, что в ней проблема часто преобладала над человеком, иногда даже заслоняла его лицо. А ведь давно известно: дело человеком ставится, человеком славится. Юрия Грибова прежде всего интересуют именно люди. Такие, как, например, отец и сын Трудолюбовы, живущие на берегах Ильменя, в Старорусском районе... Писатель как бы пред-

лагает нам встать рядом с ними и увидеть два поколения Трудолюбовых. «...если смотреть на них издали, когда они, уставшие, идут с работы, то можно все перепутать: отца принять за подростка, а сына за взрослого серьезного дядю. Высок и широкоплеч Ленька и, чтобы казаться с отцом вровень, несколько сутулится, голову держит набычив, а длинные руки прячет в карманы штанов. Оба они голубоглазы и русы, у обоих при разговоре губы трогает еле заметная улыбка, и эта улыбка, идущая из души, и заканчивает их родственную схожесть». Какое прекрасное любованье человеком — и, право, герои стоят того! В свое время литературная критика гневно и справедливо обрушилась на «теорию бесконфликтности», когда бурная и противоречивая действительность подменялась безмятежной, а личность во всей ее сложности — «засахаренными» персонажами. Но борьба с лакировкой не равнозначна отыскиванию пятен. С негодованием говоря о плохом, писатель прежде всего отдает должное тем, кто живет так, как Трудолюбовы, соответствующие своей фамилии.

Удачен в «Контеевских вечерах» и очерк «Кадыйская сторонка», посвященный одному из глухих мест в костромских лесах, о которых еще в некрасовскую пору метко было сказано: Буй да Кадуй черт три года искал. Писатель вспоминает предание о том, что в бывалое время казенная бумага из губернии шла сюда... двенадцать лет. Теперь пассажирский самолет затрачивает на рейс из областного центра в Кадый считанные минуты, есть и асфальт до Костромы. Приметы «глубинки», конечно, остаются. Автор любовно подчеркивает, что ему дорого это село, где «все сухое, еловое, звонкое, где смотрят герани из окон»; где руководящему работнику приходится разговаривать с людьми не «по бумажке», а глаза в глаза; где отовсюду виден лес, что не помешало, впрочем, районному центру обзавестись вновь посаженным парком, в котором каждое дерево напоминает о каком-либо семейном или общественном радостном событии. Говоря о кадыйских новостройках (а их немало — музыкальная школа, хлебозавод, гинография, гостиница и пр.), рассказывая о красотах злешних мест, автор рисует сцены жизни во всей их мозаичной пестроте.

Перед нами вереница портретов один привлекательнее другого. Нет, это не стремлящиеся «передать лишь внешнее сходство полотна, под которым» помещается стандартная табличка «Лучший механизатор района». О Михаиле Ивановиче Пав-

ловском писатель рассказывает так, что невольно хочется встретиться с этим человеком, пережившим в годы войны такое, что делает его достойным быть запечатленным в людской памяти: раненый, на костылях, он прошел пешком чуть не всю Украину, принимая участие в схватках с врагом. Теперь Павловский вместе со своей бригадой механизмирует животноводческие фермы. Мастер на все руки, он поражает окружающих добротой, участливостью, умением всюду быть желанным и нужным.

А вот небольшая цитата из очерка Юрия Грибова, в которой говорится о том, как его героиня идет на работу: «Еще все спят, есть ничего не хочется, даже чаю. Иногда и Слава вместе с ней спешит на работу... Но чаще Тоня уходит утром одна. До фермы около километра. Иной раз за ночь дороге так передует, такие накидает сугробы, что еле доберешься. А этой зимой каждый день морозы за сорок». Ничего, кажется, особенного не сказал очеркист, но мы видим живого человека, его характер, его судьбу.

Кстати говоря, особенно удались Юрию Грибову женские лирические портреты. В частности, в очерке «Есть женщины в русских селеньях...». В него вошла зарисовка о знаменитой Прасковье Андреевне Малининой, десятки лет ведшей колхоз в Самети под Костромой, незаурядном человеке. Ее энергия и разносторонняя деятельность создавали своего рода силовое поле, в которое втягивались многие таланты. В колхозе бытовала частушка: «В Самети, в Самети все деревья в замети, все высокие посты женщинами заняты». Другая зарисовка — «Солдатки» — повествует о солдатских вдовах, раскрывает картины быта колхоза, где «двести сорок три человека не вернулись в свои деревни с войны». Сравнительно небогатый колхоз сооружает погибшим памятник. Достойны его и те, кто заменил их в нелегком крестьянском труде: «...встретишь где-нибудь на открытом косогоре одинокую березку, совсем еще юную, но настолько крепкую, что и пила отскакивает от ее коры задубелой. Листья нежны и мягки, а кора — кремень. Вот так и вдовы солдатские, — считает писатель, — глаза молодые, а лицо и руки — настоящего воина».

Лучшая вещь в сборнике — повесть «Контеевские вечера», рассказывающая о выпускнице культурно-просветительного училища Гале посланной работать в библиотекарем в дальний лесной район, в Гребельцы, что в ста сорока километрах от железной дороги. Вся история юной просветительницы

цы наших дней, упрямо ходящей по домам с книгами, подкупает прозрачностью и чистотой. Заметим, что еще в 20-е годы наша литература воспевала просветителей, людей самоотверженных и действительно сеющих в народе доброе, вечное. Достаточно вспомнить трогательные образы из рассказов Семена Подъячева, Александра Неверова, Пантелеймона Романова... Герои произведений 20-х годов ощущали себя культурными одиночками, вынужденными преодолевать косность среды. Не такова, конечно, обстановка, в которой действует Галя, и писатель это подчеркивает. Однако и сегодня вопрос о культуре современного села — один из самых трудных вопросов. Юрий Грибов его не упрощает, но и не претендует на универсализм своих ответов. Автор прежде всего стремится показать поэзию будничной работы, связанной с «зарем жизни», и это ему удается. Поколение, вступившее в жизнь, по-своему оценивает окружающее и глазами Гали в повести заново открывает мир, в котором много солнца, зелени, а морозы трещат только затем, чтобы румянец полыхал на щеках.

«...книгу читаешь, будто двумя жизнями живешь...» — говорит один из благодарных Галиных читателей в Контеево, которые вместе с ней, часто читающей вслух, «засиживались до полуночи, волнуясь за Гришку Мелехова и Аксинью, восторгаясь чеховской «Степью», проникновенными рассказами Неверова, подвигами фронтовиков и партизан, ясными пушкинскими стихами». Это ли не торжество дела, которому служит юный библиотекарь?

Повесть «Контеевские вечера» достойно венчает сборник, посвященный людям, их духовному миру, делам и мечтам.

Несколько иной характер носит проблематика сборника «Когда встает солнце». Первое, что сразу бросается в глаза, — необыкновенная широта географии: Волга, Сахалин, Чухлома, Ереван, Бенгальский залив, берега Женевского озера... Конечно, можно сказать, что место действия — дело десятое. Но в данном случае это не так. Сохранив пристальное внимание к людям, автор стремится взглянуть на их дела с высот времени, позволивших увидеть Землю из космоса.

В центре внимания сборника «Когда встает солнце» — вопрос о бережном отношении к природе, окружающей человека среде биологической и духовной.

Юрий Грибов давно уже настойчиво про-

должает дело, начатое в послевоенные годы Леонидом Леоновым, продолженное в 70-е Валентином Распутиным и другими литераторами, развивающими мысль о том, что наше будущее теснейшим образом связано с тем, как мы обращаемся с лесами, реками, птицами, травами, цветами... Но бережного обращения требует и духовная среда. Это и прошедшее, былое (неотрывное, однако, от современной жизни). Это и душевная теплота, дружеское расположение — то, что издавна называют человечностью и чем проникнуты все очерки, повести и рассказы Юрия Грибова. Так, говоря о селе Великом, где всегда приезжего после трудов праведных сажают за стол, угощая крупной желтой антоновкой, Юрий Грибов подчеркивает вроде бы незначительную деталь, заставляющую между тем задуматься над очень важными проблемами человеческих взаимоотношений. В селе Великом здороваются с незнакомыми: «Идешь по улице и слышишь: «Здравствуйте!» Старики, мальчишки, женщины — все говорят «здравствуйте!» при встрече. И ты отвечаешь. И ответив, чувствуешь себя среди них своим». Читая это, вспоминаешь, что в больших городах, увы, соседи по лестничной площадке далеко не всегда приветствуют друг друга...

Что же касается зарубежных зарисовок, вошедших в сборник «Когда встает солнце», то они написаны в добротной репортерской манере, но, пожалуй, несколько поверхностны. Любопытно, конечно, узнать, что автору довелось беседовать и встречаться с тем, кого знал и любил дядя Хэм (так на Кубе называли Хемингуэя), но тому, кто всерьез занимается его творчеством и биографией, зарисовка дает сравнительно немного. Так же как, скажем, и некоторые подробности о работе итальянского издательства «Джунти»: они примечательны, но хотелось бы узнать больше.

Максим Горький любил размышлять о том, что дело, если его выполняешь с любовью, превращается в искусство. Юрий Грибов, несомненно, влюблен в свое писательское дело. И его творческий поиск плодотворен. Георгий Марков однажды отметил, что, говоря о русской прозе, нельзя теперь пропустить имя Юрия Грибова, не рискуя обеднить целостную картину. Беднее стала бы и наша жизнь без таких людей, как славные Трудюлюбовы, о которых писатель рассказывает, по сути, в каждом своем произведении.

Евгений ОСЕТРОВ.

РАЗРАЗИ МЕНЯ ДЕЦИБЕЛ!

Молодежная эстрада. Репертуарный сборник для художественной самодеятельности. «Молодая гвардия», 1983, № 6.

Нон-стоп, дорогие друзья. Нон-стоп, остальное приложится... Когда я дочитала до конца этот журнал, честно скажу, не могла решить, смеяться или плакать. Потом все-таки решила плакать: на миру и нон-стоп, друзья мои. Потому что дело нештучное.

Скажите мне, что нельзя было танцевать в вашей юности, и я скажу, сколько вам лет. Не скрою, в моей нельзя было танцевать стилем.

Распорядитель громко и коротко хлопал в ладоши, музыка смолкала. «Замечено, что две пары танцуют стилем», — слышался строгий голос. И ничего нам не надо было объяснять. Если эти две пары не станут танцевать как надо, они всем испортят веселье, танцы закончатся. А в вашей молодости срамили за рок? За буги-вуги? Ах, за тырлу... Значит, вы весьма пожилой человек. Так вот, настало время наконец, время такой упительной, такой безоглядной воли, что танцевать можно все.

И от этого хочется смеяться, и хочется прыгать, и кого-нибудь качать, высоко подбрасывая в воздух, не правда ли?

Неправда.

Я листаю сборник «Молодежная эстрада» и думаю о массовой культуре. Нет, не о занадной. О той, что произросла на нашей почве. Этот сборник в синенькой обложке, что лежит на моем столе, и есть представитель массовой культуры.

Его тираж — 280 тысяч экземпляров, потеснитесь иные другие журналы! Это репертуарный сборник для художественной самодеятельности. Для тех, кого тянет к искусству, шесть раз в год выпускается нечто вроде пособия: делай так — и получится как бы искусство.

Свистать всех наверх,
Собрать рядом всех,
Улыбки, как парус, поднять!
И полный вперед!
Нас море зовет
Рассветные зори встречать!

Вам какая строчка здесь больше всего нравится? Мне — «собрать рядом всех». Хорошая такая, поэтическая, образная и вообще... И вообще это говорит капитан. Вернее, декламирует или поет. Это такой капитан дископрограммы. Как сообщается, у него штурвал в виде грамофонной пластинки и целая команда: диск-старпом, рок-лоцман, слайд-навигатор, матрос светопульта и топ-команда. Капитан все время читает

стихи или шутит, то есть ведет музыкальную регату.

«Я вижу веселые лица парней и девушек, — возглашает капитан согласно тексту, напечатанному в «Молодежной эстраде». — Они молоды, глаза горят огнем мечты, сердца полны отваги. Они готовы к плаванию. Но разрази меня децибел! Уже пора отшвартовываться, а флотилия не готова к отплытию...»

Авторы сценария дископрограммы «Поднять парус!» Э. Рыжик и А. Розенфельд в своей простоте неотразимы.

Я, в общем, понимаю, чем все это вызвано. Так бы приходили упомянутые парни и девушки в свои дискотеки и топтались под очень легкую музыку, и цветные тени ходили бы по их молодым лицам. А хлопнуть звонко в ладоши нельзя: времена не те, па родимой «барыни» забыли еще мамы теперешних тандоров. Хлопнуть, однако, все же хочется. Придать вид благопристойности. Умственности. Культуры. Даже, может быть, искусства. Вот и пишется сценарий. «Сценарий» — ведь это культурное слово. Оно из искусства, значит, все будет хорошо.

Вы чувствуете, как становится веселее от самых первых слов этого диск-капитана, рок-навигатора, топ-конферансье: «Я вижу веселые лица парней и девушек. Они молодые? Вы замечаете, как ваши «глаза горят огнем мечты, сердца полны отваги»? Вам понятно, сколько юмора в афоризме «разрази меня децибел»?

Господи боже праведный, как объяснить людям, что такое пошлость? Как втолковать им, что она для любого, даже самого самодеятельного искусства погубительна, что от нее вред, что от нее хуже, что пусть лучше топчутся без всяких слов, пусть топчется топ-команда, пока ей не станет жарко, пусть реализует молодую потребность в движениях, ритме... По сценарию же все гораздо «художественнее»:

«...на парусах-экранах возникают слайды лазурного моря... Топ-команда (хореографическая группа) исполняет стилизованный морской танец... Звучит танцевальный блок «нон-стоп»...»

«Друзья мои, дети двадцатого, песенного, века, — говорит капитан (а вы думали, какой у нас век? Вот: песенный. — Т. И.). — Поистине мы — в море музыки! Никогда еще мир музыки не был так широк и многообразен. Звучат и клавишин, и орган, и ги-

тара, и симфонический оркестр, и синтезатор. Без хорошего рок-лоцмана в море современной музыкальной эстрады тотчас собьешься с курса». («Замечено, что две пары танцуют стилем...»)

Далее продолжает старпом: «Исходя из текстов аннотаций творчества популярных эстрадных композиторов и исполнителей, которые мы сейчас вам вручим, постарайтесь определить, о ком идет речь». Что за художественное, не правда ли, слово. Одними родительными падежами заслушаться.

Итак, среди присутствующих объявлен конкурс на самый стандартный стандарт мышления, начинается умственная работа.

«Она не просто поет, а зримо представляет нам своих героев, заставляя смеяться вместе с ними, грустить, размышлять... Ее путь на большую эстраду, путь к успеху был долг — длиной в 10 лет. Назовите эту певицу».

Пугачева, оказывается.

Потом угадывают «Песняров», ансамбль «Арсенал»... Наконец капитан отдает команду: «Топ-команда! Приступить к очередным учениям! Задание — надрать палубы!» Это теперь так танцуют...

А как поют? Поют вослед Пугачевой, вместе с которой мы, напомним, «смеемся, грустим, размышляем»:

Вся земля теплом согрета,
И по ней я бегу босиком.
Я пою,
И звезды лета
Светят мне даже днем.
Даже днем.

Лето, ах, лето!
Лето звездное, звонче пой!

В шестом номере «Молодежной эстрады» именно эта песня, эти стихи не напечатаны. Но к разговору о массовой культуре тексты песен Ильи Резника, одного из постоянных авторов репертуарного сборника самодеятельности, имеют самое непосредственное касательство. «...это, простите... поэзия? Я отказывался верить своим глазам», — восклицал не так давно критик Алексей Кондратович, открывший себя поэта Резника. И приводил примеры его творчества, миллионами записей тиражированного Аллой Пугачевой и всюю распеваемого топ-командами. «Я устала быть хорошей, я устала быть плохой, жить всерьез и понарошку, слышать все и быть глухой». Или так: «А мне надо отчаянно жить, выжимая предельную скорость, чтоб удачу за гриву схватить, извините меня за нескромность». Или (уже без извинений за нескромность): «Вы у себя в плену. А я свободна. Я званий не имею. Ну так что ж?! Любовью я отме-

чена народной, а выше званья в мире не найдешь».

Впрочем, речь ведь, в сущности, не об одном авторе. Речь — о песенной шабашке. И о шабашниках от поэзии, которые выходят не только в эфир, но и выпускают книги, много книг (отлично, между прочим, оформленных: на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями, с фото и т. п.).

А может быть, все существует отдельно — культура и массовая культура? Вот мы ведем свои дискуссии, и до таких там удается нам договориться тонкоостей, до таких глубоких обобщений подняться! А в это самое время Управление культурно-просветительных учреждений Министерства культуры СССР и Союз композиторов СССР проводят Всесоюзный конкурс «на создание песен о Родине». И премию на этом конкурсе, как сообщает «Молодежная эстрада», получает песня с таким напевом:

Мы в нелегких дорогах крепчали
И поэтуо любим сильней
Эту землю минувшей печали
И сегодняшних ярких и радостных дней.

Как вам эта «земля минувшей печали»? А наоборот того: «сегодняшних ярких и радостных дней»?

Хотите еще спеть?

Рожденным подарит почетное право:
Работать, учиться, творить и мечтать.
Проводит на подвиг и встретит со
славой,
Как верный товарищ, как нежная мать.

В «Молодежной эстраде» не один только сценарий да песни. Там есть и пьеса «Дорога» В. Железняк и Г. Соколова. В пьесе действуют Вика — технолог-химик, 18 лет, шоферы Борис, Николай, Тимофей, Мишаня, еще шоферы, названные «первый», «второй», «третий», а также «четвертый» — рабочий, водители грузовиков и рабочие в столовой. Шоферы отличаются друг от друга, кроме имен, возрастом. Особенно трудноуловима для исполнителей разница между Николаем и Тимофеем: одному 29, другому 30 лет. Как отличить Николая и «второго», просто не знаю: им по 30 лет, а больше о них ничего не известно. Борису с Мишаней по 25 лет — и тоже больше ни гу-гу. Как-то актеры будут входить в образ... Действие происходит на БАМе. Вослед «прологу» наступает «затемнение». А теперь я проделаю следующее. Как вы сами понимаете, раз это пьеса, то герои все время разговаривают. Их разговоры перемежаются авторскими ремарками. Я выпишу лишь основные ремарки, и вот посмотрите, что получается.

Кабина грузовой машины. Ночь. Идет

27 составных частей, описанных всего на 9 журнальных страницах.

Еще мы могли бы спеть хором, например, текст Н. Шумакова:

Вахту сдам трудовую друзьям на рассвете.
А потом буду солнце, усталый, встречать,
А в бескрайней степи, за курганами где-то
Будут ярко машины огнями сиять.
А в бескрайней степи, за курганами где-то
Будут «ЗИЛы» огнями сиять.

Однако слава богу, что текст не читал Алексей Койдратович: чего доброго, опять бы испортил песню...

На обложке написано: «Репертуарный сборник для художественной самодеятельности». То есть культуру — в массы. Хочется заступиться за культуру. И за массы. Иначе просто беда.

Татьяна ИВАНОВА.



Политика и наука

ОСОЗНАНИЕ ПОДВИГА

Летопись великой стройки. Составитель О. В. Цыганов. М. «Известия». 1983. 270 стр.

Большое видится на расстоянии... Эта метафора поэта не случайно часто повторяется многими — истинность мысли, заключенной в ней, бесспорна. Да, чтобы до конца осознать большое, нужно расстояние — прежде всего время. Строительство Комсомольска-на-Амуре, спасение челюскинцев, движение стахановцев, подвиги Великой Отечественной, поднятая целина... — уже в те годы, когда все эти события вершились, они вызывали восхищение современников, но вот идут годы, и те же подвиги открываются нам все новыми и новыми гранями.

Понимая неизбежность, необходимость расстояния — для того чтобы рассмотреть большое, — иногда все-таки хочется сказать: а жаль. Жаль терять время! Героическое событие в истории — явление всегда поучительное, и чем скорее мы его осознаем (и умом и сердцем), чем глубже проникнемся им, тем скорее и плодотворнее будет его воспитательный эффект. Стремление сократить современникам расстояние до большого — помочь скорее понять принципиальное значение важных фактов в жизни народа — в первую очередь, наверно, и движет авторами книг, написанных по горячим следам свершений.

«Летопись великой стройки» — одна из таких книг. Сборник, составленный из очерков, корреспонденций, интервью, репортажей и зарисовок, написанных в разное время разными авторами, оказался цельным рассказом об одном из замечательных событий в жизни страны — строительстве грансконтинентального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Среди авторов книги — бывший министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, ныне заместитель Председателя Совета Министров СССР, Герой Социалистического Труда Б. Е. Щербина, ми-

нистр газовой промышленности СССР В. А. Динков, министр энергетического машиностроения СССР В. М. Величко, второй секретарь ЦК Компартии Украины А. А. Титаренко, ряд других крупных специалистов и организаторов производства, писатели, рабочие, журналисты. Сборник рассказывает не только о том, как шли работы на самой трассе газопровода, но и о деятельности проектировщиков, ученых, машиностроителей — всех тех, кто в немалой степени обеспечивал успех этой работы.

Книга о людях великой стройки, насыщенная большим количеством фактов, документов, убедительно свидетельствует: на наших глазах, в наши дни, сегодня советские люди совершили очередной исторический подвиг. Как иначе назвать то, что было сделано на трассе? Вдумаемся в такие цифры. Второе быстрее, чем полагалось по норме, была закончена магистраль длиной около 4,5 тысячи километров! Строители преодолели почти 150 километров вечномерзлых грунтов, свыше 700 километров болот, более двух тысяч километров лесов, 545 километров Уральских и Карпатских гор, 561 реку, две с лишним тысячи километров составила общая длина сварочного шва. Чего стоила людям вся эта работа!

Да, газопровод прокладывался в другое время, чем строился Комсомольск-на-Амуре. На вооружении у строителей была самая современная, совершенная техника, некоторые машины специально создавались для сооружения газопровода. Из книги узнаем: объединенными усилиями нескольких научно-исследовательских учреждений — прежде всего коллектива Института электросварки имени Е. Патона — был разработан передвижной комплекс механизмов для электроконтактной сварки «Север-1» (на принципы, заложенные в комплексе, приобрели лицен-

зии фирмы США и Японии); на стройке для контроля качества сварки использовались специальные автоматические установки — в них применялись рентген, радиография, ультразвук; для покорителей трассы газопровода машиностроители освоили специальные вездеходы, болотоходы, трубовозы, болотные трубоукладчики, плавающие экскаваторы.

Государство позаботилось и о том, чтобы облегчить быт строителей газопровода. Были созданы притрассовые полевые городки, для них, как рассказывает в книге Б. Е. Щербина, изготовили «около сорока тысяч комфортабельных вагонов-домов, более семи тысяч блоков вахтовых комплексов «Восход» и около тысячи лечебно-профилактических блоков бань-саун... изготовлен спортивный комплекс, предназначенный для притрассовых полевых городков строителей. В него входят зал для спортивных игр и плавательный бассейн. Построен завод по выпуску вахтовых автобусов для северных трасс».

Да, строители пришли на трассу во всеоружии. Но несмотря на это, прокладка газопровода потребовала от людей тяжелой, самоотверженной работы. Лучшие страницы рецензируемой книги рассказывают об этом — рисуют галерею портретов замечательных тружеников, наших современников, воплощающих в себе великолепные черты советского рабочего человека.

Вот бригадир Михаил Буянов, строивший участок газопровода в Северном Приобье. Он «кисколесил, облетал, а то и пешком прошел эту не слишком гостеприимную землю вдоль и поперек». Не было таких трудностей, которые не преподнесла бы стройка его бригаде, и не было таких трудностей, которые бригада не одолела бы. «Лютая сибирская зима вдруг помягчала, будто заленилась морозить и пуржить. Холода не спешили, как обычно, навести ледяные мосты на болота и топи, а их вдоль трассы — за полтысячи километров». Как в этой ситуации станет выполнять свой план бригада, рассказывается в одном из очерков книги...

Вот руководитель комплексного технологического потока Герой Социалистического Труда Валентина Беляева. Она и муж ее «сооружали газопроводы на Севере, в тундре, в знойной Средней Азии, потом снова возвращались к Полярному кругу». Что влечет ее к вовсе, казалось бы, не женскому делу? На каких нравственных принципах построила она свою жизнь? И об этом в книге...

Вот бригадир Анатолий Шевкопляс, кото-

рый, «получая очередное задание бригаде, старательно записав все в блокнот, неизменно произносил: «Мало, трошки прибавьте!» Эпизоды его рабочей биографии, изложенные в одном из очерков, несомненно, взволнуют читателя.

В сборнике значительное место уделено рассказу о бесславном провале американского эмбарго на поставки западными странами оборудования для газопровода. Как известно, этот дискриминационный шаг администрации Рейгана был рассчитан на срыв намеченных нами сроков пуска магистрали. Авторы доказывают: эмбарго принесло убытки только тем, кто подчинился Вашингтону; промышленно-экономический потенциал нашей страны вовремя позволил сдать стройку в эксплуатацию и без западных поставок. Конечно, это потребовало дополнительных усилий не только от рабочих, а и от «мозгового центра» стройки — проектировщиков, инженеров. Один из лучших очерков посвящен Николаю Портянку — директору Донецкого ЮжНИИгазпрога. Институт добровольно взвалил на себя тяжелую ношу — проектировщикам пришлось это сделать, когда президент США объявил о своих санкциях. «Люди работали по полторы смены... Общий вес проектной документации по газопроводу века составил около 20 тысяч килограммов. Но не «весовой» юбилей торжествовали проектировщики в тот день, когда были изготовлены и отправлены строителям последние чертежи, а отмечали радостный факт, что они разработали полный вариант замены зарубежных агрегатов отечественными».

Таким людям по плечу оказалось в е л и к о е. «Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород по праву назван стройкой века, — авторитетно свидетельствует Б. Е. Щербина. — Об этом говорят и у нас, и за рубежом. И действительно, еще никогда и нигде подобный газопровод не сооружался. Даже в ряду гигантских магистралей, созданных в нашей стране, он поражает своими масштабами. По своим техническим и инженерным параметрам это объект высшего уровня, и соорудить его так, как он задуман, — сверхзадача даже в нашей стране, имеющей в этом большой опыт».

Книга составлена из произведений, опубликованных до этого в различных периодических изданиях, главным образом в газете «Известия». Вряд ли авторы, создавая свои очерки, с самого начала были уверены, что их работы окажутся рядом — в сборнике. С одной стороны, это определило жанровое и тематическое разнообразие «Летописи...» (что, безусловно, ее достоинство), с

другой — и ее слабость: отсутствие сквозного композиционного начала; в некоторых главах — перегруженность текста техническими терминами, канцеляризмами; «Летопись...», интересно повествуя о героях сибирской части магистрали, гораздо скромнее рассказывает об остальных... Можно возразить на это: перед нами сборник, то есть книга, состоящая из разнообразных произведений. Да, конечно, это так, и все же... Хочу в связи с этим высказать одно предложение.

В редакциях некоторых газет (сужу по собственному опыту) иногда рождалась идея: давайте, говорил вдруг кто-либо из журналистов, заведем рубрику «Газета пишет книгу», выберем объект, составим план... Идея всем нравилась, казалось, исполнить ее — дело лишь профессиональной техники. Но, к сожалению, на разговорах о рубрике все, как правило, и кончалось. Искренне пишу — к сожалению, потому что до сих пор убежден в плодотворности са-

мого замысла. Газета способна следить за событием, видеть его в развитии, то есть у газетчиков есть все возможности создать яркую книгу — летопись события. Что для этого нужно (кроме, конечно, таланта и большого труда)? Что нам в редакциях в свое время не позволило осуществить идею? Причин, наверно, было несколько, но одна из главных, по-моему, заключалась в том, что журналисты оказывались недостаточно прозорливы в выборе темы. Не все годится для такой книги, «героем» ее может быть лишь крупное, важное, принципиальное явление в жизни. Строительство газопровода Уренгой — Помары — Ужгород безусловно одно из таких явлений, и если бы журналистам газеты заранее нацелились на книгу...

Это не упрек авторам «Летописи великой стройки». Это в порядке предложения (может быть, вовсе не бесспорного) на будущее.

В. КАЗАКОВ.



ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА

Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М. «Наука». 1983. 232 стр.

Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. М. «Наука». 1983. 192 стр.

Что такое детство? каковы его особенности? есть ли связь между психологическим типом личности, способами воспитания и типом социальной структуры? между строгостью воспитания и позднейшими «отрицательными» образованиями у взрослых? как связаны друг с другом воспитание ребенка в духе независимости и потребность у молодых людей к достижению определенного уровня жизни? в какой мере детские тревоги определяют психическое самочувствие взрослых? — вот далеко не полный круг вопросов, затронутых в объемном исследовании сотрудников Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР.

В двух одновременно вышедших сборниках под общей редакцией доктора философских наук И. С. Кона анализируются методы дисциплинирования, подготовки к труду и семейной жизни, соотношение семейного и общественного воспитания.

В первом сборнике рассматриваются некоторые аспекты воспитания детей у монголов, японцев, вьетнамцев, кхмеров, малайцев, шанов (Бирма), ифугао (Филиппины). Во второй книге исследуется проблема отношения к детям у народов Ливана, Афганистана, Индии, Непала, Шри-Ланки.

За тридцать лет работы в практической и теоретической педагогике я встречался с разными подходами к изучению проблем детства — теперь вот впервые столкнулся с этнографическим!

Итак, в центре проблема детства как неотъемлемая часть жизни любого народа, его традиций, образования и культуры. Не зная, как тот или иной народ воспитывает своих детей, не понять ни его образа жизни, ни особенностей его социальной психологии, ни его социальной истории, отмечают авторы исследования.

Раньше мне казалось: чем ниже уровень культуры народа, тем примитивнее воспитание, грубее и жестче отношение к детям. О прогрессе можно судить по тому, как та или иная социальная общность относится к детям. Это, по всей вероятности, так, и все же тот огромный этнографический материал, который представлен в двух сборниках, убеждает и в некоторых иных поворотах в понимании природы становления человека, воспитания. Открывается по-новому тонкий мир отношения к детям как основе счастья семьи, народа, государства. Сквозь призму детства, если можно так вы-

разиться, по-иному видится мир культуры, искусства!

Последние два века, в особенности с середины прошлого столетия, отношение к детству нередко определяло направленность творчества таких выдающихся мыслителей, как Толстой и Достоевский, Гессе и Джойс, Фолкнер и Пруст. На перекрестках мира детства и взрослых тревог неожиданно высекаются необыкновенной чистоты нравственные истины и художественные образы, открываются особые законы восприятия психологических состояний человека.

Не случайно авторами исследования названы, а мною повторены имена выдающихся писателей, столь много внимания уделявших проблемам детства. Единство философской, эстетической и научной культуры у названных писателей обнаруживается через сложнейшие переплетения детства и взрослости, утратившей или не утратившей связи с тем, что было в детстве.

Когда знакомишься с этнографическими проблемами некоторых стран Азии, когда узнаешь, что у филиппинцев, или народов Индии, или малайцев и вьетнамцев царит особый культ детской свободы и радости, а также о том, что иметь много детей — самое великое счастье и что культ родственности направлен против разобщенности, а отсутствие принуждения, телесных наказаний помогает воспитывать любящих детей. уважающих своих родителей, невольно (вслед за Достоевским) вновь обращаешь внимание на неразрывную связь мира детства с философией, с мировоззрением взрослых.

В культуре разных народов, между прочим, существует неодинаковое отношение к детям. Одно — авторитарное, когда к ребенку относятся как к материалу, из которого можно приготовить в лучшем случае хорошего исполнителя. Другое — основанное на авторитете знания, любви, красоты, когда ребенку помогают освоить опыт человеческой культуры, воспитывают в нем гражданина. Воспитание гражданина зависит от всей жизни детей, от того, когда и как ребенок просыпается, как общается с другими детьми, как они играют, чему радуются и от чего страдают. Психологическая наука, указывая на взаимосвязь между образом жизни ребенка и результатами формирования личности, нередко игнорировала интимный мир становления личности. Я, пожалуй, не могу назвать ни одной психолого-педагогической работы, где бы давался хоть какой-то анализ «жизни» ребенка, когда он остается один в комнате — один на один со своими страхами и сомне-

ниями, со своим наличным багажом духовной защищенности. Вспоминаю два эпизода из романа «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста.

Первый, когда мальчик, идя спать, утешался мыслью, что мама придет поцеловать перед сном, и так ему хотелось при этом сказать: «Поцелуй меня еще», но он знал — и отец и мать стараются убить в нем эту потребность, и он нарушает табу. ждет наказаний; и вдруг награда — мама идет к нему в комнату. И вывод писателя: такого рода мгновения и создают личность. Такого рода мгновения, как известно, многого решили в становлении Пушкина (няня Арина Родионовна), Толстого (Наталья Савишна), Горького (бабушка) и других.

И второй эпизод, собственно, даже не эпизод, а некоторое движение души. Марсель пришел к тете, и она дала ему пирожное с чаем. Едва пирожное коснулось неба, как весь мир переинчался: наступил такой неопикуемый восторг, будто открылась новая и самая главная истина в жизни. И в последующие годы в нем всегда жила потребность вызвать, воскресить эти восхитительные ощущения, достигнуть тех далей детской радости, чтобы мир уже взрослого человека окрасился щедрой радостью, полной и неуемной, как все, что было в детстве. Собственно, здесь, в этом движении души, есть главная мысль, о которой очень точно сказал Достоевский в «Братьях Карамазовых» — о том, что, может быть, этот радостный душевный порыв в детстве и есть самое наилучшее воспитание и надо возможно больше набрать этих радостных воспоминаний — и тогда человеку откроется настоящее счастье.

Я об этих сложных пластах литературно-творческого плана вспомнил не случайно. Как педагог и раньше смотрел на подобные описания с точки зрения мира детства. Я думал: трудовое усилие и ограничения должны непременно чередоваться с удовольствием. И как я был удивлен, узнав, что у японских детей специально воспитывается потребность в так называемом амаэ (ласка, нега). Если потребность в амаэ не удовлетворяется, отмечается в «Этнографии детства», ребенок растет капризным и обиженным. Снять неуступчивость и раздражительность можно разными методами, и прежде всего с помощью амаэ.

Детство, заметил советский историк А. Я. Гуревич, — особое психическое состояние, которое никак нельзя рассматривать как более низкий этап человеческого развития: дескать, дети — это несмысленныши, за которыми нужен глаз да глаз. От такого от-

ношения к проблемам детства происходят многие беды в воспитательной практике. Прогрессивная педагогика всегда рассматривала мир детства как синтез определенных достоинств: это и неумная энергия (между прочим, Шарль Фурье считал энергию главным качеством личности человека будущего), и непосредственность как особого рода пытливость и любознательность, и особый склад ума, когда потребность к игровым творческим затеям рождает тот сплав, который Маркс называл игрой физических и интеллектуальных сил человеческой личности. От единения преимуществ взрослых (их мудрости, опыта, знаний, сдержанности) с преимуществами молодости (инициатива, находчивость, неутомимость, оптимизм) зависит эффективность той или иной воспитательной системы. Вспомним опыт Макаренко, Шацкого, Корчака — здесь отразилось это единство преимуществ. Оно основывалось на знании природы детства, вере в могучие возможности человеческого «я», в социальные и биологические ресурсы становления человеческого характера.

«Этнография детства», мне думается (хотели этого авторы или нет), направлена на изучение того, в какой мере переплетаются внешние и внутренние стимулы воспитания, в какой мере этнографические знания могут быть использованы в воспитательной практике. Авторы отмечают, что многие ученые стремились ответить на подобные вопросы. При этом одни исходили из того, что психические процессы, совершающиеся в детстве, дают ключ к пониманию культуры (Фрейд), другие, наоборот, что культура служит ключом к пониманию многих особенностей детства (Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид). Более интересной представляется вторая точка зрения, положившая начало систематическому изучению социокультурных факторов социализации. Авторы «Этнографии детства» развивают интегративную тенденцию, то есть делают попытку целостно, всесторонне, системно описать «экологию человеческого развития» (Бронфенбреннер), где микро- и макросоциальные системы находятся в постоянном взаимодействии, где развивающаяся личность воздействует на среду, где воздействие среды на личность оказывало бы влияние не иначе как через механизм индивидуальной или коллективной деятельности воспитуемых. То есть методологическая позиция исследователей этнографических проблем основывается на главном марксистском тезисе о совпадении самоизменения личности и изменения обстоятельств.

Хотелось бы внести некоторое уточнение

методологического плана, касающееся содержания категорий «воспитание» и «социализация». Социализация авторами трактуется в широком смысле как различные влияния среды в целом, которые приобщают индивида к участию в общественной жизни, учат его пониманию культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных ролей, а воспитание, по мнению И. С. Кона, подразумевает главным образом систему направленных воздействий, посредством которых индивиду пытаются привить желаемые черты и свойства. То есть за воспитанием остается роль целенаправленного влияния, а за социализацией — спонтанные воздействия, в результате которых индивид приобщается к культуре и становится полноправным членом соответствующего общества. Такое разделение, на мой взгляд, неправомерно. Больше того, такое отделение воспитания от воздействия социальной среды чревато тем, что все воспитание, как это можно заметить в схоластически теоретизирующей казенной педагогике, сводится либо к парному варианту воздействия в системе «учитель — ученик» или «родитель — ученик», либо в лучшем случае к учету и системе коллективных воздействий, когда коллектив или группа ребят становятся, по выражению известного немецкого педагога Герхарда Нойнера (ГДР), продленной рукой учителя, то есть выполняют роль чисто авторитарную, разъединяющую, утверждающую разобщенность в детском обществе. Воспитание, справедливо считал А. С. Макаренко, — самый широкий социальный процесс. Научной педагогикой и психологией доказано, что в формировании ребенка участвуют и сам ребенок, и обстоятельства, и воспитатели, и процесс становления личности происходит в различных видах деятельности и общения. В известном смысле ребенок сам является творцом своего воспитания. В том смысле творцом, что воспитывает та деятельность, которая исходит из души ребенка, является его собственной деятельностью, основанной на побуждениях его «я». В противном случае воспитание становится целенаправленным превращением детей в слепые орудия чужой воли.

Обоснованный наукой тезис о совпадении изменения обстоятельств и самоизменения личности является определяющим в трактовке сущности воспитания. Он утверждает деятельную природу самой личности ребенка, осуществляющего свое развитие в том числе и прежде всего через вхождение в различные слои человеческого общения, то есть через социализацию. Та-

ким образом, между социализацией и воспитанием нет не только никакой пропасти, напротив, социализация есть непременно условие всякого нормального воспитания, и вне ее нет развития. В трудах многих советских педагогов объясняется характер взаимосвязи жизнедеятельности ребенка и целенаправленного влияния воспитателей, а единство жизни и воспитания возводится в основополагающий принцип становления человеческой личности.

Собственно, если уж говорить об этнографическом подходе, то никак нельзя его сужать до педагогического, то есть до действия системы «учитель — ученик». Этнография больше тяготеет к «средовым» подходам, к социальным образованиям, к системе «человек — среда».

Надо сказать, «Этнография детства» (без должной систематизации, эмпирично, очерково) дает широкую картину развития названных направлений формирования человеческой личности, разворачивает крайне актуальные проблемы воспитания. Возьмем, к примеру, такой раздел, как описание некоторых сторон традиционной системы социализации детей. Понятие «традиционное» наполнено любопытным смыслом «Традиционное воспитание» — синоним народной педагогики, т. е. воспитательных идей и опыта, передающихся из поколения в поколение в народном творчестве, обрядах, обычаях». Невольно вспоминается Ушинский, его мысль о том, что воспитание, построенное на заимствованных чужих иноземных формах и методах, всегда будет ущербным. Главным в народных традициях является отношение человека к труду и к человеку. Труд — источник всех радостей и счастья, ибо в нем сосредоточена животворящая духовная сила, которая пробуждает человеческое достоинство, учит социализации с гуманистической направленностью, если можно так сказать. Эта тема актуальна для творчества многих наших писателей.

Возрождение нравственно-трудовых традиций в воспитании детей, обращение к народным обычаям и добрым нравам является одной из важнейших линий в творчестве Ф. Абрамова («Дом»), В. Белова («Лад»), В. Астафьева («Последний поклон»), В. Распутина («Прощание с Матёрой») и других.

Поразительно, что педагогическая психология, так всеядно развивающая идею выдающегося советского психолога Л. С. Выготского о культурно-исторической практике как главном факторе развития психики, почти не касается вопроса влияния народных традиций на формирование личности. Будто и не существует в нашей стране пси-

хологических и этнографических особенностей у народностей различных регионов. А кому из нас не известно, к примеру, как замечательно и своеобразно отношение к детям в таких республиках, как Армения и Грузия, Таджикистан и Узбекистан, как развиваются и всячески укрепляются межпоколенные связи, как воспитывается у детей уважение к родителям, к старшим, к истории своего народа! Я невольно вспоминаю несколько пренебрежительное отношение некоторых специалистов от педагогической психологии, когда все традиционное заносится ими в разряд отсталого, консервативного, а все нетрадиционное — в разряд передового, нового.

Такой примитивной и вульгаризаторской логики избежали авторы «Этнографии детства». Оправдалась попытка объективно подойти к реальным процессам жизни, подойти с величайшим уважением к традициям, которые складывались веками. По мнению ряда ученых, отмечают авторы рецензируемой работы, в японском обществе в целом господствуют те же отношения, что и в семье, их основные принципы сложились еще в феодальной Японии и относятся, таким образом, к числу «исконно японских». Чтобы понять современное общество, нужно хорошо знать обстановку в японской семье, а знать современную семью можно, только поняв семью старую, утверждают японские ученые...

Особенность воспитательной практики любого народа состоит в том, что глобальное (социально-историческое, или, как говорил психолог Л. С. Выготский, культурно-историческое) всегда просвечивает в микроявлениях, в простых истинах, движениях, обычаях. Воспитание, составная часть культуры, как и литература, выражает себя в национальных формах.

В природе самого детства сосредоточен механизм сохранения и развития общечеловеческой культуры. Прав критик А. Бочаров, когда отмечает, что «взаимообогащение культур — менее всего перемещение и транспортировка ценностей», что духовный опыт всякого народа глубоко своеобразен, что условием взаимобмена является как раз несхожесть опыта, когда «непрошупываемые и неошутимые» общечеловеческие качества начинают циркулировать от народа к народу по своим особым духовным каналам.

Как жаль, что в педагогике эти живительные духовные артерии часто оказываются перекрытыми! Как необходимо буквально телесное прикосновение детей к прошлому. Бенджамин Спок мне рассказывал,

что один из его сыновей создал на историческом материале Музей игры, где дети с интересом воссоздают прошлое: могут собрать урожай, смолотить зерно, испечь лепешки, украсить вигвам, отремонтировать орудия труда.

Как необходимы такого рода (пусть игровые) занятия современным детям! Как необходимо осмысленное наукой единение с прошлым, настоящим и будущим!

Этнографическая уникальность, пропущенная через научное знание, способна, сохранив свои особенности, служить всеобщему, обогатить общечеловеческую культуру.

Своеобразие этнографического материала, собранного в двухтомнике, думается мне, в том, что он в чистом виде дает нередко такое первичное эмпирическое знание, которое самым неожиданным образом высвечивает всеобщее, по-новому ставит некоторые психолого-педагогические проблемы. Вот что мы узнаем, например, из «Этнографии детства»: «Японские дети в возрасте до 5—7 лет — это поистине привилегированные существа, желания и действия которых не ограничиваются». Словом, создается впечатление, что японцы очень балуют своих детей. Отчасти так оно и есть. Японцы стре-

мятся дать детям возможность полностью насладиться беззаботным детством, после которого наступит жизнь, полная трудностей и огорчений. Любопытный поворот дела: все европейское, скажем, воспитание направлено на то, чтобы в детях не заронилось и мысли о вседозволенности, а японцы настаивают: «До 5—7 лет — абсолютная свобода и вседозволенность».

Раннее детство — сложнейший мир проблем и задач, ведь именно до шести лет, как настаивают психологи, складываются характер и воля личности. Именно к шести годам ребенок переходит новый рубеж своего становления: школа, сложные заботы, неведомые перегрузки. Он вступает в новый мир социализации, чтобы по-новому творить свое воспитание, свою судьбу, свою жизнь.

Этнография детства, как и этнопедагогика, — могучий резерв воспитания. Думается, что успех современной реформы школы во многом будет зависеть и от того, в какой мере будут учитываться региональные особенности воспитательной практики, этнографические аспекты детства, воспитания.

Ю. АЗАРОВ,

доктор педагогических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ТЭЭТ КАЛЛАС. *Коррида. Роман, рассказы. Перевод с эстонского. М. «Советский писатель». 1983. 384 стр.*

ТЭЭТ КАЛЛАС. *Тоска по фиордам. Избранные новеллы. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 1983. 269 стр.*

Тээт Каллас преимущественно новеллист, рассказчик, автор десяти книг малой прозы. Неизменные компоненты его творческого почерка — ирония и юмор. Одним-двумя штрихами Каллас умеет метко и остроумно очертить характер. Привлекательна сама непринужденность повествования. В предельно реалистическую картину автор порой смело вводит элементы фантастики, иногда как бы балансирует на грани яви и сна. В «Последнем убийстве» героя рассказа, писателя, у которого точно с конвейера сходит с письменного стола детектив за детективом, начинают доносить «уголовные» видения, причудливо деформирующие реальность. Герой другого рассказа, «Ночь в четвертом микрорайоне», проснувшись среди ночи в своей стандартной квартире стандартного дома, не может отделаться от столь же стандартного наваждения...

Нередко, пользуясь гротеском, Каллас предельно обостряет ситуацию, чтобы вскрыть ее глубинный смысл. Так, к примеру, построен рассказ «Традиционный сбор». Его герои, учившиеся когда-то в одном классе, договорились каждый год встречаться, стараясь в день встречи быть такими, какими были в школе. Вплоть до мелочей. И ни в коем случае не выходить из круга своих тогдашних интересов, сколько бы ни минуло лет. Традиционный сбор, на котором взрослые мужчины и женщины изо всех сил фальшиво играют в детей, заканчивается убийством. Потому что некогда они поклялись жестоко покарать любого, кто нарушит условия игры. И когда один из бывших одноклассников разбивает иллюзию, его приговаривают к смерти! Перед нами, разумеется, гротеск, гипербола, нечто невероятное. Но тем очевиднее в этом «доказательстве от противного» мысль об опасности и непредсказуемости любых попыток повернуть жизнь вспять...

Трагикомедия жизни в самых разных ее проявлениях отчетливо выражена и в романе «Коррида». Трое горожан оказываются

на безлюдном острове, можно сказать, в конфронтации со стадом совхозных быков и их свирепым вожаком по кличке Сатана. Жизнь только что купившего здесь хутор сорокасемилетнего литератора Освальда Расся превращается в своеобразную корриду. Причем борьба ведется сразу с двумя противниками. С Сатаной и с другой молодой женой Освальда — фотохудожником и сочинителем афоризмов Тармо, которого она пригласила погостить. Традиционный треугольник. Вместе с Сатаной даже четырехугольник. Ситуация комическая, однако не несерьезная. Поскольку серьезен вывод: Рассь выходит победителем из всех испытаний только потому, что жизненно активен, не боится работы, дела, даже если приходится заниматься делом непривычным.

Тип человека с преувеличенным представлением о своих способностях и отвращением к любому настоящему труду (вроде Тармо) блистательно выведен Калласом и в новелле «Человек искусства». Ее герой Пан жалеет лишь одного — выглядеть художником и поэтом: в компании мясников, в глазах водителя автобуса, во время случайной встречи с актерами. И тем разительнее неожиданный финал новеллы: после двухдневного загула Пан наконец выходит на работу и, открывая дверь за дверью в пустынном здании, оказывается... в своей камере вахтера. Юмореска? Смешная история? Отчасти да. Как почти каждая история, рассказанная Калласом. Но его юмор и ирония не самоцель. Это особенность авторской манеры, средство привлечь читательское внимание к насущным проблемам бытия, в каком бы ключе они ни решались. Отсюда и внезапная калласовская грусть в разгар веселья, горечь «сладкой» жизни. Жизни, как правило, городской.

Тээт Каллас — певец Таллина. Любовь к нему — постоянный мотив, звучащий в новеллах писателя, и «Такси сквозь грустный дождь» (рассказ, открывающий таллинский сборник) как бы камертон этой темы. А вместе с любовью к городу, ничуть ей не противореча, в героях Калласа заметна столь типичная для нашего современника тяга к не тронутой человеком природе, не скованной асфальтом земле и чистому сне-

гу («Тоска по фиордам», «Земля» и, конечно же, «Коррида»).

Автор предисловия к сборнику «Тоска по фиордам» Марика Микли пишет, что произведения Тээта Калласа популярны среди читателей. Книга, вышедшая в Москве, бесспорно умножит их число. Тем более что переводы романа и рассказов эстонского писателя на русский язык выполнены на хорошем профессиональном уровне.

М. Искольдская.



М. ГОРДИН, Я. ГОРДИН. Театр Ивана Крылова. Л. «Искусство». 1983. 174 стр.

«Бывал ли он (Крылов.—А. А.) когда-нибудь молод?» Этот парадоксальный, но по-своему логичный вопрос, поставленный современником Крылова Вяземским, кажется еще более естественным сегодня. С именем великого баснописца как бы изначально ассоциируется представление о мудрости, приходящей лишь с годами. Конечно, это только впечатление, абберация обыденного восприятия. Михаил и Яков Гордины, быть может первые из пишущих о Крылове, показали его молодым и именно в раннем его творчестве нашли истоки неизменной нравственной и эстетической позиции Крылова, основанной на идеях Просвещения.

Верность избранному пути не говорит о его прямолинейности и однозначности. Мир Крылова — это мир напряженной борьбы между возможным и действительным. Здесь внутренний сюжет книги Гординых. Речь в их исследовании идет не только о драматургии Крылова.

Одно из главных положений, выдвинутое Яковым Гординым (им написана первая половина книги), основано на анализе трагедии «Филомела», созданной Крыловым в семнадцатилетнем возрасте. «Фигура сурового мудреца, мизантропа — по более поздней терминологии Крылова,— пишет Я. Гордин,— останется ключевой идеологической фигурой и в крыловской прозе 1790-х годов, и, трансформировавшись, обретя новый полемический смысл, в крыловских баснях».

Мизантроп. Трудно сейчас в этом слове уловить положительный смысл. Но в екатерининское время именно мизантроп скорее чем кто-либо другой мог оказаться «другом честных людей», фонвизинским Стародумом. Просвещение должно было указывать на невежество и пороки. Мыслилось, что высвеченное солнцем разума, выведенное на сцену зло окажется искорененным. Те-

атр представлялся людям крыловского круга «школой нравов», «училищем добродетели и страшилищем порока». Каждый персонаж был носителем одной внутренне непротиворечивой идеи. «И это было,— как пишет Я. Гордин,— не недостатком художественного метода, позже названного классицизмом, а его сутью».

Учитывая незыблемость просветительской ориентации Крылова, можно попытаться нащупать узел личного конфликта между ним и одним из образованнейших русских драматургов того времени, Я. Б. Княжнинным. Конфликт этот образует театроведческий сюжет книги.

Чем вызвана яростная атака, которой подвергся со стороны Крылова Княжнин в комедии «Проказники»? Автор «Вадима Новгородского», одной из лучших русских трагедий XVIII века, в политическом плане должен был бы, как справедливо пишет Я. Гордин, скорее импонировать Крылову, чем быть его врагом. Но именно Княжнин начал исторически необходимую для дальнейшего развития русской литературы борьбу с просветительскими декларациями. Этого Крылов принять не мог. Не принимал он и дворцового меценатства, во всяком случае многого, что с ним было связано. Просвещение, объявленное едва ли не официальной программой екатерининского царствования, давало весьма экзотические плоды. Носители этого просвещения — художники, писатели, философы — толпились в сенях у вельмож в ожидании милостивого приема и поддержки. Против такого унижающего достоинство меценатства и восстал Крылов, первый в русской литературе добившийся независимости в ранге литератора.

Он победил. И все-таки, как это убедительно показывает во второй половине книги Михаил Гордин, путь его оказался трагическим. Просветительские иллюзии рушились на глазах. При Павле, на которого так рассчитывал Крылов, еще быстрее, чем при Екатерине.

Но и под этими обломками Крылов выстоял.

В павловское царствование шуто-трагедией «Подщипа» («Трумф») Крылов, по сути, прощается с надеждами на просвещенного монарха и устраняется от «политики». М. Гордин видит в этой вещи не только признаки гибели политических крыловских иллюзий, но и «осмеяние просветительских идей как таковых».

И все же внутренне, лично Крылов остался верен идеалу юности. Идеи Просвещения неосуществимы? Что ж. Все-таки они справедливы. В такой ситуации воз-

можное и действительное, бытие и мечту можно повенчать лишь иронически. Как литератору Крылову остается одно — писать сатиры, басни...

Стоит за этими крыловскими жанрами нечто большее, чем обычно принято видеть. М. Гордин приходит к выводу о тотальной ироничности позднего Крылова. Осторожно, но настойчиво исследователь нащупывает в философии своего героя мироощущение, сближающее его с новым общеевропейским умонастроением — с романтизмом.

В крыловской иронии присутствует, конечно, романтическое стремление бесконечного возвышения духа над всем, что его ограничивает, но есть в ней более общий и древний типологический корень — сократовский. Мудрый говорит на языке невежд, направляя свою речь так, что невежды сами удостоверятся в собственной глупости. И таким образом просвещаются... Надежда несколько наивная, но не вовсе утопическая.

Андрей Арьев.

Ленинград.



Н. Е. ПОКРОВСКИЙ. Генри Торо. М. «Мысль». 1983. 189 стр.

Генри Торо, мало известному миру при жизни писателю и мыслителю, два года проведенному в уединении в лесу на берегу Уолденского озера, служившему мишенью насмешек для своих сограждан, обывателей Новой Англии, была суждена посмертная слава, далеко перешагнувшая пределы его страны.

О жизни и взглядах этого удивительного человека рассказывает молодой советский философ Никита Покровский в книге, вышедшей в серии «Мыслители прошлого».

Генри Торо (1817—1862) родился и вырос в небольшом городке Конкорде близ Бостона, где жил и работал философ Эмерсон, перенесший на американскую почву идеи не слишком хорошо им понятых представителей классической немецкой философии конца XVIII — начала XIX века. Сочетав эти идеи со взглядами немецких же романтиков, Эмерсон создал весьма эклектичное, но сильно действующее на ум и воображение американского читателя и слушателя идеалистическое учение — трансцендентализм. Эмерсону казалось, что своим духовным взором он проникает сквозь физическое многообразие природы к открывающемуся за ним единому космическому духовному началу, которое наполняет собой весь мир и частицей которого является **душа** каждого отдельного человека.

Генри Торо безоговорочно воспринял общую идею трансцендентализма. Однако она привела его не столько к преклонению перед предполагаемой идеальной сущностью мира, сколько к восхищению конкретными проявлениями одухотворенной природы, нескончаемой свободной игрой ее форм. Явления природы были для Торо ценны не сами по себе в их эмпирической телесности, но как символы иной, более глубокой реальности, представлявшей собой слияние космического и человеческого начал и потому получавшей немедленный отклик в душе человека и поднимавшей его над обыденным существованием. Отношение Торо к природе было прежде всего нравственным. Он считал природу лучшим другом человека, источником высшей радости и благородных чувств.

«Торо,— говорится в книге,— поднял и сформулировал сложнейшую проблему нравственного взаимодействия человека и природы», особенно остро вставшую перед современным человечеством, постепенно осознающим, что природа неисчерпаемая кладовая промышленного сырья, а уникальная и очень хрупкая среда обитания человека, которую он легко может разрушить неосторожным движением, уничтожив тем самым условия своей собственной жизни. Отношение человека к природе приобретает и огромный нравственный смысл, а сама природа начинает, как у Торо, по словам Покровского, мерцать отраженным светом общественной морали.

Всю жизнь Генри Торо вел записи своих наблюдений и размышлений. Дневники составили 14 из 20 томов его сочинений. Образец философской прозы Г. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» — романтическая робинзонада о жизни человека в мире природы.

Хотя Торо провел годы наедине с природой, он не был отшельником, он жил интересами простых тружеников, его волновала судьба человека в торгашеской, предпринимательской среде буржуазной Америки. Убеждения в природном равенстве людей, навеянные французским и американским Просвещением, побуждали его выступать против правительства, защищавшего систему рабовладения. Во время восстания аболиционистов во главе с капитаном Джоном Брауном Торо выступил в его защиту, хотя и не считал путь Брауна наилучшим.

Как идеалист Торо превыше всего ставил силу духовного убеждения и морального примера, а как абстрактный гуманист был против любого насилия. Ненависть существующее буржуазное общество, он выдвинул и защищал идею «ненасильственной ре-

волюции» — отказа от выполнения несправедливых правительственных установлений, прежде всего от уплаты налогов. Эта идея сохранила свою актуальность и в нашем веке (в частности, ее разделяли Лев Толстой и Махатма Ганди) и сыграла определенную роль в истории национально-освободительных и оппозиционных движений.

Обо всем этом рассказывает небольшая, но весьма содержательная книга Н. Покровского, со страниц которой перед читателем встает образ тонкого и благородного мыслителя, чья жизнь и философия были одухотворены идеалами добра и социальной справедливости.

Ю. Мельвиль,

доктор философских наук.



ОЧАРОВАННЫЕ КНИГОЙ. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. М. «Книга». 1982. 287 стр.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. Советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве. М. «Книга». 1983. 222 стр.

Перед составителем сборников «Очарованные книгой» и «Вечные спутники» ленинградским книговедом А. Блюмом стояла чрезвычайно трудная задача. Временной диапазон антологий, взятых в единстве, — два столетия: от заметок Новикова в «Трутне» («Каковы мои читатели», 1769) до эссе Айтматова («Книги, открывающие нас», 1979). Поэтому главный критерий отбора — «художественная и познавательная ценность произведений, а также стремление показать разнообразие жанров и направлений, тем и сюжетов в русской прозе, столь ярко и полно отразившей книжный мир читающей России», — постоянно вступал в противоречие со строгим ограничением объема книг (скажем прямо, неоправданно малого).

В сборник «Очарованные книгой» (он охватывает период с XVIII до начала XX века) включены Карамзин, Жуковский, Пушкин, Герцен, Некрасов, Достоевский, Чехов, Короленко, Горький, Андреев, Бунин, а также менее известные авторы. Писатели «второго», а подчас и «третьего» ряда имеют полное право быть представленными в антологии, справедливо отмечается в ступительной статье, поскольку подчас «именно они, пусть и в очерковой форме, запечатлели свежо и оригинально непосредственное бытование книги в самых различных слоях русского общества».

Разнообразие жанров — одна из особенностей антологии «Очарованные книгой».

Здесь рассказы, очерки, статьи, фрагменты, композиция из фрагментов. Иногда, впрочем, просто отрывок, изъятый из контекста и потому малосодержательный (в частности, отрывок из романа В. Одоевского «4338-й год»). Все три пушкинских текста (из «Романа в письмах», «Рославлева», «Истории села Горюхина»), увы, публикации как раз такого порядка. Понятно желание видеть Пушкина в любом тематическом сборнике русской литературы, но во имя верности избранным принципам его составления следовало найти иную форму подачи пушкинского творчества в антологии...

Сборник «Вечные спутники» тоже отличается разнообразием в жанровом отношении. В нем преобладают эссе, воспоминания, статьи. Очень интересна, к примеру, статья Е. Зозули «Для кого?» (опубликована в 1931 году и с той поры не перепечатывалась), где дана своеобразная «типология читателя», которого писатель... не хотел бы видеть читающим его книгу. Сегодня, когда библиофильство подчас перерастает в моду со всеми присущими ей крайностями, стоит прислушаться к голосу этого популярного в свое время литератора.

Среди авторов сборника — Горький, Пришвин, Маршак, Шкловский, Олеша, Твардовский, Мартынов, Каверин, Тарковский, Панова, Трифонов и многие другие.

Более всего интересных составительских находок в разделах «Среди друзей книги...» и «Из „библиосатиры“». Роман ленинградского писателя М. Чернокова «Книжники» — редчайший образец библиофильского романа (был издан в 1933 году, а затем прочно забыт). Повесть С. Буданцева «Японская дуэль» (данная в сокращении), думается, лучшее из собственно художественных произведений сборника «Вечные спутники». Среди библиосатирических произведений две блестящие миниатюры М. Зошенко, рассказ И. Ильфа, фельетон М. Кольцова, статья Е. Петрова.

Без сомнения, «Очарованные книгой» и «Вечные спутники» — издания по-своему новаторские, поскольку до последнего времени в отдельные сборники включались лишь поэтические отзвухи о книге (кроме, пожалуй, сборника «Человек читающий...», вышедшего недавно в «Прогрессе»), а также афоризмы, поговорки, пословицы о книгах и чтении. Но главное достоинство новых изданий — в формировании литературного вкуса читателя, важнейшего элемента общей культуры человека.

Г. Белая.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Материализм и эмпириокритицизм. 384 стр. Цена 90 к.
В. Ерашов. Навсегда, до конца. Повесть об А. Бубнове. («Пламенные революционеры») 414 стр. Цена 1 р. 40 к.
К. Ламонт. Иллюзия бессмертия. Изд. 2-е. Перевод с английского. («Библиотека атеистической литературы») 286 стр. Цена 1 р. 40 к.
Г. Осипов. Пароль — «Наступает осень...» 159 стр. Цена 25 к.
Эрнст Тельман. Биография. Перевод с немецкого. 560 стр. Цена 1 р. 60 к.

ВОЕНИЗДАТ

- Б. Горбатов.** Непокоренные. Повесть и публицистика. 285 стр. Цена 1 р. 20 к.
Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке. 301 стр. Цена 1 р. 30 к.
В. Понизовский. Обелиск на меридиане. Роман. 352 стр. Цена 1 р. 70 к.
М. Эгамбердиев. Тень желтого дракона. Исторический роман. 399 стр. Цена 1 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- М. Воронечный.** По вечной тропе. Стихотворения. 112 стр. Цена 45 к.
Ю. Пахомов. К оружию, эскулапы! Повесть. 336 стр. Цена 1 р. 10 к.
Приключения. 1984. Сборник («Стрела») 509 стр. Цена 2 р.
Характер — советский. Сборник рассказов 479 стр. Цена 2 р. 20 к.

«РАДУГА»

- Зов земли.** Повести, рассказы. Перевод с хинди. 319 стр. Цена 2 р. 20 к.
И будет день. Повести и рассказы писателя Шри-Ланка. Перевод с сингальского 272 стр. Цена 1 р. 60 к.
С. Камал. Волшебные сумерки. Стихотворения. Перевод с бенгальского 176 стр. Цена 75 к.
Р.-В. Пий. Обличитель. Роман. Перевод французского 320 стр. Цена 2 р. 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Ю. Бондарев.** Собрание сочинений В 6-ти т. Т. 1. 455 стр. Цена 2 р. 10 к.
А. Кольцов. Сочинения. 359 стр. Цена 1 р. 90 к.

Навстречу урагану. Сальвадорская поэзия XIX—XX вв. Перевод с испанского 239 стр. Цена 1 р. 10 к.

Поэзия борьбы. Стихи поэтов Арабского сопротивления. Перевод с арабского. 127 стр. Цена 80 к.

«НАУКА»

Археологические открытия 1982 года. 527 стр. Цена 3 р. 60 к.

И. Бачило. Организация советского государственного управления. Правовые проблемы. 237 стр. Цена 1 р. 40 к.

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 366 стр. Цена 3 р. 60 к.

П. Симонов, П. Ершов. Темперамент. Характер. Личность. 160 стр. Цена 55 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Ким. Белка. Роман-сказка. 271 стр. Цена 1 р. 30 к.

С. Лунгин, И. Нусинов. Гусиное перо. Пьесы. 312 стр. Цена 1 р. 60 к.

Махтумули. Стихотворения. Перевод с туркменского. («Библиотека поэта». Большая серия) Цена 1 р. 70 к.

И. Френкель. Река в времени. Страницы из книги моей жизни. 255 стр. Цена 95 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Гейне. Стихи. Перевод с немецкого («Поэтическая библиотечка школьника») 222 стр. Цена 45 к.

В. Лебедева. Кустодиев. Время. Жизнь. Творчество. 159 стр. Цена 3 р.

А. Новиков. Непрístupная крепость. («Люди. Время. Идея») 206 стр. Цена 55 к.

И. Соколов-Минитов. Русский лес. Рассказы. 40 стр. Цена 35 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Московский рассказ. Составитель Г. Дробот. «Московский рабочий» 320 стр. Цена 1 р. 50 к.

Р. Сейсенбаев. Возвращение Казыбека. Повесть и рассказы. Перевод с казахского. Алма-Ата «Жалын» 348 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Фарбер. А. М. Горький в Нижнем Новгороде. Очерк жизни и творчества. 1889—1904 Горький. Волго-Вятское книжное издательство 271 стр. Цена 85 к.

Э. Фейгин. Десятью девять вопросительных знаков. Романы, повести, рассказы, Тбилиси. «Мерани». 664 стр. Цена 2 р. 50 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-20.

Сдано в набор 19.04.84 г. Подписано к печати 21.06.84 г. А02491.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27.08 уч.-изд. л. Тираж 379 000 экз. (1-й завод 1—199 000 экз.). Зак. 1663.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6 Пушкинская пл., 5

Набрано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636